

экономические и социальные перемены

№ 4 (194)
июль — август 2026

СЕМЬЯ
И ДЕМОГРАФИЯ



СОЦИОЛОГИЯ
МОЛОДЕЖИ



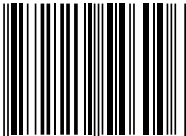
СОЦИАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА



СОЦИОЛОГИЯ
ТРУДА

18+

ISSN 2219-5467



9 772219 546006 >

Главный редактор журнала:

Федоров Валерий Валерьевич —

кандидат политических наук, генеральный директор АЦ ВЦИОМ,
декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Заместители главного редактора:

Седова Наталья Николаевна —

руководитель научно-методического департамента АЦ ВЦИОМ

Подвойский Денис Глебович —

кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник
Института социологии ФНИСЦ РАН, доцент РУДН

Ответственный редактор:

Бирюкова Светлана Сергеевна —

кандидат экономических наук, главный научный сотрудник
Института социальной политики НИУ ВШЭ

M77 Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. — М.: АО «АЦ ВЦИОМ», 2026. — № 4 (194). — 372 с.

ISSN 2219-5467

Объективная, точная, регулярная и свежая информация «Мониторинга» полезна всем, кто принимает управленческие решения, занимается прогнозированием и анализом развития общества. Наш журнал пригодится сотрудникам научных и аналитических центров, работникам органов управления, ученым, преподавателям, молодым исследователям, студентам и аспирантам, журналистам.

Тематика материалов охватывает широкий круг социальных, экономических, политических вопросов, основные рубрики посвящены теории, методам и методологии социологических исследований, вопросам взаимодействия государства и общества, социальной диагностике. Каждый номер журнала содержит двухмесячный дайджест основных результатов еженедельных общероссийских опросов ВЦИОМ.

Мы публикуем статьи специалистов, представляющих ведущие научные социологические центры, институты, организации, а также ВУЗы России и зарубежных стран. Широкая тематика журнала представляет возможность выступить на его страницах представителям смежных специальностей (политологам, историкам, экономистам и т.д.), опирающимся в своих исследованиях на эмпирические социологические данные.

Журнал издается с 1992 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

<i>A. V. Doguzov, A. M. Almakaeva, E. A. Nastina, K. D. Legut</i> Gender Attitudes at the Individual and Societal Level as Factors of Subjective Well-Being: Comparative Analysis	3

<i>Т. П. Емельянова, С. В. Тарасов</i> Эмоциональная оценка 1990-х годов в России: коллективная память поколений и «эффект Поллианны».....	25

<i>I. D. Petrov</i> Polarized Words, Polarized Worlds: A Computational Comparative Analysis of Pro- and Anti-Vaccine Discourse on VK	50

<i>Ю. М. Аксютин</i> Южно-Сибирский лимитроф: социологический анализ этноконфессиональной ситуации в третьем постсоветском десятилетии	72

СОЦИОЛОГИЯ МОЛОДЕЖИ

<i>Е. С. Бемлер, Я. Е. Хмельницкая</i> Устойчивость в нарративах креативной молодежи Северного Кавказа на примере Пятигорска и Нальчика	96

<i>И. С. Шаповалова, О. В. Ковальчук</i> Жизненные стратегии социально уязвимых групп молодежи.....	121

МОНИТОРИНГ МНЕНИЙ

Мониторинг мнений: июль — август 2026.....	147

СЕМЬЯ И ДЕМОГРАФИЯ

<i>И. Е. Калабихина, В. Г. Оксиненко, Ц. Лю</i> Особенности взаимосвязи и трансформации демографических и социокультурных ценностей в Китае.....	155

<i>Е. В. Чурилова, К. О. Чертенков, Е. М. Андреев</i> Репродуктивные намерения и когортная рождаемость россиянок с разным уровнем образования по данным из разных источников.....	185

С. В. Захарова

Репродуктивные намерения и разделение обязанностей в семье:
эмпирическая оценка связи на российских данных 207

А. Л. Янак

Традиционное и современное в представлениях о семье и установках
нижегородских студентов 231

СОЦИОЛОГИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

М. А. Карцева, А. И. Ким, Ж. В. Чернова

Стиль жизни в питании (Food-Related Lifestyle): адаптация и апробация
инструмента в российском контексте на данных Санкт-Петербурга
и Ленинградской области 252

СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОФЕССИИ

Е. А. Стегний, Е. С. Перехожев

Навык командной работы: сравнительный анализ требований к менеджерам
и специалистам в вакансиях российских компаний 282

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ

О. Л. Чернозуб, М. Л. Белоножко

Графический ассоциативный тест отношения (ГАТО):
тестирование внутренней согласованности 308

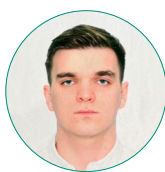
О. А. Оберемко, И. И. Буханский, Д. А. Зеленев

Кто участвует в опросах по телефону и по месту жительства? Сравнительный
анализ и возможности применения смешанного опросного модуля 337

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Н. С. Бабич, В. Б. Звоновский, А. В. Чуриков

К дискуссии о комбинировании методов в социологических исследованиях:
возможности опросов по телефону и по месту жительства 363

DOI: [10.14515/monitoring.2026.4.3289](https://doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3289)

A. V. Doguzov, A. M. Almakaeva, E. A. Nastina, K. D. Legut

GENDER ATTITUDES AT THE INDIVIDUAL AND SOCIETAL LEVEL AS FACTORS OF SUBJECTIVE WELL-BEING: COMPARATIVE ANALYSIS

For citation:

Doguzov A. V., Almakaeva A. M., Nastina E. A., Legut K. D. (2026) Gender Attitudes at the Individual and Societal Level as Factors of Subjective Well-Being: Comparative Analysis. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 3–24. <https://www.doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3289>.

Правильная ссылка на статью:

Догузов А. В., Алмакаева А. М., Настина Е. А., Легут К. Д. Гендерные установки на индивидуальном и социальном уровне как факторы субъективного благополучия: сравнительный анализ // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2026. № 4. С. 3—24. <https://www.doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3289>. (In Eng.)

Получено: 18.01.2026. Принято к публикации: 04.07.2026.

GENDER ATTITUDES AT THE INDIVIDUAL AND SOCIETAL LEVEL AS FACTORS OF SUBJECTIVE WELL-BEING: COMPARATIVE ANALYSIS

*Aslanbek V. DOGUZOV¹ — PhD Student, Research Assistant at Centre for Comparative Research on Social Well-Being
 E-MAIL: avdoguzov@hse.ru
<https://orcid.org/0009-0005-7558-7082>*

*Anna M. ALMAKAEVA¹ — Cand. Sci. (Soc.), Head of the Centre for Comparative Research on Social Well-Being
 E-MAIL: aalmakaeva@hse.ru
<https://orcid.org/0000-0003-2710-1525>*

*Ekaterina A. NASTINA¹ — Cand. Sci. (Soc.), Deputy Head of the Centre for Comparative Research on Social Well-Being, HSE University
 E-MAIL: enastina@hse.ru
<https://orcid.org/0000-0002-6261-1814>*

*Kira D. LEGUT¹ — PhD Student, Research Assistant at the Centre for Comparative Research on Social Well-Being
 E-MAIL: klegut@hse.ru
<https://orcid.org/0009-0000-2377-0938>*

¹ HSE University, Moscow, Russia

Abstract. This paper examines the relationship between gender attitudes and subjective well-being, focusing on life satisfaction as its core indicator. It covers both individual

ГЕНДЕРНЫЕ УСТАНОВКИ НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ И СОЦИЕТАЛЬНОМ УРОВНЕ КАК ФАКТОРЫ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

*ДОГУЗОВ Асланбек Вячеславович — аспирант, стажер-исследователь Центра сравнительных исследований социального благополучия, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
 E-MAIL: avdoguzov@hse.ru
<https://orcid.org/0009-0005-7558-7082>*

*АЛМАКАЕВА Анна Михайловна — кандидат социологических наук, директор Центра сравнительных исследований социального благополучия, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
 E-MAIL: aalmakaeva@hse.ru
<https://orcid.org/0000-0003-2710-1525>*

*НАСТИНА Екатерина Александровна — кандидат социологических наук, заместитель директора Центра сравнительных исследований социального благополучия, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
 E-MAIL: enastina@hse.ru
<https://orcid.org/0000-0002-6261-1814>*

*ЛЕГУТ Кира Дмитриевна — аспирант, стажер-исследователь Центра сравнительных исследований социального благополучия, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
 E-MAIL: klegut@hse.ru
<https://orcid.org/0009-0000-2377-0938>*

Аннотация. В статье анализируется взаимосвязь гендерных установок и субъективного благополучия, измеряемого через удовлетворенность жизнью. Цель иссле-

and country-level gender attitudes and tests whether a mismatch between them affects individual well-being. The analysis draws on the 7th wave of the World Values Survey, covering 55 countries. Gender attitudes are captured by composite indices at the individual and societal levels. Since our respondents are nested in countries and determinants operate at multiple levels, we use multilevel regression modeling. On average, individuals with more egalitarian gender attitudes report higher life satisfaction. At the country level, more dominant egalitarian gender attitudes are also associated with higher levels of subjective well-being. However, this individual-level association depends on the broader societal context. In societies with high gender inequality the positive link is weaker, and in the most unequal contexts egalitarian views are associated with lower life satisfaction. Initially, the moderation effect of public gender attitudes was not found, but additional analysis showed its presence for respondents with moderate and egalitarian views. Overall, the results underscore the importance of person — culture fit for subjective well-being and show that the well-being effects of egalitarian gender attitudes vary with both the level of gender inequality and the prevailing normative climate.

дования — оценить влияние индивидуальных и общественных гендерных установок на субъективное благополучие, а также проверить, усиливает ли их согласованность субъективное благополучие. Эмпирическая база исследования включает данные седьмой волны Всемирного исследования ценностей (World Values Survey) по 55 странам. Гендерные установки операционализированы с помощью индексов, рассчитанных на индивидуальном и социальном уровнях. Для анализа использованы многоуровневые регрессионные модели, позволяющие учитывать вложенную структуру данных и одновременное влияние факторов разных уровней. Полученные результаты показывают, что в среднем более эгалитарные индивидуальные гендерные установки положительно связаны с удовлетворенностью жизнью. На уровне стран более выражено доминирующие эгалитарные гендерные установки также связаны с более высоким уровнем субъективного благополучия. Вместе с тем выявлено, что общественный контекст модерирует данную связь. Высокий уровень гендерного неравенства в стране ослабляет положительный эффект индивидуального эгалитаризма, а в обществах с выраженным неравенством эгалитарные установки на индивидуальном уровне связаны с более низкой удовлетворенностью жизнью. Первоначально модерационный эффект общественных гендерных установок не был обнаружен, однако дополнительный анализ показал его наличие для респондентов с умеренными и эгалитарными взглядами. Полученные результаты свидетельствуют о значимости соответствия между индивидуальными установками и доминирующими социальными нормами и подчеркивают контекстную обусловленность влияния гендерных установок на субъективное благополучие.

Keywords: gender attitudes, subjective well-being, multilevel regression, person-culture fit, WVS

Ключевые слова: гендерные установки, субъективное благополучие, многоуровневая регрессия, несоответствие личности и культуры, Всемирное исследование ценностей

Acknowledgments. The article is an output of a research project HSE-BR-2025-52 implemented as part of the Basic Research Program at HSE University.

Благодарность. Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ (HSE-BR-2025-52).

Introduction

Gender inequality is a central issue in global politics. Closing the gender gap is an explicit United Nations goal, yet at the current pace the World Economic Forum estimates it will take 135.6 years to achieve [World Economic Forum, 2021: 9]. Policy efforts have concentrated on the legal dimension of the gap, such as quotas and the formal equalization of rights. But the gap also has a cultural side: a large part of gender inequality is rooted in the prevailing gender attitudes within a society. Following Bergh [2006: 5], we define gender attitudes as “attitudes toward gender equality and gender relations in society”. The implicit benchmark of progressive policy is the more egalitarian Western societies that top the UN Gender Inequality Index, on the assumption that more egalitarian attitudes benefit both societies and individuals. Whether that expectation holds at the individual level, and whether it holds outside the Western context, is an empirical question that this paper addresses.

Gender-related effects on subjective well-being (SWB) have interested researchers for decades [Diener, Ryan, 2009], and the literature has moved from simple comparisons of men’s and women’s well-being toward more sophisticated accounts. Early syntheses found that gender explains very little variance in average well-being: men report marginally higher well-being, but gender does not transcend social class as a determinant [Haring, Stock, Okun, 1984]. In some samples men and women do not differ substantially in mean well-being even though women experience emotions, both positive and negative, more intensely [Fujita, Diener, Sandvik, 1991]. Apparent gender differences are often masked by interactions with age, with younger women reporting higher and older women lower well-being than men [Inglehart, 2002].

A second strand shifts attention from gender as a category to gender-related attitudes and contexts. At the societal level, the size of gender differences in well-being varies with a country’s level of gender inequality and its prevailing attitudes toward gender equality [Tesch-Römer, Motel-Klingebiel, Tomasik, 2008], and liberal gender-role norms and public childcare reduce the well-being penalty that full-time working wives would otherwise face [Treas, van der Lippe, Tai, 2011; Stavrova, Fetchenhauer, Schlösser, 2012]. In East Asia, the picture is more heterogeneous still, with marital status a stronger correlate of happiness than gender-role traditionalism [Hori, Kamo, 2018]. Taken together, this literature suggests that the well-being relevance of gender attitudes is rarely unconditional but depends on the societal context.

Few studies, however, focus specifically on the direct association between gender related constructs and subjective well-being. Existing work tends to examine such constructs as gender identity [Chang, 2011] or gender ideology in specific domains (for example, marital gender ideology and marital happiness [Horrell et al., 2022]) rather than general gender attitudes and overall life satisfaction, and most of it is based on Western or Western-oriented contexts [Tesch-Römer, Motel-Klingebiel, Tomasik, 2008; Treas, van der Lippe, Tai, 2011]. As a result, the cultural specificity of non-Western contexts is rarely taken as a substantive point of reference, and we still know relatively little about how explicitly measured gender attitudes relate to subjective well-being across diverse societies.

As mentioned earlier, gender can be analyzed at two levels — individual and societal — and the same applies to gender-related attitudes and identities. At the individual level, existing research shows that more egalitarian gender-related identities and ideologies are positively associated with subjective well-being or domain-specific well-being: for example, Chang finds that a less traditional gender identity relates to higher life satisfaction, and Horrell et al. report that egalitarian gender role ideologies are associated with higher eudaimonic well-being and marital satisfaction. More broadly, studies on value orientations show that conservative or traditional values tend to relate to lower SWB, whereas other value dimensions have more context-dependent effects [Sortheix, Schwartz, 2017; Schwartz, Sortheix, 2018]. This suggests a general positive association between individual egalitarian orientations and well-being, so we expect that, on average, the more egalitarian the individual gender attitudes, the higher the life satisfaction (H1).

On the societal level, Treas et al. [2011] discovered that liberal gender ideology and public childcare ameliorate the disadvantage in happiness for full-time working wives. We also expect that the general societal gender attitudes in a country would influence SWB. Therefore, we put forward a hypothesis that, *on average, the more egalitarian a society's gender attitudes, the higher the life satisfaction* (H2).

A further possibility suggested by the literature is that what matters for well-being is not only the content of the attitudes a person holds but also their fit with the surrounding culture [Oishi, Gilbert, 2016; Schwartz, Sortheix, 2018]. Some studies indicate that individuals may feel less happy when enacting gender roles that diverge from the dominant patterns in their societies [Mencarini, Sironi, 2012], and that migrants from more traditional societies who do not share positive attitudes toward gender equality also report lower SWB than natives [van de Vijver, 2007]. Building on this work, we expect the well-being implications of egalitarian attitudes to depend on the societal context. Where gender inequality is high and egalitarianism is counter-normative, the positive association should weaken or even reverse; where the context is more egalitarian, it should strengthen. Formally, we hypothesize that higher gender inequality decreases the positive effect of egalitarian individual gender attitudes on life satisfaction (H3), and that in countries with more egalitarian societal gender attitudes, the positive association between individual gender attitudes and life satisfaction is stronger (H4).

Testing a person — culture fit requires both a “person” and a “culture”. The individual component is gender attitudes; the societal component can be captured in two ways. The first, “aggregated subjective”, is the average of individual attitudes in a coun-

try, that is, what a country thinks about gender. The second, “resulting objective”, reflects actual gender relations and must be measured by an outside entity. The distinction matters because a population may hold egalitarian attitudes on average while the situation on the ground remains unequal. The country’s level of gender inequality, estimated from cross-national data rather than from aggregated beliefs, is a clear example of the “resulting objective” measure.

Our main research question therefore asks: How does the relationship between gender attitudes and subjective well-being vary across countries, once we account for both individual gender attitudes and the societal gender context?

Data and Variables

We tested all hypotheses using the World Values Survey (WVS) dataset. The latest, seventh, wave of WVS contains 72 153 observations for 55 countries and both individual-level and country-level variables. The latter were adopted from the World Bank (GDP per capita) and the United Nations Development Programme (Gender Inequality Index).

Dependent variables

Our main dependent variable reflects the level of *life satisfaction*. It was measured using the question: “All things considered, how satisfied are you with your life as a whole these days?”. The answer options ranged from 1 to 10, where 1 — Completely dissatisfied, and 10 — Completely satisfied.

Independent variables

The main independent variable is the Individual Gender Attitude Index (IGAI). It consisted of seven variables that covered various aspects of gender relations.

Political leadership: “On the whole, men make better political leaders than women do”.

University education: “A university education is more important for a boy than for a girl”.

Business management: “On the whole, men make better business executives than women do”.

Vocations of a woman: “Being a housewife is just as fulfilling as working for pay”.

Income distribution in a couple: “If a woman earns more money than her husband, it’s almost certain to cause problems”.

Rights to work: “When jobs are scarce, men should have more rights to a job than women”.

Mother’s role: “When a mother works for pay, the children suffer”.

The first four and the seventh items shared the same scale (1 to 4, from *Agree strongly* to *Disagree strongly*, without *Neither disagree, nor agree*), while the fifth and the sixth items had a mid-point (1 to 5, from *Agree strongly* to *Disagree strongly*, with *Neither disagree, nor agree*).

To construct the Individual Gender Attitude Index, we first checked whether the selected items reflect a single latent dimension. Beyond internal consistency (Cronbach’s $\alpha = 0.78$), we assessed the cross-national comparability of the Individual Gender Attitude Index by estimating a series of multi-group CFA models. A one-factor configural model showed acceptable fit in all countries (RMSEA = 0.084, SRMR = 0.041, CFI = 0.93, TLI = 0.90), indicating that the same latent structure holds across groups.

Imposing equal factor loadings led to some deterioration in fit ($\Delta CFI \approx 0.06$), but overall indices remained close to conventional thresholds, which we interpret as approximate metric invariance; this allows us to compare associations of the index with other variables across countries, while country-level means differences are interpreted only as descriptive patterns of observed index scores and should not be taken as definitive evidence of cross-national difference in the underlying latent construct, given that scalar invariance was not supported [Cheung, Rensvold, 2002; Leitgöb et al., 2023].

We first recoded all items so that higher values consistently reflected more egalitarian gender attitudes and lower values more traditional views, making the minimum of each item correspond to the most traditional and the maximum to the most egalitarian position. All recoded items were rescaled to range from 0 (the most traditional gender attitudes) to 1 (the most egalitarian gender attitudes) and summed into an additive index.

For controls we used *age*, *marital status* (0 — single, 1 — having a partner), *education* (0 — no higher education, 1 — higher education), *employment* (0 — unemployed, 1 — employed) and *religious denomination, and subjective income*.

Moderators

Since the initial idea was to examine the possible effect of the person-culture fit (or a misfit) we consider two country-level variables. First, we calculated the Societal Gender Attitude Index (SGAI) which is the mean IGA for each country. Second, we used the Gender Inequality Index (GII). It was already included in the WVS dataset and taken from the United Nations Development Programme¹. Having both SGA and GII provides the opportunity to distinguish gender attitudes at the societal level in two different ways. SGA measures aggregated subjective gender attitudes for each country while GII captures “objective traces” by taking into account equality of genders in education, the workforce, and politics. The two indices are related, as more egalitarian attitudes tend to accompany lower measured inequality ($r = -0.64$, $p < 0.001$), but they are not identical and capture analytically distinct domains of a country’s context — what a society thinks about gender, and how unequal it actually is.

Method

Our main method is multilevel (random-intercept) regression modeling, estimated stepwise. We first fit a null model to quantify the share of variance in life satisfaction that lies between countries (the ICC). We then add country-level predictors, a random slope for individual gender attitudes, and the cross-level interactions, before assessing the robustness of the models.

Because both life satisfaction and gender attitudes are measured at a single time point, the WVS 7 design does not allow us to identify the causal direction, and we model gender attitudes as predictors of life satisfaction on substantive grounds. Gender attitudes form part of the broad value orientations that are largely acquired during socialization and remain comparatively stable over the adult life course [Inglehart, Welzel, 2005], whereas life satisfaction is a more flexible and fluctuating evaluation. The

¹ United Nations Development Programme (2019). Gender inequality index (GII). Human Development Report 2019. <http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii> (date of access: 20.06.2026).

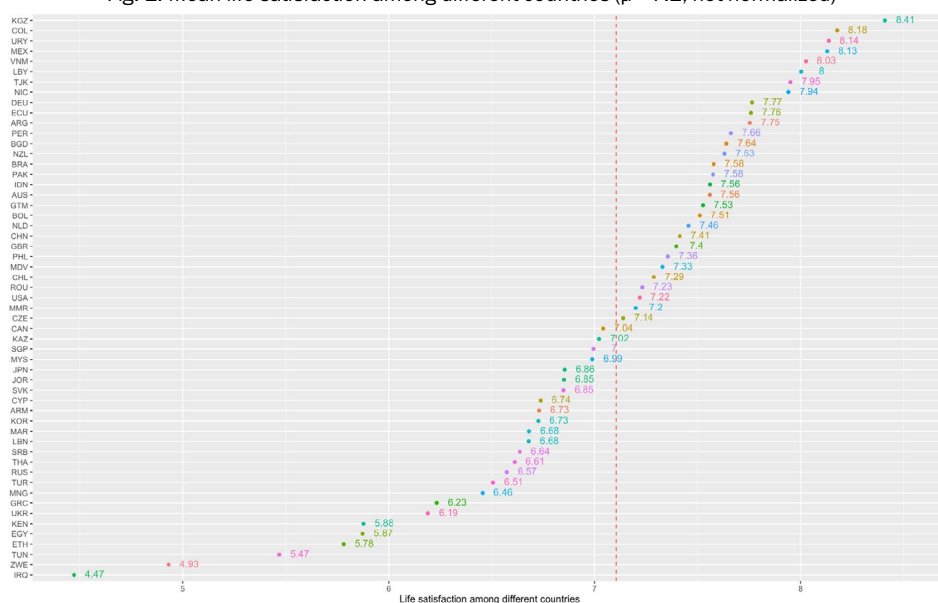
person — culture-fit mechanism we test runs in the same direction: it is the (in)congruence between a person's values and the prevailing values of their environment that bears on well-being, rather than the reverse [Sortheix, Schwartz, 2017; Hanel et al., 2020]. We treat this ordering as an assumption, not a causal claim, and we return in the Conclusion to the possibility of reverse or reciprocal effects, which panel data would be needed to adjudicate [Leszczensky, Wolbring, 2022].

Results

General Overview of SGAI, life satisfaction and their relationship

Figure 1 shows the average life satisfaction for each country in the sample. The mean life satisfaction among all the countries is 7.1. The most satisfied countries are Kyrgyzstan (8.41), Colombia (8.18), Mexico (8.14), Uruguay (8.13), and Vietnam (8.03). Surprisingly, the most satisfied countries are not the most developed in terms of economy. All these countries are considered developing². In terms of religious diversity, three out of the five most satisfied countries — Colombia, Mexico, and Uruguay — are Latin Christian countries, while Kyrgyzstan is a predominantly Muslim country, and most Vietnamese respondents claimed to not have any religious affiliations. The least satisfied countries are Iraq (4.47), Zimbabwe (4.93), Tunisia (5.47), Ethiopia (5.78), and Egypt (5.87). These are predominantly African countries, except for Iraq, with lower levels of GDP. Three out of five least satisfied countries — Iraq, Tunisia, and Egypt — have Islam as the country's predominant religion, while Zimbabwean and Ethiopian religious majorities are Christian.

Fig. 1. Mean life satisfaction among different countries ($\mu = 7.1$, not normalized)



² International Monetary Fund (2022) World Economic Outlook Database — WEO Groups and Aggregates Information. URL: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2022/01/weodata/groups.htm> (date of access: 30.08.2026).

Figure 2 shows societal gender attitudes (SGAI) for each country in our sample. The most egalitarian countries in their gender attitudes are the Netherlands (1), Great Britain (0.94), New Zealand (0.92), Australia (0.9), and Canada (0.87). As anticipated, these are the Western developed countries in which the largest group does not hold any religious beliefs. The most “traditional” countries are Pakistan (0), Egypt (0.09), Myanmar (0.13), Jordan (0.15), and Iraq (0.16). The most traditional countries present almost the opposite picture compared to the most egalitarian ones. Firstly, these are the developing countries with lower levels of GDP per capita. Secondly, the largest groups of people in these countries claim to follow certain religions: for Pakistan, Egypt, Jordan, and Iraq, it is Islam, while Myanmar is a country with a Buddhist majority.

Fig. 2. Societal gender attitude index among different countries (normalized).
(0 — the most traditional, 1 — the most egalitarian; $\mu = 0.52$)

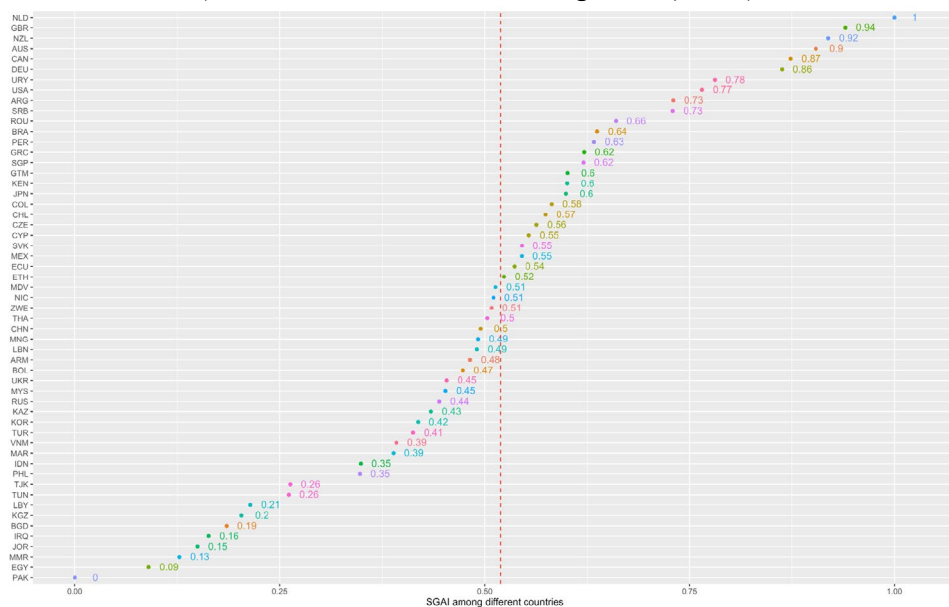


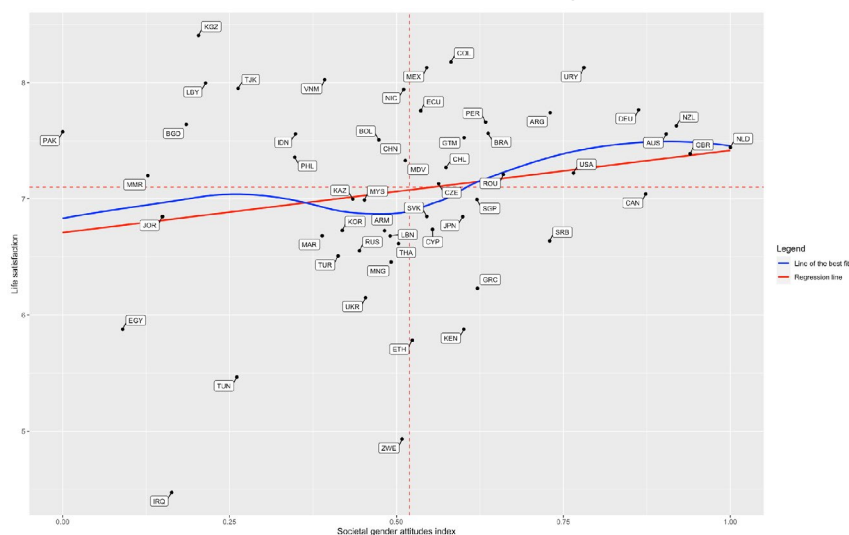
Figure 3 provides a visual representation of countries within two dimensions — life satisfaction and SGAJ. If we divide countries based on their position regarding average levels of life satisfaction and societal gender attitudes, we can distinguish four different groups: “unsatisfied traditional”, “satisfied traditional”, “satisfied egalitarian” and “unsatisfied egalitarian” (Table 1). This classification is purely analytical and based on the results of the visualization. Moreover, we do not take into consideration the distance between a country’s position on the x- and y-axes and the mean values for SGAJ and life satisfaction (0.54; 7.1, respectively). Thus, one group of countries may include seemingly different countries just because these countries fall into the same part of the graph (for instance, Japan and Ethiopia).

Table 1. Group of countries based on their relation to LS and SGAI

Group	LS	SGAI	Countries	Brief description	N
1. "Unsatisfied traditional"	–	–	Kazakhstan, Malaysia, Jordan, Armenia, Korea, Lebanon, Morocco, Thailand, Turkey, Mongolia, Ukraine, Egypt, Tunisia, Zimbabwe, Iraq	Mostly Asian and African countries, developing economies, religiously diverse, but mostly Muslim.	15
2. "Satisfied traditional"	+	–	Kyrgyzstan, Vietnam, Libya, Tajikistan, Nicaragua, Bangladesh, Pakistan, Indonesia, Bolivia, China, Philippines, Moldova, Myanmar	Predominantly Asian, religiously diverse, but most of the countries are Muslim, on average the least economically developed group.	13
3. "Satisfied egalitarian"	+	+	Colombia, Uruguay, Mexico, Ecuador, Argentina, Germany, Peru, New Zealand, Australia, Brazil, Guatemala, Netherlands, Great Britain, Chile, Romania, USA, Czech Republic, Canada	Mostly Western and American countries, especially Latin ones. Mix of developing and developed countries, but overall, the most economically developed group. Religiously, two biggest groups are Catholics and non-religious people.	17
4. "Unsatisfied egalitarian"	–	+	Singapore, Slovakia, Japan, Cyprus, Serbia, Greece, Kenya, Ethiopia	Geographically diverse countries, mostly developing countries, diverse religions.	9

Note: — stands for values below average; + stands for values above average.

From the graph, we can notice two patterns. Firstly, the regression line shows that, on average, a higher (i. e., more egalitarian) level of a country's SGAI promotes a higher overall level of life satisfaction. Secondly, the line of best fit implies a nonlinear link between SGAI and life satisfaction: a cluster of traditional yet highly satisfied countries pulls the fitted line upward at the low end of SGAI, so that moderately traditional countries appear, by comparison, to have lower life satisfaction.

Fig. 3. Scatter plot of a country's mean life satisfaction and mean societal gender attitude index ($\mu_x = 0.52$, $\mu_y = 7.1$)

Regression results and hypotheses testing

In this section, the main research question and hypotheses are tested. The analyses are structured as follows. Firstly, we test the relationship between individual gender attitudes and life satisfaction (H1). Secondly, we test the relationship between societal gender attitudes and life satisfaction (H2). Thirdly, the moderating effect of gender inequality in a country on a link between individual gender attitudes and life satisfaction is tested (H3). Finally, we analyze the moderating effect of societal gender attitudes on a link between individual gender attitudes and life satisfaction (H4).

Table 2 presents estimates from multilevel models that include a random intercept at the country level. The first column includes the null model that shows us 13 % of the total variation in individuals' life satisfaction is due to differences between the countries, which implies the need for a multilevel model.

Model 1, which includes a random slope, corroborates our *first hypothesis*. The link between individual gender attitudes and life satisfaction is positive and significant at the 90 % confidence level, meaning that more egalitarian individual gender attitudes are associated with higher life satisfaction. Age remains significant in all the models. Furthermore, being a woman has a small positive association with life satisfaction at the 90 % confidence level, which supports previous findings on the nonsignificant (or very weak) effect of gender on SWB [Inglehart, 2002]. On the contrary, having a partner remains a stable predictor of a higher level of life satisfaction across all the models, which is in accordance with previous research [Diener, Oishi, Tay, 2018].

Our *second hypothesis* was corroborated as well. Model 2 demonstrates that, on the 90 % confidence level, we can state that the more egalitarian society in its gender attitudes the more people are satisfied with life. In other words, living in an egalitarian country is associated with higher life satisfaction. One might attribute this to the fact that egalitarian countries are, on average, more affluent. We address that objection directly in the Robustness check below, where we show that the positive link between societal gender attitudes and life satisfaction holds net of economic development.

The *third hypothesis* implies the moderating effect of societal gender inequality on the link between individual gender attitudes and life satisfaction. The idea was that higher gender inequality in a country weakens the link between individual gender attitudes and life satisfaction. This assumption was supported at the 90 % of confidence level. Such a level of confidence might be caused by the possible nonlinear relationship between IGAI and life satisfaction (Figure 4). We are going to address this possibility in the further analysis.

Figure 4 shows how the country's level of gender inequality conditions the IGAI — life-satisfaction link. In more gender-unequal countries (higher values of GII), the estimated effect of individual gender attitudes on life satisfaction is small and non-significant, although it tends to become slightly negative at the upper end of the GII scale. As gender inequality decreases (lower GII), the IGAI coefficient gradually increases, and from roughly GII $\approx$ 0.5 onward the confidence interval lies entirely above zero, indicating a statistically significant positive association between egalitarian individual gender attitudes and life satisfaction in more gender-equal contexts. This pattern is consistent with H3: in less gender-equal societies egalitarian attitudes do not translate into higher life satisfaction, whereas in more gender-equal societies they are associated with a clear life satisfaction benefit.

The next step was to analyze whether societal context related to shared culture, i. e., societal gender attitudes, moderates the effect of individual gender attitudes on life satisfaction. The results for our *fourth hypothesis* were mixed and not corroborated. On the one hand, Figure 5 shows that this link varies across societal contexts. Thus, when societal gender attitudes are the most traditional, this link tends to be negative. Then, when societal gender attitudes shift into a more moderate area (some 0.25 on the SGAI scale), the link becomes positive, and its strength grows linearly.

In the linear specification, however, the cross-level interaction between IGAI and SGAI is not statistically significant even at the 90 % level, so H4 is not supported when individual attitudes enter the model linearly. At the same time, Figure 5 suggests that the slope of IGAI may change across more traditional, moderate, and more egalitarian ranges of societal gender attitudes, which a single linear interaction term may not capture well. We therefore treat the evidence for H4 as inconclusive at this stage and return to it in the robustness section, where we model the nonlinearity of individual gender attitudes more explicitly.

Table 2. *Multilevel models for continuous IGAI*

Regressors	Model 0 (The null model)	Model 1 (Individual level)	Model 2 (Country level)	Model 3 (Cross-level interaction — GII)	Model 4 (Cross-level interaction — SGAI)
Individual-level regressors					
(Intercept)	0.67***	0.52***	0.47***	0.52***	0.53***
IGAI		0.03~	0.03~	0.07*	–0.02
Age		0.02**	0.02**	0.02**	0.02**
Female		0.00~	0.00~	0.00~	0.00~
Marital status (not single)		0.03***	0.03***	0.03***	0.03***
Higher education		0.00	0.00	0.00	0.00
Employed		0.00	0.00	0.00	0.00
Scale of incomes (subjective)		0.21***	0.21***	0.21***	0.21***
Country-level regressors					
SGAI			0.1~		0.03
GII				0.00	
Interaction effects					
IGAI x GII				–0.09~	
IGAI x SGAI					0.11
N groups	55	55	55	55	55
Observations	72 153	72 153	72 153	72 153	72 153
R2cond	12.8 %	17.5 %	18.1 %	17.9 %	17.9 %

Note: all models control for religious denomination. *** $p < 0.001$; ** $p < 0.01$; * $p < 0.05$; ~ $p < 0.1$.

Fig. 4. IGAI coefficient on life satisfaction across levels of gender inequality (GII)

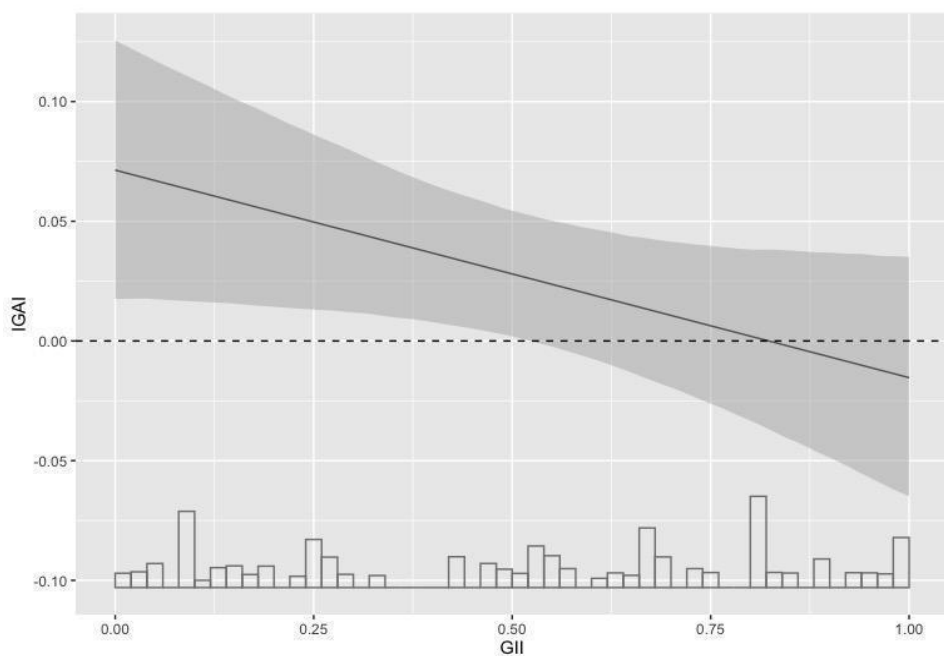
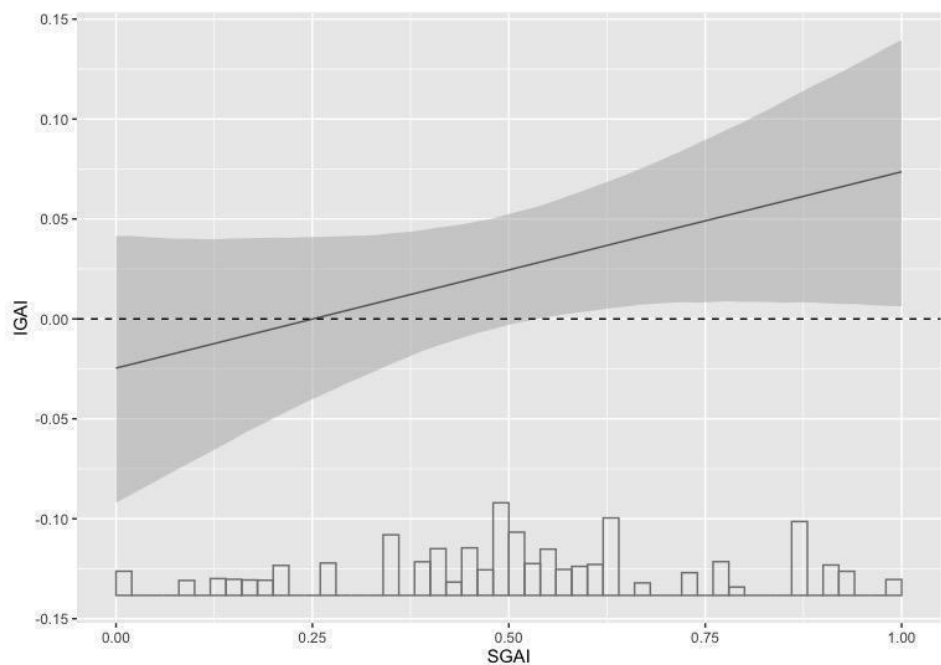


Fig. 5. IGAI coefficient on life satisfaction across levels of societal gender attitudes (SGAI)



Robustness check

We begin our analysis by testing the claim that the level of a country's economic development does not account for the associations of individual and societal gender attitudes with life satisfaction. We tested all the models except for the one with GII since the correlation between it and GDP per capita was too high ($rr = -0.81$, $p < 0.001$).

Table 3 provides the estimates for the models. The results of the regression analysis are robust and coincide with the ones we got in our initial models. H1 and H2 were corroborated even with the country's economic development being controlled. H4, again, does not find support, since Model 4a provides the same results as Model 4, demonstrating that the interaction of individual and societal gender attitudes is not significant.

Therefore, we draw two important conclusions. Firstly, the positive effect of societal gender attitudes on life satisfaction is robust even when the country's wealth is considered. Life satisfaction is linked not to the wealth of a country but to the degree of egalitarian gender attitudes prevailing in it. Secondly, GDP per capita carries no independent association with life satisfaction once societal gender attitudes are in the model, and this holds when Singapore, the highest-GDP outlier, is excluded. At first sight this sits awkwardly with the established positive link between national income and well-being [Deaton, 2008; Diener, Diener, 1995], but the two findings are reconcilable. In those studies, national income enters without controlling for the value climate; here the effect of affluence is estimated net of a value-based measure. Modernization theory implies that economic development raises well-being largely indirectly, by giving rise to the self-expression and gender-egalitarian orientations that accompany sustained prosperity, rather than directly through income itself [Inglehart, Welzel, 2005]. Egalitarian attitudes tend to emerge in countries that have been durably wealthy, not merely recently affluent, so that much of the cross-national variance in affluence is already absorbed by the attitudinal variable. The high collinearity between GII and GDP per capita, which led us to exclude GII from these models, is consistent with this overlap. The near-zero net coefficient on GDP per capita is therefore not evidence that affluence is irrelevant to well-being, but that its contribution is mediated by the value climate captured by SGAI.

Table 3. *Multilevel models with GDP per capita*

Regressors	Model 1a (Individual level)	Model 2a (Country level)	Model 4a (Cross-level interaction — SGAI)
Individual-level regressors			
(Intercept)	0.51***	0.47***	5.32***
IGAI	0.03~	0.03~	-0.02
Age	0.02**	0.02**	0.02**
Female	0.00~	0.00~	0.00~
Marital status (not single)	0.03***	0.03***	0.03***
Higher education	0.00	0.00	0.00
Employed	0.00	0.00	0.00
Scale of incomes (subjective)	0.21***	0.21***	0.21***

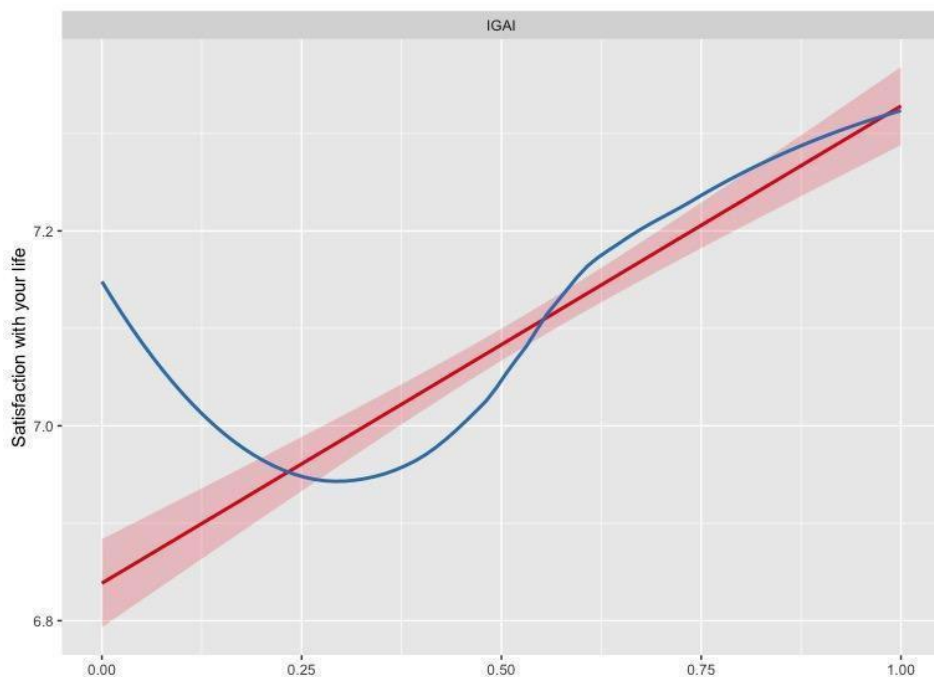
Regressors	Model 1a (Individual level)	Model 2a (Country level)	Model 4a (Cross-level interaction — SGAI)
Country-level regressors			
GDP per capita	0.04	−0.04	−0.04
SGAI		0.12 [~]	0.05 [~]
Interaction effects			
IGAI x SGAI			0.1
N groups	55	55	55
Observations	72 153	72 153	72 153
R2cond	17.8 %	18.2 %	18.0 %

Note: all models control for religious denomination. *** $p < 0,001$; ** $p < 0,01$; * $p < 0,05$; [~] $p < 0,1$.

The next part of our analysis was to test the assumption that the relationship between individual gender attitudes and life satisfaction as well as societal gender attitudes and life satisfaction can be nonlinear.

Figure 6 suggests a nonlinear IGAI — life-satisfaction relationship of modest magnitude (~6.95—7.31): life satisfaction declines as attitudes become more egalitarian up to ~0.32 on the IGAI scale, where moderate attitudes begin, and rises thereafter. Therefore, a U-shaped, i. e., quadratic, relationship might be present between individual gender attitudes and life satisfaction.

Fig. 6. Possible nonlinear relationship between life satisfaction (not normalized) and individual gender attitudes



To check whether there are significant nonlinear links and not just visual noise from the graph, we first created IGAI squared, as well as SGAI squared, and then ran a regression with these variables. Table 4 shows the results of the regression model. IGAI squared is significant ($P < 0.001$), while SGAI squared is not significant on the 95 % confidence level. We find support for our assumption of a nonlinear relationship between IGAI and life satisfaction.

Table 4. Multilevel model to test the assumption of the presence of a nonlinear relationship

Regressors	Model 5 (Individual level)	Model 6 (Country level)	Model 7 (Cross-level interaction — SGAI)
Individual-level regressors			
(Intercept)	0.53***	0.47***	0.53***
IGAI	−0.04		−0.04
IGAI2	0.06**		0.06**
Age	0.02**	0.02**	0.02**
Female	0.00~	0.00~	0.00~
Marital status (not single)	0.03***	0.03***	0.03***
Higher education	0.00	0.00	0.00
Employed	0.00	0.00	0.00
Scale of incomes (subjective)	0.21***	0.21***	0.21***
Country-level regressors			
SGAI		0.1	0.08
SGAI2		0.00	0.01
N groups	55	55	55
Observations	72 153	72 153	72 153
R2cond	17.6 %	18.6 %	18.2 %

Note: all models control for religious denomination. *** $p < 0.001$; ** $p < 0.01$; * $p < 0.05$; ~ $p < 0.1$.

Second, after the confirmation of the significant nonlinear relationship between individual gender attitudes and life satisfaction, the original IGAI variable was recoded into three even³ categories: [0—0.32] — the most traditional gender attitudes; [0.33—0.68] — moderate gender attitudes; [0.69—1] — the most egalitarian gender attitudes. We decided to inspect different categories of people: those who hold traditional gender attitudes; those who hold moderate gender attitudes; and those who hold the most egalitarian gender attitudes. Therefore, based on the graph, we expect the following distribution of life satisfaction among these groups:

IGAI (egal.) > IGAI (trad.) > IGAI (moder.)

Mean life satisfaction differs across the three groups: 6.99 for traditional, 7.07 for moderate, and 7.24 for egalitarian gender attitudes. Table 5 contains the results of T-test pairwise comparisons with Scheffé's post hoc method. Based on the results, we

³ In accordance with the 33rd, 66th and 100th percentiles.

can see that there is a significant difference in mean life satisfaction between all the groups. People who adhere to egalitarian gender attitudes are the most satisfied with life; people with moderate gender attitudes follow them in the list; and the least satisfied with life are people who hold traditional gender attitudes. At the same time, the magnitude of these differences is modest: the gap between the most and least satisfied groups is only 0.25 points on a 1—10 scale. The nonlinearity is therefore statistically present but substantively small, a qualification we carry into the interpretation below.

Table 5. *Pairwise comparison of mean levels of life satisfaction for three IGAI groups*

Pair	Difference	CI
IGAI (moder.) — IGAI (trad.)	0.08**	0.02—0.14
IGAI (egal.) — IGAI (trad.)	0.25***	0.19—0.32
IGAI (egal.) — IGAI (moder.)	0.17***	0.12—0.22

*** $p < 0.001$; ** $p < 0.01$; * $p < 0.05$; ~ $p < 0.1$

To complete our analysis, we ran a multilevel regression that includes categorical IGAI. Table 6 provides results for multilevel regression analysis. People who hold traditional gender attitudes were used as a reference category. Model 8, which includes a random slope, tells us that there is no significant difference between people who hold traditional gender attitudes and other groups in terms of their life satisfaction.

When it comes to societal gender attitudes, Model 9 provides support for the assumption that there is a positive link between societal gender attitudes and life. It means that, on average, the more egalitarian the country, the higher the level of life satisfaction, which supports our *second hypothesis*.

The interaction of GII and moderate IGAI is negative, meaning that, compared to people with traditional gender attitudes, the higher the gender inequality the lower life satisfaction for people who hold moderate gender attitudes. The second interaction (IGAI (egal.) $\times$ GII) shares the same pattern, but both interactions of GII and IGAI groups are insignificant. At the same time, Model 10 tells us that, on average, having egalitarian gender attitudes on the individual level promotes higher life satisfaction. Substantially, it means that people with egalitarian gender attitudes living in the most gender-equal countries experience higher life satisfaction than people who adhere to traditional gender attitudes.

Once individual attitudes are treated as categories, the moderating role of societal attitudes becomes visible. Model 11 supports H4. The hypothesis implies a stronger positive effect of more egalitarian societal gender attitudes on the link between individual gender attitudes and life satisfaction. We can see that, compared to people with traditional gender attitudes, more egalitarian SGAI promotes higher life satisfaction for people with moderate gender attitudes and for people with egalitarian gender attitudes. Therefore, we can see that our *fourth hypothesis* which tests the person-culture fit was supported. Moreover, compared to people with traditional gender attitudes, holding moderate gender attitudes lowers one's life satisfaction, which means that in a very traditional context, people who hold traditional gender attitudes are more satisfied with life compared to the ones who have moderate gender attitudes.

Table 6. *Multilevel models for IGAI as categories*

Regressors	Model 0 (The null model)	Model 8 (Individual level)	Model 9 (Country level)	Model 10 (Cross-level interaction — GII)	Model 11 (Cross-level interaction — SGAI)
Individual-level regressors					
(Intercept)	0.67***	0.53***	0.47***	0.54***	0.51***
IGAI (trad.)		Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
IGAI (moder.)		0.00	0.00	0.00	−0.02~
IGAI (egal.)		0.01	0.01	0.03*	−0.02
Age		0.02**	0.01**	0.02**	0.01**
Female		0.00~	0.00~	0.00~	0.00~
Marital status (not single)		0.03***	0.03***	0.03***	0.03***
Higher education		0.00~	0.00~	0.00~	0.00~
Employed		0.00	0.00	0.00	0.00
Scale of incomes (subjective)		0.21***	0.21***	0.21***	0.21***
Country-level regressors					
GII				−0.02	
SGAI			0.11*		0.03
Interaction effects					
IGAI (moder.) × GII				−0.02	
IGAI (egal.) × GII				−0.04	
IGAI (moder.) × SGAI					0.06*
IGAI (egal.) × SGAI					0.07~
N groups	55	55	55	55	55
Observations	72 153	72 153	72 153	72 153	72 153
R2cond	12.8%	20%	21%	20.5%	20.3%

Note: all models control for religious denomination. *** $p < 0.001$; ** $p < 0.01$; * $p < 0.05$; ~ $p < 0.1$.

Conclusion

This study attempts to understand whether adherence to egalitarian gender attitudes affects subjective well-being more positively than adherence to traditional gender attitudes. The special value of this study lies in the fact that it covers a wide range of countries and does not focus on predominantly Western countries.

The *first hypothesis* was supported: on average, more egalitarian individual gender attitudes are associated with higher life satisfaction. Our *second hypothesis* was corroborated as well. The more egalitarian the society, the higher satisfaction with life. Therefore, we found two significant predictors of life satisfaction that relate to gender attitudes.

In this paper, we have also tried to contribute to the person-culture fit theory. Thus, we tested moderating effects of two contextual (societal) variables — the level of gender inequality in a country and societal gender attitudes. The idea was that if individu-

al characteristics, i. e., gender attitudes, align with a country's level of gender inequality or with its prevailing societal gender attitudes, the association between individual gender attitudes and life satisfaction should be strengthened. When individual gender attitudes diverge from the surrounding normative context, our results point to a weakening of this association: the positive effect of egalitarian attitudes on life satisfaction becomes smaller and, in some contexts, statistically indistinguishable from zero. At the same time, we do not observe a robust pattern of clearly negative effects, so the data support a loss of life satisfaction benefit under person — culture misfit rather than a systematic well-being disadvantage.

The *third hypothesis* was confirmed as well. Higher gender inequality is associated with a weaker positive link between egalitarian individual gender attitudes and life satisfaction. These results are readily interpretable. In countries with a high level of gender inequality, the dissonance between individual (egalitarian) gender attitudes and the real situation in the country regarding gender (in)equality contributes to a lower level of life satisfaction.

Finally, support for the fourth hypothesis is conditional on specification. No moderating effect of societal gender attitudes appears in the linear model, but once individual attitudes are modeled as categories (traditional, moderate, egalitarian) the predicted moderation emerges, which is consistent with the small but significant nonlinearity in the individual-level relationship. Compared to people that hold traditional gender attitudes, adhering to moderate gender attitudes promotes higher life satisfaction in more gender egalitarian societies.

These results hold independently of a country's level of economic development: adding GDP per capita leaves the attitudinal relationships unchanged, while GDP itself carries no net association with individual life satisfaction. Rather than contradicting the established income — well-being link [Deaton, 2008; Diener, Diener, 1995], this points to the indirect way affluence operates. Following modernization theory, sustained economic development fosters the egalitarian value climate that, in our models, is captured by societal gender attitudes; once that climate is accounted for, little independent variance is left for income to explain [Inglehart, Welzel, 2005]. The contribution of affluence to well-being thus appears to run through the value orientations it cultivates rather than through income directly.

Taking these results into consideration, we believe that we contributed to the literature on the person-culture fit [Oishi, Gilbert, 2016; Schwartz, Sortheix, 2018]. We found evidence that the relationship between the individual and the culture might not only strengthen the positive effect on life satisfaction but also change the direction of the link.

Limitations

One of the most fundamental limitations of this research is the lack of a universal tool to measure how traditional or egalitarian gender attitudes are. Gender attitudes and their scaling is a non-universal concept, boundaries of which are not defined properly and not understood similarly by representatives of different cultures. For example, the statement: “Being a housewife is just as fulfilling as working for pay” might be interpreted from various perspectives, depending on a historical, political, and so-

cial context. It might be a statement supported by the feminists of the second wave, who claimed that traditionally women's labor is as important as traditionally men's. Simultaneously, someone, who believes that it is the only activity that a woman is capable of, would also agree with this statement. In this light, does the level of agreement indicate a more egalitarian attitude or not? The question remains open, and the answer is conditional.

Conceptually and methodologically, it is necessary to develop a universal definition of gender attitudes, organized according to the principle of division into different domains that would reflect the main aspects of the concept. A common, shared, conceptual framework is needed. For example, the conviction that women should have the same rights to work as men may reflect not adherence to egalitarian values but a cultural context in which a woman should not only fulfill the traditional role of "housekeeper", but also that of a worker, because of a difficult economic situation. What we, as researchers, understand as an example of egalitarian gender attitudes can be interpreted by representatives of diverse cultures in a completely different, or even opposite, way.

We see two ways to find an answer to this challenge: (1) a detailed cross-cultural comparative research for universal concepts using quantitative methodology; (2) a series of nuanced studies of individual cultures using qualitative methodology. It is likely that to achieve the first, a critical mass of the second is needed, especially when we consider countries that remain outside the framework of conventional mainstream studies (Africa, Asia, South America, MENA region).

A further limitation concerns causal direction. Because our data are cross-sectional and both the dependent and the key independent variable are subjective, we cannot rule out reverse or reciprocal effects: more satisfied individuals may be more receptive to egalitarian attitudes, just as egalitarian attitudes may raise satisfaction. We have argued on substantive grounds for treating attitudes as prior, since they belong to comparatively stable value orientations [Inglehart, Welzel, 2005], but this remains an assumption. Disentangling the direction would require longitudinal data and a design suited to reverse causality, such as a cross-lagged panel model with fixed effects [Leszczensky, Wolbring, 2022]. The same caveat applies to the interplay of economic development, life satisfaction, and gender attitudes, which we treat as associational throughout.

References

1. Bergh J. (2006) Gender Attitudes and Modernization Processes. *International Journal of Public Opinion Research*. Vol. 19. No. 1. P. 5—23. <https://doi.org/10.1093/ijpor/edl004>.
2. Chang W. C. (2011) Identity, Gender, and Subjective Well-Being. *Review of Social Economy*. Vol. 69. No. 1. P. 97—121. <https://doi.org/10.1080/00346760902756495>.
3. Cheung G. W., Rensvold R. B. (2002) Evaluating Goodness-of-Fit Indexes for Testing Measurement Invariance. *Structural Equation Modeling*. Vol. 9. No. 2. P. 233—255. https://doi.org/10.1207/S15328007SEM0902_5.

4. Deaton A. (2008) Income, Health, and Well-Being Around the World: Evidence from the Gallup World Poll. *Journal of Economic Perspectives*. Vol. 22. No. 2. P. 53—72. <https://doi.org/10.1257/jep.22.2.53>
5. Diener E., Diener C. (1995) The Wealth of Nations Revisited: Income and Quality of Life. *Social Indicators Research*. Vol. 36. No. 3. P. 275—286. <https://doi.org/10.1007/bf01078817>.
6. Diener E., Oishi S., Tay L. (2018) Advances in Subjective Well-Being Research. *Nature Human Behaviour*. Vol. 2. No. 4. P. 253—260. <https://doi.org/10.1038/s41562-018-0307-6>.
7. Diener E., Ryan K. (2009) Subjective Well-Being: A General Overview. *South African Journal of Psychology*. Vol. 39. No. 4. P. 391—406. <https://doi.org/10.1177/008124630903900402>.
8. Fujita F., Diener E., Sandvik E. (1991) Gender Differences in Negative Affect and Well-Being: The Case for Emotional Intensity. *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 61. No. 3. P. 427—434. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.61.3.427>.
9. Hanel P.H. P., Wolfradt U., Wolf L. J., Coelho G. L. de H., Maio G. R. (2020) Well-Being as a Function of Person-Country Fit in Human Values. *Nature Communications*. Vol. 11. Art. 5150. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-18831-9>.
10. Haring M. J., Stock W. A., Okun M. A. (1984) A Research Synthesis of Gender and Social Class as Correlates of Subjective Well-Being. *Human Relations*. Vol. 37. No. 8. P. 645—657. <https://doi.org/10.1177/001872678403700805>.
11. Horrell K. E., Lewis Hall M. E., Anderson T. L., Lee G. (2022) Gender Role Ideologies, Marital Satisfaction, and Eudaimonic Well-Being in Evangelical Women. *Journal of Psychology and Theology*. Vol. 50. No. 3. P. 193—209. <https://doi.org/10.1177/00916471211011598>.
12. Hori M., Kamo Y. (2018) Gender Differences in Happiness: The Effects of Marriage, Social Roles, and Social Support in East Asia. *Applied Research in Quality of Life*. Vol. 13. No. 4. P. 839—857. <https://doi.org/10.1007/s11482-017-9559-y>.
13. Inglehart R. (2002) Gender, Aging, and Subjective Well-Being. *International Journal of Comparative Sociology*. Vol. 43. No. 3—5. P. 391—408. <https://doi.org/10.1177/002071520204300309>.
14. Inglehart R., Welzel C. (2005) *Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence*. New York, NY: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511790881>.
15. Leitgöb H., Seddig D., Asparouhov T., Behr D., Davidov E., De Roover K., Jak S., Meitinger K., Menold N., Muthén B., Rudnev M., Schmidt P., van de Schoot R. (2023) Measurement Invariance in the Social Sciences: Historical Development, Methodological Challenges, State of the Art, and Future Perspectives. *Social Science Research*. Vol. 110. Art. 102805. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2022.102805>.

16. Leszczensky L., Wolbring T. (2022) How to Deal with Reverse Causality Using Panel Data? Recommendations for Researchers Based on a Simulation Study. *Sociological Methods & Research*. Vol. 51. No. 2. P. 837—865. <https://doi.org/10.1177/0049124119882473>.
17. Mencarini L., Sironi M. (2012) Happiness, Housework and Gender Inequality in Europe. *European Sociological Review*. Vol. 28. No. 2. P. 203—219. <https://doi.org/10.1093/esr/jcq059>.
18. Oishi S., Gilbert E. A. (2016) Current and Future Directions in Culture and Happiness Research. *Current Opinion in Psychology*. Vol. 8. P. 54—58. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2015.10.005>.
19. Schwartz S. H., Sortheix F. M. (2018) Values and Subjective Well-Being. In: Diener E., Oishi S., Tay L. (eds.) *Handbook of Well-Being*. Salt Lake City, UT: DEF Publishers. P. 1—25.
20. Sortheix F. M., Schwartz S. H. (2017) Values That Underlie and Undermine Well-Being: Variability Across Countries. *European Journal of Personality*. Vol. 31. No. 2. P. 187—201. <https://doi.org/10.1002/per.2096>.
21. Stavrova O., Fetchenhauer D., Schlösser T. (2012) Cohabitation, Gender, and Happiness: A Cross-Cultural Study in Thirty Countries. *Journal of Cross-Cultural Psychology*. Vol. 43. No. 7. P. 1063—1081. <https://doi.org/10.1177/0022022111419030>.
22. Tesch-Römer C., Motel-Klingebiel A., Tomasik M. J. (2008) Gender Differences in Subjective Well-Being: Comparing Societies with Respect to Gender Equality. *Social Indicators Research*. Vol. 85. No. 2. P. 329—349. <https://doi.org/10.1007/s11205-007-9133-3>.
23. Treas J., van der Lippe T., Tai T. O. C. (2011) The Happy Homemaker? Married Women's Well-Being in Cross-National Perspective. *Social Forces*. Vol. 90. No. 1. P. 111—132. <https://doi.org/10.1093/sf/90.1.111>.
24. van de Vijver F. J. R. (2007) Cultural and Gender Differences in Gender-Role Beliefs, Sharing Household Task and Child-Care Responsibilities, and Well-Being Among Immigrants and Majority Members in The Netherlands. *Sex Roles*. Vol. 57. No. 11—12. P. 813—824. <https://doi.org/10.1007/s11199-007-9316-z>.
25. World Economic Forum (2021) Global Gender Gap Report 2021. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf (date of access: 20.06.2026).

DOI: [10.14515/monitoring.2026.4.3090](https://doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3090)



Т. П. Емельянова, С. В. Тарасов

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 1990-Х ГОДОВ В РОССИИ: КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ И «ЭФФЕКТ ПОЛЛИАННЫ»

Правильная ссылка на статью:

Емельянова Т. П., Тарасов С. В. Эмоциональная оценка 1990-х годов в России: коллективная память поколений и «эффект Поллианны» // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2026. № 4. С. 25—49. <https://www.doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3090>.

For citation:

Emelyanova T. P., Tarasov S. V. (2026) Emotional Evaluation of the 1990s in Russia: Generational Collective Memory and the Pollyanna Effect. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 25—49. <https://www.doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3090>. (In Russ.)

Получено: 18.08.2025. Принято к публикации: 07.04.2026.

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 1990-Х ГОДОВ
В РОССИИ: КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ ПОКО-
ЛЕНИЙ И «ЭФФЕКТ ПОЛЛИАННЫ»EMOTIONAL EVALUATION OF THE 1990S IN
RUSSIA: GENERATIONAL COLLECTIVE MEM-
ORY AND THE POLLYANNA EFFECT

ЕМЕЛЬЯНОВА Татьяна Петровна — доктор психологических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории социальной и экономической психологии, Институт психологии Российской академии наук, Москва, Россия; ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Мультидисциплинарные исследования текста» Института филологии и межкультурной коммуникации, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
E-MAIL: t_emelyanova@inbox.ru
<https://orcid.org/0000-0002-0458-7705>

Tatyana P. EMELYANOVA^{1,2} — Dr. Sci. (Psych.), Professor, Chief Research Fellow at the Laboratory of Social and Economic Psychology; Leading Research Fellow at the 'Multidisciplinary Text Research' Laboratory at the Institute of Philology and Intercultural Communication
E-MAIL: t_emelyanova@inbox.ru
<https://orcid.org/0000-0002-0458-7705>

ТАРАСОВ Семён Васильевич — кандидат психологических наук, научный сотрудник лаборатории социальной и экономической психологии, Институт психологии Российской академии наук, Москва, Россия; младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Мультидисциплинарные исследования текста» Института филологии и межкультурной коммуникации, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
E-MAIL: tarasovsemv@ipran.ru
<https://orcid.org/0000-0001-8790-7219>

Semyon V. TARASOV^{1,2} — Cand. Sci. (Psych.), Research Fellow at the Laboratory of Social and Economic Psychology; Junior Research Fellow at the 'Multidisciplinary Text Research' Laboratory at the Institute of Philology and Intercultural Communication
E-MAIL: tarasovsemv@ipran.ru
<https://orcid.org/0000-0001-8790-7219>

¹ Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

² Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

Аннотация. Исследование направлено на анализ актуальных и реконструируемых эмоциональных оценок периода 1990-х годов у представителей двух поколений — бэби-бумеров, 1947—1967 гг. р.) и поколения X (1968—1981 гг. р.), — а также вклада социально-психологических и психоэмоциональных характеристик в эти оценки. Проверилось предположение о различиях психологических механизмов, обуславливающих выраженность актуальных и реконструируемых эмоциональных оценок 1990-х годов, а также о проявлении у более молодого по-

Abstract. This study aims to analyse current and reconstructed emotional assessments of the 1990s amongst members of two generations (Baby-boomers (born in 1947–1967) and Generation X (1968–1981)), as well as the contribution of socio-psychological and psycho-emotional characteristics to these assessments. Tests were conducted to verify the hypothesis regarding differences in the psychological mechanisms underlying the intensity of current and reconstructed emotional assessments of the 1990s, as well as the manifestation of the 'Pollyanna effect' (tendency for

коления (X) «эффекта Поллианны» (склонности отдавать предпочтение позитивной информации, оценивая настоящее, воспоминания о прошлом и ожидания в отношении будущего). В исследовании приняли участие 677 человек в возрасте от 50 до 77 лет (322 представителя поколения X, 355 — бэби-бумеров). Использовались шкала позитивного и негативного аффекта (ШПАНА, в адаптации Е. Н. Осина), опросник эмоциональной регуляции Дж. Гросса (в адаптации А. А. Панкратовой и Д. С. Корниенко), шкала диагностики депрессивного и тревожного состояния PHQ-4 (в адаптации А. А. Золотаревой и коллег), шкалы гражданской идентичности и социального оптимизма Т. А. Нестика, методика оценки коллективных эмоций. Данные анализировались с помощью дескриптивной статистики, критерия t-Стюдента и путевого анализа. Результаты показали наличие частичного «эффекта Поллианны», выражающегося в меньшей интенсивности негативных эмоций в актуальных оценках у представителей обоих поколений, однако без выраженного доминирования позитивных переживаний. Бэби-бумеры чуть чаще, чем представители поколения X, прибегают к подавлению экспрессии, демонстрируют более высокий уровень гражданской идентичности и выше оценивают чувство несправедливости при реконструкции эмоций прошлого. Анализ показал измерительную и структурную инвариантность путевой модели для поколения X и поколения бэби-бумеров. Основными предикторами как реконструируемых, так и актуальных эмоциональных оценок 1990-х годов в обеих возрастных группах выступают социальный оптимизм, гражданская идентичность и негативный аффект в настоящем. Социальный оптимизм и когнитивная переоценка выполняют защитную функцию по отношению к психоэмоциональному состоянию общества и его образам прошлого. Подавление экспрессии, в свою очередь, связа-

people to favour positive information, manifested in assessments of the present, memories of the past and expectations regarding the future). The study involved 677 participants aged between 50 and 77 (322 from Generation X and 355 baby boomers). The following instruments were used: the Positive and Negative Affect Scale (PANAS, adapted by E. N. Osin), J. Gross's Emotional Regulation Questionnaire (adapted by A. A. Pankratova, D. S. Kornienko), the PHQ-4 scale for diagnosing depressive and anxiety states (adapted by A. A. Zolotareva and colleagues), T. A. Nestik's scales of civic identity and social optimism, and a method for assessing collective emotions. The data were analysed using descriptive statistics, the Student's t-test and path analysis. The results revealed the presence of a partial 'Pollyanna Effect', manifested in a lower intensity of negative emotions in the current assessments of members of both generations, though without a marked predominance of positive emotions. Baby-boomers are slightly more likely than Generation X to suppress their emotional expression, demonstrate a higher level of civic identity, and rate feelings of injustice more highly when reconstructing past emotions. The analysis revealed measurement and structural invariance of the path model for both Generation X and the baby-boomer generation. The main predictors of both reconstructed and current emotional assessments of the 1990s in both age groups are social optimism, civic identity, and negative affect in the present. Social optimism and cognitive reappraisal serve a protective function in relation to society's psycho-emotional state and its perceptions of the past. Suppressed emotional expression, in turn, is associated with a higher level of depressive symptoms. Furthermore, a consistent negative correlation was found in both groups between moral emotions (guilt and shame) and a sense of injustice, which may reflect the operation of psychological defense mechanisms, including resentment.

но с более высоким уровнем выраженности депрессивного состояния. Также в обеих группах обнаружена устойчивая отрицательная связь моральных эмоций (вины и стыда) с чувством несправедливости, которая может отражать действие защитных психологических механизмов, в том числе ресентимента. Исследование подчеркивает роль актуального эмоционального состояния в формировании оценок прошлого и необходимость расширения системы факторов актуализации коллективной памяти в дальнейших исследованиях.

Ключевые слова: коллективная травма, поколение, коллективные эмоции, коллективная память, эффект Поллианны, идентичность, социальный оптимизм

Благодарность. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ), проект № 24-18-00570, <https://rscf.ru/project/24-18-00570/>.

The study highlights the role of current emotional state in shaping assessments of the past and the need to expand the range of factors influencing the activation of collective memory in future research.

Keywords: collective trauma, generation, collective emotions, collective memory, Pollyanna principle, identity, social optimism

Acknowledgments. The study was supported by the Russian Science Foundation (RSF), Project № 24-18-00570, <https://rscf.ru/project/24-18-00570/>.

Введение

1990-е годы в России представляют собой уникальный социально-исторический период, противоречивые интерпретации которого продолжают влиять на политический дискурс и инспирировать аналитические исследования (например, [Беляева, Ракова, 2025]). Глубокие общественные трансформации, связанные с радикальной перестройкой политико-экономического уклада государства [там же: 32], повлекли за собой сохраняющуюся до настоящего времени поляризацию оценок произошедших перемен. О том, что эмоционально окрашенные воспоминания не остаются неизменными на протяжении времени, свидетельствуют многочисленные исследования [Levine et al., 2021; Samide, Ritchey, 2021; Schacter, Greene, Murphy, 2023; Schmidt et al., 2021 и др.]. Так, в памяти о политических событиях, вызвавших в свое время яркий эмоциональный отклик, «актуальные негативные эмоции полностью опосредовали связь между текущими оценками и воспоминаниями о негативных эмоциях» [Schmidt et al., 2021: 819]. Авторы утверждают, что таким образом воздействие на актуальные эмоции людей в настоящем делает возможным «переписывание» прошлого [ibid.: 824]. В другом исследовании было обнаружено, что, «когда люди вспоминали прошлые обиды в контексте текущих негативных чувств, они переоценивали степень своего гнева», и это может запустить «разрушительный цикл политической поляризации» [Levine et al., 2021: 48].

Можно предполагать, что существуют актуальные факторы социально-психологического плана, которые воздействуют на оценку событий прошлого. Настоящее исследование ставит вопросы не только о вариативности эмоциональных оценок прошлого, но и о роли различных динамических факторов — стратегий эмоциональной саморегуляции (когнитивная переоценка, подавление экспрессии), уровня гражданской идентичности и социального оптимизма. Особое значение имеет то, как текущий аффект — тревога, депрессия, восприятие нестабильности — «фильтрует» ретроспективные суждения и оценки. Практические следствия этой работы могут иметь значение для прогнозирования общественной консолидации или поляризации социальных групп: память о критических периодах способна как мобилизовать общество, так и углубить социальное размежевание. При этом уникальность российской ситуации заключается в потенциальном наложении прошлых травм на актуальные вызовы (например, геополитические конфликты, санкционное давление), что может трансформировать известные эффекты памяти.

Коллективная память: травма, поколения и эмоции

Коллективная память играет огромную роль в жизни общества — она способна спланировать людей и обеспечивать общественную солидарность, но может оказаться и причиной раскола общественного мнения и даже «войн памяти». Факторами, определяющими коллективные воспоминания о социально значимых исторических событиях, являются актуальное эмоциональное состояние людей, институционально обусловленные трактовки события, принадлежность к различным группам общества (например, профессиональным, национальным группам), играют роль политические установки, уровень образования людей и др. [Емельянова, 2019].

Конец XX века был важным периодом для российского общества. Оценки событий и обстоятельств жизни в 1990-х годах до сих пор остаются противоречивыми. В исследовании Левада-Центра¹ «Что Вы могли бы сказать о своем настроении в последние дни?», проводимом с 1993 г., можно увидеть, что все 1990-е годы оценки происходившего делили общество почти пополам: переживание прекрасного и нормального настроения отмечали в среднем 40,6% опрошенных, а напряжение, раздражение, страх и тоску испытывали 50,7%². Расхожая квалификация этого времени как «лихие девяностые» намекает на разгул стихии в общественной жизни, которая создала серьезные проблемы большей части населения.

В политологических исследованиях начала 2000-х годов доказывалось, что в стране, где долгие годы отсутствовали (и даже преследовались) частная инициатива и свободное волеизъявление, идеология демократии только небольшой частью населения была воспринята позитивно [Пантин, 2003]. Ни руководству страны, ни либеральной интеллигенции не удалось подготовить почву для позитивного восприятия перестройки, для примирения с ее неизбежными издержками. В дальнейшем приватизация, распад СССР, фактическая конфиска-

¹ Внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.

² Общественные настроения: октябрь 2023 года // Левада-Центр. 2023. 14 ноября. URL: <https://www.levada.ru/2023/11/14/obshhestvennye-nastroeniya-oktyabr-2023-goda/> (дата обращения: 21.08.2025 (материал создан и распространен российским юридическим лицом, признанным выполняющим функции иностранного агента))

ция сбережений граждан в ходе денежных реформ усугубили ситуацию, придав ей травматичный характер.

Данные эмпирического исследования социальных представлений о демократии свидетельствуют, что наблюдалась подмена политического смысла категории «демократия» экономическими категориями («дикий рынок», «коррупционный беспредел»), а также когнитивная бедность и внутренняя противоречивость содержания социальных представлений о демократии. Были обнаружены такие взаимоисключающие представления, как «демократия — причина всех зол», «идеальная (хрестоматийная) демократия», «демократия как анархия», «демократия как миф», что свидетельствует о выраженной ментальной дезинтеграции общества [Емельянова, 2006].

К середине 1990-х перестройка в массовом сознании воспринималась населением как некое переходное состояние от «застойного благополучия» при Л. И. Брежнев к «рыночному беспределу» при Б. Н. Ельцине. Экономико-политическая ситуация в России 1990-х описывается концепцией культурной травматизации, разработанной П. Штомпкой. По определению автора, «травма появляется, когда происходит раскол, смещение, дезорганизация в упорядоченном, само собой разумеющемся мире» [Штомпка, 2001: 10]. Ситуация в России этого периода отличалась быстротой развития, радикальностью, «потрясением основ», ощущением «навязанности» сверху, непредсказуемостью, то есть основными признаками травмы по П. Штомпке [там же: 8].

Травматизация имела конкретные объективные показатели. По данным тех лет, «с 1988 г. началось снижение ожидаемой продолжительности жизни, и к 1994 г. она достигла 63,88 года, что является самым низким значением среди экономически развитых стран. При этом темп снижения был катастрофически высок: за 5 лет падение составило 5,84 года» [Шилова, 1999: 85]. 64 % населения России имели доход 4 доллара и менее на человека в день, что, согласно методике расчета Всемирного банка, означает порог абсолютной бедности.

Однако по прошествии лет эмоциональные реакции на политические события обычно теряют свою остроту, память на чувства подвержена ослаблению и искажению: «В той мере, в какой люди опираются на текущие знания, взгляды и опыт, отличающиеся от прошлых, их оценки интенсивности прошлых чувств будут неточными» [Kaplan et al., 2016: 311]. Одним из эффектов подобных искажений является «эффект Поллианны» — тенденция «приукрашивать» факты прошлого, который Т. А. Нестик рассматривает как «механизм защиты позитивной личностной и групповой идентичности» [Нестик, 2024]. В основе него, по мнению автора, лежат механизмы эмоциональной саморегуляции (когнитивная переоценка и подавление экспрессии), а также социальный оптимизм.

Этот феномен частично описан в работе М. К. Горшкова и В. В. Петухова при сопоставлении данных опросов ФОМ 1995 г. и ИКСИ РАН 2005 г. Как пишут авторы, ряд событий перестройки в 2005 г. россияне оценивали позитивнее, чем за десять лет до этого [Горшков, Петухов, 2005]. Выросла положительная оценка обретения гражданами права на свободное волеизъявление, включая право на участие в митингах и демонстрациях (с 46 % до 60 %). Существенно лучше россияне стали относиться к введению должности президента страны (соответствен-

но 33 % и 58 %). Также выросло число респондентов, отмечавших положительную роль частных предприятий в экономике (с 44 % до 61 %).

Проявляется ли этот феномен спустя более продолжительное время, должно показать настоящее исследование. Вероятно, изучаемый период лучше всего помнят два поколения современных россиян, поскольку они застали его либо в процессе становления взрослой жизни (студенты, молодые работники), либо в ее середине. К этим поколениям можно отнести бэби-бумеров и представителей поколения X. В выделении этих поколений мы опираемся на работы В. В. Радаева: при анализе данных групп он предложил некоторые дополнительные к классической теории поколений аспекты дифференциации данных когорт в российском обществе [Радаев, 2025]. Во-первых, возрастные границы поколений выделяются не только на основании года рождения, но также с учетом периода формативных лет (когда представители того или иного поколения вступают в период «взросления», 17—25 лет). Во-вторых, поколения определяются через привязку к политико-экономическим периодам в истории СССР/России [Радаев, 2018: 17—18]. Таким образом, в настоящем исследовании бэби-бумеры (поколение застоя, период рождения — 1947—1967 гг., период взросления — 1964—1984 гг.) — это те, чей пик профессиональной карьеры и ответственности за семью выпал на реформы 1990-х годов. Поколение X (реформенное поколение, период рождения — 1968—1981 гг., период взросления — 1985—1999 гг.) — те, кто встретил радикальные перемены на этапе личностного и профессионального становления, развиваясь параллельно формированию нового государства.

Проведенное ВЦИОМ в 1999 г. исследование показало, что судьба поколения бэби-бумеров полна сложностей и противоречий, связанных с политико-экономическими трансформациями конца XX века. В начале своей взрослой жизни оно испытало эйфорию эпохи «оттепели» и готово было активно участвовать в процессах либерализации и демократизации общества, период «застоя» породил апатию, угасание интереса к политической жизни страны. Затем иллюзия причастности к власти, возникшая в начале перестройки, сменилась разочарованием в результате перемен начала 1990-х годов [Левада, 2001]. Эти перепады политического фона, травматизация вследствие резких общественных трансформаций у многих представителей поколения бэби-бумеров породили усталость от перемен и равнодушно-созерцательное отношение к политике. Для представителей поколения X характерны установки на собственные силы и менее выраженный патернализм по сравнению с поколением бэби-бумеров. Сравнение их воспоминаний может пролить свет на то, являются ли социально-психологические особенности представителей поколений факторами конструирования коллективной памяти о травмировавших население событиях прошлого.

Объектом настоящего исследования выступает эмоциональная составляющая коллективной памяти российского общества о социально значимых исторических событиях 1990-х годов. Предметом изучения выступают реконструируемые (оценка с позиции памяти, ответ на вопрос «что вы чувствовали тогда?») и актуальные (оценка с позиции настоящего, ответ на вопрос «что вы чувствуете сегодня?») эмоциональные оценки 1990-х годов во взаимосвязи с социально-психологическими характеристиками двух поколений (бэби-бумеров и X). В соответствии с этим це-

лью исследования стал анализ вклада социально-психологических (социальный оптимизм, гражданская идентичность) и психоэмоциональных (эмоциональная саморегуляция, депрессивное и тревожное состояние, позитивный и негативный аффект) характеристик представителей двух поколений (бэби-бумеров и поколения X) в оценку ими своих актуальных и реконструируемых переживаний 1990-х годов. Основу работы составили предположения о том, что, во-первых, представители поколения X, в отличие от представителей поколения бэби-бумеров, будут более склонны демонстрировать «эффект Поллианны», то есть актуальные эмоциональные оценки 1990-х годов с позиций настоящего времени и происходящих событий будут позитивнее, чем оценки, реконструируемые по памяти. Во-вторых, структура связей социально-психологических и психоэмоциональных характеристик с актуальными и реконструируемыми эмоциями о 1990-х годах будет различна для поколений. Бэби-бумеры, вероятно, в большей степени, чем поколение X, опираются на эмоциональную саморегуляцию и гражданскую идентичность в эмоциональных оценках.

Метод

Выборка

Исследование проходило в августе — сентябре 2024 г., данные были собраны посредством онлайн-опроса на платформе «Анкетолог». В приглашении предоставлялась краткая информация о цели и методах исследования, критериях включения, обозначались условия участия (добровольность, анонимность и конфиденциальность). Перед заполнением анкеты участники давали информированное согласие на участие в исследовании. При желании участники могли получить индивидуальную обратную связь по электронной почте после полного завершения набора данных.

В исследовании приняли участие 677 человек в возрасте от 50 до 77 лет, поколения были выделены в соответствии с концепцией В. В. Радаева [Радаев, 2025]. Поколение X (реформенное поколение): 322 респондента (по 50 % мужчин и женщин), в возрасте от 50 до 56 лет, более половины имеют неполное или полное высшее образование (65,6 %); 24,2 % отметили, что проживают в городе с населением более 1 млн человек, 22,3 % проживают в Москве или Санкт-Петербурге; 78,9 % респондентов работают или являются работающим пенсионером, 21,1 % не работают, занимаются домашним хозяйством. Поколение бэби-бумеров, или поколение застоя: 355 респондентов (по 50 % мужчины и женщины), в возрасте от 57 до 77 лет, 75,3 % имеют неполное или полное высшее образование; 30,7 % проживают в Москве или Санкт-Петербурге, 19,2 % — в городе с населением более 1 млн человек; 48,2 % респондентов работают или являются работающим пенсионером, 51,8 % — не работают, занимаются домашним хозяйством.

Методики

Для изучения аффекта россиян в настоящем применялась краткая версия шкалы позитивного и негативного аффекта (PANAS), состоящая из 12 пунктов, оцениваемых по 5-балльной шкале [Осин, 2012]; для анализа эмоциональной регуляции мы применяли опросник «Стиль эмоциональной саморегуляции» Дж. Гросса

[Панкратова, Корниенко, 2017], включающий две шкалы — когнитивная экспрессия (6 пунктов) и подавление экспрессии (4 пункта), оцениваемые по семибалльной шкале; для изучения характеристик тревожного и депрессивного состояния применялась шкала PHQ-4, включающая два пункта для диагностики депрессивного состояния и два пункта для диагностики тревожного состояния, оцениваемые по четырехбалльной шкале [Золотарева и др., 2024]; с целью фиксации гражданской идентичности как привязанности к стране использована скрининговая шкала «Гражданская идентичность», включающая три пункта и оцениваемая по семибалльной шкале [Нестик, 2021а]; для анализа социального оптимизма использован опросник «Социальный оптимизм» Т.А. Нестика, включающий пять пунктов и оцениваемый по семибалльной шкале [Нестик, 2021б].

С целью изучения выраженности переживания актуальных и реконструируемых эмоций применялась авторская методика. Респондентам предлагалось ответить на ряд вопросов: «Постарайтесь вспомнить себя в 1990-е годы. Укажите, в какой степени в 1990-е годы Вы испытывали перечисленные эмоции по поводу того, что происходило тогда в России», «Укажите, в какой степени Вы испытываете перечисленные эмоции, когда сегодня думаете о периоде 1990-х годов в России». Перечень эмоций был взят из модели И. Роземан [Roseman, 2013] и представлял собой следующие 13 эмоций и чувств: страх, радость, печаль, надежда, гнев, отвращение, гордость, презрение, чувство вины, чувство стыда, ненависть, сострадание, чувство несправедливости. Оценка производилась по семибалльной шкале Ликерта, где 1 — совсем не испытываю (л/ла), а 7 — очень сильно испытываю (л/ла). С целью укрупнения эмоциональных оценок мы провели эксплораторный факторный анализ (метод максимального правдоподобия, вращение Варимакс). Результаты показали, что эмоциональные оценки в отношении ситуации в России в 1990-х годов объединяются в шесть факторов, объясняющих 70,2 % (для реконструируемых) и 81,5 % (для актуальных) дисперсии. В первый фактор «Эмоции отвержения и агрессии» вошли гнев, отвращение, презрение, ненависть; второй фактор, «Позитивные эмоции», образуют радость, надежда и гордость; третий фактор, «Эмоции избегания», включает страх и печаль; вина и стыд образуют четвертый фактор «Моральные эмоции». Чувство сострадания и чувство несправедливости представлены автономно. Полученные нами результаты соответствуют основным категориям политических эмоций, выявленным в других исследованиях [Redlawsk, Mattes, 2022], что частично подтверждает валидность методики. Также они были проверены конфирматорным факторным анализом на независимой выборке из 1022 человек³.

Проверка скалярной инвариантности основных методик исследования методом мультигруппового конфирматорного факторного анализа ($CFI > 0,95$; $RMSEA < 0,05$; $\Delta CFI < 0,01$; $\Delta RMSEA < 0,015$ [Chen, 2007]) подтвердила ее наличие, что позволяет сравнивать средние значения двух групп, полученные на основании использованного инструментария (см. табл. А [Приложения](#)).

³ Конфирматорный факторный анализ позволил подтвердить полученное ранее распределение факторов (реконструируемые эмоции о 1990-х годах — $\chi^2(17) = 56,3$; $p < 0,001$; $CFI = 0,996$; $TLI = 0,976$; $RMSEA = 0,04$; $SRMR = 0,03$ | актуальные эмоции о 1990-х годах — $\chi^2(17) = 47,1$; $p < 0,001$; $CFI = 0,998$; $TLI = 0,986$; $RMSEA = 0,04$; $SRMR = 0,03$). Пороговые значения коэффициентов указаны далее по тексту.

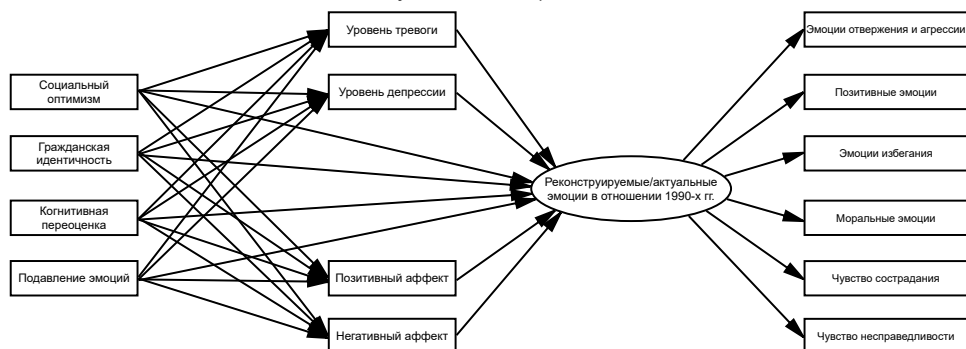
Анализ данных

Для обработки данных использовались программы Jamovi 2.7.23 и IBM SPSS Amos 22. На первом этапе были применены дескриптивная статистика — с целью описания мер центральной тенденции и мер разброса изучаемых переменных, — проверка распределения на нормальность, критерий t-Стьюдента ($p \leq 0,05$) — для анализа различий изучаемых переменных в двух поколениях россиян. На втором этапе для анализа вклада социально-психологических характеристик и актуального психоэмоционального состояния в реконструируемые и актуальные эмоциональные оценки 1990-х годов использовался путевой анализ (SEM) (оценка всех моделей осуществлялась с использованием стандартной статистики хи-квадрат (модель максимального правдоподобия), WLSMV) [Loehlin, Beaujean, 2017]. Выбор данного метода обусловлен тем, что в рамках него исследуются корреляции и ковариации заданной авторской модели (см. рис. 1). В отличие от традиционной регрессии, данный подход учитывает ошибки измерения и предоставляет индексы согласия модели с эмпирическими данными ($\chi^2(df)$, χ^2/df , $p < 0,05$; пороговые значения: CFI $> 0,95$; TLI $> 0,95$; RMSEA $< 0,05$; SRMR $\leq 0,08$; Pclose $> 0,4$)⁴ [Awang, 2015]. Тем самым путевой анализ позволяет проверять разные гипотезы о связях между независимыми и зависимой переменными (латентными переменными), оценить, насколько теоретически предполагаемая структура соответствует реальным данным [Lleras, 2005; Zainol et al., 2019]. Для анализа не прямых эффектов использовался метод бутстрапа (5000 репликаций выборки) как наиболее устойчивый к ненормальности распределений и рекомендуемый для медиационных моделей [Cheung, Lau, 2008; Hayes, 2018]. Непрямой эффект признавался значимым (или значимо различающимся между группами), если 95-процентный доверительный интервал не содержал нуля.

Построение самой путевой модели опирается на исследования коллективной памяти, а также исследований психоэмоционального состояния российского общества [Емельянова, 2019; Нестик, 2023, 2024]. Мы предположили, что эмоциональные оценки 1990-х годов образуют общую латентную переменную, описывающую сложность эмоциональных переживаний и, тем самым, некоторый образ того времени. Основной вклад в нее вносят актуальные психоэмоциональные состояния (депрессивное и тревожное состояние, позитивный и негативный аффект) и личностные характеристики, связанные с регуляцией эмоций и отражающие связь с гражданским обществом и видением его будущего. При этом личностные характеристики демонстрируют как прямой вклад в эмоциональную оценку, так и опосредованный, за счет медиации психоэмоциональным состоянием.

⁴ Здесь и далее: $\chi^2(df)$ — статистика хи-квадрат и количество степеней свободы; χ^2/df — отношение минимального значения хи-квадрат к числу степеней свободы; p — уровень значимости; CFI — сравнительный индекс соответствия Бентлера; TLI — индекс Такера — Лююиса; RMSEA — корень среднеквадратической ошибки аппроксимации; SRMR — стандартизированный корень среднеквадратического остатка; Pclose — p -value для проверки нулевой гипотезы о том, что RMSEA в генеральной совокупности $\leq 0,05$.

Рис. 1. Модель путевого анализа связей социально-психологических и психоэмоциональных характеристик с реконструируемыми и актуальными эмоциональными оценками 1990-х годов в двух поколениях россиян



Результаты исследования

На первом этапе был проведен анализ выраженности эмоциональных оценок 1990-х годов, которые давали представители двух поколений — X и бэби-бумеров (см. табл. 1). Стоит отметить их достаточно сходную конфигурацию: видна тенденция к более низкому уровню как позитивных, так и негативных эмоций при сравнении реконструируемых и актуальных эмоций о 1990-х годах. При этом не наблюдается предполагавшегося нами «эффекта Поллианны» (доминирования позитивных эмоций в актуальных переживаниях по сравнению с реконструируемыми). Мы можем зафиксировать лишь его частичное проявление — чуть меньшую выраженность негативных эмоциональных оценок того периода российской истории.

Таблица 1. **Описательные статистики и сравнительный анализ выраженности актуальных и реконструируемых эмоциональных оценок 1990-х годов у представителей поколения X и бэби-бумеров (ББ)**

Переменные	Поколение X		Поколение ББ		t	p	d
	M	SD	M	SD			
Реконструируемые эмоции о 1990-х годах							
Эмоции отвержения и агрессии	2,84	1,64	2,97	1,69	-0,950	0,342	-0,073
Позитивные эмоции	3,54	1,29	3,38	1,36	1,552	0,121	0,119
Эмоции избегания	3,74	1,70	3,74	1,63	-0,044	0,965	-0,003
Моральные эмоции	2,35	1,45	2,48	1,51	-1,131	0,259	-0,087
Чувство сострадания	3,80	1,70	3,74	1,64	0,379	0,705	-0,029
Чувство несправедливости	4,43	2,04	4,77	1,86	-2,227	0,023	-0,175
Актуальные эмоции о 1990-х годах							
Эмоции отвержения и агрессии	2,78	1,72	2,94	1,88	-1,175	0,240	-0,090
Позитивные эмоции	2,92	1,42	2,89	1,45	0,346	0,729	0,026
Эмоции избегания	3,30	1,63	3,34	1,60	-0,266	0,790	-0,020
Моральные эмоции	2,28	1,51	2,45	1,58	-1,409	0,159	-0,108
Чувство сострадания	3,35	1,80	3,35	1,71	0,035	0,972	0,002
Чувство несправедливости	4,33	1,96	4,39	1,94	-0,410	0,682	-0,031

Примечание. M — среднее, SD — стандартное отклонение, t — t-статистика Стьюдента, p — уровень значимости, d — размер эффекта; полужирным выделены значимые различия.

Сравнительный анализ поколений (t-Стьюдента, при $p \leq 0,05$) позволил выделить лишь одно статистически значимое различие эмоциональных оценок 1990-х годов между двумя поколениями россиян. Бэби-бумеры в реконструируемых эмоциональных оценках данного периода российской истории демонстрируют большую выраженность чувства несправедливости, чем представители поколения X. Вероятно, это связано с тем, что представители бэби-бумеров, успевшие укорениться в социально-экономической среде советского общества, были не только менее лабильны к изменениям, но также несли ответственность за свою семью и детей, что усиливало негативные переживания. Однако размер эффекта полученных различий довольно маленький, что требует проверки этого результата в последующих исследованиях и осторожного отношения при интерпретации.

Дополнить полученные различия реконструируемых и актуальных эмоциональных оценок 1990-х годов позволяют результаты анализа психоэмоциональных и социально-психологических характеристик представителей поколения X и поколения бэби-бумеров (см. табл. 2).

Таблица 2. Описательные статистики и сравнительный анализ выраженности психоэмоциональных и социально-психологических характеристик представителей поколения X и бэби-бумеров (ББ)

Переменные	Поколение X		Поколение ББ		t	p	d
	M	SD	M	SD			
Социальный оптимизм	4,62	1,68	4,73	1,64	-0,916	0,360	-0,070
Гражданская идентичность	5,21	1,44	5,5	1,45	-2,569	0,010	-0,197
Когнитивная переоценка	4,72	1,16	4,69	1,08	0,319	0,749	0,024
Подавление экспрессии	4,1	1,13	4,33	1,11	-2,650	0,008	-0,204
Депрессия	2,37	1,78	1,89	1,67	3,547	<0,001	0,273
Тревога	1,68	1,73	1,28	1,6	3,082	0,002	0,237
Позитивный аффект	2,76	0,9	2,69	0,84	1,146	0,252	0,088
Негативный аффект	2,3	1,04	2,16	0,99	1,777	0,076	0,136

Примечание. M — среднее, SD — стандартное отклонение, t-статистика Стьюдента, p — уровень значимости, d — размер эффекта; полужирным выделены значимые различия; полужирным выделены значимые различия.

Представители более молодого поколения (X), в отличие от бэби-бумеров, проживают актуальные события в своей жизни и жизни страны с несколько большим негативом. Они демонстрируют чуть более выраженное переживание депрессивных и тревожных состояний. Вероятно, это связано, с одной стороны, с наслоением кризисных ситуаций в их настоящей жизни (Covid-19, санкции, СВО и др.) [Нестик, 2023]; с другой стороны, в период «кризисных 90-х» они были молодежью, которая в разной степени получала помощь от своих родителей (бэби-бумеров) и проявляла живое сочувствие по отношению к происходящим событиям (построение новой России, открытие границ и прочее) и чуть позитивнее реагировала на изменения. На достаточно «благополучные», или, как их еще называют, «нефтяные», 2000-е годы пришлось их профессиональное развитие и становление, сопровождавшееся свободой, большим количеством альтернатив и возможностей. В свя-

зи с этим актуальный кризис, который они переживают уже как представители старшего возраста, стал для них крайне негативным событием. В то время как бэби-бумеры демонстрируют несколько большую выраженность гражданской идентичности и подавления экспрессии, что, вероятно, может быть связано с их уже сформированной ранее, например в 1990-е, системой восприятия кризисных ситуаций, которая включает в себя «холодную голову» и веру в то, что страна преодолевает любые кризисы, поэтому необходимо быть с ней. Однако размер эффекта полученных различий достаточно маленький, что требует проверки этих результатов в последующих исследованиях и осторожного отношения при интерпретации.

Далее был проведен путевой анализ для проверки предположения о различиях в структуре связей системы социально-психологических и психоэмоциональных характеристик с актуальными и реконструируемыми эмоциями по поводу 1990-х годов. Поскольку анализируются два поколения россиян, имеющие различия по изучаемым характеристикам, был проведен мультигрупповой анализ путевой модели для проверки ее соответствия в двух группах ($CFI > 0,95$; $RMSEA < 0,05$; $\Delta CFI < 0,01$; $\Delta RMSEA < 0,015$ [Chen, 2007]). Результаты (см. табл. 3) показали конфигуральную, метрическую, скалярную, структурную и строгую инвариантность модели, поэтому в дальнейшем можно рассматривать данную модель предикторов актуальных и реконструируемых переживаний относительно 1990-х годов как общую для россиян, относящихся к поколению X и поколению бэби-бумеров.

**Таблица 3. Статистики моделей по двум группам
(у представителей поколения X и поколения бэби-бумеров)
относительно переживания актуальных и реконструируемых эмоций о 1990-х годах**

Инвариантность	CFI	ΔCFI	RMSEA	$\Delta RMSEA$	Pclose	χ^2	df	p
<i>Реконструируемые эмоции относительно 1990-х годов</i>								
Конфигуральная	0,972	—	0,046	—	0,762	205,960	84	<0,001
Метрическая (равны факторные нагрузки)	0,971	0,001	0,046	0,000	0,791	216,294	89	<0,001
Скалярная (равны интерсепты)	0,970	0,001	0,042	0,004	0,962	245,268	103	<0,001
Структурная (равны коэффициенты)	0,965	0,005	0,041	0,001	0,974	288,482	118	<0,001
Строгая (равны остатки)	0,965	0,000	0,040	0,001	0,989	301,873	134	<0,001
<i>Актуальные эмоции относительно 1990-х годов</i>								
Конфигуральная	0,979	—	0,040	—	0,973	180,768	86	<0,001
Метрическая	0,979	0,000	0,039	0,001	0,989	183,750	91	<0,001
Скалярная	0,978	0,001	0,036	0,003	0,999	210,040	105	<0,001
Структурная	0,973	0,005	0,037	0,001	0,998	257,058	120	<0,001
Строгая	0,968	0,005	0,038	0,001	0,999	289,821	136	<0,001

Примечание. ΔCFI — разница сравнительного индекса соответствия между моделями; $\Delta RMSEA$ — разница корня среднеквадратической ошибки аппроксимации между моделями.

В отношении реконструируемых эмоций о 1990-х годах была получена статистически значимая для обоих поколений модель ($\chi^2(84) = 205,960$; $\chi^2/df = 2,452$; $p < 0,001$; CFI = 0,972; TLI = 0,939; SRMR = 0,065; RMSEA = 0,046; Pclose = 0,762). На основании анализа инвариантности было показано, что пути и регрессионные коэффициенты в группах сходны. Таким образом, для описания механизма выраженности реконструируемых оценок будет использоваться общая модель (см. рис. 2, табл. Б и В [Приложения](#)).

Как видно из модели, основными предикторами, объясняющими 19% и 14% дисперсии латентной переменной, реконструируемых эмоций в отношении 1990-х годов являются негативный аффект, социальный оптимизм, гражданская идентичность и подавление экспрессии. Социальный оптимизм, помимо этого, обуславливает уровень тревоги и депрессии россиян, позитивный и негативный аффект, выступая вероятно как механизм совладания, так как высокая выраженность оптимизма снижает негативные психоэмоциональные состояния. В уровень тревоги, депрессии, позитивный и негативный аффект вклад также вносят когнитивная переоценка и подавление экспрессии. При этом, если когнитивная переоценка демонстрирует роль механизма совладания с негативными эмоциональными состояниями, то подавление экспрессии, наоборот, способствует выраженности депрессии. В целом данный результат объясним тем, что «запрет» или «заглушение» эмоций не ведет к их проживанию, а переводит на уровень внутриличностных переживаний, что способствует переживанию угнетенного состояния [Gross, John, 2003].

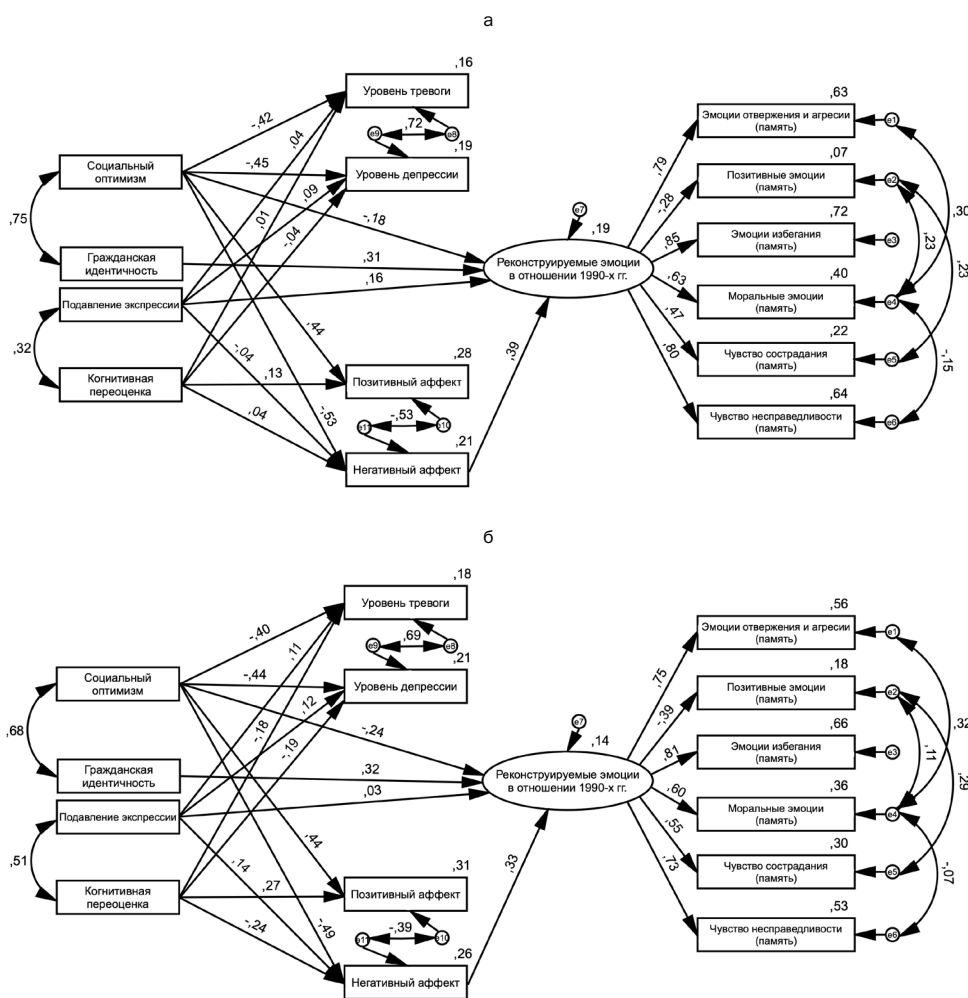
В плане вклада эмоций в латентную переменную стоит отметить преобладание негативных эмоциональных оценок, при этом даже не отвержения и агрессии (гнева, отвращения и т.д.), а эмоций избегания (страха и печали), при обратном вкладе позитивных. Вероятно, это демонстрирует тенденцию относиться к изучаемому периоду российской истории или так — осуждая, жить со страхом повторения, — или, наоборот, имея светлый образ того времени. Также относительно эмоций можно заметить, что центральным узлом ковариаций выступают моральные эмоции (вина и чувство стыда). Они связаны с эмоциями отвержения и агрессии, позитивными эмоциями и переживанием несправедливости. Позитивные эмоции, в свою очередь, связаны еще и с переживанием сострадания.

Проверка медиации психоэмоциональным состоянием связи личностных характеристик и актуальных эмоциональных оценок показала лишь один статистически значимый непрямой эффект — социальный оптимизм → негативный аффект → актуальные эмоции ($\beta = -0,160$; $SE = 0,031$; $p = 0,001$). Таким образом, социальный оптимизм как напрямую, так и через снижение негативного аффекта способствует снижению выраженности эмоций. Учитывая, что основу реконструируемых эмоций и образа 1990-х годов создают негативные и морально-нравственное переживания, оптимизм выступает в роли механизма защиты от «плохого».

Как видно на рисунке 2, регрессионные коэффициенты некоторых путей и ковариации остатков между моделями двух поколенческих групп россиян различаются. В связи с этим дополнительно была проведена проверка частичной неинвариантности на основании теста множителей Лагранжа (LM test) [Kline, 2023]. Согласно классическому подходу Б. Бирна и коллег [Byrne, Shavelson, Muthén, 1989], при

подтвержденной общей структурной инвариантности допустимо ослабление отдельных ограничений (путей) на основе значений индексов модификации ($LM > 3,84$; $p < 0,05$). Проведенный анализ выявил статистически значимые расхождения в ряде путей (т. е. их ослабление приводит к улучшению показателей, что говорит о статистически значимом различии в поколенческих группах). Так, в группе поколения X, в отличие от модели бэби-бумеров, значимый вклад в реконструируемые эмоции о 1990-х годах вносят подавление экспрессии и позитивный аффект. В свою очередь у бэби-бумеров более значима роль когнитивной переоценки как стратегии совладания с актуальной тревогой и негативным аффектом.

Рис. 2. Модель результатов путевого анализа связей социально-психологических и психоэмоциональных характеристик с реконструируемыми эмоциональными оценками 1990-х годов в двух поколениях россиян (а — поколение X, б — поколение бэби-бумеров)

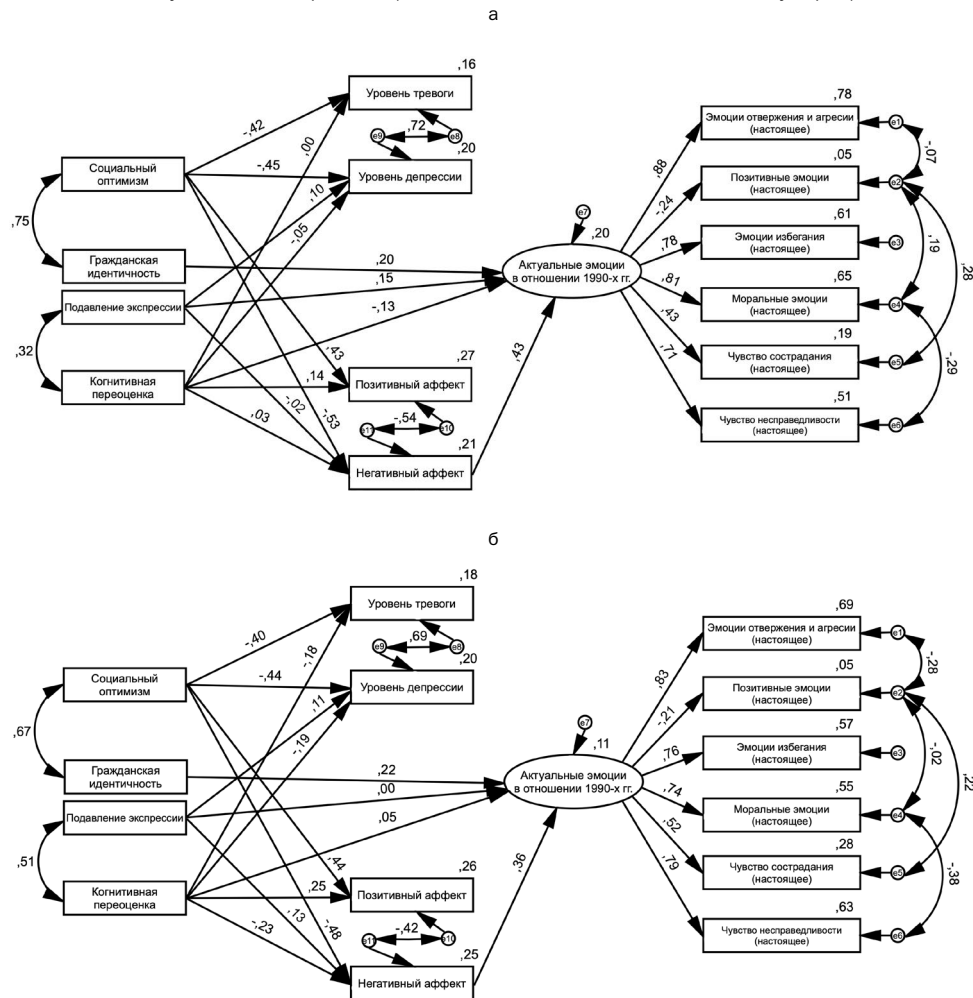


В отношении актуальных эмоций по поводу 1990-х годов, то есть оценок с позиций настоящего, а не с опорой на память, была также получена статистически значимая для обеих поколений модель ($\chi^2(86) = 180,768$; $\chi^2/df = 2,102$; $p = 0,000$; CFI = 0,979; TLI = 0,955; SRMR = 0,05; RMSEA = 0,04; Pclose = 0,973). В соответствии с результатами анализа инвариантности, как и в случае с моделью предикторов реконструируемых эмоций, будет использоваться общая модель (см. рис. 3, табл. Г и Д [Приложения](#)). В целом модель демонстрирует те же связи, что и представленная выше: основные предикторы эмоций, объясняющие 20 % и 11 % дисперсии (в разных группах), гражданская идентичность, подавление экспрессии и негативный аффект. Интересно, что социальный оптимизм не имеет в этой модели прямого эффекта. Однако так же как и в модели реконструируемых эмоций он демонстрирует непрямой эффект через негативный аффект ($\beta r = -0,179$; SE = 0,04; $p < 0,001$). Тем самым сохраняя свой статус «спасителя» от негативного образа прошлого, несмотря на позицию, с которой мы оцениваем, — из настоящего момента или пытаюсь вспомнить, что мы пережили в прошлом. Как и в модели реконструируемых эмоций, в данной модели социальный оптимизм обуславливает снижение выраженности негативных психоэмоциональных состояний (депрессии, тревоги, негативного аффекта) и способствует выраженности позитивного аффекта. Когнитивная переоценка выступает механизмом защиты от негативных эмоциональных состояний, а подавление экспрессии вносит вклад в выраженность уровня депрессии. Наблюдаемые различия относительно самих реконструируемых и актуальных эмоциональных оценок касаются вклада отдельных категорий эмоций в латентную переменную. С позиций настоящего больший вклад демонстрируют эмоции отвержения и агрессии (гнев, отвращение и др.), в то время как вклад эмоций избегания слегка снижается. Но при этом позитивные эмоции сохраняют свою оппозицию сложному негативно-нравственному эмоциональному образу 1990-х годов. Различие проявляется и в ковариационных связях эмоций. В данной модели центральным звеном выступают позитивные эмоции, связанные с эмоциями отвержения и агрессии, чувством сострадания и моральными эмоциями. Последние, в свою очередь, сохраняют связь с чувством несправедливости.

Касательно путевой модели актуальных эмоций в отношении 1990-х годов также был проведен анализ частичной инвариантности. Его результаты показали, что в группе представителей поколения бэби-бумеров более выражены связи когнитивной переоценки с тревогой, негативным аффектом и актуальными эмоциями о периоде 1990-х годов. В группе поколения X, в отличие от модели бэби-бумеров, значимый вклад в реконструируемые эмоции о 1990-х годах вносит подавление экспрессии. Это еще раз показывает тенденцию россиян разного возраста задействовать разные механизмы совладания с актуальными вызовами и их вклад в образ прошлого. Также было выявлено статистически значимое расхождение в ковариационной связи эмоций отвержения и агрессии в отношении 1990-х годов с позиций настоящего и позитивных эмоций, то есть в группе бэби-бумеров отношение между негативным и позитивным образом 1990-х годов с позиций настоящего более негативно, чем у поколения X. Вероятно, у более старшего поколения образ тех лет с позиций их сегодняшней жизни несколько четче делит-

ся на «черное» и «белое». Однако данные аспекты требуют дальнейшего развития исследований этой проблематики.

Рис. 3. Модель результатов путевого анализа связей социально-психологических и психоэмоциональных характеристик с актуальными эмоциональными оценками 1990-х годов в двух поколениях россиян (а — поколение X, б — поколение бэби-бумеров)



Обсуждение результатов

Оценка россиянами 1990-х годов отечественной истории подвержена воздействию многих факторов. Этот исторический отрезок оказался судьбоносным для общества: рыночные реформы, открытие российской экономики внешнему миру, либерализация цен, приватизация государственного и муниципального имущества, денежная реформа, либерализация валютного рынка и другие преобразо-

вания кардинально изменили жизнь государства. Переживавшие этот сложный период поколение бэби-бумеров и поколение X оказались в условиях сильнейшей социальной турбулентности. Как показывают исследования, их эмоции и оценки своего социального самочувствия в это десятилетие значительно менялись с годами [Горшков, Петухов, 2005; Емельянова, 2019].

Наше исследование позволило обнаружить некоторые факторы эмоциональной оценки событий 1990-х годов в разных группах российского общества.

Анализ предикторов выявил универсальную роль социального оптимизма для обоих поколений: его связь с меньшей депрессией, тревогой, негативным аффектом и большим позитивным аффектом подтверждает его значение как механизма совладания [Нестик, 2021б; 2023]. Когнитивная переоценка (фокусировка на позитиве) также способствовала меньшим психоэмоциональным переживаниям относительно настоящего у обеих групп. В то время как подавление экспрессии вносит вклад в уровень депрессии, что согласуется с классическими работами о саморегуляции эмоций [Gross, John, 2003]. При этом стоит отметить различия обращения разных возрастных групп к этим механизмам. Если для более молодого поколения X важную роль играет подавление экспрессии, что может быть обусловлено в целом их большей эмоциональной нагруженностью, то для поколения бэби-бумеров в рамках совладания с актуальными негативными психоэмоциональными состояниями ведущую роль играет когнитивная переоценка.

Интересной для дальнейшего анализа представляется выявленная отрицательная связь моральных эмоций (вины и чувства стыда) с чувством несправедливости: чем выше выраженность переживания несправедливости, тем ниже уровень вины и стыда, связываемых с событиями 1990-х годов. Эта связь статистически значима в обеих поколенческих группах применительно к актуальным эмоциональным оценкам, а также у поколения X применительно к реконструируемым эмоциональным оценкам, однако не достигает значимости у бэби-бумеров в отношении реконструируемых оценок. Подобная конфигурация связей может отражать не столько переживание вины перед прошлым, сколько ее психологическое избегание. Воспринимаемая несправедливость происшедшего может снижать готовность принимать моральную ответственность за собственную вовлеченность в события того времени, что согласуется с механизмом смещения (диффузии) моральной ответственности [Bandura, 1999]. Вместе с тем обнаруженный паттерн может быть частным проявлением более общего феномена ресентимента, то есть враждебности по отношению к воспринимаемому источнику собственных неудач при невозможности изменить свое положение [Фишман, 2024]. Настоящее исследование не позволяет установить, на каких именно агентов направлено данное переживание (страна, государство, политические или гражданские институты, собственное поколение или эпоха в целом), а также разграничить два предложенных объяснения, что составляет самостоятельную задачу для последующих исследований.

Также обращение к концепции ресентимента [Фишман, 2024] позволяет предположить, что его субъектом выступают не обязательно наиболее пострадавшие в объективном смысле группы, а прежде всего те, кто в результате произошедших перемен утратил ранее занимаемый социальный статус и связанные с ним

ценностные ориентиры, что в большей степени характерно для поколения бэби-бумеров, чья социализация и профессиональное становление пришлось на советский период. С этой точки зрения более высокая выраженность чувства несправедливости у бэби-бумеров при реконструкции эмоций о 1990-х годах (см. табл. 1) может отражать не столько непосредственное переживание материальных потерь, сколько отсроченную, опосредованную памятью реакцию на обесценивание прежнего социального положения. Проверка данного предположения требует привлечения дополнительных показателей, не включенных в настоящее исследование. Например, воспринимаемой статусной мобильности и референтных групп сравнения.

Вполне ожидаемым результатом является вклад гражданской идентичности в эмоциональные оценки 1990-х годов как в ретроспективе, так и с позиций актуальных событий: она может выполнять защитную функцию, формируя чувство общности, и напрямую связана с выраженностью социального оптимизма [Нестик, 2021б; 2023; 2024 и др.].

Заключение

Анализ механизмов актуализации следов коллективной памяти на эмоционально насыщенные события новейшей отечественной истории (1990-е годы) способствует пониманию того, как оценка прошлого может изменяться под влиянием актуальных эмоциональных и когнитивных ресурсов личности. Исследование показало, что структура связей социально-психологических и психоэмоциональных характеристик с эмоциональными оценками этого периода является в целом общей для поколения X и поколения бэби-бумеров. Универсальную защитную функцию в отношении актуального психоэмоционального состояния в обеих группах и применительно к обеим временным перспективам (реконструируемой и актуальной) выполняют социальный оптимизм и когнитивная переоценка. Обнаруженные немногочисленные различия между поколениями касаются не столько общей архитектуры модели предикторов, сколько силы отдельных связей и содержания эмоционального образа периода, что указывает на сочетание общих и специфичных для поколений механизмов актуализации коллективной памяти.

1990-е годы в целом сохраняют более травматичный характер для поколения бэби-бумеров, на долю которого пришлось основная тяжесть общественно-политического разлома страны и общества: «Как показывают и история, и современность, травма непреодолима, это теневая сторона развития цивилизации, которая несет в себе контрверзу блага и разрушения» [Касавина, 2025: 18]. При этом для представителей обоих поколений в целом характерно частичное сглаживание негативного образа прошлого при переходе от реконструируемых оценок к актуальным — снижение выраженности негативных эмоций без сопоставимого роста позитивных. Данный факт можно рассматривать как проявление защитной работы коллективной памяти. Обнаруженные различия между поколениями в выраженности отдельных психоэмоциональных характеристик характеризуются, однако, небольшими размерами эффекта и требуют осторожности при интерпретации и обобщении. Основными предикторами как реконструируемых, так и актуальных эмоциональных оценок 1990-х годов в обеих поколенческих группах вы-

ступают социальный оптимизм, гражданская идентичность и негативный аффект в настоящем, что подчеркивает роль текущего эмоционального состояния и связанности со страной в конструировании образа прошлого. Устойчивая отрицательная связь моральных эмоций (вины и стыда) с чувством несправедливости, наиболее выраженная применительно к актуальным оценкам обоих поколений, указывает на возможное действие разных механизмов психологической защиты от диффузии моральной ответственности до ресентимента. Однако данные аспекты требуют отдельной теоретической и эмпирической проработки. В целом полученные результаты свидетельствуют о высоком уровне переживания несправедливости, связанном с 1990-ми годами, что может оказывать негативное влияние на образ будущего и на уровень институционального доверия в настоящем.

Для дальнейшего изучения динамики памяти о 1990-х годах необходимо расширение системы исследуемых факторов (включая социально-экономические и политические характеристики), а также анализ продуктов деятельности, например материалов СМИ для сопоставления с социологическими и психологическими данными.

Ограничения

Несмотря на полученные значимые результаты, исследование имеет ряд ограничений, которые следует учитывать при интерпретации данных.

Во-первых, выборка исследования, сформированная методом онлайн-опроса, не является репрезентативной, она может быть подвержена влиянию самоотбора и недостаточно репрезентировать социально-демографические группы с низкой цифровой активностью, особенно среди старшего поколения.

Во-вторых, применяемый методический инструментарий, включая авторскую методику оценки эмоций, основан на самоотчетах, что может приводить к искажениям, связанным с социальной желательностью и ретроспективным смещением в оценке переживаний 30-летней давности [Андрееenkova, 2026].

В-третьих, важным ограничением настоящего исследования является его кросс-секционный дизайн. В условиях такого дизайна эффекты возраста (жизненного цикла), периода (исторического контекста) и когорты (поколения) оказываются неразделимыми. Это означает, что обнаруженные различия, а также некоторые тенденции и закономерности между представителями поколения X и бэби-бумеров могут быть обусловлены как поколенческими особенностями, так и возрастными различиями (например, различиями в жизненном опыте, семейном статусе, профессиональной зрелости). В связи с этим стоит относиться к выводам и интерпретировать их с осторожностью, как к отражающим некоторые различия между возрастными группами в конкретном контексте и конкретном временном периоде.

В-четвертых, исследование фокусируется преимущественно на социально-психологических факторах, оставляя за рамками анализа возможное влияние институциональных нарративов, медийного контекста и актуальных социально-экономических условий на реконструкцию коллективной памяти.

Полученные выводы отражают специфику восприятия исторического периода в современном российском обществе на ограниченной и смещенной выборке и требуют осторожности при попытках их экстраполяции на другие группы, куль-

турные или временные контексты. Указанные ограничения задают направления для будущих исследований, таких как лонгитюдные проекты, включение качественных методов и более широкого спектра социально-демографических и макро-социальных предикторов.

Список литературы (References)

1. Андрееenkova А. В. Исследуя социальные изменения — методологический и эмпирический анализ ретроспективных и лонгитюдных методов // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2026. № 1. С. 17—39. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2026.1.3145>.
Andreenkova A. V. (2026) Studying Social Change — Methodological and Empirical Analysis of Retrospective and Longitudinal Methods. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 1. P. 17—39. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2026.1.3145>. (In Russ.)
2. Беляева Л. А., Ракова К. В. Российское общество в 1990—2023 гг.: опыт эмпирической оценки социальной структуры, качества жизни и социально-психологического климата // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2025. № 1. С. 29—56. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2025.1.2658>.
Belyaeva L. A., Rakova K. V. (2025). Russian Society in 1990—2023: An Empirical Assessment of Social Structure, Life Quality, and Socio-Psychological Climate. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 1. P. 29—56. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2025.1.2658>. (In Russ.)
3. Горшков М. К., Петухов В. В. Перестройка глазами россиян: 20 лет спустя // Прорыв к свободе. О перестройке двадцать лет спустя (критический анализ). М.: Альпина Пабlishер, 2005. С. 362—400.
Gorshkov M. K., Petukhov V. V. (2005) Perestroika Through the Eyes of Russians: 20 Years Later. In: *Breakthrough to Freedom: On Perestroika Twenty Years Later (A Critical Analysis)*. Moscow: Alpina Publisher. P. 362—400. (In Russ.)
4. Емельянова Т. П. Конструирование социальных представлений в условиях трансформации российского общества. М.: Институт психологии РАН, 2006.
Emelyanova T. P. (2006) Construction of Social Representations in the Conditions of Russian Society Transformation. Moscow: Institute of Psychology RAS. (In Russ.)
5. Емельянова Т. П. Коллективная память о событиях отечественной истории: социально-психологический подход. М.: Институт психологии РАН, 2019.
Emelyanova T. P. (2019). Collective Memory of National History Events: A Socio-Psychological Approach. Moscow: Institute of Psychology RAS. (In Russ.)
6. Золотарева А. А., Костенко В. Ю., Лебедева А. А., Чумакова М. А. Скрининг тревоги и депрессии в общей популяции: адаптация Patient Health Questionnaire-4 в России // Обзорение психиатрии и медицинской психологии имени В. М. Бехтерева. 2024. Т. 58. № 2. С. 45—54. <https://doi.org/10.31363/2313-7053-2024-899>.

- Zolotareva A. A., Kostenko V. Yu., Lebedeva A. A., Chumakova M. A. (2024) Screening for Anxiety And Depression in the General Population: Adaptation of the Patient Health Questionnaire-4 in Russia. *V. M. Bekhterev Review of Psychiatry and Medical Psychology*. Vol. 58. No. 2. P. 45—54. <https://doi.org/10.31363/2313-7053-2024-899>. (In Russ.)
7. Касавина Н. А. «Общество травмы» как концептуализация неопределенности // Социологические исследования. 2025. № 1. С. 10—20.
Kasavina N. A. (2025) «Society of Trauma» as a Conceptualization of Uncertainty. *Sotsiologicheskie Issledovaniia*. No. 1. P. 10—20. (In Russ.)
 8. Левада Ю. А. Поколения XX века: возможности исследования // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2001. № 5. С. 7—14.
Levada Yu. A. (2001) Generations of the 20th Century: Research Opportunities. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 7—14. (In Russ.)
 9. Нестик Т. А. Переживание эпидемиологической угрозы россиянами как социально-психологический феномен: результаты серии эмпирических исследований // Влияние пандемии на личность и общество: психологические механизмы и последствия (отв. ред. Т. А. Нестик, А. Л. Журавлев, А. Е. Воробьева). М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2021а. С. 119—125.
Nestik T. A. (2021a) Russians' Experience of Epidemiological Threat as a Socio-psychological Phenomenon: Results of Empirical Studies. *Impact of the Pandemic on Individuals and Society: Psychological Mechanisms and Consequences* (Eds. T. A. Nestik, A. L. Zhuravlev, A. E. Vorobyeva). Moscow: Institute of psychology RAS. P. 119—125. (In Russ.)
 10. Нестик Т. А. Образ будущего, социальный оптимизм и долгосрочная ориентация россиян: социально-психологический анализ // Социодиггер. 2021б. Т. 2. № 9: Горизонты будущего. С. 6—48. <https://sociodigger.ru/articles/articles-page/obraz-budushchego-socialnyi-optimizm-i-dolgosrochnaja-orientacija-rossijan-socialno-psikhologicheskii-analiz> (дата обращения: 21.08.2025).
Nestik T. A. (2021b) Image of the Future, Social Optimism and Long-term Orientation of Russians: Socio-psychological Analysis. *SocioDigger*. Vol. 2. No. 9. P. 6—48. <https://sociodigger.ru/articles/articles-page/obraz-budushchego-socialnyi-optimizm-i-dolgosrochnaja-orientacija-rossijan-socialno-psikhologicheskii-analiz> (date of access: 21.08.2025). (In Russ.)
 11. Нестик Т. А. Психологическое состояние российского общества в условиях СВО // Социодиггер. 2023. Т. 4. № 9: Общество во времена СВО. URL: <https://sociodigger.ru/articles/articles-page/psikhologicheskoe-sostojanie-rossiiskogo-obshchestva-v-uslovijakh-svo> (дата обращения: 21.08.2025).
Nestik T. A. (2023) Psychological State of Russian Society During the SMO. *SocioDigger*. Vol. 4. No. 9. URL: <https://sociodigger.ru/articles/articles-page/psikhologicheskoe-sostojanie-rossiiskogo-obshchestva-v-uslovijakh-svo> (date of access: 21.08.2025). (In Russ.)

12. Нестик Т. А. Эффект Поллианны: роль механизмов защиты позитивной личностной и групповой идентичности // Социальная психология и общество. 2024. Т. 15. № 4. С. 25—39. <https://doi.org/10.17759/sps.2024150403>.
Nestik T. A. (2024) The Pollyanna Effect: The Role of Positive Personal and Group Identity Defense Mechanisms. *Social Psychology and Society*. Vol. 15. No. 4. P. 25—39. <https://doi.org/10.17759/sps.2024150403>. (In Russ.)
13. Осин Е. Н. Измерение позитивных и негативных эмоций: разработка русскоязычного аналога методики PANAS // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2012. Т. 9. № 4. С. 91—110.
Osin E. N. (2012) Measuring Positive and Negative Affect: Development of a Russian-language Analogue of PANAS. *Psychology. Journal of Higher School of Economics*. Vol. 9. No. 4. P. 91—110. (In Russ.)
14. Панкратова А. А., Корниенко Д. С. Русскоязычная адаптация опросника ERQ (Emotion Regulation Questionnaire) Дж. Гросса // Вопросы психологии. 2017. № 5. С. 139—149.
Pankratova A. A., Kornienko D. S. (2017) Russian Adaptation of J. Gross's Emotion Regulation Questionnaire (ERQ). *Voprosy psikhologii*. No. 5. P. 139—149. (In Russ.)
15. Пантин И. К. Демократия в России: противоречия и проблемы // Полис. Политические исследования. 2003. № 1. С. 134—148. <https://doi.org/10.17976/jpps/2003.01.12>.
Pantin I. K. (2003) Democracy in Russia: Contradictions and Problems. *Polis. Political Studies*. No. 1. P. 134—148. <https://doi.org/10.17976/jpps/2003.01.12>. (In Russ.)
16. Радаев В. В. Миллениалы на фоне предшествующих поколений: эмпирический анализ // Социологические исследования. 2018. № 3. С. 15—33. <https://doi.org/10.7868/S0132162518030029>.
Radaev V. V. (2018) Millennials Compared to Previous Generations: An Empirical Analysis. *Sociological Studies*. No. 3. P. 15—33. <https://doi.org/10.7868/S0132162518030029>.
17. Радаев В. В. Миллениалы. Как меняется российское общество (4-е изд.). М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2025.
Radaev V. V. (2025) Millennials: How Russian Society is Changing (4th Ed.). Moscow: The Higher School of Economics Publishing House. (In Russ.)
18. Фишман Л. Г. Неравенство равных. Концепция и феномен ressentiment. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2024.
Fishman L. G. (2024) *Inequality of Equals: The Concept and Phenomenon of Ressentiment*. Moscow: Higher School of Economics. (In Russ.)
19. Шилова Л. С. Трансформация самосохранительного поведения // Социологические исследования. 1999. № 5. С. 102—112.
Shilova L. S. (1999) Transformation of the Self-protection Behavior. *Sociological Studies*. No. 5. P. 84—92. (In Russ.)

20. Штомпка П. Социальное изменение как травма (статья первая) // Социологические исследования. 2001. № 1. С. 6—16.
Shtompka P. (2001) Social Change as Trauma (First Article). *Sociological Studies*. No. 1. P. 6—16. (In Russ.)
21. Awang Z. (2015) SEM Made Simple: A Gentle Approach to Learning Structural Equation Modeling. Bandar Baru Bangi, Selangor: MPWS Rich Publication Sdn. Bhd.
22. Bandura A. (1999) Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities. *Personality and Social Psychology Review*. Vol. 3. No. 3. P. 193—209. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0303_3.
23. Byrne B. M., Shavelson R. J., Muthén B. (1989) Testing for the Equivalence of Factor Covariance and Mean Structures: The Issue of Partial Measurement Invariance. *Psychological Bulletin*. Vol. 105. No. 3. P. 456—466. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.105.3.456>.
24. Chen F. F. (2007) Sensitivity of Goodness of Fit Indexes to Lack of Measurement Invariance. *Structural Equation Modeling*. Vol. 14. No. 3. P. 464—504. <https://doi.org/10.1080/10705510701301834>.
25. Cheung G. W., Lau R. S. (2008) Testing Mediation and Suppression Effects of Latent Variables: Bootstrapping with Structural Equation Models. *Organizational Research Methods*. Vol. 11. No. 2. P. 296—325. <https://doi.org/10.1177/1094428107300343>.
26. Gross J. J., John O. P. (2003) Individual Differences in Two Emotion Regulation Processes: Implications for Affect, Relationships, and Well-being. *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 85. No. 2. P. 348—362. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.85.2.348>.
27. Hayes A. F. (2018) Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach (2nd ed.). New York, NY: Guilford Press.
28. Kaplan R. L., Levine L. J., Lench H. C., Safer M. A. (2016). Forgetting Feelings: Opposite Biases in Reports of the Intensity of Past Emotion and Mood. *Emotion*, Vol. 16. No. 3. P. 309—319. <http://dx.doi.org/10.1037/emo0000127>.
29. Kline R. B. (2023) Principles and Practice of Structural Equation Modeling (5th ed.). New York, NY: Guilford Press.
30. Levine L. J., Murphy G., Lench H. C., Greene C. M., Loftus E. F., Tinti C., Schmidt S., Muzzulini B., Grady R. H., Stark S. M., Stark C. E. L. (2021) Remembering Facts Versus Feelings in the Wake of Political Events. *Cognition & Emotion*. Vol. 35. No. 5. P. 936—955. <https://doi.org/10.1080/02699931.2021.1910496>.
31. Lleras C. (2005) Path Analysis. In: K. Kempf-Leonard (ed.), *Encyclopedia of Social Measurement*. Elsevier. P. 25—30. <https://doi.org/10.1016/B0-12-369398-5/00483-7>.

32. Loehlin J. C., Beaujean A. A. (2017) *Latent Variable Models: An Introduction to Factor, Path, and Structural Equation Analysis* (5th Ed.). New York, NY: Routledge.
33. Redlawsk D. P., Mattes K. (2022) Emotions and Politics. In: D. Osborne, C. G. Sibley (eds.) *Cambridge Handbook of Political Psychology* Cambridge: Cambridge University Press. P. 139—158. <https://doi.org/10.1017/9781108779104.010>.
34. Roseman I. J. (2013) Appraisal in the Emotion System: Coherence in Strategies for Coping. *Emotion Review*. Vol. 5. No. 2. P. 141—149. <https://doi.org/10.1177/1754073912469591>.
35. Samide R., Ritchey M. (2021) Reframing the Past: Role of Memory Processes in Emotion Regulation. *Cognitive Therapy and Research*. Vol. 45. No. 5. P. 848—857. <https://doi.org/10.1007/s10608-020-10166-5>.
36. Schacter D. L., Greene C. M., Murphy G. (2023) Bias and Constructive Processes in a Self-memory System. *Memory*. Vol. 32. No. 6. P. 656—665. <https://doi.org/10.1080/09658211.2023.2232568>.
37. Schmidt S., Muzzulini B., Levine L., Tinti C. (2021) Sources of Bias in Memory for Emotional Reactions to Brexit: Current Feelings Mediate the Link between Appraisals and Memories. *Applied Cognitive Psychology*. Vol. 35. No. 3. P. 819—827. <https://doi.org/10.1002/acp.3806>.
38. Zainol, R. N., Zainol., A., F., Ibrahim, Y., Afthanorhan, A. (2019) Scaling Up Social Innovation for Sustainability: The Roles of Social Enterprise Capabilities. *Management Sciences Letters*. Vol. 9. No. 3. P. 457—466. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2018.12.005>.

DOI: [10.14515/monitoring.2026.4.3147](https://doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3147)



I. D. Petrov

**POLARIZED WORDS, POLARIZED WORLDS:
A COMPUTATIONAL COMPARATIVE ANALYSIS
OF PRO- AND ANTI-VACCINE DISCOURSE ON VK**

For citation:

Petrov I. D. (2026) Polarized Words, Polarized Worlds: A Computational Comparative Analysis of Pro- and Anti-Vaccine Discourse on VK. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 50–71. <https://www.doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3147>.

Правильная ссылка на статью:

Петров И. Д. Поляризованные слова, поляризованные миры: сравнительный компьютерный анализ про- и антивакцинного дискурса во «ВКонтакте» // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2026. № 4. С. 50—71. <https://www.doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3147>. (In Eng.)

Получено: 18.10.2025. Принято к публикации: 28.04.2026.

POLARIZED WORDS, POLARIZED WORLDS: A COMPUTATIONAL COMPARATIVE ANALYSIS OF PRO- AND ANTI-VACCINE DISCOURSE ON VK

ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ СЛОВА, ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ МИРЫ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПРО- И АНТИВАКЦИННОГО ДИСКУРСА ВО «ВКОНТАКТЕ»

Igor D. PETROV¹ — Graduate student, Department of Sociology
E-MAIL: idpetrov@hse.ru
<https://orcid.org/0000-0002-8465-8728>

ПЕТРОВ Игорь Дмитриевич — аспирант Департамента социологии, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург, Россия
E-MAIL: idpetrov@hse.ru
<https://orcid.org/0000-0002-8465-8728>

¹ HSE University, St. Petersburg, Russia

Abstract. This study aims to compare the emotional and thematic differences in pro-vaccination and anti-vaccination discourse on the Russian social network VKontakte (VK), using Language Expectancy Theory (LET) as an interpretive lens. A computational approach was applied to analyze 18,239 posts from 229 anti-vaccination and 84 pro-vaccination communities, utilizing dictionary-based sentiment analysis and structural topic modeling. The results revealed that anti-vaccination content is characterized by more intense use of emotional and negative language, whereas pro-vaccination communities exhibit a more neutral and rational tone. Thematically, anti-vaccination discourse more frequently focuses on children, family, and conspiracy theories, while pro-vaccination discourse emphasizes science, research, and public health efficacy. However, the emotional tone of posts was not a significant predictor of user engagement. The study identifies systematic differences in the linguistic profiles of pro- and anti-vaccination communities, consistent with expectations that LET would predict distinct audience groups. However, since this study did not directly measure persuasiveness or audience expectations, these theory-informed interpretations remain tentative and require further empirical validation.

Аннотация. В работе проводится сравнительный анализ эмоциональных и тематических различий в дискурсе провакцинных и антивакцинных сообществ в российской социальной сети «ВКонтакте». В качестве интерпретативной рамки используется теория языковых ожиданий. Для анализа 18 239 постов из 229 антивакцинных и 84 провакцинных сообществ применялись методы обработки естественного языка: анализ тональности на основе словарей и структурное тематическое моделирование. Результаты показали, что антивакцинный контент характеризуется более интенсивным использованием эмоционально насыщенной и негативной лексики, в то время как провакцинные сообщества придерживаются более нейтрального и рационального тона. Тематически антивакцинный дискурс чаще фокусируется на детях, семье и теориях заговора, тогда как провакцинный — на науке, исследованиях и эффективности общественного здравоохранения. При этом эмоциональность постов не оказала значимого влияния на вовлеченность пользователей. Исследование выявляет систематические различия в лингвистических профилях провакцинных и антивакцинных сообществ, которые согласуются с ожиданиями, предсказываемыми теорией языковых ожиданий для различных аудиторных групп. Однако, поскольку не проводилось прямое измерение персуазивности или ожиданий аудитории, интерпретации

на основе данной теории носят предварительный характер и требуют дальнейшей эмпирической проверки.

Keywords: vaccine hesitancy, social media, digital communication, computational sociology, sentiment analysis, topic modeling

Ключевые слова: вакцинная нерешительность, социальные сети, цифровая коммуникация, вычислительная социология, анализ тональности, тематическое моделирование

Introduction

The resurgence of vaccine-preventable diseases represents a growing public concern, attracting considerable attention from the academic community. Central to this issue is vaccine hesitancy, a complex phenomenon driven by diverse beliefs that can lead to vaccine refusal [MacDonald, 2015]. Recognizing its impact, the World Health Organization has designated vaccine hesitancy as one of the top ten threats to global health, underscoring the need for a deeper investigation of immunization discourses¹.

Addressing this challenge requires a detailed understanding of the factors driving polarization in public attitudes. Existing research points to a complex interplay of determinants, including individual belief systems [Đorđević et al., 2021] and socio-economic factors such as educational attainment and financial hardship [Anello et al., 2017]. At a broader level, the pervasive influence of the Internet and social media has been identified as a key catalyst, as digital platforms facilitate the rapid spread of vaccine-related misinformation, which substantially shapes public attitudes [Kata, 2010]. While scholars have increasingly examined anti-vaccine discourses on global platforms like Facebook*² and Twitter (X), a notable gap remains concerning Russian social media. In particular, there is a lack of theory-informed comparative analysis of the thematic and emotional content propagated by both anti-vaccination and pro-vaccination communities.

This study aims to address this gap by conducting a quantitative analysis of the digital discourse within the aforementioned communities on VK, a leading Russian social media platform. Building on evidence that the persuasive power of online movements depends on specific stylistic and thematic choices, we situate our investigation within the framework of Language Expectancy Theory (LET), employing it as an interpretive lens to generate hypotheses about expected linguistic and thematic differences between the two community types. This approach aligns with prior computational studies that have used LET to interpret observed language patterns without directly measuring audience perceptions. We posit that pro- and anti-vaccination communities are likely to exhibit distinct linguistic profiles tailored to the presumed expectations of their respective audiences. Thus, our research is designed to answer the following questions:

¹ Ten health issues WHO will tackle this year (2019) *World Health Organization*. URL: <https://www.who.int/news-room/spotlight/ten-threats-to-global-health-in-2019> [accessed: 22.09.2025].

² Readers should note that Meta Platforms, Inc. and its product Facebook* are legally designated as extremist organizations and banned in the Russian Federation. This context applies to all subsequent mentions in this text.

— What are the **emotive** differences between pro- and anti-vaccination discourse on VK?

— What are the **thematic** differences between pro- and anti-vaccination discourse on VK?

By investigating the semantics and general sentiment of this content, our study provides a country-specific comparison of the online vaccination debate. We anticipate that this comparative understanding will contribute to a more robust sociological framework of vaccine hesitancy and acceptance, while simultaneously providing an impetus for further theoretically substantiated research in this domain. Ultimately, the findings could equip public health officials with the insights needed to develop targeted communication strategies that effectively promote vaccination and counter misinformation.

Related Work

Research Rationale

To situate this study within the current academic landscape, we turn to the sociology of media and communication. This field conceptualizes information as a contextual phenomenon that enables social actors to sustain complex networks and mutually influence one another through communicative processes. A key subfield, health communication, specifically investigates the media's role in framing health issues. Research in this area consistently demonstrates that the portrayal of health-related themes can create informational ambiguity (i. e. a lack of clarity or the presence of contradictory health messages), significantly impacting public awareness, behavior, and well-being. For instance, Renaud and colleagues argue that official information from public health entities is appropriated through engagement with media systems, which can influence health behaviors both positively and negatively [Renaud et al., 2006]. Other studies further demonstrate that media campaigns can shift individual perceptions of risk-related practices and alter group norms [Cohen, Scribner, Farley, 2000; Apollonio, Malone, 2009].

Vaccination is uniquely susceptible to media influence due to its dual nature as a scientifically complex issue and a contentious public debate [Larson et al., 2014]. This combination creates a fertile ground for misinformation, positioning immunization as a prominent and often polarized subject across media platforms. The dynamics of this relationship are starkly illustrated in Seth Mnookin's seminal work, «The Panic Virus», which analyzes the enduring but spurious link between vaccines and autism [Mnookin, 2011]. Mnookin argues that the media's institutional imperative for compelling narratives often reduces complex scientific evidence to the level of anecdote, thereby privileging emotionally charged stories over population-level research data [ibid.]. This tendency toward «false balance»³, combined with the accelerated pace of digital information dissemination, has allowed the vaccine-autism myth to become deeply entrenched in public consciousness. Empirical research corroborates this analysis, demonstrating that traditional media coverage does not merely perpetuate misconceptions but can have a tangible impact on vaccine uptake [Recio-Román, Recio-Menéndez, Román-González, 2023].

³ False balance is a media practice of presenting two opposing viewpoints as equally credible when one is supported by overwhelming scientific consensus and the other by fringe or discredited evidence.

While these studies highlight traditional media, the Internet has emerged as the most prominent domain for influencing vaccination behavior. The Web 2.0 paradigm enables users to construct personal spaces within content-based networks [Murugesan, 2007], where individual experiences and frustrations become subjects of public discourse — a phenomenon particularly consequential in vaccine discussions [Kata, 2012]. Scholars theorize that the effective propagation of vaccine misinformation online is facilitated by easy access to information and a lack of consistent moderation by expert communities. As Betsch and colleagues note: «by actively creating and disseminating information, users become more involved, which is assumed to amplify potential effects of information on perceptions, attitudes, and behavior» [Betsch et al., 2012: 3728]. This active participation adds a cognitive dimension to understanding how social media influences vaccine decision-making, potentially leading individuals to believe that the risks of vaccine side effects outweigh the risks of vaccine-preventable diseases. Psychosociological research further suggests that influential social media actors (e.g. influencers) can impose their interpretations of health concerns on various groups, shaping their attitudes [Powell, Pring, 2024]. This is especially evident when individuals who have had negative vaccination experiences seek information to confirm their pre-existing beliefs [Malthouse, 2023].

Given that social media facilitates the sharing of personal vaccination narratives, a careful analysis of this content is essential. However, while a substantial body of research has examined vaccine discourse on English-language platforms like Facebook* [Faasse, Chatman, Martin, 2016], Twitter (X) [Broniatowski et al., 2018], and YouTube [Tokojima Machado, de Siqueira, Gitahy, 2020], Russian-specific social media remains relatively underexplored. The existing studies on Russian networks often employ a technical, rather than descriptive, approach to content analysis. For example, Tserkovnaya and Larson used a classification algorithm to find that 59% of vaccine-related posts on VK express anti-vaccination sentiment, with child health as a dominant topic [Tserkovnaya, Larson, 2019]. In contrast, a recent thematic analysis of user comments on VK identified the core structure of vaccine hesitancy discourse as being organized around four key themes: the riskiness of vaccination, its ineffectiveness, its unnecessary nature, and its perceived unfairness [Dudina, Saifulina, 2023]. Vaccination has also been addressed within studies on conspiracy ideologies, with evidence suggesting that COVID-19 immunization is framed by vaccine hesitant users as a planned «microchipping» operation [Platonov, Svetlov, 2020]. Despite these valuable contributions, a comparative analysis of pro- and anti-vaccination discourse on VK informed by Language Expectancy Theory has not been conducted, leaving a significant gap in the literature.

Language Expectancy Theory (LET)

Language Expectancy Theory (LET) provides a sociological framework for understanding persuasion, positing that language is a rule-governed system shaped by cultural and social norms [Burgoon, 1995]. Through socialization, individuals develop shared expectations, regarding appropriate linguistic behavior for specific situations and speakers [Averbeck, Miller, 2014]. According to LET, persuasive success depends on a message's strategic alignment with or deviation from these normative

expectations, thereby influencing audience attitudes and behaviors [Burgoon, Pauls, Roberts, 2002].

LET has been applied across a range of communicative contexts beyond its original face-to-face settings. For instance, Jensen and colleagues extended LET to the online environment, demonstrating that textual properties of anonymous product reviews produce expectancy violations influencing credibility attributions [Jensen et al., 2013]. They showed that even without traditional source cues, language characteristics alone can trigger expectancy violations, establishing a precedent for applying LET to technology-mediated communication. Lee and Yu further advanced this application by using LET to analyze how linguistic style and content features of disaster tweets predict resharing behavior on Twitter [Lee, Yu, 2020], operationalizing LET constructs computationally through natural language processing tools. Similarly, Liu, Jiang, and Wang applied LET to online health consultations, examining how physicians' writing style affects patient satisfaction [Liu, Jiang, Wang, 2023].

These studies demonstrate that LET can be applied to digital communication contexts. However, whereas Jensen et al. [2013] directly measured audience expectations through a controlled experiment, Lee and Yu [2020] and Liu, Jiang, and Wang [2023] inferred expected norms from observed language patterns. Our study follows the latter approach: we use LET as an interpretive framework to generate theoretically grounded hypotheses, meaning our claims about alignment with audience expectations remain interpretive rather than empirically validated at the audience level.

Emotional intensity of the language

One key dimension highlighted by LET is the use of emotionally intense language. In health communication, such intensity can serve as a powerful persuasive tool by making abstract risks feel immediate and tangible [Vranceanu et al., 2012]. For instance, Buller and colleagues demonstrated that vivid descriptions of skin melanoma risks effectively encouraged preventive behaviors among parents [Buller et al., 2000].

We posit that the socio-psychological profiles of pro- and anti-vaccination communities are likely to be associated with divergent communicative patterns, which are reflected in their use of emotional language. Research indicates that anti-vaccination discourse is often driven by high-risk perception [Reyna, 2012] and conspiracy ideation [Jolley, Douglas, 2014], which thrive on a sense of urgency and outrage. Given these characteristics, we expect anti-vaccination content to exhibit more intense, negative language that would be consistent with the emotional orientation of its audience. In contrast, pro-vaccination discourse, which tends to align with the authoritative, evidence-based discourse of public health, is more likely to adhere to norms of rationality and analytical detachment [Faasse, Chatman, Martin, 2016]. From a LET perspective, this would represent conformity to the expected norms of institutional and scientific communication. This leads to our first two hypotheses:

H1: Anti-vaccination posts will demonstrate higher emotional intensity (a greater frequency of sentiment-laden words) compared to pro-vaccination posts.

H2: Anti-vaccination posts will be characterized by a more negative emotional tone compared to pro-vaccination posts.

Thematic variability

Within the LET framework, audience expectations extend beyond emotional tone to encompass the substantive content of communication. The topics a community prioritizes can be understood as reflecting the contextual and semantic expectations of its audience — that is, members come to expect certain thematic orientations as normative for their community. From this perspective, thematic analysis serves as a complementary dimension of LET: just as emotional intensity must align with audience expectations to be effective, so too must the topical focus of discourse resonate with the core values and concerns of its intended audience. Comparative studies have consistently demonstrated thematic disparities between pro- and anti-vaccination communities. For example, pro-vaccination content often frames immunization as a collective social responsibility, whereas anti-vaccination discourse frequently emphasizes individual bodily autonomy and alleged harms [Faasse, Chatman, Martin, 2016].

In the Russian context, we anticipate that these global trends will be inflected by local specificities. Petrov's finding that anti-vaccination content on VK frequently focuses on children and family suggests a thematic orientation leveraging culturally salient values — a potential difference from Western patterns that underscores the need for context-sensitive analysis [Petrov, 2022]. Furthermore, aligning with global patterns, we expect Russian anti-vaccination discourse to employ conspiracy theories as a frame for interpreting events [Platonov, Svetlov, 2020]. Conversely, pro-vaccination communities are expected to leverage topics related to science and public health efficacy to build credibility and conform to expectations of an institutional voice. While we formulate these expectations as separate hypotheses for analytical clarity, we acknowledge that the vaccination debate in Russia has activated a broad range of adjacent themes reflecting wider social tensions. The hypotheses below capture the most theoretically grounded expectations rather than an exhaustive list of all possible thematic differences:

H3: Topics in anti-vaccination communities will be more prominently related to family and children than topics in pro-vaccination communities.

H4: Topics in anti-vaccination communities will be more prominently related to conspiracy theories than topics in pro-vaccination communities.

H5: Topics in pro-vaccination communities will be more prominently related to science and education than topics in anti-vaccination communities.

Data

Community identification and sampling

This study conducts a comparative analysis of two distinct sets of VK communities: one advocating for and one opposing vaccination. The communities in our sample are predominantly grassroots, self-organized initiatives created and maintained by ordinary users, though the sample also includes some official pages affiliated with medical or public health institutions.

Anti-vaccination communities: the initial sample was drawn from a list of communities that VK had officially flagged with a specialized warning about potentially unreliable information. When users attempted to access these pages, a warning message⁴

⁴ As of 2026, the warning message will no longer appear. The VK has decided to stop this practice without providing an official explanation.

was displayed, accompanied by a link to a World Health Organization article on vaccination [Petrov, 2022]. In 2022, colleagues from VK provided us with the complete list of these flagged communities, which served as the foundation for our anti-vaccination sample. The original dataset comprised 282 public pages. From this list, 46 restricted communities were excluded due to inaccessible content. A further 7 communities were removed because they were either blocked by the platform or contained no vaccination-related material, resulting in a final sample of 229 anti-vaccination pages. Examples of anti-vaccination communities in our sample include: «Мама и папы против прививок!!» («Moms and Dads Against Vaccinations!!»), «Мой ребенок без прививок» («My Child Is Unvaccinated»), «Вакцинация — панацея или жертвоприношение?» («Vaccination: Panacea or Human Sacrifice?»).

Pro-vaccination communities: a comparable set of pro-vaccination communities was constructed using a subscriber intersection algorithm via vk.barkov.net. The essence of the algorithm is that, starting from several pro-vaccination communities, it identifies thematically similar pages where subscribers from the original communities tend to appear. This strategy resembles a snowball sampling technique. Three prominent pro-vaccine communities were used as seeds to generate three separate lists of the top 100 related groups. After combining these lists and removing duplicates, the resulting communities were screened for relevance. Using a list of 10 vaccination-related keywords, a community was retained only if at least one keyword appeared in its posts. This process yielded a final sample of 84 pro-vaccination pages. Examples of pro-vaccination communities in our sample include: «О прививках без истерик» («About Vaccines Without Hysteria»), «Прививка от мракобесия 18+» («Vaccine Against Obscurantism 18+»), «Серьёзно о прививках и не только» («Seriously About Vaccinations and Beyond»).

It should be noted that by design, all posts collected from anti-vaccination communities are classified as anti-vaccination content, and all posts from pro-vaccination communities are classified as pro-vaccination content. While individual posts within a community may occasionally express dissenting views, the community-level classification reflects the dominant orientation of each page, as established by VK's labeling system (for anti-vaccination communities) and the thematic screening procedure (for pro-vaccination communities).

Data filtering and pre-processing

To ensure semantic relevance of the data, posts from both community sets were subjected to a multi-stage filtering and cleaning process, detailed below and summarized in table 1.

Keyword filtering, deduplication, and text cleaning were applied sequentially to both datasets. First, as the pro-vaccination groups often addressed general medical topics, a uniform keyword filter was used to isolate posts specifically about vaccination: a post was retained for analysis only if it contained at least one of 30 vaccination-related keywords. Next, duplicate posts within each dataset were identified and removed, and all posts containing fewer than 50 words (including those with no text) were excluded to minimize noise and significant disparities in post length. Finally, the text of the remaining posts was lemmatized and cleaned of non-essential elements, including English words, emoticons, and a standard list of 568 Russian stop words.

Final dataset construction

The initial raw data and the results of each filtering step for both community types are presented in table 1. After the respective filtering pipelines were completed, the pro- and anti-vaccination datasets were merged, and an ID variable was added. The combined dataset initially contained 18,922 posts. A final check for duplicates across the entire corpus identified and removed 683 redundant texts. The final analytical dataset consists of 18,239 unique posts described by 17 variables. This total comprises 10,987 posts from anti-vaccination communities and 7,252 posts from pro-vaccination communities. All posts were collected via the VK API, which returned the 1,000 most recent posts per community. As a result, the sample is skewed toward more recently published content. The posts in the final dataset span the period from November 2007 to April 2022.

Table 1. **Data Filtering Pipeline and Sample Sizes**

Processing step	Anti-vaccination dataset	Pro-vaccination dataset
Initial Raw Posts	90,446	67,314
After Deduplication	44,352	53,990
After Length Filtering (>50 words)	22,147	25,257
After Keyword Filtering (Final)	11,204	7,718
After Merging & Cross-Deduplication	10,987	7,252
Total	18,239	

Methodology

To investigate the thematic and emotive differences between pro- and anti-vaccination discourse on VK, this study employs a computational approach, combining structural topic modeling (STM) with two dictionary-based sentiment analysis techniques.

Sentiment analysis

To address the first research question concerning emotional differences, we utilized two dictionary-based approaches to generate sentiment ratings for the textual data.

First, the Linis-crowd.org dictionary [Koltsova, Alexeeva, Kolcov, 2016], a pre-existing Russian sentiment lexicon, was employed to generate polarized sentiment scores for each post. This dictionary comprises 7,545 words, each assigned a score ranging from -1 (negative) to 1 (positive). The analysis procedure involved tokenizing the pre-processed texts and joining them with the lexicon. The initial tokenized dataset contained 4,045,236 observations. Following an inner join by word, this was reduced to 1,692,355 matched tokens. The number of unique word matches was 6,987 out of 7,545, indicating a 92.6 percent congruence with the dictionary. The overall emotional tone of each post was defined as the average sentiment rating of all the matched words within the text. To test for significant mean differences in sentiment between the pro- and anti-vaccination groups, we employed the Welch Two Sample t-test and the Wilcoxon rank sum test and calculated the respective effect sizes.

Second, to move beyond simple polarity and capture a broader spectrum of affective states, we used the Russian version of the NRC Emotion Lexicon [Mohammad, Turney, 2013]. This lexicon categorizes words into eight basic emotions: anger, anticipation, disgust, fear, joy, sadness, surprise, and trust. The authors cautioned that the Russian version was created via automated translation. Following manual assessment, we removed 477 untranslated entries, 72 transliterations, and 759 duplicates, proceeding with a refined lexicon of 8,613 words. We then tokenized the post texts and merged them with the curated NRC dictionary. The tokenized database of 4,045,236 observations was reduced to 1,751,518 after merging. The number of unique word matches was 3,546 out of 8,613, showing a 41.17 percent congruence. To identify the predominant emotions in pro- and anti-vaccination posts, we assessed the frequency of terms associated with each of the eight emotions. The Welch Two Sample t-test and the Wilcoxon rank sum test were again used to test for significant differences in the prevalence of each emotion between the two groups.

Structural topic modeling

To assess the thematic variability within the pro- and anti-vaccination communities and address our second research question, we employed Structural Topic Modeling (STM), an unsupervised machine learning technique. STM was selected over conventional Latent Dirichlet Allocation (LDA) because it can model theme prevalence as a function of document-level metadata [Blei, Ng, Jordan, 2003]. This capability is particularly relevant for social media data, where text production is influenced by various external factors, such as community affiliation.

The STM procedure was implemented in several stages. First, the cleaned and lemmatized data was processed using the *textProcessor* function, which removed 53,317 of the 108,710 unique terms based on low frequency. Second, documents, vocabulary, and metadata were prepared using the *prepDocuments* function to correct for zero-indexing and remove unused words. The resulting processed corpus contained 18,239 documents, 55,393 unique terms, and 2,709,763 tokens. Third, to identify the optimal number of topics, a set of four models was estimated with topic counts (K) of 10, 20, 30, and 40. The model with 40 topics was selected based on diagnostic statistics, including held-out likelihood and residuals [Taddy, 2012]. Finally, the prevalence of each topic was assessed using expected topic proportions. The distribution of topics across the pro- and anti-vaccination communities was determined using the *estimateEffect* function, which performs a series of regression models with topic proportion as the dependent variable and group metadata as the predictor.

For the purposes of academic transparency, we also wish to point out that the identification and labeling of topics in STM involves a standard two-stage process. First, the algorithm statistically extracts topics based on patterns of word co-occurrence across documents. Second, researchers interpret these statistical outputs (examining lists of high-frequency words for each topic and reading a sample of representative posts using the *findThoughts* function) to assign meaningful labels. This second stage is inherently interpretive and involves researcher judgment. However, this combination of computational extraction and qualitative interpretation is a widely accepted practice in academic literature [Weston et al., 2023]. In the results section, we present both

the statistical topic prevalences and our interpretive labels, acknowledging that different researchers might assign slightly different labels to the same word clusters.

Results and Discussion

Quantifying sentiment polarization

First, we tested for a statistically significant difference in mean sentiment between pro- and anti-vaccination groups. We employed a t-test with Welch's adjustment to account for the unequal variances between the groups. Simultaneously, acknowledging the non-normal distribution of the sentiment data, we verified the results using a non-parametric alternative. The Welch Two Sample t-test indicates a statistically significant, negative, and very small effect ($\text{difference} = -0.02$, 95 % CI $[-0.02, -0.01]$, $t = -7.67$, $p < .001$; Cohen's $d = -0.12$, 95 % CI $[-0.15, -0.09]$). The non-parametric test supports this conclusion ($W = 36663622$, $p < .001$; r (rank biserial) $= -0.08$, 95 % CI $[-0.10, -0.06]$). Given the very small effect sizes for both Cohen's d and the rank-biserial correlation, the identified association should be treated with caution. The key takeaway is that the sentiment of vaccination-related material on VK does differ between supporters and opponents, with vaccine opponents using slightly more negative language. It is also worth noting that although the sentiment is negative, the emotionality tends to hover around zero, which might be due to the length of the input texts. Viewed through a LET lens, this pattern is consistent with the expectation that anti-vaccination communities, oriented toward audiences with heightened risk perception, would employ more negatively charged language, while pro-vaccination communities would adhere to the more measured register associated with institutional and scientific communication. However, since we did not directly measure audience expectations, this interpretation remains tentative.

Contrasts in negative language

The top terms associated with negative sentiment were analyzed to further assess the observed difference. We identified the most frequent terms with a sentiment score less than -0.3 to illustrate the characteristic negative vocabulary (see table 2).

The results show that the negative language used by those who oppose vaccination is closely associated with the potential side effects of immunization, as seen in terms like *болезнь/заболевание* (illness) and *осложнение* (complication). Crucially, the concordance⁵ data reveal that these terms are typically embedded in narratives of personal harm and systemic concealment. For instance, one anti-vaccine post states: «замалчивание поствакцинальных осложнений и откровенное преувеличение опасности детских болезней!» («the concealment of post-vaccination complications and the blatant exaggeration of the danger of childhood illnesses!»), while another reads: «у здоровых детей прививка проявляется с серьезными осложнениями, это здоровые детки становятся инвалидами» («in healthy children the vaccination manifests with serious complications, healthy children become disabled»). These examples illustrate how negative medical vocabulary in anti-vaccine discourse serves to construct vaccination itself as the source of disease, rather than its remedy.

⁵ In text mining, a concordance is a list that shows every time a particular word or phrase appears in a document (or collection of documents), along with the words that come before and after it.

Furthermore, this group demonstrates a propensity for harsh language, employing expressions such as *умирать* (to die), *убивать* (to kill), and *смерть* (death). The concordances confirm that these terms are used to attribute lethal consequences directly to vaccines. A representative post warns: «Прививка может сделать Вашего ребёнка калекой или убить» («A vaccination can make your child disabled or kill them»). Such language constructs an existential threat frame around vaccination, positioning it as a life-or-death matter. In contrast, proponents of vaccination use negative language that primarily refers to the consequences of vaccine hesitancy, as indicated by terms like *пневмония* (pneumonia), *тяжелый* (severe), and *риск* (risk). The concordance analysis shows that these words appear in clinical and epidemiological contexts. For example, one pro-vaccine post explains: «Другого способа уберечь вас от тяжёлой болезни просто не существует» («There is simply no other way to protect you from severe illness»), while another notes: «одно из вероятных осложнений — пневмония, которая может стоить жизни» («one of the probable complications is pneumonia, which can cost a life»). Here, negative vocabulary is directed outward toward the diseases that vaccines prevent rather than toward the vaccines themselves.

It is also worth noting that supporters frequently use words like *боязнь* (phobia) and *страх* (fear), which connect to the group's focus on explaining the reasons behind vaccine refusal. The concordances show that these terms are used analytically rather than emotionally: «Незнание, боязнь побочных эффектов, как правило, снижают охват вакцинацией» («Ignorance, fear of side effects, as a rule, reduce vaccination coverage»), and «В последние годы заболеваемость корью выросла из-за боязни прививок» («In recent years, measles incidence has risen due to phobia of vaccinations»). In both cases, fear is presented as a barrier to be overcome through education, not as a justified reaction.

Table 2. Top-10 Negative Sentiment Words in Pro- and Anti-vaccination Content

Anti-vaccination	Pro-vaccination
Vaccination Вакцинация (n = 599)	Infection Инфекция (n = 850)
To die Умирать (n = 461)	Illness Болезнь (n = 650)
Illness Болезнь (n = 408)	Illness Заболевание (n = 635)
Infection Инфекция (n = 385)	Fear Боязнь (n = 293)
Death Смерть (n = 350)	Therapy Терапия (n = 250)
Illness Заболевание (n = 343)	Treatment Лечение (n = 240)
To kill Убивать (n = 219)	Vaccination Вакцинация (n = 202)
Virus Вирус (n = 207)	Pneumonia Пневмония (n = 181)
Complication Осложнение (n = 201)	Risk Риск (n = 181)
To become ill Заболевать (n = 200)	Severe Тяжелый (n = 179)

Predicting users' engagement with sentiment

Second, simple linear regression was employed to assess whether the overall emotional tone of the text is associated with increased post engagement. The dependent variable was operationalized as the total number of likes, comments, and reposts, while the predictors included content type (pro-vaccination or anti-vaccination) and sentiment (ranging from -1 to 1). Before fitting the model, cases identified as outliers based on the dependent variable were removed using the interquartile range method, resulting in the exclusion of 2,114 observations. Consequently, the regression model was fitted using 16,125 observations: 9,942 from the anti-vaccination group and 6,183 from the pro-vaccination group. All continuous variables were z-score standardized, and variance inflation factors indicated no multicollinearity concerns (all VIF < 1.80).

The model explains a statistically significant and very weak proportion of variance ($R^2 = 0.01$, $F(3, 16121) = 70.59$, $p < .001$, *adj. R*² = 0.01). The model's intercept, corresponding to sentiment = 0 and type = anti-vaccination, is at -0.09 (95 % CI $[-0.11, -0.07]$, $t(16121) = -8.83$, $p < .001$). Within the model:

The effect of sentiment is statistically non-significant and negligible in magnitude ($\beta = 0.003$, 95 % CI $[-0.02, 0.02]$, $t(16121) = 0.36$, $p = 0.718$), indicating that emotionality of the post does not predict engagement in the given sample.

The effect of type [pro-vaccination] is statistically significant and positive ($\beta = 0.23$, 95 % CI $[0.20, 0.26]$, $t(16121) = 14.14$, $p < .001$), indicating that, holding sentiment constant at its mean, pro-vaccination posts have a standardized engagement score that is, on average, 0.23 standard deviations higher than that of anti-vaccination posts.

The interaction effect of type [pro-vaccination] on sentiment is statistically non-significant and positive ($\beta = 0.03$, 95 % CI $[-0.00259, 0.06]$, $t(16121) = 1.80$, $p = 0.073$), meaning that an association between post engagement and sentiment is not moderated by type of the content.

Overall, the model explains a relatively small portion of the variance ($R^2 = 0.01$) and, as such, has limited explanatory power. Therefore, while the analysis suggests that sentiment alone does not predict engagement and that pro-vaccination posts are associated with higher engagement, these findings should be interpreted with caution. The substantial amount of unexplained variance indicates that other factors not included in this model likely play a major role in driving user engagement with posts. Additionally, the aggregation of likes, comments, and reposts into a single composite engagement score may obscure platform- and metric-specific dynamics. Future research would benefit from analyzing these indicators separately.

An exploratory analysis of emotions with the NRC Lexicon

As a second dictionary-based method, we used the Russian version of the NRC Emotion Lexicon. This approach involved examining the frequency of phrases associated with eight distinct emotions to determine whether there were any statistically significant differences between the anti- and pro-vaccine groups. Prior to statistical testing, we visually analyzed the predominance of emotions and determined that fear, trust, and anger were the most prominent within each group. Surprisingly, no noticeable differences in overall emotion prevalence were found — both the anti-vaccine and pro-vaccine groups used emotion-related words in similar proportions across their content.

A closer examination of the concordance data allowed us to characterize the specific terminology linked to these emotions and, crucially, to understand how these terms functioned within the vaccination debate. First, both anti-vaccine and pro-vaccine messaging included anger-related terms referencing positions of responsibility. However, opponents of vaccination were more likely to employ phrases indicating personal agency, such as *отказ* (refusal), *отказывать* (to refuse), and *защита* (protection). In the concordance data, these terms appeared in contexts where individuals asserted their right to reject vaccination — for example, «*право на отказ от вакцинации*» («*the right to refuse vaccination*») and «*защита прав здоровых детей и их родителей*» («*protection of the rights of healthy children and their parents*»). In contrast, proponents used phrases like *нарушение* (violation), *решать* (to decide), and *борьба* (fight), which in context referred to collective action against disease — e. g., «*человечество против пневмококка — история борьбы и побед*» («*humanity vs. pneumococcus: the history of the fight and victory*»), «*нарушение графика вакцинации*» («*violation of the vaccination schedule*»), and «*способ борьбы с ОРВИ и гриппом*» («*a method of fighting acute respiratory infections and influenza*»). This contextual distinction suggests that anti-vaccine vocabulary reflects a preference for individual-level autonomy (the freedom to make personal medical decisions), whereas pro-vaccine rhetoric frames vaccination as a matter of collective duty, where deviations from recommended schedules or refusals constitute violations of shared responsibility for public health. From a LET perspective, these divergent framings are consistent with the idea that each community type employs anger-related vocabulary in ways that align with the core values presumed to be normative for its audience: personal freedom for anti-vaccination communities and collective responsibility for pro-vaccination ones.

Second, we found that trust-related terms also co-occurred with different thematic vocabulary in each group, pointing to distinct discursive contexts in which trust is discussed. Among opponents, trust-related vocabulary frequently co-occurred with references to the state and legal system, as seen in words like *власть* (power/authority) and *закон* (law). Concordance analysis shows that these terms appeared in contexts where institutional authority and legal frameworks were being questioned or contested — for instance, «*народ не доверяет системе власти*» («*the people do not trust the system of power*»), «*по закону никто не может обязать вакцинацию*» («*by law, no one can mandate vaccination*»). This does not allow us to conclude that opponents distrust the state per se, but it does indicate that their discourse about trust is predominantly situated within an institutional and legal register. The vocabulary of trust, in these contexts, serves as a rhetorical resource for contesting authority rather than expressing confidence in it. In contrast, among vaccination supporters, trust-related vocabulary co-occurred with terms associated with the educational system — *школа* (school) — and the maternal figure — *мама* (mother). Concordance examples reveal that these terms appeared in contexts of everyday parenting decisions: discussions about whether schools require vaccination certificates, mothers' concerns about their children's health, and references to pediatric recommendations. Within a LET framework, this divergence in the discursive environments surrounding trust-related vocabulary is noteworthy. It suggests that the two communities construct the relevance of trust through different rhetorical strategies: anti-vaccination discourse situates trust within a macro-institutional frame potentially resonating with an audience attuned to questions of state power and individual rights,

while pro-vaccination discourse situates trust within a micro-relational frame of family and schooling, potentially resonating with an audience oriented toward routine health-seeking practices. Importantly, these are observations about how trust is discursively framed in each community, not about the actual trust dispositions of their members.

Finally, we determined that phrases related to fear commonly reflected scenarios of sickness and admission to medical institutions, evidenced by words such as *больной* (ill/patient), *болезнь* (illness), and *больница* (hospital). Notably, both groups shared this fear-related vocabulary, but the concordances reveal divergent framings. In anti-vaccine texts, illness-related terms appeared alongside language minimizing disease severity — e. g., «*корь, краснуха — это не такие страшные болезни, не бубонная чума, чтобы рисковать*» («*measles, rubella — these are not such terrible diseases, not the bubonic plague, to take risks [with vaccination]*»). In pro-vaccine texts, by contrast, the same vocabulary was used to emphasize the genuine threat of disease — e. g., «*другого способа уберечь вас от тяжёлой болезни просто не существует*» («*there is simply no other way to protect you from severe illness*») and discussions of hospitalization and complications. Thus, while fear-related language is shared across both camps, it serves opposite rhetorical functions: for opponents, it is deployed to argue that the diseases themselves are not fearsome enough to justify vaccination risks, while for proponents, it underscores the very real danger that vaccination is designed to prevent. This finding highlights a key insight for LET-informed analysis: identical emotional categories can carry divergent communicative orientations depending on the community.

Statistical analysis of emotions with the NRC Lexicon

Finally, eight t-tests were performed to determine if there was a statistically significant difference in the frequency of emotion-related phrases between the pro- and anti-vaccine groups. We used the Welch Two Sample t-test, as was done with the Linis-crowd.org sentiment analysis, and verified the results using the Wilcoxon rank sum test. Only the parametric test results will be presented in this article (see table 3). Non-parametric test results are available in the [Supplementary Materials](#).

Table 3. **Results of The Welch Two Sample t-test**

Emotion	Mean (antivax)	Mean (provax)	Statistic	p-value	CI	Results	Effect size
anger	12.33	7.55	24.53	<.001	[4.40, 5.16]	significant	0.35 [small]
anticipation	13.84	10.74	14.17	<.001	[2.67, 3.53]	significant	0.21 [small]
disgust	8.67	6.58	13.17	<.001	[1.78, 2.40]	significant	0.19 [very small]
fear	17.88	14.24	12.23	<.001	[3.05, 4.22]	significant	0.18 [very small]
joy	10.37	10.11	1.26	0.206	[-0.14, 0.66]	non-significant	0.02 [very small]
sadness	12.18	10.02	9.87	<.001	[1.73, 2.59]	significant	0.15 [very small]
surprise	5.39	4.07	13.17	<.001	[1.12, 1.52]	significant	0.19 [very small]
trust	25.50	17.39	21.70	<.001	[7.38, 8.84]	significant	0.31 [small]

The results, based on a significance level of 0.05, indicate that the frequency of emotion-specific words differs between opponents and proponents of vaccination for all emotions except joy (p -value = 0.206). Specifically, anti-vaccine content is characterized by a greater frequency of phrases related to sentiments identified in the NRC dictionary. Based on effect size, this difference is particularly noticeable for anger (Cohen's d = 0.35), trust (Cohen's d = 0.31), and anticipation (Cohen's d = 0.21). Despite the statistical significance of these results, the effect size in both parametric and non-parametric tests remains small. The key conclusion is that anti-vaccination content contains more emotion-related vocabulary.

Uncovering key topics with STM

The analysis of expected topic proportions, conducted on a dataset combining pro- and anti-vaccine posts, identified five predominant themes: COVID-related restrictions (Topic 14), Sources of Information (Topic 12), the Right to Refuse Vaccines (Topic 18), the COVID Vaccine Itself (Topic 2), and issues concerning Children and Illness (Topic 29). Visualizations of the top five topics by expected topic proportion, along with visualizations of the other topics identified in the analysis, are available in the [Supplementary Materials](#). These prominent topics reveal several key characteristics of the discourse. First, the pandemic itself appears to have shaped a distinct debate focused on governmental policies, a trend clearly embodied by Topic 14, which encompasses discussions of vaccination, mask mandates, and lockdowns. Second, the significance of Topic 12 (Sources of Information) highlights a strong tendency among participants to actively produce and disseminate content, such as articles, videos, and posts, rather than just consume it. Third, the prominence of Topic 29 (Children and Illness) underscores how children's health served as a central focal point, often used to debate broader medical concerns, including the effects of vaccination. Finally, the high prevalence of Topic 18 (Right to Refuse Vaccines) indicates that legal frameworks and exemptions allowing vaccine refusal held a particularly influential position within the overall conversation. Overall, these findings provide a preliminary map of the main thematic axes within the overall discussion, while any differential emphasis between subgroups remains to be examined in the subsequent prevalence analysis.

Analyzing topic prevalence across groups with STM

To identify topics that were more prevalent in one group than the other, we built a series of regression models. These models used topic proportion as the dependent variable and content type as a predictor, with the anti-vaccination group serving as the reference. The visualization of the results is available in the [Supplementary Materials](#).

The model summary indicates that only 35 topics exhibited a statistically significant difference between the groups at the 0.01 significance level. Several topics showed insignificant results, including Topic 17 (Immune System), Topic 31 (Big Pharma), Topic 38 (Educational System), and Topic 40 (Role of Vaccination). This suggests that these ideas are discussed with similar frequency by both groups.

The analysis also revealed several notable differences. Most coronavirus-related topics, including Topic 2 (COVID Vaccine), Topic 5 (Anti-COVID Movement), Topic 14

(COVID-related Limitations), and Topic 19 (Pandemic), were concentrated in the anti-vaccination content. The exception was Topic 16 (Research on COVID), which appeared more frequently in pro-vaccination publications.

Similarly, topics concerning adverse effects of vaccination, such as Topic 6 (General Vaccination), Topic 11 (Mortality and Vaccines), and Topic 26 (Vaccine as Source of Illness), were predominant in the anti-vaccine group. In contrast, the pro-vaccine group more frequently discussed topics related to infections and their symptoms, such as Topic 8 (Infections and Treatment) and Topic 37 (Symptoms of Illnesses). Finally, topics like Topic 34 (External Control) and Topic 39 (Religious Figures), which encompass conspiracy theories and religion, appear to be of particular interest to vaccine opponents. These thematic contrasts support H3, H4, and H5 and are interpretable through LET: anti-vaccination communities concentrate on topics that might resonate with an audience oriented toward distrust of institutions and concern for family welfare, while pro-vaccination communities might prioritize topics aligned with the expectations of an audience that values scientific authority and evidence-based public health. The comparative framework thus reveals not only what each side discusses but also how these thematic choices may reflect distinct communicative orientations tailored to different audience norms. Although further research is needed to establish direct causal links between audience expectations and content production strategies.

Conclusion

This study mapped the emotive and thematic landscape of the vaccination debate on VK, using Language Expectancy Theory (LET) as an interpretive lens. Our computational analysis of 18,239 posts from 313 communities reveals systematic differences in both emotional tone and thematic focus between pro- and anti-vaccination communities.

Regarding emotional language, our findings confirm H1 and H2: anti-vaccination posts exhibit higher emotional intensity and a more negative tone, though effect sizes are small. Concordance analysis reveals that anti-vaccination content employs negative vocabulary such as *смерть* (death), *убивать* (to kill), and *осложнение* (complication) within texts framing vaccination as an existential threat, while pro-vaccination content directs negative vocabulary toward diseases vaccines prevent, using fear-related terms analytically. From a LET perspective, anti-vaccination discourse employs emotionally intense language consistent with an audience oriented toward high-risk perception, whereas pro-vaccination discourse adheres to the measured register of institutional communication. However, since audience expectations were not directly measured, these interpretations remain hypothetical.

Thematically, STM results support H3, H4, and H5. Anti-vaccination communities more prominently feature topics related to children and family, conspiracy theories, and religious figures, while pro-vaccination communities emphasize scientific research and disease prevention. The NRC emotion analysis further revealed that shared emotional categories (anger, trust, fear) serve divergent rhetorical functions: anti-vaccination anger vocabulary centers on individual autonomy, while pro-vaccination anger vocabulary frames vaccination as collective action against disease. Trust-related

terms in anti-vaccination discourse mark institutional distrust, whereas in pro-vaccination discourse they are grounded in relational contexts such as family and school.

Our findings also suggest context-specific features of the Russian debate, including the prominence of legal frameworks for vaccine refusal and the centrality of children and family in anti-vaccination discourse, though direct cross-national comparisons would be needed to confirm these distinctions. A critical finding is that emotional tone does not predict user engagement, although post type (pro- vs. anti-vaccination) shows a small but significant association, with pro-vaccination posts receiving slightly higher engagement, suggesting that other factors such as community size, content format, or network structure may play a more substantial role in driving interaction.

Taken together, these findings document systematic differences in the linguistic profiles of pro- and anti-vaccination communities on VK. The comparative framework reveals that these differences are not limited to surface-level metrics but extend to how shared linguistic resources such as fear, trust, and anger vocabulary are deployed in contextually distinct ways. These patterns are consistent with LET-generated expectations: each community type exhibits a linguistic and thematic profile that aligns with the presumed normative orientation of its audience. However, we emphasize that our study identifies what differences exist and interprets them through a theoretical lens, rather than empirically demonstrating that these patterns function as persuasive strategies or that they are perceived as such by the audiences. Establishing causal and perceptual links, including direct measurement of audience expectations and attitude change, would require experimental or survey-based designs, which we identify as a priority for future research.

Limitations

Several limitations shape the scope and interpretation of our findings. First, while we employed LET as an interpretive lens following prior computational studies, core LET constructs (audience expectations, expectancy violations, and persuasive outcomes) were not empirically measured. Our claims about alignment with audience expectations are therefore interpretive inferences. Alternative explanations, such as differences in community demographics or content moderation, cannot be ruled out. Future research should employ experimental designs to directly assess whether the identified linguistic patterns influence attitudes or behavior.

Second, the VK API limited retrieval to 1,000 most recent posts per community, potentially introducing recency bias. The asymmetry in sample sizes (229 anti-vaccination vs. 84 pro-vaccination communities) reflects VK's structural landscape rather than a design choice but may affect generalizability. Our findings should be understood as a cross-sectional snapshot rather than a longitudinal account.

Third, the dictionary-based sentiment methods presented specific challenges. The Linis-crowd approach, which averages word-level scores across posts, is sensitive to text length and may attenuate emotional differences — likely contributing to the small observed effect sizes. The relatively low congruence rate of the NRC Emotion Lexicon with our corpus (41.17 %) means that emotion-specific findings should be interpreted with caution. The development of sentiment lexicons tailored to Russian-language health discourse would substantially improve future analyses.

References (Список литературы)

1. Anello P, Cestari L, Baldovin T, Simonato L, Frasca G., Caranci N., Pascucci M. G., Valent F., Canova C. (2017) Socioeconomic Factors Influencing Childhood Vaccination in Two Northern Italian Regions. *Vaccine*. Vol. 35. No. 36. P. 4673—4680. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2017.07.058>.
2. Apollonio D. E., Malone R. E. (2009) Turning Negative into Positive: Public Health Mass Media Campaigns and Negative Advertising. *Health Education Research*. Vol. 24. No. 3. P. 483—495. <https://doi.org/10.1093/her/cyn046>.
3. Averbeck J. M., Miller C. (2014) Expanding Language Expectancy Theory: The Suasory Effects of Lexical Complexity and Syntactic Complexity on Effective Message Design. *Communication Studies*. Vol. 65. No. 1. P. 72—95. <https://doi.org/10.1080/10510974.2013.775955>.
4. Betsch C., Brewer N. T., Brocard P., Davies P., Gaissmaier W., Haase N., Leask J., Renkewitz F., Renner B., Reyna V. F., Rossmann C., Sachse K., Schachinger A., Siegrist M., Stryk M. (2012) Opportunities and Challenges of Web 2.0 for Vaccination Decisions. *Vaccine*. Vol. 30. No. 25. P. 3727—3733. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2012.02.025>.
5. Blei D. M., Ng A. Y., Jordan M. I. (2003) Latent Dirichlet Allocation. *Journal of Machine Learning Research*. Vol. 3. P. 993—1022.
6. Broniatowski D. A., Jamison A. M., Qi S., AlKulaib L., Chen T., Benton A., Quinn S. C., Dredze M. (2018) Weaponized Health Communication: Twitter Bots and Russian Trolls Amplify the Vaccine Debate. *American Journal of Public Health*. Vol. 108. No. 10. P. 1378—1384. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2018.304567>.
7. Buller D. B., Burgoon M., Hall J. R., Levine N., Taylor A. M., Beach B., Buller M. K., Melcher C. (2000) Long-Term Effects of Language Intensity in Preventive Messages on Planned Family Solar Protection. *Health Communication*. Vol. 12. No. 3. P. 261—275. https://doi.org/10.1207/S15327027HC1203_03.
8. Burgoon M. (1995) Language Expectancy Theory: Elaboration, Explication, and Extension. In: Berger C. R., Burgoon M. (eds.) *Communication and Social Influence Processes*. East Lansing, MI: Michigan State University Press. P. 29—52.
9. Burgoon M., Pauls V., Roberts D. (2002) Language Expectancy Theory. In: Dillard J. P., Pfau M. (eds.) *The Persuasion Handbook: Developments in Theory and Practice*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. P. 117—137. <https://doi.org/10.4135/9781412976046.n7>.
10. Cohen D. A., Scribner R. A., Farley T. A. (2000) A Structural Model of Health Behavior: A Pragmatic Approach to Explain and Influence Health Behaviors at the Population Level. *Preventive Medicine*. Vol. 30. No. 2. P. 146—154. <https://doi.org/10.1006/pmed.1999.0609>.

11. Đorđević J. M., Mari S., Vdović M., Milošević A. (2021) Links Between Conspiracy Beliefs, Vaccine Knowledge, and Trust: Anti-Vaccine Behavior of Serbian Adults. *Social Science & Medicine*. Vol. 277. Art. 113930. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.113930>.
12. Dudina V. I., Saifulina V. O. (2023) "I Read It, I Wanted To Get Vaccinated Even Less": An Online Discourse of Vaccine Hesitancy. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 1. P. 279—298. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2023.1.2344>. (In Russ.)
Дудина В. И., Сайфулина В. О. «Почитала, еще меньше вакцинироваться захотелось»: онлайн-дискурс вакцинной нерешительности // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2023. № 1. С. 279—298. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2023.1.2344>.
13. Faasse K., Chatman C. J., Martin L. R. (2016) A Comparison of Language Use in Pro- and Anti-Vaccination Comments in Response to a High Profile Facebook*⁶ Post. *Vaccine*. Vol. 34. No. 47. P. 5808—5814. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2016.09.029>.
14. Jensen M. L., Averbek J. M., Zhang Z., Wright K. B. (2013) Credibility of Anonymous Online Product Reviews: A Language Expectancy Perspective. *Journal of Management Information Systems*. Vol. 30. No. 1. P. 293—324. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222300109>.
15. Jolley D., Douglas K. M. (2014) The Effects of Anti-Vaccine Conspiracy Theories on Vaccination Intentions. *PLOS ONE*. Vol. 9. No. 2. Art. e89177. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0089177>.
16. Kata A. (2010) A Postmodern Pandora's Box: Anti-Vaccination Misinformation on the Internet. *Vaccine*. Vol. 28. No. 7. P. 1709—1716. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2009.12.022>.
17. Kata A. (2012) Anti-Vaccine Activists, Web 2.0, and the Postmodern Paradigm — An Overview of Tactics and Tropes Used Online by the Anti-Vaccination Movement. *Vaccine*. Vol. 30. No. 25. P. 3778—3789. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2011.11.112>.
18. Koltsova O. Y., Alexeeva S. V., Kolcov S. N. (2016) An Opinion Word Lexicon and a Training Dataset for Russian Sentiment Analysis of Social Media. In: *Computational Linguistics and Intellectual Technologies: Proceedings of the International Conference "Dialog"*. Vol. 15. No. 22. P. 277—287.
19. Larson H. J., Jarrett C., Eckersberger E., Smith D. M. D., Paterson P. (2014) Understanding Vaccine Hesitancy Around Vaccines and Vaccination from a Global Perspective: A Systematic Review of Published Literature, 2007—2012. *Vaccine*. Vol. 32. No. 19. P. 2150—2159. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2014.01.081>.

⁶ * Readers should note that Meta Platforms, Inc. and its product Facebook* are legally designated as extremist organizations and banned in the Russian Federation.

20. Lee C. H., Yu H. (2020) The Impact of Language on Retweeting During Acute Natural Disasters: Uncertainty Reduction and Language Expectancy Perspectives. *Industrial Management & Data Systems*. Vol. 120. No. 8. P. 1501—1519. <https://doi.org/10.1108/IMDS-12-2019-0711>.
21. Liu J., Jiang H., Wang S. (2023) Physicians' Online Writing Language Style and Patient Satisfaction: The Mediator of Depth of Physician–Patient Interactions. *Healthcare*. Vol. 11. No. 11. Art. 1569. <https://doi.org/10.3390/healthcare11111569>.
22. MacDonald N. E. (2015) Vaccine Hesitancy: Definition, Scope and Determinants. *Vaccine*. Vol. 33. No. 34. P. 4161—4164. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2015.04.036>.
23. Malthouse E. (2023) Confirmation Bias and Vaccine-Related Beliefs in the Time of COVID-19. *Journal of Public Health*. Vol. 45. No. 2. P. 523—528. <https://doi.org/10.1093/pubmed/fdac128>.
24. Mnookin S. (2011) *The Panic Virus: A True Story of Medicine, Science, and Fear*. New York, NY: Simon & Schuster.
25. Mohammad S. M., Turney P. D. (2013) Crowdsourcing a Word-Emotion Association Lexicon. *Computational Intelligence*. Vol. 29. No. 3. P. 436—465. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8640.2012.00460.x>.
26. Murugesan S. (2007) Understanding Web 2.0. *IT Professional*. Vol. 9. No. 4. P. 34—41. <https://doi.org/10.1109/MITP.2007.78>.
27. Petrov I. (2022) Anti-Vaccination Movement on VK: Information Exchange and Public Concern. In: Alexandrov D. A., Boukhanovsky A. V., Chugunov A. V., Kabanov Y., Koltsova O., Musabirov I. (eds.) *Digital Transformation and Global Society*. Cham: Springer. Vol. 1503. P. 108—121. https://doi.org/10.1007/978-3-030-93715-7_8.
28. Platonov K., Svetlov K. (2020) Conspiracy Theories Dissemination on SNS V Kontakte: COVID-19 Case. In: Chugunov A., Khodachek I., Misnikov Y., Trutnev D. (eds.) *Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia*. Cham: Springer. Vol. 1349. P. 322—335. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67238-6_23.
29. Powell J., Pring T. (2024) The Impact of Social Media Influencers on Health Outcomes: Systematic Review. *Social Science & Medicine*. Vol. 340. Art. 116472. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.116472>.
30. Recio-Román A., Recio-Menéndez M., Román-González M. V. (2023) Influence of Media Information Sources on Vaccine Uptake: The Full and Inconsistent Mediating Role of Vaccine Hesitancy. *Computation*. Vol. 11. No. 10. Art. 208. <https://doi.org/10.3390/computation11100208>.
31. Renaud L., Bouchard C., Caron-Bouchard M., Dubé L., Maisonneuve D., Mongeau L. (2006) A Model of Mechanisms Underlying the Influence of Media on Health Behaviour Norms. *Canadian Journal of Public Health*. Vol. 97. No. 2. P. 149—152. <https://doi.org/10.1007/BF03405337>.

32. Reyna V. F. (2012) Risk Perception and Communication in Vaccination Decisions: A Fuzzy-Trace Theory Approach. *Vaccine*. Vol. 30. No. 25. P. 3790—3797. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2011.11.070>.
33. Taddy M. (2012) On Estimation and Selection for Topic Models. In: Lawrence N. D., Girolami M. (eds.) *Proceedings of the Fifteenth International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS)*. PMLR. Vol. 22. P. 1184—1193.
34. Tokojima Machado D. F., de Siqueira A. F., Gitahy L. (2020) Natural Stings: Selling Distrust About Vaccines on Brazilian YouTube. *Frontiers in Communication*. Vol. 5. Art. 577941. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2020.577941>.
35. Tserkovnaya D., Larson H. (2019) Vaccine Confidence in Russia: Digital Analysis of the Online Behavior and Attitudes of the Russian Speaking Internet Users. In: *Proceedings of the 9th International Conference on Digital Public Health*. New York, NY: Association for Computing Machinery. P. 135—136. <https://doi.org/10.1145/3357729.3357763>.
36. Vranceanu A.-M., Elbon M., Adams M., Ring D. (2012) The Emotive Impact of Medical Language. *HAND*. Vol. 7. No. 3. P. 293—296. <https://doi.org/10.1007/s11552-012-9419-z>.
37. Weston S. J., Shryock I., Light R., Fisher P. A. (2023) Selecting the Number and Labels of Topics in Topic Modeling: A Tutorial. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*. Vol. 6. No. 2. P. 1—13. <https://doi.org/10.1177/25152459231160105>.

DOI: [10.14515/monitoring.2026.4.3003](https://doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3003)



Ю. М. Аксютин

**ЮЖНО-СИБИРСКИЙ ЛИМИТРОФ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ
СИТУАЦИИ В ТРЕТЬЕМ ПОСТСОВЕТСКОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ**

Правильная ссылка на статью:

Аксютин Ю. М. Южно-Сибирский лимитроф: социологический анализ этноконфессиональной ситуации в третьем постсоветском десятилетии // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2026. № 4. С. 72—95. <https://www.doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3003>.

For citation:

Aksyutin Y. M. (2026) South-Siberian Limitrophe: Sociological Analysis of the Ethnically and Confessional Situation in the Third Post-Soviet Decade. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 72–95. <https://www.doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3003>. (In Russ.)

Получено: 24.04.2025. Принято к публикации: 24.04.2026.

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ ЛИМИТРОФ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ В ТРЕТЬЕМ ПОСТСОВЕТСКОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ

SOUTH-SIBERIAN LIMITROPHE: SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE ETHNICALLY AND CONFESSIONAL SITUATION IN THE THIRD POST-SOVIET DECADE

АКСЮТИН Юрий Михайлович — кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры гражданско-правовых и уголовно-правовых дисциплин, Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, Абакан, Россия
E-MAIL: aksutum@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0001-5996-3686>

Yurii M. AKSIUTIN¹ — Cand. Sci. (Philos.), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Civil Law and Criminal Law Disciplines
E-MAIL: aksutum@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0001-5996-3686>

¹ Katanov State University of Khakassia, Abakan, Russia

Аннотация. Исследование посвящено анализу процессов изменения этнорелигиозной ситуации, формирования этноконфессиональных идентичностей и радикализации религиозности в Южной Сибири в 2010-х годах. Южная Сибирь (республики Хакасия, Тыва и Алтай) — поликонфессиональный регион, лимитрофная зона контакта славянских и тюркских этносов, религиозных традиций христианства, буддизма и шаманизма. Как и большинство национальных регионов страны, в 1990-х годах Южная Сибирь переживала процессы «религиозного возрождения» и формирования этноконфессиональных идентичностей, ставших фактором риска эскалации напряженности межкультурного и межэтнического взаимодействия. Проведенные в 2013—2019 гг. массовые опросы (квотная районированная выборка, репрезентирующая структуру населения каждой республики) позволяют сделать выводы, что так называемый бум религиозности в республиках Южной Сибири, несмотря на продолжающийся рост числа религиозных организаций, в целом завершился. Доля верующих год от года сокращалась и в 2019 г. составляла порядка 60 % от числа опрошенных при среднероссийских значениях в 70 %. Изменился и характер религиозности верующих, большая часть

Abstract. South Siberia is a region that includes three republics (Khakassia, Tyva and Altai) inhabited by representatives of Turkic and Slavic ethnic groups professing Christianity, Buddhism and Shamanism. In the 1990s, the region was undergoing a process of “religious revival”. The increasing importance of religion was accompanied by the formation of a stable connection between belonging to a religious group and an ethnic group to the extent of their mixing. The combination of religious and ethnic identity increases the tension of interaction between representatives of heterogeneous ethnic groups and religions, and can provoke conflict based on conflicting values, religious and ethnic traditions, norms, and stereotypes. Conducted in the region from 2013 to 2019. Mass surveys using a sample that takes into account the population structure of each republic allow us to conclude that the processes of a significant increase in the number of religious people in the republics of Southern Siberia observed in the 1990s have come to an end. The share of believers has been decreasing from year to year and is about 60% of the respondents (2019). The religious nature of believers has changed. Most of the believers noted that they rarely or do not at all perform religious rites and rituals. There is a connection between ethnic and religious identity among Russians and Tuvini-

которых не исполняет религиозные обряды и ритуалы. В то же время есть основания говорить о функционировании религиозности в качестве маркера этнической идентичности представителей русского и титульных этносов региона, способного стать фактором обострения противоречий межкультурного и межэтнического характера. Анализ результатов массовых опросов свидетельствует о достаточно высоком уровне толерантности жителей Хакасии, Тувы и Алтая, не исключая, тем не менее, возможности радикализации религиозности.

Ключевые слова: религиозность, религиозная идентичность, Тува, Хакасия, Алтай, межрелигиозные и межконфессиональные отношения, толерантность

ans, but the respondents, in general, do not dislike representatives of other ethnic groups and religions in the region. Nevertheless, the majority of respondents are tolerant of the use of force in resolving contradictions of interethnic interaction.

Keywords: religiosity, religious identity, Tuva, Khakassia, Altai, interreligious and interfaith relations, tolerance

Введение

Возвращение религии в публичное пространство России во многом было связано с трансформацией советского общества и государства. После десятилетий антирелигиозной пропаганды религия вновь была признана в качестве важного фактора функционирования социальных и политических процессов и сохранения традиционных ценностей [Авксентьев, Бабкин, Хоц, 2006: 41; Фурман, Каарияйнен, 2003: 20]. Усиление взаимной поддержки между традиционными для страны конфессиями и государством сопровождалось реконструкцией старых и строительством новых культовых сооружений, активизацией участия политических деятелей в знаковых религиозных мероприятиях, а в большинстве национальных республик обращение к религиозной традиции нередко связывалось с идеями возрождения этнического самосознания, обретения и усиления этнополитической субъектности. Этническими элитами высказывались и развивались идеи расширения суверенитета и автономии на почве исторической принадлежности к определенной религиозно-цивилизационной матрице и культурной традиции (исламскому, тюркскому, буддийскому миру), что сопровождалось повышением градуса межконфессиональной и межэтнической напряженности [Montalvo, Reynal-Querol, 2003: 201; Грошева, 2012: 67]. К середине 2000-х годов этничность и религиозность уже повсеместно функционировали как недифференцируемые категории (например, русский — значит православный, татары — мусульмане, тувинцы — буддисты и т. д.). Однако если религиозная ситуация в исламо-христианском пограничье Кавказа и Юга России постоянно находится в фокусе внимания ученых и политиков по причине высоких рисков эскалации напряженности, то исследования особенностей контакта православия, буддизма и шаманизма в национальных республиках Южной Сибири встречаются

редко, что, по-видимому, объясняется распространением стереотипа об их неконфликтном характере.

Цель статьи — опираясь на данные эмпирических социологических исследований, проанализировать специфику и динамику религиозности жителей Южно-Сибирского региона, оценить характер изменений уровня декларируемой толерантности и установок населения в сфере межрелигиозных и межэтнических отношений.

Методы и методология

Южная Сибирь — поликонфессиональный регион России (республики Хакасия, Тыва и Алтай), представляющий собой «лимитрофную зону» контакта славянских и тюркских этносов, последователей христианства, буддизма, ислама и традиционных верований (шаманизма, бурханизма и др.) [Ламажаа, 2021: 180]. Численность населения региона, при значительном этноконфессиональном разнообразии, по данным Всероссийской переписи 2020 г., составляет немногим более 1 млн человек (Хакасия — 534 тыс. человек (русские — 82 %, хакасы — 13 %), Тува — 336 тыс. человек (тувинцы — 88 %, русские — 10 %), Алтай — 211 тыс. человек (русские — 53 %, алтайцы — 37 %) ¹. Эмпирическую базу исследования этноконфессиональных процессов образуют данные статистики, результаты массовых опросов, в том числе проведенных под руководством автора в Хакасии и Тыве (2013—2019 гг.), а также Республике Алтай (2013—2018 гг.) ² в сложный для страны и региона период изменения экономической, внутри- и внешнеполитической ситуации. В частности, нижняя граница хронологии авторских опросов охватывает 2013—2015 гг., отмеченные событиями вокруг присоединения Крыма (2014 г.) и последовавшими за ними международными санкциями и ограничениями, в том числе на экспорт ключевых для экономики региона угля, алюминия, электроэнергии и др. Непокойной была внутривнутриполитическая ситуация, характеризовавшаяся дефицитом доверия властям, ростом протестных настроений и напряженности в социуме по причине снижения уровня благосостояния населения, фактической парализации закредитованных республиканских и муниципальных бюджетов [Белоконев, Игнатовский, Печенкин, 2019]. Верхняя хронологическая граница была определена началом пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), затруднившей проведение массовых опросов. Кроме того, учитывая специфику предмета рассмотрения, важно отметить, что исследования проводились в ситуации фактической смены поколений и формирования нового типа верующих, не испытавших воздействия советской антирелигиозной идеологии. Массовые опросы позволили не только исследовать характер и динамику уровня религиозности жителей региона на достаточно большом отрезке времени, их установки в отношении представителей иных религий и этносов, но и оценить степень влияния внешних факторов (миграции, экономических и политических кризисов, санкций и др.) на эти процессы.

¹ Всероссийская перепись населения 2020 года. Т. 5. Национальный состав и владение языками. URL: https://rosstat.gov.ru/vpr/2020/Tom5_Natsionalnyj_sostav_i_vladenie_yazykami (дата обращения: 22.08.2026).

² В 2016—2017 гг. опросов по сопоставимой программе и выборке не проводилось.

Опросы осуществлялись методом полуструктурированного интервью, применялась многоступенчатая выборка³. Доля каждой республики в общем объеме выборки определялась пропорционально долям этих республик в генеральной совокупности по данным Алтайкрайстата (для Республики Алтай), Красноярскстата (для Тувы и Хакасии) и Всероссийской переписи населения 2010 г. о численности (в Хакасии — 532 тыс. человек, на Алтае — 206 тыс. человек, в Туве — 308 тыс. человек) и демографических характеристиках населения региона старше 18 лет⁴. В исследованиях объем выборки был определен в 1000 респондентов (выборочная совокупность: Хакасия — 520 чел., Алтай — 190 чел., Тува — 290 чел.), соответственно при таком размере величина средней ошибки для генеральной совокупности может достигать величины 3,1 %. Однако при уменьшении выборки (например, при рассмотрении каждого населенного пункта в отдельности) доверительный интервал увеличивается. Уточним, что исследование институциональных и социокультурных процессов в больших территориальных общностях, по основанному мнению А. А. Захаровой, не требует максимальной точности данных, а доверительный интервал допустимой ошибки может составлять до 10 % (по 5 % в ту и другую сторону) [Захарова, 2019: 151—152]. Учитывая специфику темы исследования, в квотных заданиях, помимо базовых (пол, возраст, населенный пункт), вводились процентные ограничения по образованию и этнической принадлежности респондентов, так как анкета содержала большое количество вопросов о характере и основаниях этноконфессиональной идентичности респондентов. Методом случайного отбора выбирались населенные пункты (например, три города и четыре района из 13 муниципалитетов в Хакасии), определялись группы респондентов в соответствии с численностью и характеристикой проживающего в каждом муниципалитете населения. В сельских районах производился случайный, но пропорциональный объему отбор населенных пунктов. Интервьюерами осуществлялся отбор домохозяйств с использованием определенного маршрута движения, внутри которых были выбраны респонденты в соответствии с квотным заданием.

³ **2013 г.:** социологическое исследование в рамках Федеральной целевой программы на 2009—2013 гг. по проекту «Надэтническая идентичность: анализ состояния и оценка потенциала оптимизации региональной модели межкультурного взаимодействия». Выборочная совокупность: Тува — 290 чел., Хакасия — 520 чел., Алтай — 190 чел. **2014 г.:** социологическое исследование в рамках гранта Президента РФ по теме: «Анализ этнокультурных оснований ценностно-идентификационных конфликтов в постсоветской России: региональный аспект». Выборочная совокупность: Тува — 290 чел., Хакасия — 520 чел., Алтай — 190 чел. **2015 г.:** социологическое исследование в рамках гранта Президента РФ по теме: «Российская гражданско-национальная идентичность: новые риски и способы преодоления (региональная модель)». Выборочная совокупность: Тува — 290 чел., Хакасия — 520 чел., Алтай — 190 чел. **В 2016—2017 гг.** опросов не проводилось, **2018 г.:** социологическое исследование в рамках гранта Президента РФ по теме: «Анализ и оценка эффективности функционирования гражданской нации в региональном социуме. Выборочная совокупность: Тува — 290 чел., Хакасия — 520 чел., Алтай — 190 чел. **2019 г.:** социологическое исследование по теме: «Тува в условиях современных трансформаций: моделирование институциональных и социокультурных процессов в Республике Тыва (сер. 1990-х — 2019 гг.)». Выборочная совокупность: Тува — 290 чел. **2019 г.:** социологическое исследование в рамках гранта РФФИ и Правительства Республики Хакасия по теме: «Хакасия в условиях современных трансформаций: социологическое исследование и моделирование институциональных и социокультурных процессов в Республике Хакасия (сер. 1990—2018 гг.)». Выборочная совокупность: Хакасия — 520 чел. В Республике Алтай в 2019 г. опрос не проводился.

⁴ Федеральная служба государственной статистики. Социально-демографический портрет России: По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года. М.: Статистика России, 2012. С. 99—100.

Структура религиозного пространства Южной Сибири в постсоветский период

Начало процессов трансформации структуры религиозного пространства страны и региона, выразившееся в значительном росте числа религиозных объединений и верующих, связано с событиями конца 1980-х — начала 1990-х годов. Стимулами к активизации религиозной жизни населения, получившей в литературе образное определение «религиозное возрождение», были политические, экономические и социокультурные перемены в жизни российского общества и государства [Трансформации..., 2015: 114]. Речь идет в том числе об общем изменении отношения властей к религии и верующим по причине явно обозначившегося кризиса антирелигиозной идеологии. К середине 1980-х годов в СССР, отмечает А. С. Фетисов, несмотря на все ограничения, действовало более 3 тыс. зарегистрированных объединений верующих, десять лет спустя их было уже 15 тыс. [Фетисов, 2008: 90—91]. Считали себя верующими до 34 % населения страны и еще 35 % колебались между верой и неверием. Усиление религиозности, считают специалисты, было следствием не столько либерализации государственно-конфессиональных отношений и роста естественного интереса к религии и мистицизму, сколько тяжелого экономического положения населения, пережившего резкое падение уровня и качества жизни в пореформенную эпоху. Нередко выход из сложившейся ситуации, психологическую и финансовую поддержку искали в религии, среди единоверцев. Наиболее активно к религиозной вере обращались социально незащищенные группы населения [Трансформации..., 2015: 114, 163].

Религиозное пространство в республиках Южной Сибири трансформировалось в соответствии с общероссийскими тенденциями. В 1990-е — начало 2000-х годов в регионе отмечался значительный рост числа религиозных объединений. Например, в Хакасии еще в конце 1980-х годов функционировало не менее 19 религиозных общин, из которых только 11 было зарегистрировано официально. После принятия в 1990 г. Закона СССР «О свободе совести и религиозных организациях», позволявшего легализовать религиозные объединения, их число в Хакасии выросло более чем в три раза. В 1991 г. действовало уже семь общин Русской православной церкви (далее — РПЦ), две старообрядческих, по одной общине католиков, мусульман, иудеев, молокан и порядка 54 протестантских объединений [Дашковский, Гончарова 2023: 684]. Схожие по характеру и динамике процессы роста числа общин и верующих отмечались в Туве, религиозный ландшафт которой исторически формировался под сильным влиянием буддийской традиции [Walters, 2001: 24—38]. В 1990-е годы установились тесные связи Тувы с духовными лидерами из Тибета, принимались законотворческие меры по возрождению традиционных форм религии (буддизма и шаманизма) как части духовной культуры тувинцев. Высокие темпы роста своей численности демонстрировали религиозные объединения и на Алтае, конфессиональное пространство которого представляет собой сложный синтез православия, буддизма, ислама и язычества. В постсоветский период возродились традиционные для Алтая верования бурханизм и шаманизм, появились новые, преимущественно протестантские, конфессии. По данным исследователей, в начале 1990-х годов в республике было зарегистрировано шесть религиозных организаций, но значительно большее число

объединений верующих функционировало неофициально [Тюркские народы..., 2008: 167; Трансформации..., 2015: 163].

Принятый в 1997 г. новый общероссийский закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» ограничивал возможности регистрации религиозных организаций, требуя для этого не только желания верующих, но также и доказательств существования религиозного течения в стране не менее 15 лет и письменного оформления основ вероисповедания. На деле ограничения оказались не столь уж труднопреодолимыми. В 1998 г. в Туве было зарегистрировано 30, а в 2001 г. — уже 45 объединений верующих [Тюркские народы..., 2008: 169]. На Алтае число религиозных организаций за год увеличилось более чем в четыре раза (с 5 в 1997 г. до 26 в 1998 г.) [Трансформации..., 2015: 163, 182], что трудно объяснить только особым режимом налогообложения или желанием верующих открыто заявить о своих взглядах. По-видимому, речь должна идти о наложении ряда факторов, включая политические и социально-экономические. Достаточно вспомнить, что на 1998 г. пришелся дефолт и сильнейший экономический кризис, сопровождавшиеся спадом производства, снижением уровня доходов населения, негативные последствия которых удалось преодолеть только к середине 2000-х [Логачева, 2006].

Начало нового этапа роста числа религиозных организаций пришлось на 2010—2015 гг. (см. табл. 1), что объясняется, с одной стороны, активизацией деятельности традиционных конфессий, поддерживаемых федеральными или местными властями (например, РПЦ образовала в 2011 г. в Туве и в 2013 г. на Алтае самостоятельные епархии), а с другой стороны, изменениями социально-экономической ситуации. В частности, по показателю среднедушевых денежных доходов населения республики Южной Сибири в эти годы опустились на нижние строчки рейтинга (в 2013 г. Хакасия — 65-е место, Алтай — 77-е, а Тыва — 82-е из 83) и оставались там до конца десятилетия⁵. Отмечался рост влияния теневых, криминальных и даже «сверхъестественных» структур [Zorbas, 2021], у которых жители искали помощи и поддержки, например в «освящении» бизнеса или «наведении порчи» на конкурента.

Таблица 1. **Динамика численности религиозных организаций в республиках Хакасия, Тыва, Алтай (2001—2025 гг.)**

Республика	Численность религиозных организаций (по годам)												
	2001	2005	2011	2012	2013	2014	2015	2018	2019	2021	2023	2024	2025
Хакасия	—	70	76	119	119	123	122	117	117	117	117	119	120
Тыва	45	45	42	50	54	54	57	58	62	63	70	72	73
Алтай	33	40	44	46	50	53	53	57	57	61	62	62	63

Источники: составлено автором на основе данных исследователей о численности религиозных организаций в **2005—2011 гг.** в Хакасии: Анайбан З. В. Институты гражданского общества в постсоветской Хакасии // Новые исследования Тувы. 2012. № 4. С. 68., Религиозные организации Сибири: хрестоматия / сост. П. К. Дашковский, Е. В. Шелепова. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2013. С. 96. В Туве: Тюркские народы Восточной Сибири. М.: Наука, 2008. С. 169. В Алтае: Трансформации в обществе и ценности традиционной культуры в Республике Алтай (конец XX — начало XXI веков). Вып. I. Горно-Алтайск: НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова, 2015. С. 163—182. Данные о численности религиозных организаций в **2011—2018 гг.** (на конец года): Российский статистический ежегодник. 2014, 2016, 2019. URL: <https://www.rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994#>. Данные о численности религиозных организаций в **2019 г.** в Хакасии: Отчет о работе Министерства национальной и территориальной политики Республики Хакасия

⁵ Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014—2019 гг. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204> (дата обращения 28.03.2026).

за 2019 г. URL: <https://r-19.ru/authorities/the-ministry-of-national-and-regional-policy-of-the-republic-of-khakassia/docs/251/100831.html>. В Туве: Дашковский П. К. и др. Религиозная ситуация в Республике Тыва (по результатам социологического исследования) // Новые исследования Тувы. 2021. № 2. С. 22. В Алтае: Мониторинг межэтнических отношений и религиозной ситуации в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока России. Экспертный доклад за 2019 г. М. — Омск: «Издательский центр КАН», 2020. С. 60. Данные о численности религиозных организаций в **2020—2021 гг.** в Хакасии: Отчет о работе Министерства национальной и территориальной политики Республики Хакасия за 2020 и 2021 гг. URL: <https://r-19.ru/authorities/the-ministry-of-national-and-regional-policy-of-the-republic-of-khakassia/docs/>; в Туве: Хомушка О. М. Религии в Туве: история и современность. Новосибирск: Наука, 2024. С. 98; на Алтае: Хвастунова Ю. В. Религиозные сообщества и группы в Республике Алтай (состояние на 2021 г.) // Макарьевские чтения: Материалы XVI международной научно-практической конференции. Горно-Алтайск: Горно-Алтайский государственный университет, 2021. С. 301. Информация о зарегистрированных в 2023 г. религиозных организациях в Республике Хакасия, Тыва и Алтай по состоянию на 20.07.2023 г. Информационный портал Министерства юстиции РФ. URL: <https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-nekommercheskih-organizacij/>. Информация о зарегистрированных в **2024 г.** религиозных организациях в Республике Хакасия, Тыва и Алтай по состоянию на 08.01.2025 г. Информационный портал Министерства юстиции РФ. URL: <https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-nekommercheskih-organizacij/>. Информация о зарегистрированных в **2025 г.** религиозных организациях в Республике Хакасия, Тыва и Алтай по состоянию на 13.03.2025 г. Информационный портал Министерства юстиции РФ. URL: <https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-nekommercheskih-organizacij/> (дата обращения: 13.03.2025).

Самым впечатляющим был рост числа религиозных объединений в Хакасии, составивший в 2012 г. более 35 % относительно начала десятилетия. Более половины всех организаций были аффилированы с Абаканской и Хакасской епархией РПЦ. Выросло число мусульманских и буддистских объединений (к 2025 г. — 3 % и 2 % соответственно), а протестантских деноминаций, напротив, становилось меньше (с 28 % в 2013 г. до 20 % в 2025 г. от числа организаций в республике). Ожидается, что большинство верующих в Хакасии идентифицировали себя с православием (см. табл. 2). Однако если число приходов продолжало расти, то численность православных верующих за менее чем десять лет сократилась почти на 10 %. Доля мусульман, напротив, увеличивалась, преимущественно за счет трудовых мигрантов из Средней Азии. Некоторое снижение их числа произошло в 2018—2019 гг., когда спад в экономике снизил привлекательность региона для мигрантов.

Таблица 2. **Распределение ответов респондентов на вопрос:**
«Какую религию вы исповедуете?» (2013—2019 гг.), в %

Какую религию вы исповедуете?	Республика и год проведения опроса													
	Хакасия					Тыва					Алтай			
	2013	2014	2015	2018	2019	2013	2014	2015	2018	2019	2013	2014	2015	2018
Православие	76,0	78,4	69,6	68,7	67	4,5	2,3	5,2	3,1	2,0	68,9	69,5	50,0	60,0
Католицизм	2,5	1,3	1,2	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	0	0,5	0,5	2,6	0,5	1,1
Протестантизм	1,5	0,3	0,6	0,4	0,5	0	0	0	0,4	0	0	0	0	0,5
Ислам	0,2	0	0,8	2,1	1,2	0,3	0	0	0,2	0,5	1,1	1,0	0,5	0,5
Буддизм (ламаизм)	0,4	0	1,2	1,0	2,5	74,1	83	83,4	79,3	80	0	0,8	4,0	1,6
Иудаизм	0,2	0	0,3	0	0	0,3	0	2,4	0	0	0,5	0	0	0
Старообрядчество	1,0	0	0,6	0,8	0,6	0,3	0,3	0	0,4	0	0,5	0,5	0,5	0,5
Свидетели Иеговы	0,4	0,5	0,8	0,4	0,4	0	0,5	0,3	0	0	0	0	0	0
Язычество	0,6	1,8	2,1	1,7	1,	2,4	1,6	0	0	0,5	6,3	3,9	13,7	15,8

Какую рели- гию вы испо- ведуете?	Республика и год проведения опроса													
	Хакасия					Тыва					Алтай			
	2013	2014	2015	2018	2019	2013	2014	2015	2018	2019	2013	2014	2015	2018
Шаманизм	0,6	0,3	3,1	2,5	1,6	9,1	4,2	2,4	7,9	8,0	0,5	1,6	7,4	3,7
Тенгрианство	0	0	2,1	0,2	0,4	0,3	0	0	0	0	0,5	0,5	2,1	0,5
Бурханизм	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0,1	0	1,1	1,3	6,3	1,6
Другую	0	0,8	0,9	1,5	1,7	0	0	0	1,7	0,5	0	0,3	1,0	0,5
Никакую (без отри- цания веры в сверхъесте- ственное)	7,6	8,3	7,3	10,5	12,2	4,6	4,2	2,1	2,4	3,0	11,6	11,4	5,9	6,2
Белая вера (Ак-жан)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,1	0,3	0,2	0,5
Я — атеист	9,0	8,3	9,4	9,2	9,8	3,1	3,1	3,2	4,5	5	7,4	6,3	7,9	7,0

Источник: составлено автором на основании данных массовых опросов в республиках Хакасия, Тыва (2013—2019 гг.) и Алтай (2013—2018 гг.).

В Республике Тыва рост числа религиозных организаций в первой половине 2010-х годов составил более 25 %. Большинство регистрируемых организаций были буддистскими (38 %), им численно уступали усилившие свои позиции РПЦ (28 %) и последователи шаманизма (12 %), уменьшалась доля протестантских течений (17 % организаций). За последующие десять лет численность религиозных организаций в Туве выросла еще на 20 % (преимущественно буддистских и шаманистских), что эксперты объясняют не столько действиями властей и этнополитических элит по возрождению традиционных верований как основания этнополитической субъектности, сколько желанием религиозных и светских лиц регистрировать такие организации [Дашковский и др., 2021: 22]. Увеличение численности буддистских объединений сопровождалось ростом числа приверженцев буддизма и особенно заметно в годы экономических кризисов. Доля последователей шаманизма, напротив, снижалась, как и число православных верующих, несмотря на увеличение числа приходов.

Религиозное пространство Алтая также переживало очередной этап трансформации, рост числа зарегистрированных религиозных организаций за период с 2010 по 2015 г. составил немногим менее 20 %. По числу организаций (49 %) первую позицию в республике стабильно удерживала РПЦ, еще четверть объединений составляли протестантские течения, действовали мусульманские (15 %), буддистские (8 %) и католические (2 %) организации. Без регистрации проповедовали неопротестанты и представители «авторских вариантов» традиционной алтайской «Белой веры», практиковали шаманы [Хвастунова, 2014]. К 2025 г. прирост числа религиозных организаций составил еще порядка 15 %⁶. Несмотря на численное доминирование в республике РПЦ, опросы фиксировали сокращение числа идентифицирующих себя с православием. Доля приверженцев ислама также,

⁶ Информационный портал Министерства юстиции РФ. URL: <https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-nekommercheskih-organizacij/> (дата обращения: 13.03.2025).

несмотря на рост числа организаций, варьировалась в пределах 1 %. Число буддистских организаций почти удвоилось, что в данном случае отражало увеличение доли последователей буддизма. Численность старообрядцев, бурханистов, тенгриан оставалась практически неизменной. В то же время увеличилась доля последователей язычества (6,3 % в 2013 г. и 15,8 % в 2018 г.) и приверженцев шаманизма (с 0,5 % до 3,7 %) — в немалой степени благодаря активной позиции местных этнополитических элит, акцентировавших внимание на необходимости возрождения традиционных верований Алтая.

В целом изменения в структуре религиозного пространства Южной Сибири соответствовали общероссийской ситуации с присущими ей тенденциями роста числа религиозных организаций и верующих. Наиболее заметные изменения происходили в Хакасии. По общему числу и разнообразию религиозных организаций она превосходила соседние республики, но численно преобладала, как и на Алтае, христианские конфессии, что объясняется историческими особенностями развития и этнической структурой населения республик. В Туве четыре пятых населения — тувинцы, почти 40 % организаций и более 80 % верующих исповедуют буддизм. В таких условиях важно определить, насколько устойчивым маркером этнической идентичности становится религиозность жителей Южной Сибири.

Трансформации религиозности жителей Хакасии, Тувы и Алтая

Изменение структуры религиозного пространства Южной Сибири, выразившееся в увеличении числа религиозных организаций и верующих, сопровождалось изменением характера религиозности жителей региона. В Туве, Хакасии и на Алтае на начало 1990-х годов, отмечают исследователи, верующими себя называли почти половина опрошенных. Следует учитывать, что опросы проводились по разным методикам и зачастую в отношении отдельных групп населения, но общую характеристику религиозной ситуации они позволяют составить. Например, по данным О. М. Хомушку, с 1988 по 1990 г. в Туве верующими себя называли порядка 40 % респондентов в сельской местности и 15 % горожан [Хомушку, 2024: 132]. В 1999 г., по данным республиканского социологического исследования, доля верующих составила 43,47 % от числа опрошенных [там же]. Жители республики, отмечает О. М. Хомушку, тогда только начинали обращаться к вопросам, связанным с религией, зачастую отсутствовали необходимые в традиционных конфессиях для совершения обрядовых действий культовые сооружения. Тем не менее к середине 2000-х годов доля верующих в Туве превысила 53 % [Тюркские народы..., 2008: 169].

В соседних Хакасии и Алтае вопросы характера и уровня религиозности населения, несмотря на финансовые трудности пореформенного периода, также находились в фокусе исследовательского внимания. В 1996 г. под руководством Л. В. Анжигановой в Хакасии проведен опрос 10 % хакасского населения, продемонстрировавший, что более 76 % представителей титульного этноса — верующие [Анжиганова, 2008: 658]. Особенности религиозности русских в республике изучала И. В. Артемова, выявившая в ходе опроса 2005 г., что доля верующих среди представителей русского этноса составляет 65,7 % [Артемова, 2006]. Комплекс-

ное исследование особенностей религиозно-нравственного сознания жителей Хакасии 2007 г., учитывавшее половозрастную и этническую структуру населения, фиксировало, что доля верующих в республиканском социуме составляет порядка 60,8 % [Религиозно-нравственное..., 2007: 134]. Ситуация на Алтае, судя по данным массовых опросов, выглядела схожим образом. В период перестройки и в первое постсоветское десятилетие верующими себя называли порядка 60 %, а в середине 2000-х — уже около 70 % респондентов [Алтайцы, 2014: 415].

Проведенные нами в 2013—2019 гг. массовые опросы также свидетельствовали, что религиозность населения республик Южной Сибири имеет массовый характер. Представляющая собой комплексный и сложный феномен, своеобразный «знаниевый конструкт», включающий множество компонентов (религиозную веру и идентичность, поведение и т. д.), религиозность в наших опросах диагностировалась преимущественно на основании самокатегоризации респондента в качестве верующего. Однако важно было ответить и на вопрос о характере, типе религиозности современных верующих, критерии определения которого по сей день вызывают дискуссии в научной среде. Если, например, главным критерием религиозности считать самоидентификацию респондента, то верующими можно будет назвать абсолютное большинство опрошенных. Другая крайность — учитывать большое количество критериев (исполнение ритуалов, посещение храмов и др.) для выявления «истинно верующих». При таком подходе можно свести число верующих к значениям, сопоставимым со статистической погрешностью [Лебедев, 2010: 86; Фурман, Каарияйнен, 2003: 22—23]. Иными словами, при определении характера религиозности, помимо самоидентификации респондентов в качестве верующих, необходимо учитывать особенности их поведения в отношении культа, но не гипертрофировать их значение [Hogg, 2016: 3—17; Rybkina, 2015: 1948]. Несмотря на широкую распространенность в социологических исследованиях практики дифференциации респондентов, заявивших о своей религиозности, на «воцерковленных» и «невоцерковленных» (или «убежденных» и «формально верующих»), такой прием, по мнению П. А. Баева, имеет серьезные ограничения и не учитывает повседневной практики верующих [Баев, 2010: 149—153]. Особенно если речь идет, как в нашем случае, о значительном числе последователей слабоинституционализированных религиозных верований, часто не имеющих культовых сооружений и разработанной обрядности. Применительно к целям исследования, на наш взгляд, уместно использовать определения, обнаруживающие искомую связь между декларируемым мировоззрением и реальным повседневным поведением, например: «активные» и «пассивные» верующие [Артемова, 2006: 71—83]. В наших опросах респонденты аналитически были разделены на несколько групп: а) верующие (дополнительно выяснялось, исполняют они или не исполняют религиозные обряды и ритуалы); б) неверующие (также выяснялось, как неверующие относятся к религии: положительно, отрицательно или безразлично); в) колеблющиеся между верой и неверием. Группа колеблющихся в исследовании рассматривалась обособленно, поскольку у них, как и у затруднившихся с ответом, по-видимому, все же есть религиозные представления и наличие веры они не отрицают [Беликова, 2018: 116—127]. Кроме того, обозначенную группу отличала высокая динамика изменения численности, свидетельствующая о пере-

ходе колеблющихся в другие группы, в том числе верующих. Этническая идентичность респондентов — в контексте задачи определения динамики численности верующих среди представителей крупнейших этносов региона, степени и характера их религиозности, наличия связи между этничностью и религиозной идентичностью — определялась на основе самокатегоризации опрошенных. При этом основания этнической идентичности жителей региона в исследовании методологически игнорировались.

Результаты опросов продемонстрировали, что численность верующих в региональном социуме в третьем постсоветском десятилетии оставалась относительно стабильной и в среднем составляла 61 % от числа опрошенных (см. табл. 3). Для сравнения: по данным общероссийского опроса 2019 г., к верующим себя причисляли 69 % жителей России [Рыжова, 2020: 248]. В то же время в 2013 и 2015 г. исследования фиксировали резкий рост числа верующих, что, на наш взгляд, может быть объяснено изменениями социально-экономической и политической ситуации в республиках региона.

Таблица 3. **Динамика численности верующих, неверующих и колеблющихся в республиках Южной Сибири (2013—2019 гг.), в %**

Категория (группа)	Год проведения опроса					
	2013	2014	2015	2018*	2019	
					Хакасия	Тува
Верующие	66,3	59,5	66,1	58,8	55,2	62
Колеблющиеся между верой и неверием	12,5	10,4	10,6	12,5	13,0	10,5
Неверующие	13,0	20,5	15,0	16,6	20	16,5
Затруднились с ответом	7,6	11,5	8,0	11,8	11,2	11

* Динамика численности в период 2013—2018 гг. по трем республикам (Хакасия, Тува, Алтай).

Источник: Составлено автором на основании данных массовых опросов в республиках Хакасия, Тува (2013—2019 гг.) и Алтай (2013—2018 гг.).

Самый высокий процент верующих в рассматриваемый период был среди представителей русского и тувинского этносов (в среднем 62 и 66 % соответственно). Доля неверующих составила немногим более 19 %. При сопоставимом числе верующих религиозность тувинцев и русских заметно различалась. Только 13 % русских верующих отмечали, что исполняют основные обряды и ритуалы (не исполняли — 49 %), и их доля оставалась почти неизменной на протяжении всего периода исследований. Среди верующих тувинцев, по данным опросов 2013—2015 гг., доля исполняющих обряды и ритуалы была больше доли тех, кто отметил, что верит, но не ведет культовой деятельности. В 2018—2019 гг. доли «активных» и «пассивных» (в терминах И. В. Артемовой) верующих тувинцев примерно выровнялись (см. табл. 4). Интересной, но сложной для интерпретации остается ситуация с позиционированием религиозности и религиозной идентичности как маркера этничности тувинцев. Буддизм отличает их от многих других тюрок мира. Тувинцы-буддисты, отмечает Ч. К. Ламажаа, не вписываются в тюркский «идеал» (все тюрки — мусульмане) [Ламажаа, 2021: 184]. Обладая известной гибкостью,

буддизм в Туве успешно уживается с шаманизмом, а сами тувинцы стали считать его своей традиционной религией, хотя, полагают специалисты, большинство тувинцев не вникают в тонкости учения и тяготеют скорее к шаманистским, добуддийским воззрениям. Иными словами, буддизм для тувинцев, в том числе в контексте позиционирования себя как тюркоязычных буддистов, выполняет функции маркера этничности, особенно в условиях сложной ситуации с другим маркером — языком, трансформирующимся в русско-тувинский билингвизм, вытесняющий тувинско-русский [там же].

Таблица 4. Особенности религиозности представителей крупнейших этносов Южной Сибири (2013—2019 гг.), в %

Тип религиозности	Год проведения опроса																		
	2013				2014				2015				2018				2019 (Хакасия и Тува)*		
	Русские	Тувинцы	Хакасы	Алтайцы	Русские	Тувинцы	Хакасы	Алтайцы	Русские	Тувинцы	Хакасы	Алтайцы	Русские	Тувинцы	Хакасы	Алтайцы	Русские	Тувинцы	Хакасы
Верю в Бога и исполняю основные обряды и ритуалы	13,9	42,5	10,9	24,3	10,5	37,9	10,3	37	14,6	41,9	19,4	31	14	28,8	5,5	37,8	11,8	28,5	9,1
Верю в Бога, но не исполняю религиозные обряды и ритуалы	52,9	32,3	50,9	37,8	41	31,5	37,9	23,9	49,6	23,6	45,6	38,8	50,9	33,7	40,4	24,4	49,9	30,5	39,7
Колесблюсь между верой и неверием	13,3	6,8	16,4	13,5	15	7,8	10,3	8,7	11,1	6,1	13,1	12,1	11,8	9,7	17,4	11,1	10,3	5,5	15,7
Не верю в Бога, но положительно отношусь к религии	7,9	6,8	10	2,7	12,8	11	17,2	8,7	8,8	17,1	9,4	6	7,3	16,1	9,2	11,1	8,1	12,5	6,6
Не верю в Бога, отрицательно отношусь к религии	0,8	1,5	0,9	2,7	5,8	0	13,8	2,2	2	0	0	1,7	1,2	0,4	0,9	2,2	2,1	15	1,7
Не верю в Бога и к религии отношусь безразлично	6,8	2,3	6,4	2,7	8,6	2,2	0	0	6,8	2	3,7	2,6	7,8	2,2	8,3	0	9	8	12,4
Затрудняюсь ответить	4,5	7,9	4,5	13,5	6,4	9,7	10,3	19,6	7,1	9,3	8,7	7,8	6,9	9	18,3	13,3	8,7	9,9	14,9

* Приведены данные опроса 2019 г. в республиках Хакасия и Тува. В Республике Алтай опрос не проводился.

Источник: Составлено автором на основании данных массовых опросов в республиках Хакасия, Тува (2013—2019 гг.) и Алтай (2013—2018 гг.).

Религиозность хакасов, судя по результатам опросов, также имеет свои особенности в плане как численности идентифицирующих себя в качестве верующих, так и доли тех верующих, кто осуществляет культовую деятельность. В частности, верующими себя в рассматриваемом периоде называли в среднем 54% опрошенных представителей хакасского этноса. В сравнении с другими этносами региона это самый низкий показатель уровня религиозности. Исполняют основные

обряды и ритуалы не более пятой части верующих хакасов, что позволяет сопоставить их религиозный тип с характеристиками религиозности русских верующих. Общность черт религиозного типа этих двух этносов определяется, на наш взгляд, особенностями формирования этноконфессионального ландшафта Хакасии, испытывавшего воздействие православной традиции, русского языка и культуры, которое проявляется, в частности, в русско-хакасском билингвизме и синкретических религиозных воззрениях титульного этноса. Тем не менее, полагают исследователи, традиционные религиозные верования (шаманизм, язычество, тенгрианство), которых придерживались, по данным наших опросов, порядка 15 % верующих хакасов, можно рассматривать в качестве маркера этнической идентичности [Анжиганова, 2016; Анайбан, 2012]. Отчасти в пользу такой позиции свидетельствуют изменения в динамике доли верующих среди представителей хакасского этноса в опросе 2015 г., отразившие процессы этноконфессиональной мобилизации в ответ на сложную социально-экономическую ситуацию в стране и республике, когда доля верующих в структуре этноса достигла 65 %, из которых 20 % были последователями шаманизма и язычества.

Доля верующих среди представителей алтайского этноса в рассматриваемый период составляла 62 %. Кратковременный рост их числа (в пределах 10 %) пришелся на 2014—2015 гг. и объясняется, по-видимому, теми же причинами, которые спровоцировали актуализацию религиозности у других этносов региона. Особенностью религиозности алтайцев, на первый взгляд, является устойчивый рост доли верующих, заявлявших, что знают и исполняют религиозные обряды и ритуалы. В других группах их доля снижалась. Однако специалисты отмечают, что религиозный тип верующих на Алтае претерпел значительные изменения. По данным исследователей религиозной ситуации в республике, современные верующие демонстрируют низкий уровень знания догматов, а обряды совершаются поверхностно и прошли путь значительного упрощения [Тадышева, 2017: 431; Харитоновна, 2004]. Другая особенность религиозности алтайцев — традиционно большое число последователей так называемых слабоинституционализированных верований, популярность которых объясняется спецификой развития социально-экономических и этнополитических процессов в республике. В частности, Ю. В. Хвастунова указывает на активную деятельность узкой группы политических элит по буддизации Алтая с целью получения разноплановой поддержки от стран традиционного распространения буддизма [Хвастунова, 2014]. Такие действия вызвали реакцию со стороны республиканского социума, выразившуюся, в частности, в возрождении традиционных верований алтайцев, активном противостоянии алтайцев-шаманистов и алтайцев-буддистов, дифференциации в массовом сознании «Белой веры» и бурханизма, снижении числа приверженцев последнего (в 2014 г. бурханистами себя называли 10,6 %, а в 2018 г. — 2,2 %).

Таким образом, результаты серии массовых опросов в республиках Южной Сибири свидетельствуют в пользу обоснованности мнения специалистов о функционировании религии в качестве маркера этничности крупнейших этносов региона. В таком контексте представляется важным ответить на вопрос: не является ли религиозность, включая религиозную идентичность, фактором эскалации напряженности межэтнического взаимодействия в регионе?

Межэтнические и межконфессиональные отношения в оценках жителей региона

Межэтнические и межрелигиозные отношения, выражающие связи людей, их взаимодействия и взаимовосприятие в социальном пространстве, насыщенном этническими и религиозными идентичностями [Рыжова, 2020: 249—250], давно находятся в фокусе внимания исследователей социокультурных процессов в регионе. Несмотря на отсутствие открытой конфронтации гетерогенных этнических и религиозных общностей, межэтнические и межконфессиональные отношения в Южной Сибири могут быть описаны в терминах стабильной напряженности. В рассматриваемый период 2013—2019 гг. положительно оценивали межконфессиональные отношения немногим более 50 % респондентов, а межэтнические — и того меньше (порядка 45 %). Добавим, что оценкам респондентов была присуща высокая чувствительность к изменениям социально-экономической и политической ситуации. Например, в 2013 г. межконфессиональные отношения сочли благоприятными 63 % опрошенных, а межэтнические — только 46 % (см. табл. 5). При этом положительно оценивали межэтнические отношения почти равное число верующих и неверующих (46 % и 50,3 % соответственно). В восприятии межконфессиональных отношений расхождения были более существенными (благоприятными их сочли 47,1 % неверующих и 62 % верующих). Тем, кто отметил наличие межконфессиональной напряженности, предлагалось назвать ее причины. 26,5 % опрошенных в качестве основного фактора межконфессиональной напряженности назвали миграцию, еще 19,9 % видели причиной напряженности деятельность религиозных организаций и конкретных представителей некоторых конфессий. Воздействие на характер межконфессионального взаимодействия негативных процессов в экономике отметили 10 % опрошенных, в политической сфере — 6,5 %.

Таблица 5. *Динамика оценок характера межконфессиональных и межэтнических отношений (2013—2019 гг.), в %*

Категория оценок характера межконфессиональных и межэтнических отношений	Год проведения опроса					
	2013	2014	2015	2018	2019*	
					Хакасия	Тува
Межконфессиональные отношения благоприятны	63	47	60	58,1	56,3	66,1
Имеется напряженность в межконфессиональных отношениях	21	33,3	19,7	25	23,2	19,4
Неопределившиеся	15,1	20,8	20,8	18,4	11,8	11
Межэтнические отношения благоприятны	46	36,6	51,8	48,9	46,4	50,5
Имеется напряженность в межэтнических отношениях	42	51,6	37,4	36,5	40,7	34,6
Неопределившиеся	7,5	10,9	11,3	12,5	13,5	14,5

* Приведены данные опроса 2019 г. в республиках Хакасия и Тува. В Республике Алтай опрос не проводился.

Источник: Составлено автором на основании данных массовых опросов в республиках Хакасия, Тува (2013—2019 гг.) и Алтай (2013—2018 гг.).

Повторный опрос был проведен в 2014 г., на который пришлось знаковые изменения внешне- и внутривнутриполитической, экономической ситуации, оказавшие воздействие на настроения и оценки жителей региона [Латова, 2016: 16—37]. Межконфессиональные отношения сочли благоприятными уже менее половины опрошенных, выросло число респондентов, ощущавших скрытую (24,3 %) и сильную (9 %) напряженность. Больше остальных ощущали напряженность представители русского и хакаского этносов (по 13 %), в подавляющем большинстве — православные. Среди основных причин межконфессиональной напряженности 12,1 % респондентов (22,7 % тувинцев, 17,4 % алтайцев, 8,6 % русских) называли миграцию, 23,3 % — политические процессы в стране, 17,5 % — деятельность отдельных служителей и религиозных организаций. Примечательно, что фактор ухудшения ситуации в экономике в качестве триггера межконфессиональной напряженности обозначили только 14,2 % опрошенных. Напряженность межэтнических отношений ощущали более половины респондентов (конфликтность — 7,1 %). В совокупности напряженность и межэтнических, и межконфессиональных отношений отметили на 10 % больше опрошенных, нежели годом ранее. Обращает на себя внимание тот факт, что в оценке характера взаимодействия неверующие демонстрировали больше оптимизма, чем верующие. Порядка 44 % неверующих и 39 % верующих сочли межэтнические отношения благоприятными, а позитивный характер межконфессиональных отношений отметили 51 % неверующих и 49,2 % верующих.

По-видимому, предпринимаемые федеральными и местными властями меры по нивелированию неблагоприятных последствий процессов в экономике и социальной сфере были достаточно эффективными, что отразили результаты последующих опросов. Уже в 2015 г. положительную оценку ситуации дали более половины опрошенных. В перечне причин, вызывающих межконфессиональную напряженность, респонденты отметили миграцию (26,1 %), деятельность отдельных служителей и религиозных организаций (21,6 %), политические процессы (20,1 %). Только 6 % опрошенных обозначили в качестве основной причины напряженности ухудшение ситуации в экономике, что до известной степени противоречит распространенным представлениям о значительном влиянии этого фактора на социокультурные процессы. Межэтнические отношения сочли благоприятными на 15 % опрошенных больше, чем в предыдущем году (48,1 % хакасов и 32 % тувинцев отметили напряженность ситуации межэтнического взаимодействия). Как и прежде, неверующие позитивнее оценили ситуацию межэтнического контакта (48 % неверующих и 41 % верующих соответственно). Характер межконфессиональных отношений, напротив, положительно оценили 47,1 % неверующих и 60,1 % верующих.

Спустя два года (опрос 2018 г.) оценки остались почти без изменений: благоприятными межэтнические и межконфессиональные отношения сочли более половины опрошенных, тогда как напряженность ощущал каждый четвертый респондент (конфликтность — 2 %). Среди основных причин межконфессиональной напряженности снова фигурировали мигранты (20,7 %), приток которых восстановился после значительного снижения в середине десятилетия из-за депрессивного состояния экономики региона. 18,5 % назвали в качестве основной причины напряженности ухудшение ситуации в экономике, а еще 15,8 % отметили негатив-

ное влияние политических процессов в стране. Пятая часть опрошенных видели причину напряженности в действиях религиозных организаций и отдельных служителей различных конфессий. Положительную оценку характера межэтнических отношений дали менее половины опрошенных (48,9%). Скрытую напряженность отметили 33,9%, а сильную — 2,6% респондентов, и это самые низкие значения негативных оценок за весь период исследований. Сильнее остальных чувствовали напряженность межэтнических взаимодействий респонденты-алтайцы (22,2%) и тувинцы (18%). Верующие и неверующие по-прежнему оценивали межэтнические и межнациональные отношения как доброжелательные почти в равной степени. Порядка 46% неверующих и 44,3% верующих отметили, что межэтнические отношения благоприятны. В свою очередь, 44,4% неверующих и 53,3% верующих охарактеризовали характер межконфессиональных отношений как благоприятный. Иными словами, опрошенные позитивнее оценивали межконфессиональные отношения, нежели межэтнические.

Опросы в Хакасии и Туве, проведенные в 2019 г., свидетельствовали о стабилизации оценок характера межэтнических и межконфессиональных отношений. Более половины опрошенных назвали межконфессиональные отношения благоприятными, а причины напряженности 34,6% респондентов в Хакасии (в равной степени русские и хакасы) видели в миграции. Порядка 20% назвали политические процессы в стране, столько же — деятельность отдельных религиозных лидеров и организаций. 15% отметили фактор ухудшения ситуации в экономике. В Туве причины межконфессиональной напряженности 29% респондентов видели в политических процессах, 19,4% — в миграции, 12,9% — в ухудшении ситуации в экономике. Негативное влияние на ситуацию межрелигиозного контакта 19% опрошенных видели в деятельности некоторых религиозных лидеров и организаций. Межэтнические отношения сочли благоприятными менее половины опрошенных респондентов в Хакасии (оценки верующих и неверующих почти не отличались). Межконфессиональные отношения верующие оценили позитивнее, назвав ситуацию бесконфликтной (неверующие — 47,1%, верующие — 62%). Межэтнические отношения благоприятными назвали чуть более 50% как верующих, так и неверующих опрошенных в Туве (конфликтность ощущали 13% русских и тувинцев). Межконфессиональные отношения сочли бесконфликтными и благоприятными 62% верующих и 47,1% неверующих. Можно сказать, что неверующие в рассматриваемый период чаще, чем верующие, оценивали межэтнические отношения как доброжелательные. Межконфессиональные отношения, напротив, верующие субъективно воспринимают более позитивно. Интересно, что в общероссийском опросе 2019 г. неверующие в большинстве случаев реже, чем верующие, давали позитивную оценку межнациональным отношениям в своем регионе [Рыжова, 2020: 252]. Сопоставляя оценки респондентов за весь период исследований, можно сделать вывод об их стабильности, складывании в региональной ситуации функционального противоречия.

Напряженность межэтнических и межконфессиональных отношений в Южной Сибири имеет свои объективные основания, что делает необходимым мониторинг динамики уровня толерантности как устойчивой ориентации представителей гетерогенных этносов и конфессий на несиловое разрешение возникающих проти-

воречий [Рыжова, 2019: 52]. В ходе опросов выявлялись субъективные мнения жителей региона о возможности применения силовых методов решения возникающих межнациональных и межконфессиональных конфликтов. В целом порядка четверти опрошенных, вне зависимости от этнической принадлежности, полагали совершенно недопустимым применение силы при разрешении конфликтов, более половины респондентов считали применение силы возможным, если существует угроза жизни людей, и 10 % отметили, что применение силы в подобных ситуациях необходимо. Анализ результатов массовых опросов через призму этнической и религиозной идентичности респондентов позволил дополнить представления об уровне и специфике толерантности жителей региона. В частности, доля сторонников радикального решения межэтнических противоречий среди верующих оказалась весьма значительной: применение силы в описанной ситуации допускают в среднем порядка 8,5 % назвавших себя православными, 15,7 % буддистов, 22,5 % приверженцев шаманизма, 25 % мусульман и 9,8 % атеистов. Иными словами, тема этноконфессионального радикализма в публичном пространстве Южной Сибири на момент проведения опросов сохраняла свою актуальность, но не отличалась остротой. В частности, по результатам опроса 2013 г., подавляющее большинство респондентов (88,5 %) вне зависимости от этнической принадлежности ответили, что нет конфессий (религий), к которым они испытывают неприязнь. Однако в условиях экономической, социально-политической нестабильности, когда активизируются поиски «виновных» в возникающих проблемах и неурядицах, актуализируются неформальные и групповые связи, уровень религиозной неприязни значительно повышается (в 2014 г. был более 9 %). В исследованиях 2018—2019 гг. уровень религиозной неприязни жителей региона был сопоставим со среднероссийским уровнем негативных установок (7,8 %).

Заключение

Исследование религиозной ситуации в республиках Южной Сибири в третьем постсоветском десятилетии позволяет сделать вывод, что «бум религиозности», о котором много писали и говорили в 1990—2000-х годах, по-видимому, завершился. После значительного роста числа верующих в пореформенный период к середине 2010-х годов их доля в региональном социуме стабильно снижается, но не столько в сторону увеличения числа неверующих (которых, впрочем, стало несколько больше), сколько в пользу затрудняющихся с определением себя в качестве верующего или неверующего, а также колеблющихся между верой и неверием. Тем не менее верующими себя по-прежнему называли более половины опрошенных, что говорит о массовом характере религиозности в постсоветском обществе.

Характер религиозности верующих, так называемый тип религиозности, также претерпел значительные изменения. Большая часть верующих — представителей крупнейших этносов региона (русские, хакасы и тувинцы) — отмечали, что почти не ведут систематической культовой деятельности, а участвуют в религиозных ритуалах и совершают обряды от случая к случаю. Исключением были верующие алтайцы, половина которых уверенно заявляли, что знают и исполняют религиозные обряды и ритуалы. При этом религиозность, конфессиональная идентичность все отчетливее обретали этнокультурное измерение, становясь маркером этнич-

ности, способным обострить ситуацию межэтнического и межконфессионального взаимодействия, особенно в условиях усиления негативных процессов в экономике и политической сфере региона. Анализ субъективных оценок, которые жители республик Южной Сибири давали характеру межэтнических и межконфессиональных отношений, продемонстрировал, что такие опасения небесспорны. По данным опросов, немногим более половины респондентов в рассматриваемый период считали контактную ситуацию межконфессионального взаимодействия благоприятной, еще меньше было тех, кто дал положительную оценку характеру межэтнического взаимодействия. Большинство респондентов терпимы к применению силы при разрешении противоречий межэтнического взаимодействия. Допустимость применения силовых методов обозначили представители самых многочисленных конфессий. Иными словами, тема радикализации религиозности в публичном пространстве республик Южной Сибири остается далеко неисчерпанной. Тем не менее религиозность и этническая принадлежность не становятся источником противоречий сами по себе, а опрошенные демонстрировали высокий уровень декларируемой толерантности.

Список литературы (References)

1. Авксентьев В. А., Бабкин И. О., Хоц А. Ю. Конфессиональная идентичность в конфликтном регионе // Социологические исследования. 2006. № 10. С. 41—48.
Avksentiev V. A., Babkin I. O., Khots A. Yu. (2006) Confessional Identity in a Conflict-Ridden Region. *Sociological Studies*. No. 10. P. 41—48. (In Russ.)
2. Алтайцы: Этническая история. Традиционная культура. Современное развитие / ред. колл. Н. В. Екеев, Н. М. Екеева, Э. В. Енчинов. Горно-Алтайск: НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова, 2014.
Ekeyev N. V., Ekeyeva N. M., Enchinov E. V. (eds.) (2014) *Altaians: Ethnic History. Traditional Culture. Modern Development*. Gorno-Altai: S. S. Surazakov Research Institute of Altaic Studies. (In Russ.)
3. Анайбан З. В. Институты гражданского общества в постсоветской Хакасии // Новые исследования Тувы. 2012. № 4. С. 68—82.
Anayban Z. V. (2012) Civil Society Institutions in Post-Soviet Khakassia. *New Research of Tuva*. No. 4. P. 68—82. (In Russ.)
4. Анжиганова Л. В. Межконфессиональные отношения в республике Хакасия в начале XXI в. // Этносоциальные процессы во Внутренней Евразии: Тематический сборник: материалы X Международной научно-практической конференции, Семей, 15—16 мая 2008 г. Вып. 9. Новосибирск-Семей: Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, 2008. С. 656—662.
Anzhiganova L. V. (2008) Interfaith Relations in the Republic of Khakassia at the Beginning of the 21st Century. In: *Ethnosocial Processes in Inner Eurasia. Thematic Collection: Proceedings of the X International Scientific and Practical Conference, Semey, May 15—16, Vol. 9*. Novosibirsk-Semey: Shakarima Semipalatinsk State University. P. 656—662. (In Russ.)

5. Анжиганова Л. В. Этноконфессиональная ситуация в Южной Сибири: социологический аспект исследования // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 5(47). С. 81—83. <https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.47.033>. Anzhiganova L. V. (2016) Ethno-Konfessional Situation in Southern Siberia: Sociological Aspect of Research. *International Research Journal*. No. 5. P. 81—83. <https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.47.033>. (In Russ.)
6. Артемова И. В. Особенности религиозности русских в Хакасии // Вестник Евразии. 2006. № 3. С. 71—83. Artemova I. V. (2006) Features of the Religiousness of Russians in Khakassia. *Vestnik Evrazii*. No. 3. P. 71—83. (In Russ.)
7. Баев П. А. Религиозное и нерелигиозное сознание российского общества эпохи перемен: проблемы типологизации // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2010. № 1. С. 148—159. Baev P. A. (2010) Religious and Nonreligious Consciousness of the Russian Society in the Epoch of Changes: Problems of Typologization. *Bulletin of Adygea State University. Series 1: Regional Studies: Philosophy, History, Sociology, Law, Political Science, and Cultural Studies*. No. 1. P. 148—159. (In Russ.)
8. Беликова Е. О. Поиски стратегии социологического изучения религиозной идентичности // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2018. № 2. С. 116—127. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.2.05>. Belikova E. O. (2018) Searching for a Sociological Strategy to Study Religious Identity. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 2. P. 116—127. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.2.05>. (In Russ.)
9. Белоконев С. Ю., Игнатовский Я. Р., Печенкин Н. М. Динамика общественно-политических настроений и анализ результатов выборов в Республике Хакасия в 2018 году // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2019. Т. 9. № 4. С. 19—24. <https://doi.org/10.26794/2226-7867-2019-9-4-19-24>. Belokonev S. Yu., Ignatowski Ya. R., Pechenkin N. M. (2019) Dynamics of Socio-Political Moods and an Analysis of the Election Results in the Republic of Khakassia in 2018. *Humanities and Social Sciences. Bulletin of the Financial University*. Vol. 9. No. 4. P. 19—24. [DOI10.26794/2226-7867-2019-9-4-19-24](https://doi.org/10.26794/2226-7867-2019-9-4-19-24). (In Russ.)
10. Грошева Г. В. Региональная идентичность на уровне этногосударственных субъектов Российской Федерации на рубеже XX—XXI веков (Республика Хакасия, Республика Алтай, Республика Тыва) // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2012. № 9. С. 66—74. Grosheva G. V. (2012) The Regional Identity at the Level of the Russian Federation Ethnic Nationhood Constituent Territories at 20—21st Century (Republics of Khakassia, Altai and Tuva). *Tomsk State Pedagogical University Bulletin*. No. 9. P. 66—74. (In Russ.)

11. Дашковский П. К., Шершнева Е. А., Бичелдей У. П., Монгуш А. В. Религиозная ситуация в Республике Тыва (по результатам социологического исследования) // Новые исследования Тувы. 2021. № 2. С. 18—34. <https://www.doi.org/10.25178/nit.2021.2.2>.
Dashkovskiy P. K., Shershneva E. A., Bicheldey U. P., Mongush, A. V. (2021) Religious Situation in the Republic of Tuva (Based on the Results of a Sociological Study). *New Research of Tuva*. No. 2. P. 18—34. <https://www.doi.org/10.25178/nit.2021.2.2>. (In Russ.)
12. Дашковский П. К., Гончарова Н. С. Положение религиозных общин в национальных автономиях СССР в 1985—1991 гг.: на примере Хакасской автономной области // Вестник РУДН. Серия: История России. 2023. Т. 22. № 4. С. 680—695. <https://doi.org/10.22363/2312-8674-2023-22-4-680-695>.
Dashkovskiy P. K., Goncharova N. S. (2023) Situation of Religious Communities in the USSR National Autonomies in 1985—1991: the Case of the Khakass Autonomous Region. *RUDN Journal of Russian History*. Vol. 22. No. 4. P. 680—695. <https://doi.org/10.22363/2312-8674-2023-22-4-680-695>. (In Russ.)
13. Захарова А. А. Опыт формирования выборки на примере исследования институциональных и социокультурных процессов региона // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. № 11—2. С. 150—153. <https://doi.org/10.24411/2500-1000-2019-11773>.
Zakharova A. A. (2019) The Experience of Sampling on the Example of the Research of Institutional and Socio-Cultural Processes in the Region. *International Journal of Humanities and Natural Sciences*. No. 11—2. P. 150—153. DOI:10.24411/2500-1000-2019-11773. (In Russ.)
14. Ламажаа Ч. К. Тува как лимитрофная зона: язык, религия и идентификация тувинцев // Новые исследования Тувы. 2021. № 3. С. 178—194. <https://www.doi.org/10.25178/nit.2021.3.14>.
Lamazhaa Ch. K. (2021) Tuva as a Limitrophe Zone: Language, Religion and People's Identity. *New Research of Tuva*. No. 3. P. 178—194. <https://www.doi.org/10.25178/nit.2021.3.14>. (In Russ.)
15. Латова Н. В. Удовлетворенность россиян жизнью во время кризиса: 2015 — год бифуркации // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2016. № 3. С. 16—37. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2016.3.02>.
Latova N. V. (2016) Russian Satisfaction with Life during the Crisis: 2015 as a Year of Bifurcation. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 3. P. 16—37. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2016.3.02>. (In Russ.)
16. Лебедев С. Д. Парадоксы религиозности в мире позднего модерна // Социологические исследования. 2010. № 12. С. 85—93.
Lebedev S. D. (2010) Paradox of Religiousness in the World of Late Modernity. *Sociological Studies*. No. 12. P. 85—93. (In Russ.)

17. Логачева А. С. Современная Хакасия: этносоциальные процессы. Абакан : Хакасское книжное издательство, 2006.
Logacheva A. S. (2006) Modern Khakassia: Ethnosocial Processes. Abakan: Khakasskoe Knizhnoe Izdatelstvo. (In Russ.)
18. Религиозно-нравственное сознание населения Республики Хакасия: проблемы и перспективы развития / ред. колл. В. Г. Ибрагимова, Л. В. Анжиганова, Н. А. Бухарина. Абакан : Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова. 2007.
Ibragimova V. G., Anzhiganova L. V., Bukharina N. A. (eds.) (2007) Religious and Moral Consciousness of the Population of the Republic of Khakassia: Problems and Prospects of Development. Abakan: Katanov State University of Khakassia. (In Russ.)
19. Рыжова С. В. Религиозность, этноконфессиональная идентичность и проблемы межэтнического согласия // Социологические исследования. 2019. № 2. С. 49—58. <https://doi.org/10.31857/S013216250004006-9>.
Ryzhova S. V. (2019) Religiosity, Ethno-Confessional Identity and Problems of Interethnic Accord. *Sociological Studies*. No. 2. P. 49—58. <https://doi.org/10.31857/S013216250004006-9>. (In Russ.)
20. Рыжова С. В. Религиозность и межрелигиозные отношения в оценках россиян // Россия реформирующаяся. 2020. № 18. С. 245—263. <https://doi.org/10.19181/ezheg.2020.11>.
Ryzhova S. V. (2020) Religiosity and Interreligious Relations in the Assessments of Russians. *Russia Reforming*. No. 18. P. 245—263. <https://doi.org/10.19181/ezheg.2020.11>. (In Russ.)
21. Тадышева Н. О. Межэтнические и межконфессиональные отношения в республике Алтай // Мир Большого Алтая. 2017. Т. 3. № 3. С. 428—436.
Tadysheva N. O. (2017) The Interethnic and Interconfessional Relations in Altai Republic. *World of Great Altay*. Vol. 3. No. 3. P. 428—436. (In Russ.)
22. Трансформации в обществе и ценности традиционной культуры в Республике Алтай (конец XX — начало XXI веков). Вып. I. Республика Алтай в XX — начале XXI веков: трансформации социальных слоев и институтов / ред. колл. Н. В. Екеев, Н. М. Екеева, Э. В. Енчинов. Горно-Алтайск : НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова, 2015.
Ekeyev N. V., Ekeyeva N. M., Enchinov E. V. (eds.) (2015) Transformations in Society and Values of Traditional Culture in the Altai Republic (Late 20th — Early 21st Centuries). Vol. I. The Republic of Altai in the 20th and Early 21st Centuries: Transformations of Social Strata and Institutions. Gorno-Altaiisk: S. S. Surazakov Research Institute of Altaic Studies. (In Russ.)
23. Тюркские народы Восточной Сибири / отв. ред. Д. А. Функ, Н. А. Алексеев. М. : Наука, 2008.
Funk D. A., Alekseev N. A. (eds.) (2008) The Turkic Peoples of Eastern Siberia. Moscow: Nauka. (In Russ.)

24. Фетисов А. С. К вопросу об изменении политики государства в отношении религиозных организаций (на примере Горного Алтая) // Мир науки, культуры, образования. 2008. № 2(9). С. 90—92.
Fetisov A. S. (2008) On the Issue of Changing the State's Policy Towards Religious Organizations (Using the Example of Gorny Altai). *The World of Science, Culture and Education*. No. 2. P. 90—92. (In Russ.)
25. Фурман Д., Каарияйнен К. Религиозная стабилизация в современной России // Россия и мусульманский мир. 2003. № 10. С. 20—28.
Furman D., Kaariainen K. (2003) Religious Stabilization in Modern Russia. *Russia and the Moslem World*. No. 10. P. 20—28. (In Russ.)
26. Харитонов В. И. Религиозный фактор в современной жизни народов Севера и Сибири. М.: Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, 2004.
Kharitonova V. I. (2004) Religious Factor in the Modern Life of the Peoples of the North and Siberia. Moscow: N. N. Miklouho-Maclay Institute of Ethnology and Anthropology of the Russian Academy of Sciences. (In Russ.)
27. Хвастунова Ю. В. Деятельность религиозных организаций на территории Республики Алтай (социально-политический аспект) // История и культура народов Юго-Западной Сибири и сопредельных регионов (Казахстан, Монголия, Китай): Материалы международной научно-практической конференции, Горно-Алтайск, 20—23 апреля 2014 г. Горно-Алтайск: Горно-Алтайский государственный университет, 2014. С. 390—397.
Khvastunova Yu. V. (2014) Activities of Religious Organizations in the Altai Republic (Socio-Political Aspect). In: *History and Culture of the Peoples of South-Western Siberia and Adjacent Regions (Kazakhstan, Mongolia, China): Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Gorno-Altaysk, April 20—23*. Gorno-Altaysk: Gorno-Altaysk State University. P. 390—397. (In Russ.)
28. Хомушку О. М. Религии в Туве: история и современность. Новосибирск: Наука, 2024.
Khomushku O. M. (2024) Religions in Tuva: History and Modernity. Novosibirsk: Nauka. (In Russ.)
29. Hogg M. A. (2016) Social Identity Theory. In: McKeown S., Haji R., Ferguson N. (ed.). *Understanding Peace and Conflict Through Social Identity Theory. Peace Psychology Book Series*. Cham: Springer. P. 3—17. https://doi.org/10.1007/978-3-319-29869-6_1.
30. Montalvo J. G., Reynal-Querol M. (2003). Religious Polarization and Economic Development. *Economics Letters*. Vol. 80. No. 2. P. 201—210. [https://doi.org/10.1016/S0165-1765\(03\)00080-6](https://doi.org/10.1016/S0165-1765(03)00080-6).
31. Rybkina I. V. (2015) Religious Identity in a Christian Context: Types, Markers and Research Problems. *Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences*. Vol. 8. No. 9. P. 1946—1954. <https://doi.org/10.17516/1997-1370-2015-8-9-1946-1954>.

32. Walters P. (2001) Religion in Tuva: Restoration or Innovation? *Religion, State and Society*. Vol. 29. No. 1. P. 23—38. <https://doi.org/10.1080/09637490120061877>.
33. Zorbas K. (2021) Shamanic Dialogues with the Invisible Dark in Tuva, Siberia: The Cursed Lives. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

DOI: [10.14515/monitoring.2026.4.3103](https://doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3103)



Е. С. Бемлер, Я. Е. Хмельницкая

УСТОЙЧИВОСТЬ В НАРРАТИВАХ КРЕАТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА НА ПРИМЕРЕ ПЯТИГОРСКА И НАЛЬЧИКА

Правильная ссылка на статью:

Бемлер Е. С., Хмельницкая Я. Е. Устойчивость в нарративах креативной молодежи Северного Кавказа на примере Пятигорска и Нальчика // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2026. № 4. С. 96—120. <https://www.doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3103>.

For citation:

Bemler E. S., Khmel'nitskaya Ya. E. (2026) Resilience in the Narratives of Creative Youth in the North Caucasus: The Example of Pyatigorsk and Nalchik. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 96–120. <https://www.doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3103>. (In Russ.)

Получено: 15.09.2025. Принято к публикации: 14.04.2026.

УСТОЙЧИВОСТЬ В НАРРАТИВАХ КРЕАТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА НА ПРИМЕРЕ ПЯТИГОРСКА И НАЛЬЧИКА

БЕМЛЕР Екатерина Сергеевна — кандидат социологических наук, младший научный сотрудник Центра молодежных исследований, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург, Россия

E-MAIL: ebemler@hse.ru

<https://orcid.org/0009-0008-0029-6645>

ХМЕЛЬНИЦКАЯ Яна Евгеньевна — стажер-исследователь Центра молодежных исследований, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург, Россия

E-MAIL: ykhmelnitskaya@hse.ru

<https://orcid.org/0009-0000-2510-2984>

Аннотация. Статья представляет исследование стратегий устойчивости креативной молодежи Северного Кавказа на примере Пятигорска и Нальчика. Теоретическая рамка работы объединяет процессуальное понимание устойчивости с трактовкой локальности как субъективно конструируемой связи с местом, что позволяет анализировать устойчивость креативной молодежи во взаимосвязи с пространственным контекстом малых городов, где локальность выступает не ограничением, а ресурсом. Эмпирическую базу исследования составляют 20 интервью с представителями креативного класса в возрасте 18—35 лет. Анализ нарративов позволил выявить, что устойчивость представляет собой не статичную характеристику, а динамический процесс, который конструируется через взаимодействие индивидуальных стратегий и локального контекста. В работе выделяются четыре ключевых типа нарративов об устойчивости: как возвращение к докризисному состоянию; как социальное встраивание; как

RESILIENCE IN THE NARRATIVES OF CREATIVE YOUTH IN THE NORTH CAUCASUS: THE EXAMPLE OF PYATIGORSK AND NALCHIK

Ekaterina S. BEMLER¹ — *Cand. Sci. (Soc.), Junior Research Fellow at the Center for Youth Studies*

E-MAIL: ebemler@hse.ru

<https://orcid.org/0009-0008-0029-6645>

Yana E. KHMELNITSKAYA¹ — *Research Intern at the Center for Youth Studies*

E-MAIL: ykhmelnitskaya@hse.ru

<https://orcid.org/0009-0000-2510-2984>

¹ HSE University, St. Petersburg, Russia

Abstract. The article presents a study of resilience strategies of creative youth in the North Caucasus using the example of Pyatigorsk and Nalchik. The theoretical framework of the study combines a processual understanding of resilience with an interpretation of locality as a subjectively constructed connection to place, allowing for an analysis of the resilience of creative youth in relation to the spatial context of small towns, where locality serves not as a constraint but as a resource. The empirical base of the study consists of 20 interviews with creative youth aged 18–35. An analysis of the narratives revealed that resilience is not a static characteristic, but a dynamic process constructed through the interaction of individual strategies and the local context. The authors identify four key types of resilience narratives: as a return to the pre-crisis state; as social integration; as controlled uncertainty ("safe uncertainty"); and as a lack of stability as a characteristic of modernity. Resilience is realized through the following models: individualistic (reliance on internal resources), networked (so-

контролируемая неопределенность («безопасная неопределенность»); как отсутствие стабильности в качестве характеристики современности. Устойчивость реализуется посредством следующих моделей: индивидуалистической (опора на внутренние ресурсы), сетевой (социальные связи и сети), гибридной (совмещение креативной и некреативной занятости) и локальной (укорененность в культурном наследии и городской среде). Главный вывод статьи заключается в тесной взаимосвязи устойчивости, креативности и локальности. Несмотря на структурные ограничения (неразвитость инфраструктуры, недостаток поддержки), креативная молодежь находит ресурсы для самореализации и развития своих городов, сознательно выбирая стратегию укорененности.

Ключевые слова: устойчивость, креативная молодежь, Северный Кавказ, локальность, укорененность, стратегии устойчивости

Благодарность. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках проекта Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ Санкт-Петербург «Устойчивость и креативный потенциал молодежи Северо-Кавказского региона в контексте образовательной и трудовой миграции». Авторы выражают благодарность сотрудникам Центра молодежных исследований, участвовавших в сборе эмпирических материалов.

cial connections and networks), hybrid (combining creative and non-creative employment), and local (embeddedness in cultural heritage and the urban environment). The main finding of the study is the close relationship between resilience, creativity, and locality. Despite structural limitations (underdeveloped infrastructure, lack of support), creative young people find resources for self-realization and the development of their cities by consciously choosing a strategy of embeddedness.

Keywords: resilience, creative youth, North Caucasus, locality, rootedness, resilience strategies

Acknowledgments. The study was carried out with the financial support of the Russian Science Foundation within the framework of the project of the Center for Youth Studies of the HSE University, St. Petersburg “Resilience and creative potential of the youth of the North Caucasian region in the context of educational and labor migration”. The authors express their gratitude to the staff of the Center for Youth Studies who participated in collecting empirical materials.

Введение

В общественном дискурсе молодежь часто осмысляется в двойственной оптике: с одной стороны, отдельные молодежные группы и практики могут рассматриваться как источник социальных проблем, требующих решения, а с другой — как символический ресурс и потенциал для изменений, способствующий обновлению поколений [Омельченко, Поляков, 2017]. Эта амбивалентность находит отражение и в исследовательской литературе. Можно выделить несколько устоявшихся оптик рассмотрения молодежи. Первая изображает молодых людей как жертв неолиберальных условий, лишенных возможностей для полноценной са-

мореализации. Вторая, напротив, видит в них активных агентов социальных преобразований. Третья тенденция сводит поведение молодежи к инфантильности и эгоизму [Jenkins, Ito, boyd, 2015; Тулузакова, Самохвалов, 2022]. Анализ субъективных нарративов позволяет преодолеть ограничения как «объективирующего», так и «романтизирующего» взглядов и услышать голоса самих молодых людей при обсуждении их настоящего и будущего [Campbell, 2019].

Одна из ключевых сфер, где субъективный опыт и потенциал молодежи раскрываются наиболее ярко, — креативная экономика. В условиях современной экономики знаний креативность приобретает особую ценность ключевого фактора экономического роста и инновационного развития [Florida, 2002]. Креативный потенциал молодежи все чаще осмысливается как один из факторов регионального развития, способный противостоять «утечке мозгов» [Брижак, Романец, 2021]. При этом креативная экономика часто ассоциируется с мегаполисами, хотя исследования показывают, что малые города и отдаленные регионы также могут стать центрами притяжения творческого класса благодаря близости к природе, умеренному ритму жизни и сильным локальным сообществам [Verdich, 2010; Кочухова, Мартыанов, 2019; Кузинер, Петрунина, 2022].

Несмотря на колоссальный культурный потенциал Северо-Кавказского федерального округа, его регионы находятся на нижних ступенях рейтингов по креативному развитию [Гохберг и др., 2024]. Для миграционных процессов в СКФО характерен устойчивый дисбаланс: число уезжающих значительно превышает число прибывающих [Гимбатов и др., 2023]. Молодежь массово покидает регион для получения образования и в поисках работы в крупных городах, что приводит к потере человеческого и трудового потенциала. Однако даже в таких условиях часть молодежи выбирает стратегию укорененности — остается в родных городах и развивает локальные креативные проекты. Это открывает для них возможность встроиться в жизнь своего города, реализовать гражданскую позицию и адаптироваться к нестабильности [Nilan, 2016].

Дискуссии об устойчивости, несмотря на их теоретическую разработанность, зачастую ведутся о молодежи, но исключают ее голос из процесса концептуализации этого понятия. В то время как исследователи и политики фокусируются на структурных факторах [Омельченко, Лисовская, 2022] или психологических аспектах устойчивости [Ryan, Deci, 2001], сами молодые люди редко получают возможность сформулировать, что для них означает устойчивость и какие стратегии они используют для совладания с нестабильностью. Это особенно актуально для творческой молодежи, которая вынуждена балансировать между стремлением к гибкости и поиском стабильности. Комплексный анализ устойчивости представителей современной креативной молодежи городов Северного Кавказа предполагает обращение к их собственным нарративам, поскольку в них раскрывается субъективная логика выбора стратегий совладания и укоренения.

Мы опираемся на процессуальное понимание устойчивости М. Унгара [Ungar, 2013] как динамического конструирования, а не статической характеристики. Такой подход позволяет уйти от нормативных оценок и сосредоточиться на том, как сами молодые люди осмысливают, переживают и выстраивают свою способность справляться с вызовами. Кроме того, мы фокусируемся на взаимосвязи этой субъек-

ективно конструируемой устойчивости с локальным контекстом малых городов. Вслед за М. Анико [Anico, 2009], мы понимаем локальность как субъективно переживаемую связь с местом, основанную на осознании его культурной уникальности, истории и традиций. Это чувство «своего» пространства становится ресурсом для поддержания идентичности и стабильности. Исследования показывают, что устойчивость невозможно понять вне конкретного пространственного и социального контекста [Gallagher, Starkman, Rhoades, 2017]. Вопреки распространенному представлению о периферии как о пространстве дефицита, мы рассматриваем локальность не как препятствие, а как источник уникального креативного потенциала [Sacco, Ferilli, Blessi, 2014; Verdich, 2010].

Цель данной статьи — проанализировать, как креативная молодежь малых городов Северного Кавказа конструирует и реализует стратегии устойчивости в условиях структурных ограничений, а также выявить взаимосвязь устойчивости, креативности и локальности. В рамках работы мы отвечаем на следующий исследовательский вопрос: каким образом представители креативной молодежи Пятигорска и Нальчика понимают, конструируют и поддерживают свою устойчивость в контексте локальной среды и профессиональной деятельности? Отвечая на этот вопрос, мы показываем, как устойчивость конструируется в специфическом контексте периферийного региона, и выявляем ее тесную взаимосвязь с локальностью. Это позволит дополнить существующие исследования устойчивости молодежи в крупных городах [Лисовская, Гарифзянова, 2025] и переосмыслить политику поддержки креативной молодежи, сместив фокус с привлечения «креативного класса» в столицы на создание условий для его укоренения и самореализации в малых городах.

Теоретические подходы к пониманию устойчивости

В российском академическом дискурсе понятие устойчивости чаще всего употребляется в рамках термина «социальная устойчивость», который применяется как на микроуровне (отдельные индивиды), так и на макроуровне (общество в целом) [Омарханова, Мусин, 2013]. При этом можно выделить два основных концептуальных подхода: неолиберальный, трактующий устойчивость как готовность к самостоятельной жизни и профессиональной деятельности [Резник, Черниковская, 2019], и морально-этический, акцентирующий систему внутренних ценностей и убеждений [цит. по: Самохвалова, 2012: 72].

Оба подхода подвергаются обоснованной критике за игнорирование структурного неравенства и системных барьеров [Harlan, 2016]. Более того, традиционные определения устойчивости, делающие акцент на «преодолении невзгод» [Ungar, 2013], часто маргинализируют альтернативные стратегии совладания, такие как сознательный отказ от борьбы в несправедливых условиях (скрытая устойчивость) [Ungar, 2004], или коллективные практики арт-активизма [Van Katwyk, Seko, 2019].

В ответ на ограничения традиционных подходов М. Унгар предлагает процессуальное понимание устойчивости как динамического конструирования, а не статической характеристики [Ungar, 2013]. Данный подход позволяет уйти от нормативных оценок и сосредоточиться на том, как сами индивиды осмысливают свою способность справляться с вызовами. Кроме того, процессуальное понимание

устойчивости учитывает ее зависимость от контекста, что представляется особенно актуальным при изучении тех ресурсов, которыми обладает творческая молодежь в периферийных регионах.

Эмпирические исследования, учитывающие субъективные представления молодежи, показывают, что сами молодые люди определяют устойчивость через три ключевых аспекта: чувство принадлежности к сообществу (*belonging and connections*), осознание своих сильных сторон (*personal strengths*), и понимание внешних угроз (*external pressures*) [Van Katwyk, Seko, 2019]. Устойчивость невозможно корректно понять вне социального и пространственного контекста — важнейшую роль играет качество образовательных учреждений, характеристики местного сообщества и доступ к культурным ресурсам [Gallagher, Starkman, Rhoades, 2017].

Устойчивость следует понимать не только как способность «преодолевать» трудности, но и как возможность переопределять условия, в которых они формируются [Ungar, 2004]. Некоторые современные исследования переосмысливают неустойчивость не как проблему, а как естественную и важную стадию развития, особенно в молодом возрасте. Концепция «безопасной неопределенности» (*safe-uncertainty*) [Fox, Deakin, 2025] предлагает рассматривать это состояние как переходную фазу, содержащую потенциал для роста, при условии создания поддерживающей среды. Такой подход позволяет легитимизировать неопределенность как норму развития и сместить акцент с преодоления и преодоления на освоение нестабильности как ресурса личностного и творческого роста. Выбор концепции «безопасной неопределенности» для нашего исследования продиктован спецификой изучаемой группы. Творческая деятельность в современных условиях тесно связана с нестабильностью — ненормированным графиком и неопределенностью дохода. Для креативной молодежи неопределенность — не внешнее и временное обстоятельство, а имманентная характеристика профессиональной траектории. В этой перспективе неопределенность может становиться источником гибкости, свободы и нестандартных решений. Поэтому в нашем исследовании внимание сосредоточено не на преодолении неустойчивости, а на том, как молодежь осваивает ее, встраивает в профессиональную идентичность и превращает в ресурс творческой самореализации.

Креативность, устойчивость и локальный контекст

Исследования показывают, что творческие практики не только помогают преодолевать неустойчивость, но и трансформируют саму среду, создавая новые социальные и культурные форматы [Metzl, Morrell, 2008]. Таким образом, в условиях макропроблем XXI века креативность выступает не просто индивидуальным навыком, а механизмом коллективной устойчивости, позволяющим переопределять границы возможного. Креативность как способность генерировать оригинальные и эффективные идеи тесно связана с устойчивостью: оба качества предполагают гибкость, адаптивность и умение работать с неопределенностью [Csikszentmihalyi, 1996]. На фоне глобальных вызовов и социальной нестабильности креативность становится ключевым ресурсом адаптации, позволяя молодежи находить нестандартные решения в постоянно меняющемся мире [Ambrose, 2016]. Это особенно

актуально для ситуации в современной России, где вынужденная изоляция, локализация и опора на местные ресурсы требуют гибкого мышления и способности переосмысливать ограничения как возможности.

В условиях глобальных изменений и усиливающейся локализации [Sacco, Ferilli, Blessi, 2014] креативность проявляется не только как индивидуальная способность к адаптации [Metzl, Morrell, 2008], но и как коллективный ресурс территорий, особенно в периферийных регионах [Prince, Petridou, Ioannides, 2021]. Креативные практики молодежи способны преобразовывать локальные сообщества, создавая новые экономические возможности и противодействуя оттоку населения. При этом отмечается, что в малых городах факторами привлекательности становятся не столько урбанистические атрибуты «креативного класса» [Florida, 2002], сколько уникальные локальные характеристики — близость к природе, чувство общности и возможности для «дауншифтинга» [Verdich, 2010].

Концепция локальности как ресурса креативности получает развитие в исследованиях креативных локальностей [Дидковская, Вишневский, Нотман, 2025]. Под этим понятием авторы понимают новые самоорганизующиеся формы социального пространства, для которых характерны (1) креативная деятельность, направленная на преобразование среды, (2) специфическая локализация взаимодействия и (3) низовая инициатива и самоорганизация. Исследование на материале крупных российских городов показывает, что именно самоорганизация и солидарность в рамках локальных сообществ являются ключевым условием для реализации творческого потенциала молодежи и ее влияния на городскую среду, что тесно перекликается с идеями об устойчивости, конструируемой через сообщество [Ungar, 2013; Pratt, 2015].

Однако, как подчеркивают исследователи, локальность не сводится лишь к объективным характеристикам пространства или формам коллективной активности. Важнейшее измерение локальности — ее субъективное переживание индивидами. Еще А. Гупта и Дж. Фергюсон показали, что локальность — это не изначальная данность, а результат социального конструирования, осуществляемого как самими жителями, так и внешними акторами [Гупта, Фергюсон, 2013]. В этом смысле любое пространство становится «местом», только когда наделяется значением и смыслом со стороны тех, кто в нем живет и действует. Развивая эту логику применительно к современным трансформациям, Е. Л. Капустина вводит понятие «коллективно представляемое пространство», показывая, что принадлежность к локальности может сохраняться как центр идентичности даже при физическом отсутствии в ней [Капустина, 2019].

Таким образом, в современных исследованиях локальность предстает в двух взаимосвязанных измерениях. С одной стороны, это объективное пространство — физическая среда, локализация взаимодействий, инфраструктура, что фиксируется в понятии «креативные локальности» [Дидковская, Вишневский, Нотман, 2025]. С другой стороны, это субъективно переживаемое пространство — то, как индивиды наделяют место смыслом, идентифицируют себя с ним и черпают в нем ресурсы для идентичности и деятельности. Именно второе измерение оказывается ключевым для понимания устойчивости креативной молодежи в малых городах: значима не только объективная креативная инфраструктура, но и то, как моло-

дые люди субъективно «присваивают» пространство, выстраивают с ним эмоциональную и смысловую связь, превращая его в источник вдохновения, поддержки и укорененности.

В мире, где доминирует гомогенизация культуры, локальное наследие становится ценным ресурсом для поддержания и развития местной экономики и сообщества [Sacco, Ferilli, Blessi, 2014]. Когда жители осознают свой город/регион как уникальный, аутентичный и обладающий собственной историей и культурой, это пробуждает в них чувство гордости, укрепляя социальную сплоченность и связи внутри сообщества [Liu, Butler, Zhang, 2019]. В условиях глобальных изменений и постоянных трансформаций локальность становится эффективным ресурсом для «укоренения» и поддержания стабильности, позволяя обществам определять и закреплять общеразделяемые смыслы и практики [Anico, 2009].

В российском исследовательском поле проблема устойчивости молодежи активно разрабатывается, в том числе в контексте миграции и адаптации. Так, исследования иногородней студенческой молодежи в крупных городах (Казань, Санкт-Петербург) концептуализируют устойчивость как результат процесса социального включения и накопления социального капитала [Лисовская, Гарифзянова, 2025]. Устойчивость в данном случае тесно связывается со способностью преодолевать барьеры изоляции, выстраивать сети поддержки и обретать чувство стабильности и уверенности в новой городской среде через формальные (университет) и неформальные институты. В рамках нарративного анализа переживаний одиночества и поиска сообщества были выделены идеализированные сценарии-модели, обобщающие схожие биографические сюжеты образовательных мигрантов в жанровой логике «социальной драмы» [Лисовская, Омельченко, Гарифзянова, 2024]. Эти работы важны для понимания того, как молодые люди конструируют свою устойчивость через активные практики социального включения в контексте городской среды. Однако остается недостаточно изученным вопрос о том, как устойчивость конструируется молодежью, которая не мигрирует, а сознательно остается в малых городах и регионах, часто воспринимаемых как периферийные.

Таким образом, критический анализ существующих подходов показывает, что ни один из них в отдельности не позволяет оценить специфику конструирования устойчивости креативной молодежи в условиях малого города. Неoliberalный подход редуцирует устойчивость к индивидуальной готовности преодолевать трудности, игнорируя структурные ограничения. Морально-этический подход фокусируется на внутренних ценностях, но упускает контекстуальность. Подходы, акцентирующие «преодоление невзгод», маргинализируют стратегии принятия нестабильности.

Мы опираемся на процессуальное понимание устойчивости как динамической характеристики [Ungar, 2013]. Для нашего анализа важна концепция «безопасной неопределенности» [Fox, Deakin, 2025], позволяющая рассматривать нестабильность как ресурс креативности. Наконец, мы фокусируемся на взаимосвязи этой субъективно конструируемой устойчивости с локальным контекстом малых городов [Sacco, Ferilli, Blessi, 2014; Pratt, 2015].

Таким образом, предлагаемый теоретический синтез позволяет нам исследовать, как креативная молодежь в специфических условиях Северного Кавказа

осмысляет и выстраивает свою устойчивость. Мы рассматриваем локальность не как объективную данность, а как субъективно переживаемую и конструируемую связь с местом. Именно это измерение, как мы покажем далее, становится ключевым ресурсом для креативной молодежи в изученных городах.

Методология

Эмпирической базой исследования выступает корпус интервью, собранный в 2024—2025 гг. сотрудниками Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ в рамках проекта «Устойчивость и креативный потенциал молодежи Северо-Кавказского региона в контексте образовательной и трудовой миграции», поддержанного Российским научным фондом. Методология проекта предполагала сбор интервью в каждом городе по целевой выборке: активные студенты ($n = 10$), эксперты в креативной индустрии города ($n = 10$), работающая молодежь, занятая в креативной индустрии ($n = 10$). Для данной статьи были отобраны и проанализированы интервью из последней категории в двух городах — Нальчике и Пятигорске. Опираясь на широкую научную дискуссию о связи креативности и устойчивости, мы стремились проследить, каким образом устойчивость конструируется в нарративах людей, для которых творчество стало профессией и образом жизни. Общий объем выборки составил 20 интервью (см. табл. 1 Приложения), это количество было определено в процессе анализа как достаточное для достижения эмпирического насыщения. Использованы все интервью в рамках собранной категории по двум городам.

Информанты рекрутировались методом «снежный ком» с целевой выборкой по следующим критериям: гендерный баланс, возраст от 18 до 35 лет, а также занятость в креативной индустрии. Для операционализации понятия «креативная индустрия» и формирования выборки мы опирались на определение, закрепленное Федеральным законом от 08.08.2024 № 330-ФЗ, согласно которому к креативным индустриям относят: индустрии, основанные на историко-культурном наследии; индустрии, основанные на произведениях литературы и искусства, результатах издательской и исполнительской деятельности и фонограммах; индустрии, основанные на информационно-телекоммуникационных технологиях, деятельности СМИ и связях с общественностью; индустрии, основанные на прикладном творчестве. Использование законодательной рамки позволило нам, во-первых, обеспечить сопоставимость результатов с будущими исследованиями, а во-вторых, задать внешние границы креативной деятельности, которые в ходе анализа мы могли насыщать интерпретациями информантов.

С информантами проводились полуструктурированные очные интервью. Гайд включал в себя темы о месте рождения, родительской семье, образовании и опыте работы, задавались вопросы о представлениях информанта об «успешности», истории развития креативного проекта, а также о дружеских компаниях и увлечениях.

Анонимизированные транскрипты интервью обрабатывались в программе QualCoder с использованием тематического анализа. Кодирование выполнялось одним исследователем и включало несколько этапов: на первом применялось открытое кодирование, позволившее выделить 115 первичных кодов, которые фиксировали повторяющиеся сюжеты, оценки, стратегии действия и способы

описания устойчивости. В ходе анализа первичные коды были объединены в 11 укрупненных категорий, которые затем использовались как промежуточный аналитический уровень при интерпретации результатов, среди них, в частности, категории, связанные с факторами устойчивости и неустойчивости, межличностной поддержкой, сообществами, работой, городским контекстом, университетом и источниками опоры для креативного дела. Надежность анализа обеспечивалась верификацией кодовой схемы вторым исследователем, последовательным пересмотром кодов, возвратом к полным текстам интервью и проверкой устойчивости интерпретаций на интервью. Выделенные категории стали промежуточным аналитическим уровнем между первичным кодированием и представлением результатов. Именно на их основе были сформированы используемые в статье метафоры систематизации результатов — типы нарративов, модели, а также точки утраты и пересборки устойчивости. Эти аналитические конструкции не тождественны отдельным кодам или категориям, а представляют собой результат их интерпретативной сборки на разных уровнях обобщения. Пример сопоставления кода, категории и конечной метафоры приведен в таблице 2 Приложения.

Выбор городов для анализа креативной сферы обусловлен их специфическим контекстом. Пятигорск входит в состав края, а не национальной республики, это снижает влияние строгих национальных и религиозных норм на креативные процессы, создавая более либеральный контекст для самореализации молодежи. Однако экономика Пятигорска как курортного города во многом сориентирована на внешний спрос туристов и курортников. Эта логика проецируется и на творческую сферу, которая вынуждена учитывать запросы туристов. В противоположность этому, Нальчик как столица Кабардино-Балкарии в большей степени опирается на внутренние ресурсы и культурный капитал. Однако здесь креативная молодежь может сталкиваться с вызовами, связанными с влиянием консервативных установок. В то же время именно глубокая культурная укорененность может стать источником уникальности и устойчивости местных творческих проектов. Мы следуем классификации Л. Э. Лимонова и М. В. Несены, которые в своей работе показали, что именно на рубеже 250 тыс. человек происходят значимые изменения в социально-экономическом ландшафте города, поскольку меняется структура экономики, снижается производительность обрабатывающей промышленности, бюджеты городов начинают формироваться иначе, а жители демонстрируют иные субъективные оценки благополучия и социальных ожиданий [Лимонов, Несена, 2019]. Поскольку креативная сфера неразрывно связана с экономическими и социальными условиями города, мы считаем данный критерий релевантным для нашего исследования и относим Пятигорск и Нальчик к категории «малых» городов.

Таким образом, два города формируют два разных полюса креативности: коммерчески ориентированный и глобальный (Пятигорск) и аутентичный и локально укорененный (Нальчик). Ограничения исследования связаны прежде всего с рамкой кейсов и выборки. Эмпирическая база включает интервью из двух специфических городских контекстов — Пятигорска и Нальчика, поэтому полученные выводы описывают локальные конфигурации креативности и устойчивости. Кроме

того, анализ сосредоточен на работающей молодежи, для которой креативная деятельность является профессиональной занятостью, это сужает применимость результатов к иным группам (в частности, студентам и тем, для кого творчество не связано с устойчивой трудовой траекторией).

Результаты

Типы нарративов об устойчивости

Устойчивость редко проговаривается информантами напрямую, но возникает в описаниях жизненных обстоятельств, кризисов и способов справиться с ними. На основе этих повторяющихся сюжетов мы выделили четыре типа нарративов, различающихся по «точке отсчета» устойчивости и логике действия, которую они задают.

Первый тип связан с возвращением к утраченной устойчивости после кризисных событий (индивидуальных или общественных). Чаще всего информанты упоминают пандемию COVID-19 и события СВО. Точкой отсчета здесь выступает состояние «до кризиса», а устойчивость понимается как восстановление привычного порядка или поиск его новой версии в изменившихся условиях. Информанты пытаются вернуть утраченную устойчивость, и нарратив конструируется вокруг ее «переизобретения» для себя — на новом месте, новой работе или в изменившихся условиях.

Другой тип, сильно выделяющийся генезисом и мотивацией, — это путь к устойчивости, когда информанты описывают шаги к ее обретению через различные инструменты и институты. Так, опыт работы в институтах с высоким уровнем солидаризации укрепляет уверенность в сообществе и одновременно формирует несколько показателей устойчивости для человека. Важными становятся социальные связи, в которые человек встраивается и благодаря которым обретает поддержку, возможность самореализоваться и обеспечить себе досуг. Подобный опыт обретения устойчивости можно охарактеризовать как последовательный и линейный, он часто связывается с нарративом о «преодолении» себя или обстоятельств, мешающих или останавливающих, как, например, в этой цитате, где опыт работы аниматором призван помочь справиться со стеснительностью и «запустить» карьерную траекторию:

Когда только школу закончила, я пошла работать аниматором. Потому что я очень стеснялась всего и хотела это как-то перебороть. И пошла работать аниматором. Меня тогда научили вести. Я писала какие-то сценарии на детские мероприятия, на корпоративы. (Женщина, 31 год, автор текстов, Нальчик)

Другой пласт нарративов формируется вокруг сюжета отсутствия устойчивости как таковой. Здесь возникает прямая связь между нестабильностью и творчеством. Однако это противоречие нельзя рассматривать исключительно в негативном ключе: для многих молодых людей в сфере креативных индустрий неустойчивость вписывается в рамки естественного и продуктивного состояния. В таких случаях «безопасная неопределенность» (safe-uncertainty) [Fox, Deakin, 2025] выступает ресурсом реализации творческого потенциала, смещая акцент с пробле-

матизирующего дискурса. Атрибуты, связанные с неустойчивостью, такие как ненормированный график или нестабильная заработная плата, воспринимаются как необходимость и данность такого рода деятельности.

Потому что если есть спектакль, который надо репетировать, мы придем, с 11 до тех пор, пока не умрем работать, но главное, чтобы режиссер был на месте. А чтобы мы приходили, как офисные работники с 9 до 6 сидели — ну зачем? (Мужчина, 26 лет, актер, Нальчик)

Неустойчивость креативного дела противопоставляется институциональной стабильности, которая воспринимается как ограничение и угроза самовыражению.

Вот у меня подружка работала в проектом институте. Это про стабильность. У нее там оклад плюс процент. <...>. Это жесткий график, жесткая форма управления внутри компании... и ты не можешь там красивый стакан оставить на столе, потому что ты — зумер. (Женщина, 24 года, архитектор, Пятигорск)

Стабильность здесь понимается как предсказуемость и воспроизводимость определенного уровня комфорта, но оборачивается утратой свободы и творческой самореализации. Молодые люди вынуждены добиваться баланса между креативностью и устойчивостью, и то, каким образом они это делают, через что или вопреки чему, можно назвать аспектами устойчивости, напрямую влияющими на субъективное ощущение (дис)баланса.

Отсутствие устойчивости, стабильности и надежности может восприниматься как общая характеристика современности. В таком случае гибкость и умение подстраиваться под быстро меняющиеся обстоятельства становится не просто важным конкурентным преимуществом, а экзистенциальной необходимостью. Даже когда информанты устойчивы в профессиональном плане и находят поддержку среди своих близких и единомышленников, они не ощущают стабильности, поскольку повседневная реальность глубоко неустойчива.

Благополучие и надежность? Ну, не знаю. Это тоже, мне кажется, супериллюзорные понятия. Это настолько вообще не имеет как будто актуальности в 2024 году, потому что тот момент, когда все эти шутки про горизонт планирования на десять минут... <...>. Мне кажется, что надежность, то, что может хоть сколько-нибудь подарить хотя бы иллюзию надежности, это умение быть гибким и адаптивным. (Женщина, 31 год, автор текстов, Нальчик)

Мы выделяем четыре основных типа нарративов об устойчивости у наших информантов: возвращение к докризисному состоянию, движение к устойчивости через социальное встраивание, устойчивость как контролируемая неопределенность и отсутствие устойчивости как характеристики современности. Во всех типах на первый план выходит способность к адаптации, гибкость и умение подстраиваться под изменяющиеся обстоятельства. Устойчивость — это не статичное состояние, а динамичный процесс, который может выражаться как в попытке

вернуться к прежней стабильности, так и в умении находить ресурсы в условиях постоянных изменений и неопределенности.

Модели устойчивости

Если типы нарративов показывают, как устойчивость определяется креативной молодежью, то модели фиксируют, на что именно опираются информанты и как конструируют собственную устойчивость.

Важным источником устойчивости информанты называют самих себя. Внутренние ресурсы становятся опорой в преодолении неустойчивости, а сам человек выступает мерилем благополучия, баланса и надежности. Эти показатели рассматриваются не как статичные характеристики, а как объекты личной рефлексии и психологической работы.

Ну чья это заслуга — моя заслуга. Потому что я считаю свою жизнь благополучной. Рядом со мной сидит человек, у которого есть все то же, что и у меня, и он считает свою жизнь неблагополучной. Потому что он так решил. То есть скорее для меня благополучие и надежность — это выбор. (Мужчина, 35 лет, организатор джазовых концертов, Пятигорск)

В этой модели человек отталкивается от понимания собственных сил и слабостей, а также ресурсов для поддержания равновесия. Такой подход можно назвать *индивидуалистической моделью устойчивости*. Согласно ей, способность справляться с трудностями зависит от самого человека: от способности «переоценить обстоятельства» и найти в ситуации более позитивный смысл, от воли и усилий для адаптации. Эта идея связана с современной неолиберальной культурой, где в центре всего — личность и ее успех. В рамках такой интерпретации одним из аспектов устойчивости становится работа или творческий проект. Ощущение профессионального признания дает ресурсы для совладания с периодами стресса и неустойчивости, а также может стать мотивацией для отказа от переезда:

У меня есть ощущение, что я влилась благодаря работе, все-таки какая-то потребность во мне как в специалисте, она существует, за что я безумно благодарна, что есть какой-то вот этот вот отклик. Наверное, я бы без этого не осталась здесь [в Пятигорске]. (Женщина, 34 года, художник, Пятигорск)

Информанты используют термин «болеть» для описания связи между собой и творчеством, что демонстрирует глубину их вовлеченности и ее роль в формировании уверенности и удовлетворенности в жизненном плане. Креативная молодежь в большой степени связана со своим трудом и профессиональным статусом. Поскольку зачастую проекты — личная инициатива, от успешности дела зависит устойчивость самих информантов. Главным ресурсом в такой парадигме выступает сам человек, его собственные действия и мысли, причем часто это подкрепляется воспитанием и схожими установками в семье:

Меня семья так воспитала, у нас всегда на Бога надейся, но сам не плошай. Да, то есть все сами, сами, сами. (Мужчина, 28 лет, керамист, Пятигорск)

В ряде случаев устойчивость «в себе» оказывается стечением множества аспектов, обеспечивающих ее. Например, она связывается с продолжением семейного дела: человек встраивается в уже готовую модель, которая обеспечивает базовую стабильность и дает возможность строить собственные проекты. Таким образом, внутренняя устойчивость оказывается переплетена с межпоколенческой преемственностью и поддержкой со стороны семьи, где культурный и экономический капитал родительской среды становится основой для креативной самореализации.

Наряду с этим устойчивость может формироваться через включенность в креативные сообщества и создание локальных пространств. В этой модели источником стабильности и силы является объединение с другими креативными проектами и людьми.

А зачем бороться, если можно созидать вместе? (Мужчина, 26 лет, актер, Нальчик)

В этом смысле отдельные единицы креативного сообщества становятся его продолжателями, создавая новые проекты и вовлекая новых людей. Так, сообщество воспроизводит само себя и свою устойчивость за счет создания новых связей и сетей взаимодействия. Ключевое условие воспроизводства креативной среды — социальный капитал, формирующийся через такие взаимодействия и компенсирующий слабость институциональной поддержки. Информанты подчеркивают, что креативные инициативы, объединяющие несколько проектов, особенно ценны, когда формируются «снизу» как форма творческого самовыражения, а не административного волеизъявления:

И вот у нас такое творческое пространство снизу организовалось. Так, чтобы кто-то сверху это организовывал, нет. И они как-то все сидят по разным закуточкам. Активные ребята. Мне кажется, это какой-то более правильный способ развития — снизу, нежели когда сверху что-то такое создастся. (Мужчина, 35 лет, организатор джазовых концертов, Пятигорск)

В рассмотренных городах информанты отмечают свойственную креативным деятелям разобщенность и ориентацию на собственное дело. Коллаборации между проектами встречаются, но редко. Мы связываем это особенностями модели устойчивости «в себе». Ориентация на индивидуальную самодостаточность и творческую автономию препятствует возникновению совместных проектов, что, в свою очередь, ограничивает потенциал коллективной устойчивости. При этом опорой для информантов служит формирование межличностных сетей взаимодействий, которые оказываются сдерживающим фактором при принятии решения о переезде. Здесь играют роль прочные связи, распространенные в кавказских регионах. Креативная молодежь интегрирована в общую сеть взаимодействий, которая включает родственников, друзей, коллег

и других. Данную модель можно обозначить как «сетевую», поскольку именно значимые связи дают молодым людям ресурсы для реализации креативной деятельности.

Другим вариантом обретения устойчивой позиции выступает наличие некреативной занятости, которая дополняет и поддерживает креативную деятельность. В таких случаях творческая карьера остается сферой «для души» и личной увлеченности, тогда как другая работа обеспечивает финансовую стабильность. Подобное распределение снимает нагрузку с креативной деятельности, освобождая ее от необходимости быть источником дохода:

О прибыли нет речи, потому что, ну, как бы, я нормально зарабатываю на основном месте работы. И, как бы, ну, я не нуждаюсь в том, чтобы получать прибыль. И когда мероприятия окупаются — супер. Когда они приносят больше прибыли, я просто раздаю все деньги музыкантам и тем, кто помогает. Поэтому никакого роста мне не нужно. А зачем? (Мужчина, 35 лет, организатор джазовых концертов, Пятигорск)

Такая модель может быть охарактеризована как «гибридная устойчивость»: творческая активность в ней существует параллельно с более стабильной сферой труда. Она обеспечивает баланс между потребностью в самовыражении и требованием экономической безопасности, снижая риск профессионального выгорания и обеспечивая устойчивость к кризисам. Прекарность креативной занятости может также привести к тому, что молодежь стремится монетизировать каждый аспект своего творчества, чтобы обеспечить себе финансовую стабильность без отказа от любимого занятия:

Когда как на самом деле, так как здесь заработка стабильного у меня нет. Сегодня может прийти десять учеников, завтра — ноль. <...>. Я еще работаю в ТюЗе как световик, меня там обучают, я там работаю и как бы хобби, но я с этого зарабатываю, я пытаюсь любое хобби всегда монетизировать. (Мужчина, 21 год, музыкант, Нальчик)

Наконец, важный аспект в нарративах — привязанность к контексту города и культуры, которая формирует «локальную модель устойчивости». Информанты подчеркивают, что именно в городах Северного Кавказа (Нальчике и Пятигорске) они находят ту устойчивость, которая отсутствует в мегаполисах:

Я ездил, я жил и в Москве, и в Питере, и там я творчеством не мог заниматься. Насколько давила атмосфера конкуренции и того, что тебе нужно просто выжить... А когда возвращался сюда, у меня как будто второе дыхание всегда появлялось. (Мужчина, 25 лет, художник, Пятигорск)

Даже в случаях, когда человек видит устойчивость через индивидуалистические категории, связь с местом и локальной культурой приобретает особое значение. Из нее молодые люди черпают силу и вдохновение, а желание сохранить ее становится движущей силой их личностного роста и профессионального развития:

Я всегда говорил и сегодня говорю, что я буду заниматься историей, фольклором, культурой, чтобы сохранить и как бы это все популяризовать. <...>. Работать, может быть, я как-то где-то смогу, может быть, это будет так, что я буду приезжать, уезжать, но жить и развиваться я хочу и буду только в Нальчике, в Республике. (Мужчина, 27 лет, журналист, Нальчик)

Город становится местом силы для креативной молодежи — пространством, к которому информанты ощущают особую привязанность и которое дает им ресурсы для жизни, работы и творческого развития. Этому способствуют камерность города, транспортная доступность, отдельные элементы инфраструктуры, а также особенности местных взаимодействий. Локальная культура вдохновляет информантов:

...Пятигорск — это не совсем Кавказ еще [согласно высказыванию информанта], но <...> в рамках города сталкиваются ребята из более кавказских регионов, и они приносят что-то свое интересное, и мы как будто бы находимся на границе между совсем-совсем Кавказом и людьми, которые не знают вообще, что такое Кавказ. (Женщина, 24 года, архитектор, Пятигорск)

Устойчивость оказывается встроенной в пространственный и культурный контекст, где локальные практики и культурная эклектика формируют специфическую атмосферу, благоприятную для творчества. Культура города становится предметом творчества, как в случае с людьми, которые занимаются традиционными видами искусства, например песнями. Сама культура понимается информантами как комплексное явление, состоящее из истории города, его языка, традиций. Укорененность в локальной культуре — важный ресурс: сделать что-то для родного города — значит внести свой вклад в его развитие. Нарративы информантов полнятся искренней любовью и уважением к своему городу:

Я люблю Пятигорск. Мне нравится джаз. Мне вот говорят, типа, «а сделай в Краснодаре» — я в Краснодаре жил какое-то время. Сделай в Краснодаре. Не хочу я в Краснодар, мне не нравится. Там без меня хватает людей, которые все это делают. А в Пятигорске нет, во-первых, никого. Во-вторых, мне это нравится. (Мужчина, 35 лет, организатор джазовых концертов, Пятигорск)

Молодые креативные люди в небольших городах оказываются в ситуации сознательного выбора между личным благополучием и миссией развивать свою малую родину. Они осознанно откладывают потенциально более успешную карьеру и финансовую стабильность в мегаполисе, чтобы стать агентами изменений и источником культурного развития в родном городе. Решение остаться продиктовано не холодным расчетом, а чувством долга и желанием оставить наследие, преобразовать пространство вокруг себя. Ради этого приходится бороться с недостатком институциональной поддержки и непониманием консервативного населения:

Не, ну тогда да, но будем честны, мы живем в Нальчике, где это трудно будет сделать, у нас менталитет совершенно другой, и местные вообще не понимают этот проект, но хотя бы не трогают — и на этом спасибо. (Мужчина, 21 год, музыкант, Нальчик)

Таким образом, устойчивость в нарративах информантов достигается за счет взаимодействия индивидуальных, социальных, экономических и пространственных ресурсов. Выделенные модели показывают, что устойчивость формируется не как данность, а как результат постоянной работы по согласованию личных стремлений и возможностей среды. При этом особую роль играет локальность: именно она для многих информантов становится не ограничением, а источником смысла, вдохновения и основанием для сохранения креативной деятельности в родном городе.

Точки утраты и пересборки устойчивости

Мы описали типы и модели устойчивости, однако ее обретение представляется динамическим процессом, элементы которого могут меняться. Они могут наделяться разным смыслом в зависимости от проживаемого периода, индивидуальных и структурных особенностей, что подчеркивает процессуальность устойчивости. Она не существует как фиксированное состояние, а напротив, формируется и разрушается в зависимости от контекста, становясь результатом постоянного перепреопределения границ. Это уводит нас от бинарного подхода к ее осмыслению и хорошо иллюстрируется в нарративах информантов. Такие моменты мы обозначаем как точки утраты и в некоторых случаях — пересборки устойчивости.

Так, обретение устойчивости «в себе» может стать дестабилизирующим и критическим моментом в биографии креативной личности. В нарративах этот вызов преодолевается за счет поиска нового смысла, например через обращение к локальной культуре и переопределение для себя смыслов взрослости и креативности. Такой процесс сопровождается отказом от существующих моделей устойчивости («переехать в крупный город») и выбором в пользу собственной траектории — «остаться и найти смысл здесь»:

Типа школьники из-за чего хотят уехать? Во-первых, юношеский максимализм, чтобы подальше от родителей. Во-вторых, им рассказывают, что местные вузы — это не престижно и все лучшие вузы находятся где-то там. (Женщина, 24 года, архитектор, Пятигорск)

Другим моментом утраты или необходимости поиска устойчивости становится обеспечение финансовой стабильности в креативной деятельности. С одной стороны, творчество остается делом «для души», и молодые люди вынуждены совмещать разные формы занятости или смиряться с отсутствием дохода. С другой стороны, отсутствие финансового благополучия рассматривается как следствие структурных проблем. Именно на этом уровне проявляется напряжение между индивидуальными стратегиями устойчивости и институциональными условиями: личная привязанность к творчеству вступает в противоречие с отсутствием спроса и поддержки со стороны городской среды.

Информанты отмечают, что в регионах креативная деятельность остается невостребованной — в городах нет инфраструктуры и надлежащего уровня регулирования креативной политики. Отсутствие спроса на продукты креативной деятельности у горожан побуждает молодежь выходить на более крупные рынки сбыта, где возможности продвижения шире.

Поэтому если какие-то идут федеральные или государственные проекты, тогда да. А городских практически нет. То есть городская среда умерла, когда у нас, к сожалению, пошла череда вот этих вот градоначальников, которые особо ничем не управляют. (Мужчина, 28 лет, керамист, Пятигорск)

Информанты подчеркивают обратную сторону модели локальной устойчивости: медленные темпы развития, недостаток грамотных решений в сфере культурной и креативной политики, слабую институциональную поддержку. Эти факторы рожают неустойчивость, которая воспринимается как неизбежная данность и одновременно как стимул для поиска собственных решений и адаптации.

Таким образом, хоть креативной молодежи и предстоит преодолевать множество точек утраты устойчивости, она находит ресурсы и потенциал для их преодоления и обретения собственных смыслов. Через обращение к внутренним ресурсам, опору на семью и преемственность, участие в креативных сообществах, гибридные стратегии занятости и укорененность в локальной культуре молодые люди создают для себя альтернативные траектории обретения устойчивости. Эти практики позволяют им компенсировать структурные ограничения региональной среды и конструировать собственное пространство возможностей, где устойчивость понимается не как данность, а как процесс постоянного поиска, переопределения и самоутверждения.

Заключение

Исследование было направлено на изучение того, как креативная молодежь малых городов Северного Кавказа (Пятигорск и Нальчик) понимает, конструирует и поддерживает свою устойчивость в условиях структурных ограничений. Основу работы составил качественный анализ 20 биографических интервью с представителями креативной молодежи в возрасте 18—35 лет.

Эмпирические данные подтверждают эволюцию концепции устойчивости от статичной характеристики к динамичному процессу [Ungar, 2013; Southwick et al., 2014], который активно конструируется молодыми людьми в ответ на вызовы внешней среды. В нарративах информантов выделены четыре ключевые определения устойчивости: как возвращение к докризисному состоянию, как социальное встраивание, как контролируемая неопределенность («безопасная неопределенность» [Fox, Deakin, 2025]) и отсутствие устойчивости как характеристика современности. Устойчивость для молодежи представляет собой не универсальное состояние, а спектр субъективных стратегий совладания с нестабильностью. При этом в каждом из определений на первый план выходит умение быстро адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям. Некоторые молодые люди действительно интернализируют неолиберальную парадигму устойчивости, интерпретируя жизненные обстоятельства через призму личной ответственности, хотя и осознают, что нестабильность глубоко вплетена в современную жизнь.

В рамках анализа были выделены ключевые модели устойчивости креативной молодежи Нальчика и Пятигорска. Индивидуалистическая модель опирается в первую очередь на внутренние ресурсы (личностные качества, профессиональные навыки). Сетевая модель устойчивости строится на социальных связях

информантов (семья, друзья, единомышленники). Гибридная модель подразумевает совмещение креативной и некреативной занятости для обеспечения финансовой стабильности. Локальная модель устойчивости реализуется через укорененность в местной культуре, которая служит источником вдохновения, темой для творчества и основой для формирования креативного потенциала.

Центральным выводом работы является доказательство тесной взаимосвязи между устойчивостью, креативностью и локальностью. Вопреки общей тенденции к «утечке мозгов» в мегаполисы, наши информанты сознательно выбирают стратегию укоренения. Локальность для них выступает не ограничением, а ключевым ресурсом: уникальная культура, камерность городской среды, близкие социальные связи становятся фундаментом для самореализации и субъективного благополучия. Таким образом, креативные практики оказываются механизмом не только личной адаптации, но и коллективной устойчивости, способствующим преобразованию городской среды и формированию новых социальных связей.

Теоретическая значимость исследования заключается в смещении фокуса с внешних, часто патологизирующих оценок молодежи на анализ того, как устойчивость субъективно производится в конкретных социально-пространственных контекстах. Работа вносит вклад в актуализацию дискуссии об устойчивости, дополняя исследования образовательной миграции анализом альтернативной траектории — сознательной укорененности в малом городе.

Устойчивость креативной молодежи в регионах России — это не линейное «преодоление», а сложный, многомерный и зачастую амбивалентный процесс постоянных переговоров между индивидуальными устремлениями и структурными ограничениями, между творческой свободой и экономической необходимостью, между глобальными трендами и локальной идентичностью. Полученные результаты указывают на необходимость разработки мер поддержки, которые не навязывают универсальные решения, а признают ценность локальных контекстов. Такие меры должны быть направлены на укрепление уже существующих источников устойчивости: развитие инфраструктуры, поддержку низовых инициатив и создание условий для монетизации креативного труда.

Список литературы (References)

1. Брижак О. В., Романец И. И. Креативный потенциал новой формации: российские регионы в конкуренции за будущее // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2021. Т. 10. № 3. С. 85—89.
Brizhak O. V., Romanets I. I. (2021) Creative Potential of the New Formation: Russian Regions in the Competition for the Future. *Azimut Nauchnykh Issledovaniy: Ekonomika i Upravlenie*. Vol. 10. No. 3. P. 85—89. (In Russ.)
2. Гимбатов Ш. М., Кутаев Ш. К., Хаджалова Х. М., Абдулаева З. З., Абдулманов П. Г. Социальные и демографические проблемы формирования трудового потенциала Северного Кавказа // Народонаселение. 2023. Т. 26. № 1. С. 135—146. <https://doi.org/10.19181/population.2023.26.1.11>.
Gimbatov Sh. M., Kutaev Sh. K., Khadzhalova Kh. M., Abdulaeva Z. Z., Abdulmanov P. G. (2023) Social and Demographic Problems of the Formation of the Labor

- Potential of the North Caucasus. *Population*. Vol. 26. No. 1. P. 135—146. <https://doi.org/10.19181/population.2023.26.1.11>. (In Russ.)
3. Гохберг Л. М., Боос В. О., Боякова К. Н., Куценко Е. С. и др. Рейтинг креативных регионов России: 2024 / под ред. Л. М. Гохберга, Е. С. Куценко. М.: ИСИЭЗ ВШЭ, 2025.
Gokhberg L. M., Boos V. O., Boyakova K. N., Kutsenko E. S. et al. (2025) Rating of Creative Regions of Russia: 2024. Moscow: HSE University, Institute for Statistical Studies and Economics of Knowledge. (In Russ.)
 4. Гупта А., Фергюсон Дж. Дисциплина и практика: «поле» как место, метод и локальность в антропологии / пер. с англ. С. В. Соколовского, О. А. Поворознюк // Этнографическое обозрение. 2013. № 6. С. 3—44.
Gupta A., Ferguson J. (2013) Discipline and Practice: “The Field” as Site, Method and Location in Anthropology. *Ethnographic Review*. No. 6. P. 3—44. (In Russ.)
 5. Дидковская Я. В., Вишневский Ю. Р., Нотман О. В. Молодежные креативные локальности как объект социологического исследования // Социологические исследования. 2025. № 3. С. 53—64. <https://doi.org/10.7868/S3034601025030052>.
Didkovskaya Y. V., Vishnevsky Y. R., Notman O. V. (2025) Youth Creative Localities as Object of Sociological Research. *Sociological Studies*. No. 3. P. 53—64. <https://doi.org/10.7868/S3034601025030052>. (In Russ.)
 6. Капустина Е. Л. Глобальное селение: судьба локальности применительно к современной социальной жизни в Дагестане // История, археология и этнография Кавказа. 2019. Т. 15. № 4. С. 769—782. <https://doi.org/10.32653/CH154769-782>.
Kapustina E. L. (2019) Global Village: The Fate of Locality in Relation to Modern Social Life in Dagestan. *History, Archeology and Ethnography of the Caucasus*. Vol. 15. No. 4. P. 769—782. <https://doi.org/10.32653/CH154769-782>. (In Russ.)
 7. Кочухова Е. С., Мартыанов В. С. Креативный город или право на город: альтернативы урбанистического развития в российском контексте // Антиномии. 2019. Т. 19. № 2. С. 45—66. <https://doi.org/10.17506/aip.2019.19.2.4566>.
Kochukhova E. S., Martyanov V. S. (2019) Creative City or the Right to the City: Alternatives of Urban Development in the Russian Context. *Antinomies*. Vol. 19. No. 2. P. 45—66. <https://doi.org/10.17506/aip.2019.19.2.4566>. (In Russ.)
 8. Кузинер Е. Н., Петрунина Д. С. Креативные пространства как «третьи места» в регионах России // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 6. С. 333—355. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.6.2316>.
Kuziner E. N., Petrunnina D. S. (2022) Creative Hubs as Third Places in Russian Regions. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 6. P. 333—355. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.6.2316>. (In Russ.)
 9. Лимонов Л. Э., Несена М. В. Диспаритет «больших» и «малых» городов России: сравнительный анализ показателей экономического развития и данных со-

- циальных обследований // Журнал Новой экономической ассоциации. 2019. № 4. С. 163—188. <https://doi.org/10.31737/2221-2264-2019-44-4-6>
- Limonov L. E., Nesena M. V. (2019) Disparity of “Large” and “Small” Cities of Russia: A Comparative Analysis of Indicators of Economic Development and Social Survey Data. *Journal of the New Economic Association*. No. 4. P. 163—188. <https://doi.org/10.31737/2221-2264-2019-44-4-6>. (In Russ.)
10. Лисовская И. В., Гарифзянова А. Р. «Ты ощущаешь себя другим, чужим...»: иногородняя молодежь в большом городе в поисках устойчивости // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2025. № 2. С. 22—44. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2025.2.2563>.
Lisovskaya I. V., Garifzyanova A. R. (2025) “You Feel Different, like an Outsider...”: Non-Local Youth in a Big City in Search of Stability. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 2. P. 22—44. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2025.2.2563>. (In Russ.)
11. Лисовская И. В., Омельченко Е. Л., Гарифзянова А. Р. Молодежь едет учиться в мегаполис: как не остаться в одиночестве // Вопросы образования. 2024. № 3. С. 136—170. <https://doi.org/10.17323/vo-2024-17283>.
Lisovskaya I. V., Omelchenko E. L., Garifzyanova A. R. (2024) Youth Is Going to Study in a Metropolis: How Not to Stay Alone. *Educational Studies*. No. 3. P. 136—170. <https://doi.org/10.17323/vo-2024-17283>. (In Russ.)
12. Омарханова Ж. М., Мусин Р. М. Социальная устойчивость: проблемы исследования и анализа // Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2013. № 57—1. С. 63—68.
Omarkhanova Zh. M., Musin R. M. (2013) Social Sustainability: Problems of Research and Analysis. *Collections of Conferences of the Research Center “Sociosphere”*. No. 57—1. P. 63—68. (In Russ.)
13. Омельченко Е. Л., Лисовская И. В. Молодежь как барометр будущего? Молодежная повестка в современной России сквозь мнения экспертов по молодежной политике // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2022. № 2. С. 66—92. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.2.2078>.
Omelchenko E. L., Lisovskaya I. V. (2022) Youth as a Barometer of the Future? The Youth Agenda in Contemporary Russia as Viewed by Youth Policy Experts. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 2. P. 66—92. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2022.2.2078>. (In Russ.)
14. Омельченко Е. Л., Поляков С. И. Концепт культурной сцены как теоретическая перспектива и инструмент анализа городских молодежных сообществ // Социологическое обозрение. 2017. Т. 16. № 2. С. 111—132. <https://doi.org/10.17323/1728-192X-2017-2-111-132>.
Omelchenko E. L., Polyakov S. I. (2017) The Concept of Cultural Scene as Theoretical Perspective and the Tool of Urban Communities Analysis. *Sociological Review*. Vol. 16. No. 2. P. 111—132. <https://doi.org/10.17323/1728-192X-2017-2-111-132>. (In Russ.)

15. Резник С. Д., Черниковская М. В. Социальная устойчивость студенческой молодежи России: как оценивают ее сами студенты // Интеграция образования. 2019. Т. 23. № 1. С. 85—99. <https://doi.org/10.15507/1991-9468.094.023.201901.085-099>.
Reznik S. D., Chernikovskaya M. V. (2019) Self-Assessment of Russian Students' Social Resistance. *Integration of Education*. Vol. 23. No. 1. P. 85—99. <https://doi.org/10.15507/1991-9468.094.023.201901.085-099>. (In Russ.)
16. Самохвалова И. Г. Социокультурная компетентность личности // Педагогическое образование в России. 2012. № 5. С. 71—74.
Samokhvalova I. G. (2012) Socio-Cultural Competence of a Persona. *Pedagogical Education in Russia*. No. 5. P. 71—74. (In Russ.)
17. Тулузакова М. В., Самохвалов Н. А. Поколение «Z» как трудовой ресурс // Вестник Самарского муниципального института управления. 2022. № 4. С. 77—84.
Tuluzakova M. V., Samokhvalov N. A. (2022) Generation Z as a Labor Resource. *Bulletin of the Samara Municipal Institute of Management*. No. 4. P. 77—84. (In Russ.)
18. Ambrose D. (2016) Twenty-First Century Contextual Influences on the Life Trajectories of Creative Young People. In: Ambrose D., Sternberg R. J. (eds.) *Creative Intelligence in the 21st Century*. Advances in Creativity and Giftedness. Vol. 11. Rotterdam: SensePublishers. P. 21—48. https://doi.org/10.1007/978-94-6300-506-7_2.
19. Anico M. (2009) Representing Identities at Local Municipal Museums: Cultural Forums or Identity Bunkers? In: Anico M., Peralta E. (eds.) *Heritage and Identity: Engagement and Demission in the Contemporary World*. New York, NY: Routledge. P. 63—75.
20. Campbell M. (2019) From Youth Engagement to Creative Industries Incubators: Models of Working with Youth in Community Arts Settings. *Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies*. Vol. 41. No. 3. P. 164—192. <https://doi.org/10.1080/10714413.2019.1685854>.
21. Csikszentmihalyi M. (1996) *Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention*. New York: Harper.
22. Florida R. (2002) *The Rise of the Creative Class and How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life*. New York: Basic Books.
23. Fox C., Deakin J. (2025) Breaking Good? Young People's Mechanisms of Resilience, Resistance and Control. *The British Journal of Sociology*. Vol. 76. No. 2. P. 316—335. <https://doi.org/10.1111/1468-4446.13164>.
24. Gallagher K., Starkman R., Rhoades R. (2017) Performing Counter-Narratives and Mining Creative Resilience: Using Applied Theatre to Theorize Notions of Youth Resilience. *Journal of Youth Studies*. Vol. 20. No. 2. P. 216—233. <http://dx.doi.org/10.1080/13676261.2016.1206864>.

25. Harlan M.A. (2016) Constructing Youth: Reflecting on Defining Youth and Impact on Methods. *School Libraries Worldwide*. Vol. 22. No. 2. P. 1—12. <https://doi.org/10.29173/slw6917>.
26. Jenkins H., Ito M., boyd d. (2015) Participatory Culture in a Networked Era: A Conversation on Youth, Learning, Commerce, and Politics. Cambridge: Polity.
27. Liu T., Butler R.J., Zhang C. (2019) Evaluation of Public Perceptions of Authenticity of Urban Heritage under the Conservation Paradigm of Historic Urban Landscape—A Case Study of the Five Avenues Historic District in Tianjin, China. *Journal of Architectural Conservation*. Vol. 25. No. 3. P. 228—251. <http://dx.doi.org/10.1080/13556207.2019.1638605>.
28. Metz J. E. S., Morrell M. A. (2008) The Role of Creativity in Models of Resilience: Theoretical Exploration and Practical Applications. *Journal of Creativity in Mental Health*. Vol. 3. No. 3. P. 303—318. <https://doi.org/10.1080/15401380802385228>.
29. Nilan P. (2016) Youth Cultures in the New Century: Cultural Citizenship and Cosmopolitanism. In: Leccardi C., Feixa C. P., Nilan P. (eds.) *Youth, Space and Time: Agoras and Chronotopes in the Global City*. Brill. P. 115—130.
30. Pratt A. C. (2015) Resilience, Locality and the Cultural Economy. *City, Culture and Society*. Vol. 6. No. 3. P. 61—67. <https://doi.org/10.1016/j.ccs.2014.11.001>.
31. Prince S., Petridou E., Ioannides D. (2021) Art Worlds in the Periphery: Creativity and Networking in Rural Scandinavia. *Small Cities: Sustainability Studies in Community & Cultural Engagement*. P. 45—63. <http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv1ksOd4d.14>.
32. Ryan R. M., Deci E. L. (2001) On Happiness and Human Potentials: A Review of Research on Hedonic and Eudaimonic Well-Being. *Annual Review of Psychology*. Vol. 52. No. 1. P. 141—166. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.141>.
33. Sacco P., Ferilli G., Blessi G. T. (2014) Understanding Culture-Led Local Development: A Critique of Alternative Theoretical Explanations. *Urban Studies*. Vol. 51. No. 13. P. 2806—2821. <http://dx.doi.org/10.1177/0042098013512876>.
34. Southwick S. M., Bonanno G. A., Masten A. S., Panter-Brick C., Yehuda R. (2014) Resilience Definitions, Theory, and Challenges: Interdisciplinary Perspectives. *European Journal of Psychotraumatology*. Vol. 5. No. 1. P. 25338. <https://doi.org/10.3402/ejpt.v5.25338>.
35. Ungar M. (2004) A Constructionist Discourse on Resilience: Multiple Contexts, Multiple Realities Among At-Risk Children and Youth. *Youth & Society*. Vol. 35. No. 3. P. 341—365. <https://doi.org/10.1177/0044118X03257030>.
36. Ungar M. (2013) Resilience, Trauma, Context, and Culture. *Trauma, Violence, & Abuse*. Vol. 14. No. 3. P. 255—266. <https://doi.org/10.1177/1524838013487805>.
37. Van Katwyk T., Seko Y. (2019) Resilience Beyond Risk: Youth Re-defining Resilience Through Collective Art-Making. *Child and Adolescent Social Work Journal*. Vol. 36. No. 6. P. 609—619. <https://doi.org/10.1007/s10560-018-0590-0>.

38. Verdich M. (2010) Creative Migration? The Attraction and Retention of the “Creative Class” in Launceston, Tasmania. *Australian Geographer*. Vol. 41. No. 1. P. 129—140. <https://doi.org/10.1080/00049180903535642>.

Приложение

Таблица 1. Характеристика информантов

Номер интервью	Город	Пол	Возраст	Сфера занятости
1	Нальчик	мужчина	32	актер
2	Нальчик	мужчина	21	музыкант
3	Нальчик	мужчина	27	журналист
4	Нальчик	мужчина	24	преподаватель
5	Нальчик	мужчина	26	актер
6	Нальчик	женщина	31	автор текстов
7	Нальчик	женщина	26	журналист
8	Нальчик	женщина	33	художник
9	Нальчик	женщина	23	художник
10	Нальчик	женщина	21	хореограф
11	Пятигорск	мужчина	35	организатор джазовых концертов
12	Пятигорск	мужчина	34	музыкант
13	Пятигорск	мужчина	28	керамист
14	Пятигорск	мужчина	25	художник
15	Пятигорск	мужчина	20	художник
16	Пятигорск	женщина	24	архитектор
17	Пятигорск	женщина	32	художник
18	Пятигорск	женщина	34	художник
19	Пятигорск	женщина	28	художник
20	Пятигорск	женщина	22	специалист по работе с молодежью

Таблица 2. **Пример кодирования**

Первичные коды	Укрупненная категория	Соответствие с метафорами исследования
«уверенность в себе», «опора на себя», «самодисциплина», «благополучие определяешь ты»	Устойчивость в себе	Модели устойчивости
«поддержка семьи», «включенность в сообщество», «смешанная занятость», «полезные знакомства»	Опора для креативного дела, межличностные коммуникации	Модели устойчивости
«нестабильный доход», «городская среда не развита», «выгорание», «нет гарантий»	Факторы неустойчивости	Точки утраты устойчивости

DOI: [10.14515/monitoring.2026.4.3079](https://doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3079)



И. С. Шаповалова, О. В. Ковальчук

**ЖИЗНЕННЫЕ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ ГРУПП МОЛОДЕЖИ**

Правильная ссылка на статью:

Шаповалова И. С., Ковальчук О. В. Жизненные стратегии социально уязвимых групп молодежи // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2026. № 4. С. 121—146. <https://www.doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3079>.

For citation:

Shapovalova I. S., Kovalchuk O. V. (2026) Life Strategies of Socially Vulnerable Youth Groups. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 121–146. <https://www.doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3079>. (In Russ.)

Получено: 07.08.2025. Принято к публикации: 14.05.2026.

ЖИЗНЕННЫЕ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ ГРУПП МОЛОДЕЖИ

ШАПОВАЛОВА Инна Сергеевна — доктор социологических наук, доцент, заведующая кафедрой социологии и организации работы с молодежью, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород, Россия
E-MAIL: shapovalova@bsuedu.ru
<https://orcid.org/0000-0002-2855-8968>

КОВАЛЬЧУК Ольга Викторовна — кандидат философских наук, доцент кафедры социологии и организации работы с молодежью, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород, Россия
E-MAIL: kovalchuk@bsuedu.ru
<https://orcid.org/0000-0003-1060-4505>

Аннотация. Цель статьи — определить особенности в жизненных стратегиях социально уязвимых групп молодежи. Статья подготовлена на основе данных социологического мониторинга 2024 г. на территории Белгородской области методом онлайн-опроса, в котором приняли участие 5847 человек — региональная молодежь в возрасте 14–35 лет, распределенная по квотным признакам (возраст, пол, тип поселения). В общем массиве опрошенных была выделена группа социально уязвимой молодежи в количестве 725 человек, которая, в свою очередь, была разделена на родителей-одиночек, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, молодежь, имеющую инвалидность или ОВЗ, выпускников детских домов, а также группы, связанные с СВО (беженцы, участники СВО, члены семей участников СВО и потерявшие на СВО близких). В работе представлен сравнительный анализ жизненных диспозиций и жизненного планирования молодежи, относящейся к группам социальной уязвимости, и молодежи, не входящей в них. В ре-

LIFE STRATEGIES OF SOCIALLY VULNERABLE YOUTH GROUPS

Inna S. SHAPOVALOVA¹ — Dr. Sci. (Soc.), Associate Professor, Head of the Department of Sociology and Organization of Work with Youth
E-MAIL: shapovalova@bsuedu.ru
<https://orcid.org/0000-0002-2855-8968>

Olga V. KOVALCHUK¹ — Cand. Sci. (Philos.), Associate Professor of the Department of Sociology and Organization of Work with Youth
E-MAIL: kovalchuk@bsuedu.ru
<https://orcid.org/0000-0003-1060-4505>

¹ Belgorod State National Research University, Belgorod, Russia

Abstract. The article aims to identify features of the life strategies of socially vulnerable youth groups. The article is based on the data of sociological monitoring in 2024 in the Belgorod region using the online survey method, in which 5,847 people took part, regional youth aged 14–35, distributed according to quota criteria (age, gender, type of settlement). In the general array of respondents, a group of socially vulnerable youth was identified, numbering 725 people, which, in turn, was divided into single parents, parents raising disabled children, young people with disabilities or disabilities, graduates of orphanages, as well as groups associated with socially vulnerable groups (refugees, participants in socially vulnerable groups, family members of participants in socially vulnerable groups and those who lost loved ones in socially vulnerable groups). The article presents a comparative analysis of life dispositions and life planning of young people belonging to socially vulnerable groups and young people who are not included in them. The analysis revealed that life strate-

зультате анализа установлено, что жизненные стратегии социально уязвимых групп молодежи имеют явно выраженные особенности и по ряду из них отмечены весомые отличия от условно благополучной молодежи. Обнаружены противоречия, связанные с тем, что, несмотря на очевидные барьеры, диагностируемые в большинстве установок и жизненных диспозиций, молодежь из социально уязвимых групп демонстрирует завышенные требования к постановке целей в жизненных планах: она чаще устремлена на эффективные и социально значимые для региона жизненные решения, что делает ее потенциально значимой в повышении качества регионального человеческого капитала. Авторы определили также наиболее активные и проблемные группы молодежи: наиболее активными в своей жизненной позиции и жизненных устремлениях стали выпускники детских домов, родители детей-инвалидов, молодежь с ОВЗ и участники СВО. К проблемным могут быть отнесены молодые люди в статусе беженцев; те, кто получает пособие в связи с низким доходом; и молодые люди, потерявшие близких на СВО. Полученные результаты ставят дополнительные задачи перед региональными властными структурами по обеспечению реализации и сопровождению жизненных стратегий социально уязвимых групп молодежи со стороны органов управления молодежной политики и социальной защиты.

Ключевые слова: молодежь, социальная уязвимость, жизненные диспозиции, жизненные стратегии, жизненные планы, региональная молодежь

gies of socially vulnerable youth groups have clearly defined features and, for a number of them, significant differences from conditionally prosperous youth groups were noted. Contradictions were found related to the fact that, despite obvious barriers diagnosed in most attitudes and life dispositions, the youth of socially vulnerable groups demonstrate inflated demands in life plans. It was found that the youth of socially vulnerable groups are more often focused on effective and socially significant life steps for the region, which makes them potentially significant in improving the quality of regional human capital. The most active and problematic groups of youth were identified: the most active in their life position and life aspirations were graduates of orphanages, parents of disabled children, young people with disabilities and participants of the secondary military education system; problematic can include young people with refugee status, young people receiving benefits due to low income and young people who have lost loved ones in the secondary military education system. The obtained results set additional tasks for regional authorities to ensure the implementation and support of life strategies of socially vulnerable groups of youth.

Keywords: youth, social vulnerability, life dispositions, life strategies, life plans, regional youth

Социальная уязвимость в научном дискурсе

В структуре современного общества существуют социальные группы, которые, в силу сложившихся жизненных обстоятельств, находятся в зоне повышенного риска и, несмотря на действующую и постоянно развивающуюся систему государственной и общественной социальной защиты и поддержки, остаются уязви-

мыми в условиях общих и специфических рисков. Возрастная дифференциация таких групп актуализирует повышенную проблемность молодежи, имеющей статус социально незащищенной или определяемой в группы социальной уязвимости, так как для молодого возраста характерны специфические риски, связанные с жизненным самоопределением и целеполаганием, подверженностью влиянию структурных ограничений и депривационных процессов, дефицитом ресурсов и т. д. В условиях общественной трансформации, сопровождающейся усилением социального неравенства, фрагментацией институтов социализации и усилением рискогенности социальной среды, исследование социально уязвимых групп молодежи приобретает особую значимость.

Актуальность изучения социально уязвимых групп молодежи обусловлена также необходимостью переосмысления традиционных подходов к социальной политике в контексте новых форм неравенства, порождаемых цифровизацией, усиливающей ролью искусственного интеллекта в различных социальных сферах, изменением структуры занятости и трансформацией ценностных ориентаций. Изучение специфики положения социально уязвимых групп молодежи позволяет выявить механизмы воспроизводства социальной эксклюзии и разработать адресные меры поддержки, направленные на минимизацию дезинтеграционных процессов.

Данная проблематика имеет междисциплинарный характер и находится на стыке социологии молодежи, экономики труда, социальной антропологии и политических исследований, что открывает возможности для комплексного анализа и разработки теоретико-методологических рамок изучения данного вопроса.

Под социальной уязвимостью в статье будет пониматься объективная характеристика индивидов, групп и слоев общества, которая обусловлена мерой их чувствительности к негативным воздействиям и может повлечь за собой опасность утраты стабильного устойчивого места в социальной структуре общества [Сергеева, 2005].

Несмотря на существующую методологию изучения социальной уязвимости и незащищенности, представленную в теории социального исключения (Р. Кастель) и подходе к анализу травматических сообществ (К. Эриксон), социальная уязвимость в работах современных исследователей почти не представлена с позиции концептуального осмысления. Мы находим только единичные работы, посвященные методологии и методике исследования данной проблемы [Терновая, 2023; Шабунова, Калачикова и др., 2016]. Можно сказать, что современный научный дискурс имеет практико-ориентированную коннотацию в этом вопросе и предлагаемый контент предполагается к использованию в рамках информационной аналитики для подготовки решений в рамках социальных политики разного уровня. Ученые рассматривают показатели и факторы, влияющие на социальную уязвимость и социальное положение уязвимых групп: здоровье граждан, проблему эксклюзии, специфику рынка труда и трудоустройства граждан из групп социальной уязвимости, неэффективность экономики, экономических стратегий и решений в отношении данных групп, доступность социальных услуг. И, конечно, важным аспектом изучения социальной уязвимости является поиск возможностей облегчения жизненной ситуации и повышения показателей социального благополучия населения.

В контексте темы статьи интерес представляют исследования проблемного поля конкретных социальных групп и слоев населения относительно их социальной уязвимости и конкретно проблематика социальной уязвимости современной молодежи. При теоретическом поиске мы сталкиваемся с недостатком информации по данному вопросу: изучая проблемы социально уязвимых групп молодежи, авторы ограничиваются вопросами социального здоровья [Загутин, Гафиатулина, Самыгин, 2017] и трудоустройства [Смолева, 2018]; отдельные проблемные группы, анализируемые в работах, связаны, как правило, с инвалидностью [Кошарная, Каримова, 2022] и малообеспеченностью [Боровиков, 2022].

Безусловно, возрастная стратификация рассматривается в контексте проблемы социальной уязвимости, но обычно на ней не делается акцент, несмотря на то что статистика социальной уязвимости показывает ее значимость. Например, в 2026 г. число детей с инвалидностью (до 18 лет) в России увеличилось до 800 тыс. человек. Для сравнения: в 2016 г. этот показатель составлял 636 тыс. человек (прирост на 29%)¹. Образуя семьи, молодежь формирует и иные группы социальной уязвимости, связанные уже с реализацией матримониальных стратегий. Это молодые родители, в одиночку воспитывающие детей, родители ребенка-инвалида, малообеспеченные семьи. Нельзя не обращать внимание и на иные группы социальной уязвимости среди молодежи, такие как выпускники детских домов (имеющие повышенные риски социальной уязвимости), молодежь, оказавшаяся в статусе беженцев, и др.

В условиях трансформации современных обществ, вызванной геополитическими конфликтами и милитаризацией социального порядка, возникает и феномен «новой социальной уязвимости» — утраты устойчивости социальных групп, ранее не относившихся к категории риска. Эти социальные группы также фиксируются среди молодежи — это участники СВО, члены семей участников СВО, молодежь, потерявшая на СВО близких и родных. Все эти группы формируют исследовательский дефицит не только в контексте методологии исследования, но и с позиции проблемного осмысления ситуации.

Помимо вышеуказанных информационно-аналитических лакун, существует потребность не фрагментарного, а системного изучения жизненного пространства и перспектив групп молодежи с высокими реальными и потенциальными жизненными рисками — к сожалению, в таком ракурсе исследований практически не проводится.

Ключевые понятия статьи, помимо понятий «социальная уязвимость» и «социально уязвимые группы», — дефиниции жизненного планирования, жизненных диспозиций, жизненных стратегий. *Жизненное планирование* — это процесс определения целей и результатов в рамках жизненных сфер. В качестве *жизненных сфер* мы предлагаем рассматривать 12 основных направлений, жизненные планы в которых могут быть наиболее значимы для анализа молодежи и ее будущего: экономическое, трудовое, политическое, миграционное, самосохранительное, досуговое, образовательное, коммуникативное, семейное, общественное, духовное и самореализации. Итогом жизненного планирования становятся *жизнен-*

¹ Бескараваяна Т. В России значимо выросло число детей-инвалидов // Медвестник. 2026. 3 июля. URL: <https://medvestnik.ru/content/news/v-rossii-znachimo-vyroslo-chislo-detei-invalidov.html> (дата обращения: 24.08.2026).

ные планы — результаты и индикаторы достижения целей в течение жизни или ее этапов. Жизненное планирование основывается на установках, мотивах и ценностях, которые формируют *жизненные диспозиции* в той или иной сфере — ключевые принципы, определяющие направление, перспективы, притязания и границы жизненного планирования.

Дать определение понятию «жизненная стратегия» сложнее, в междисциплинарном научном дискурсе его поиск ведется в течение продолжительного времени. Р. А. Илаева и Н. Н. Савина сформировали наиболее полное определение, показывающие не только основы механизма формирования жизненных стратегий, но и их значимость в процессах социализации, саморегуляции и самореализации молодежи. Согласно их подходу, *жизненные стратегии* — «это осознанно запланированные и спроектированные ближайшие и отдаленные жизненные планы личности на будущее, которые базируются на терминальных и инструментальных ценностях-целях и условиях, способствующих ее самопродвижению и повышению уровня качества ее жизни; выстроены в соответствии с ее индивидуальными интеллектуально-творческими возможностями, жизненным опытом и позволяют ей занять активную субъектную жизненную позицию» [Илаева, Савина, 2016]. Жизненные стратегии молодежи и концептуализация их восприятия и исследования рассматривались и в работах Ю. А. Зубок и В. И. Чупрова [Чупров, Зубок, Романович, 2014; Зубок, Чупров, 2019; Зубок, Чупров, 2020]. Системная актуальность изучения жизненных стратегий молодежи подчеркивается авторами через идею о том, что «место жизненных стратегий в социокультурном механизме саморегуляции жизнедеятельности определяется их связью с архетипами, ментальными и современными чертами национального характера, габитусами и стереотипами. Они служат важными источниками образования смыслов, определяющих направленность целей жизнедеятельности» [Зубок, Чупров, 2020: 22].

Стоит отметить, что жизненные стратегии молодежи изучаются достаточно широко, но не системно. В связи с постоянной трансформацией рынка труда наиболее актуально и востребовано исследование трудовых, карьерных и профессиональных стратегий [Шаповалова и др., 2023; Ковальчук, 2023; Касаткина, Шумкова, 2020; Бочаров, 2020; Казенов, 2019]. Национальная идея определила и повышенный интерес к матримониальным стратегиям, где изучается брачное и репродуктивное поведение [Малышкина и др., 2023; Благорожева, 2022; Котов, Грек, 2020], поднимается вопрос о рисках демографического спада. Политические стратегии молодежи стали особенно актуальны во время геополитического кризиса, и часто это касается различных аспектов протестного поведения молодого поколения [Шаповалова, 2022; Шаповалова, Валиева, 2022]. Постоянного мониторинга заслуживают и образовательные стратегии молодежи, особенно в условиях цифровизации образования и появления новых форм получения [Косарева, Чистяков, Маслова, 2023; Богданов, Малик, 2020; Павленко, Якубовская, 2020; Толстиков, Извекова, Кашина, 2019]. Единичные (но не менее значимые) научные работы связывают жизненные стратегии с проблемой социальной уязвимости, что мы можем наблюдать, например, в книге и статьях Ж. В. Черновой и Л. Л. Шпаковской, где рассматриваются жизненные траектории выпускников детских домов [Чернова, Шпаковская, 2023; 2020].

В нашей статье предполагается соединить проблему изучения групп социально уязвимой молодежи с анализом их жизненных стратегий. Исследовательский вопрос статьи звучит следующим образом: существуют ли особенности в жизненных стратегиях социально уязвимых групп молодежи, и насколько велики отличия их показателей от молодежи, не относящейся к таким группам?

Материалы и методы исследования

Для реализации цели статьи были использованы материалы мониторинга социальных стратегий молодежи, который с 2018 г. осуществляет Международный центр социологических исследований Белгородского государственного национального исследовательского университета.

Мониторинг проводится методом онлайн-опроса через рекрутеров (используется техника «горячий рекрутинг», предполагающая работу рекрутеров в наборе выборки по методу «снежного кома», с адресной рассылкой информации о проводимом исследовании и индивидуальным консультированием респондентов по вопросам исследования). Такой метод позволяет обеспечить максимальный доступ к различным группам респондентов (с учетом условий приграничного региона удалось опросить жителей близких к фронту районов и поселений), снижает сопротивляемость респондентов, уменьшает риск предоставления недостоверной информации, обеспечивает участие в исследовании меньшинств (национальных и конфессиональных групп, социально уязвимых групп, представителей субкультур).

В статье показаны результаты последней волны, проведенной в ноябре — декабре 2024 г., респондентами онлайн-опроса стали представители молодежи Белгородской области ($N = 5\,847$ человек), выборка квотная по полу, возрасту, типу поселения и территории проживания респондентов (районы Белгородской области). Возрастные границы были определены в периоде от 14 до 35 лет согласно Федеральному закону «О молодежной политике в Российской Федерации»². Дополнительным квотным признаком выступали группы молодежи (школьники и обучающиеся в СПО (учащаяся молодежь), студенты и работающие). Выборка соответствует распределению молодежи региона по поселениям, гендерному составу, а также сохраняет соотношение между учащейся, студенческой и работающей молодежью. К участию в исследовании были привлечены 247 рекрутеров, проживающих на территории Белгородской области. В качестве поселенческого признака были обозначены: крупный город (население от 250 тыс. до 1 млн человек), небольшой город (население до 50 тыс. человек) — в эту же категорию отнесены ПГТ (поселки городского типа), сельские территории — поселки и сельские поселения (села, деревни, хутора). В исследовании не принимала участие молодежь больших городов, так как такие отсутствовали на территории исследования.

Показателями исследовательской модели стали экономическая, политическая, карьерная, семейная, образовательная, общественная, духовно-нравственная, миграционная, досуговая, самосохранительная, самореализационная и коммуникативная жизненные стратегии (связанные с основными сферами жизни мо-

² Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе. URL: <https://base.garant.ru/400156192/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/> (дата обращения: 21.07.2025).

лодежи). В статье представлен анализ показателей для пяти основных стратегий (экономической, политической, общественной, семейной и самосохранительной). В качестве индикаторов в 2024 г. для каждой стратегии были продиагностированы типы жизненных диспозиций, направления жизненного планирования.

Операционализация типов жизненных диспозиций основана на возможных вариантах отношения к данной стратегии или ее основной ценности (например, семья для семейных стратегий, здоровье для самосохранительных, ценность и важность самореализации для самореализационных, миграционные ориентации для миграционных, важность карьеры для карьерных стратегий и т.д.). В вопросах, касающихся жизненных диспозиций, молодым респондентам предлагались вопросы определения ведущей жизненной установки относительно жизненной стратегии, которая определяла бы их дальнейшее поведение (предлагалось ответить на вопрос «К какой из групп Вы себя относите?»). Выборы по данному вопросу были даны в закрытой форме и на альтернативной основе (не предусмотрено множественного выбора и открытых вариантов ответов). Это позволило получить более четкую структуру типов жизненных диспозиций для региональной молодежи.

Жизненные планы для каждой стратегии установлены, исходя из ключевых жизненных ориентиров молодежи (определенных изначально методами молодежных фокус-групп, экспертных консультаций в 2018 г. (с последующей коррекцией)). Вопросы, касающиеся жизненного планирования, были даны в табличной форме, с обязательной оценкой каждого выбора по шкале «обязательно», «желательно», «не обязательно». Инструкция к вопросу звучала следующим образом: «Насколько важно для вас в будущем предпринять следующие шаги, где „обязательно“ значит, что Вы не будете считать себя состоявшимся в жизни без выполнения этого условия (если Вы уже реализовали какие-то из предложенных вариантов, отметьте их как обязательные)».

В 2024 г. в опросе участвовали 725 молодых человек, относящихся к группам социальной уязвимости, что составило 12,4 % от общего массива участников. Они были распределены по следующим группам социальной уязвимости: родители-одиночки, родители, воспитывающие детей-инвалидов, люди, имеющие инвалидность или ОВЗ, а также группы, связанные с СВО (беженцы, участники СВО, члены семей участников СВО и потерявшие на СВО близких). Дополнительно включена группа выпускников детских домов. Адекватность выделенных групп социальной уязвимости для региональной молодежи была подтверждена в рамках консультаций со специалистами в области социальной защиты населения. В общей группе социальной уязвимости каждая группа представлена в размере от 76 до 280 человек (некоторые респонденты имели более одного статуса), но не менее 10 % от всей группы (см. табл. 1 Приложения). Для молодых людей, относящих себя к группам социальной уязвимости, не была составлена дополнительная выборка по полу и возрасту (что является ограничением для данного исследования), поэтому набор был произведен методом рекрутирования (как и для всего массива респондентов). Респонденты, не относящиеся к группам социальной уязвимости, составила референтную группой, с которой было осуществлено сравнение по всем показателям исследования.

Методика анализа включала расчет отклонений показателей уязвимых групп от референтной группы, сравнительный анализ внутригрупповых профилей.

Особенности диспозиций и жизненного планирования социально уязвимых групп молодежи

Важно понять, насколько представлены различия в социальных диспозициях и системе жизненного планирования по отношению к более благополучным группам большинства и для каких групп возможно возникновение дефицитных полей в реализации жизненных стратегий. Ставя вопрос таким образом, мы исходим из того, что жизненное планирование отражает оценку перспектив и возможностей в реализации, а также острую необходимость для обеспечения качества жизни и ситуации успешности в достижении планов. Для рассмотрения были определены жизненные стратегии, наиболее полно показывающие различия в жизненных диспозициях и планах молодежи разных групп.

Экономическая сфера

При рассмотрении экономических стратегий выявлены общие закономерности, связанные с тем, что группы с наименьшей склонностью к сбережению (родители детей-инвалидов, молодежь с ОВЗ, молодежь со статусом беженцев) демонстрируют вынужденно-адаптивную, или дефицитарную, модель экономического поведения, при которой денежные средства немедленно направляются на текущее потребление. У одиноких родителей и малообеспеченных групп молодежи, напротив, фиксируется установка на аккумуляцию как форму компенсаторной безопасности. Молодые люди с ОВЗ, беженцы, выпускники детских домов и участники СВО, пережившие или переживающие острую фазу социальной травмы (и/или институционального исключения), демонстрируют гедонистически-компенсаторную стратегию: деньги рассматриваются как ресурс немедленного восстановления субъективно благополучия, а не долгосрочного накопления (см. табл. 2 Приложения).

Группировка уязвимых категорий молодежи по характеру отклонения от «нормативной» группы позволяет выделить характерологические кластеры в отношении экономических стратегий:

— Кластер «ресурсного дефицита и автономии» (матери-одиночки, выпускники детских домов, получатели пособий). Характеризуется высокой склонностью к сбережению, ориентацией на помощь родителям, умеренным интересом к бизнесу, выраженным запросом на жилье. Доминирует прагматизм и стремление к финансовой самостоятельности вопреки дефициту ресурсов.

— Кластер «травмы и гедонизма» (участники СВО, потерявшие близких на СВО, члены их семей, люди с ОВЗ). Отличается гедонистической диспозицией, низкой ориентацией на долгосрочные накопления, высоким интересом к предпринимательству, сниженной потребностью в выходе на пенсию. Выражена посттравматическая переоценка ценностей, переориентация на «жизнь здесь и сейчас».

— Кластер «маргинальной адаптации» (беженцы, родители детей-инвалидов). Демонстрирует высокую установку на помощь близким, низкую склонность к инвестициям и бизнесу, ориентацию на «выход на пенсию». Наибольшая зависимость от государства и формальных структур поддержки, минимальная предпринимательская активность.

Сравнение с референтной группой показывает, что уязвимость не столько снижает уровень притязаний, сколько деформирует каналы их реализации, смещая

акценты с институциональных форм накопления (депозиты, инвестиции) на неформальные практики (помощь близким, «быстрые» траты). Это согласуется с тезисом о дефиците доверия к финансовым институтам среди маргинализированных групп [Веселов, Скворцов, 2023].

Политическая сфера

Рассматривая *политические стратегии*, стоит отметить, что для социально уязвимых групп молодежи в большей степени, чем для группы большинства, характерно индифферентное отношение к политике (особенно это очевидно для выпускников детских домов) (см. табл. 3 Приложения). Институциональное исключение (интернатное прошлое), физические ограничения и высокая повседневная нагрузка (одинокое родительство) формируют когнитивный и мотивационный барьер для входа в политическое поле. Политика воспринимается как «чужая», недоступная сфера. Политическая субъективация возникает там, где уязвимость непосредственно связана с действием государства (военные действия, миграция, инвалидность ребенка как объект социальной политики). Эти группы видят в политике не абстракцию, а инструмент изменения собственного положения.

Что касается политических жизненных планов социально уязвимой молодежи, то желание вовлекаться в политику в разы превосходит значения показателей основной группы по всем позициям. Такой результат может быть объяснен с позиции неактуальности общей политической повестки, но желанием использовать политическое субъективное участие как возможность защиты в условиях социальной уязвимости, воздействия на ситуацию.

Наиболее важные результаты по данной стратегии получены в отношении протестного потенциала: у восьми групп из девяти он в два и более раза превышает аналогичный показатель референтной группы в индексном выражении и относительно значений показателя такого потенциала по каждой из тем протеста (см. рис. 1). Для такой группы молодежи, как родители детей-инвалидов, показатель протестного потенциала доходит до 74 %. Высокие показатели имеют также группы выпускников детских домов и участников СВО.

На основе сравнения с нормативной группой в рассмотрении политических стратегий молодежи выделяются четыре типических кластера.

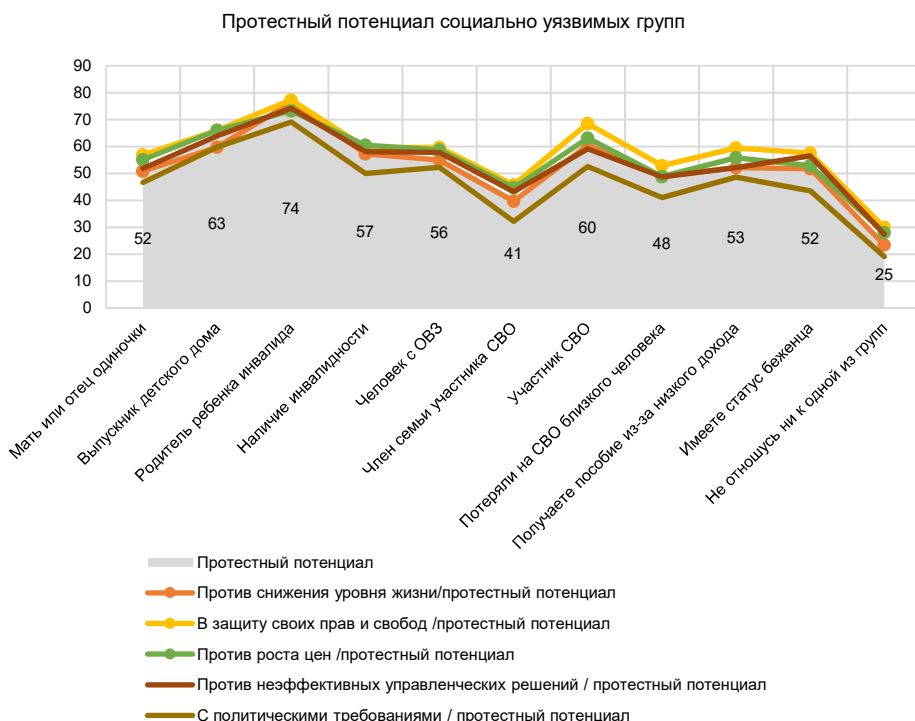
— Кластер «системной мобилизации» (участники СВО), демонстрирует высокую вовлеченность в деятельность партий, выборы, электоральные кампании; достаточно высокий протестный потенциал. Политическое участие осмысливается как продолжение служебной функции, конвертация военного опыта в политический капитал в рамках существующей системы.

— Кластер «компенсаторной гипермобилизации» (родители детей-инвалидов, выпускники детских домов, потерявшие близкого на СВО (частично), беженцы (частично)) показывает кратное (в три-пять раз) превышение нормативных показателей по всем формам политической активности, включая протест и выдвижение кандидатом на политические должности. Политика в данном случае выступает символическим полем восстановления утраченного социального статуса. Это компенсаторная стратегия, направленная на преодоление стигматизации и институционального исключения через обретение голоса.

— Кластер «амбивалентного выбора» (одинокие родители, лица с ОВЗ, получатели пособий) — показатели выше нормативных, но ниже, чем в предыдущем кластере. Сочетание индифферентности (30,8% одиноких родителей не интересуются политикой) и умеренной проективной активности. Политическая субъективация блокируется повседневной ресурсной истощенностью. Эти группы потенциально мобилизуемы, но не находятся в состоянии устойчивой политической мотивации.

Сравнение с «нормативной» группой показывает, что уязвимость не столько элиминирует политический интерес, сколько деформирует его структуру, смещая акценты с легитимно-институциональных форм на протестные и квазилитерские практики. Наибольшие риски деструктивной политической мобилизации фиксируются в группах, переживших институциональную травму или экстремальный опыт, при отсутствии эффективных каналов артикуляции их интересов.

Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос: «Если в месте Вашего проживания состоятся массовые выступления протеста, вы лично примете в них участие или нет?»



Общественная сфера

Относительно общественных стратегий социально уязвимых групп молодежи можно заметить, что представленность эгоцентричного типа (ориентированного на собственные потребности) среди таких респондентов скорее меньше, чем в благополучных группах, реже встречается и тип ситуативного участия. А вот общественно активные группы, в том числе и участники общественных организа-

ций, общественные лидеры встречаются значительно чаще, особенно среди таких групп, как родители детей-инвалидов, выпускники детских домов и потерявшие близких на СВО (см. табл. 4 Приложения).

Эмпирическая типология общественных стратегий социально уязвимой молодежи, построенная на сравнении с нормативной группой, включает три кластера, различающиеся по характеру и интенсивности просоциальной активности.

— Для кластера «депривированных мобилизованных» (выпускники детских домов, родители детей-инвалидов и, частично, участники СВО) характерно кратное (в два-три раза) превышение нормативных показателей по всем формам проективной просоциальной деятельности. Природа этого феномена, как представляется, коренится в нереализованном, но крайне интенсивном запросе на субъектность. Институциональное сиротство и ситуация родителей детей-инвалидов в условиях особой заботы формируют у представителей этой категории не только опыт депривации, но и устойчивые практики ответственного действия. Общественная деятельность в их восприятии выступает пространством, где возможны восстановление контроля, обретение социального признания и конвертация личного опыта в публично значимый ресурс.

— В кластере «ситуативно-мобилизованных» (лица с инвалидностью и ОВЗ, одинокие родители, получатели пособий, беженцы) показатели просоциальной активности также превышают нормативные, однако масштаб этого превышения (в полтора-два раза) уступает первому кластеру. Группы этого кластера демонстрируют выраженный интерес к волонтерству (46—55 %) и благотворительности (40—48 %), но заметно меньше ориентированы на институциональные формы участия, такие как создание общественных организаций или занятие социальным предпринимательством. Сдерживающим фактором выступают ограничения компетенций и ресурсов: волонтерская деятельность и благотворительность воспринимаются как доступные практики, не требующие специальных знаний или стартового капитала, тогда как учреждение организации или реализация социально-предпринимательского проекта сопряжены с высокими транзакционными издержками, что для этих групп становится непреодолимым барьером.

— Кластер «замкнуто-лояльных» (члены семей участников СВО) по всем формам проективной активности демонстрирует минимальные значения среди уязвимых категорий (волонтерство — 40,7 %, основание организации — 27,1 %, социальное предпринимательство — 25,7 %), хотя они и остаются выше аналогичных показателей нормативной группы. В отличие от самих участников СВО, члены их семей не пережили непосредственного травматического опыта, но находятся в поле его воздействия. Это порождает не мобилизацию, а, напротив, консервацию жизненных установок: снижение готовности к риску, акцент на стабильность, избегание дополнительных обязательств. Общественная деятельность в данном случае не воспринимается как приоритетная сфера приложения усилий.

Полученные данные опровергают линейную модель, постулирующую, что ухудшение социального положения неизбежно влечет снижение общественной активности. Фиксируется обратная зависимость: группы, объективно находящиеся в состоянии депривации, демонстрируют более высокий уровень проективной просоциальной мобилизации. На этом основании может быть сформулирована

гипотеза компенсаторной гражданственности, согласно которой опыт уязвимости, будучи осмысленным и соотношенным с пониманием его социальной природы, формирует устойчивую диспозицию к преобразованию социальной реальности. Общественная деятельность в этом контексте выступает способом преодоления собственной исключенности через участие в решении проблем других.

Наиболее отчетливо данный механизм проявляется в группах с длительным институциональным опытом (выпускники детских домов) и хронической опекунской нагрузкой (родители детей-инвалидов). Следовательно, потенциал гражданского участия российской молодежи сосредоточен не в «благополучном большинстве», а именно в социально уязвимых группах, имеющих опыт институциональной или экзистенциальной травмы. Вместе с тем этот потенциал остается латентным: он не конвертируется в реальную активность вследствие ресурсных, компетентностных и институциональных барьеров. Снятие данных барьеров, таким образом, представляет собой стратегическую задачу молодежной политики.

Семейная сфера

Семейные стратегии для социально уязвимых групп молодежи имеют свои особенности (см. табл. 5 Приложения). Анализ табличных данных позволяет выявить глубинные паттерны семейных диспозиций и репродуктивных стратегий среди различных категорий социально уязвимой молодежи в сравнении с нормативной группой. Семейная сфера в данном контексте выступает не только как область приватного выбора, но и как пространство компенсаторного конструирования идентичности, где уязвимость либо интенсифицирует традиционалистские установки, либо, напротив, формирует запрос на альтернативные модели родства и заботы.

В результате сопоставления с группой, не относящей себя к категориям социальной уязвимости, выделены три типических кластера, различающиеся по характеру семейно-репродуктивных установок.

— Кластер «компенсаторной традиционности» (выпускники детских домов, родители детей-инвалидов и участники СВО) характеризуется высокой легитимацией брака, установкой на детность (включая многодетность) и выраженные ожидания межпоколенной заботы. Семья для представителей этого кластера выступает не столько естественным продолжением унаследованной традиции, сколько целенаправленным проектом по воссозданию утраченного. Показательно, что при более выраженной, чем в нормативной группе, ориентации на традиционные репродуктивные сценарии эти респонденты одновременно демонстрируют большую готовность к плюрализации семейных форм, что свидетельствует о рефлексивном, а не ритуальном характере их традиционализма.

— Кластер «рефлексивной модернизации» (беженцы, получатели пособий, а также, частично, лица с ОВЗ) показывает максимальный уровень релятивизма в определении семейных границ, умеренные (однако превышающие нормативные) репродуктивные установки, высокую готовность к заботе о близких при одновременно сниженных ожиданиях возвратной заботы. Пережив дестабилизацию привычного жизненного уклада, эти респонденты сохраняют высокую значимость родственных связей, но переосмысливают их через индивидуализацию семейных норм, отказываясь от единственно легитимной модели семейного устройства.

— Кластер «замкнутой лояльности» (члены семей участников СВО и те, кто потерял близких в ходе боевых действий) демонстрирует лишь незначительное превышение показателей нормативной группы при резком снижении установок на многодетность и совместное проживание с детьми. Опосредованный характер уязвимости (через близкого человека) не стимулирует мобилизацию семейных стратегий, а напротив, ведет к их консервации: снижается готовность к рискам, связанным с расширением семьи, усиливается ориентация на сохранение сложившегося уклада, избегание дополнительных обязательств.

В совокупности представленные данные фиксируют принципиальную особенность семейных стратегий социально уязвимой молодежи. Группы, больше всего пострадавшие от институциональных и экзистенциальных дефицитов в семейной сфере, демонстрируют наиболее выраженную ориентацию на традиционные семейные формы, в первую очередь в репродуктивном измерении. Однако эта ориентация не носит архаичного характера, а представляет собой компенсаторно-рефлексивный феномен. Семья в данном случае выступает полем восстановления субъектности, утраченной вследствие сиротства, экстремального опыта, миграции либо хронической опекунской нагрузки. Выбор многодетности и брака здесь продиктован не незнанием альтернативных моделей, а тем, что эти альтернативы уже были пережиты как дефицитарные. Нормативная же группа, напротив, не нуждается в семье как инструменте компенсации, что и обуславливает принципиальное различие в содержании и интенсивности семейных стратегий.

Самосохранительная сфера

Анализ табличных данных позволяет выявить устойчивые паттерны самосохранительного поведения, репрезентированные как в актуальных диспозициях (отношение к здоровью, реальная включенность в спорт), так и в проективных стратегиях (готовность к здоровому образу жизни, спортивному волонтерству, долголетние ожидания) среди различных категорий социально уязвимой молодежи в сопоставлении с нормативной группой («не отношусь ни к одной из групп»). Самосохранительная сфера в данном контексте выступает не только областью биологического воспроизводства, но и полем символической репарации, где опыт уязвимости либо мобилизует ресурсы на продление жизни, либо, напротив, формирует фаталистические установки (см. табл. 6 Приложения).

Кластерный анализ позволяет выделить следующие кластеры в зависимости от отношения к самосохранительным стратегиям.

— Кластер «компенсаторной мобилизации» (выпускники детских домов, родители детей-инвалидов, участники СВО) имеет максимальные проективные стратегии (ЗОЖ, отказ от вредных привычек, диспансеризация); экстремально высокие ожидания долголетия (разрыв с нормой более чем в два раза). Самосохранительное поведение гипертрофировано и носит характер символического реванша над обстоятельствами.

— Кластер «инструментальной адаптации» (одинокое родители, лица с инвалидностью, люди с ОВЗ, беженцы) демонстрирует реальную заботу о здоровье и умеренные проективные стратегии (выше нормы, но ниже первого кластера) и ожидания долголетия. Забота о здоровье для этих групп — необходимость, про-

диктованная существующими ограничениями (инвалидность, опекуновство, постмиграционный синдром). Они не стремятся к спортивным рекордам и столетнему долголетию, но вынуждены поддерживать функциональность на уровне, достаточном для выполнения повседневных задач.

— Кластер «отложенной травматичности» (потерявшие близкого на СВО, члены семей участников СВО) характеризуется минимальной реальной заботой о здоровье (на уровне нормативной группы или ниже), высокой долей прокрастинации ЗОЖ и сниженным ожиданием долголетия (особенно в группе членов семей участников СВО — 38,2% ожидания 100 лет против 70,1% у выпускников детдомов). Острая травма (утрата) и опосредованная травматизация (членство в семье участника СВО) блокируют самосохранительную мобилизацию. Эти группы находятся в состоянии экзистенциальной паузы, когда забота о будущем (включая здоровье) откладывается до завершения фазы горевания или стабилизации.

Представленные данные фиксируют парадокс самосохранительных стратегий социально уязвимой молодежи: группы, объективно имеющие меньше ресурсов для долгой и здоровой жизни (сироты, родители детей-инвалидов, участники боевых действий), демонстрируют более высокие показатели реальной заботы о здоровье, проективной готовности к ЗОЖ и ожиданий долголетия, чем благополучная нормативная группа. Этот парадокс разрешается в рамках компенсаторно-символической модели: для уязвимых групп здоровье и долголетие является ресурсом восстановления субъектности, утраченной в прошлом; для нормативной группы здоровье становится естественным фоном, не требующим героических усилий.

Заключение

По итогам исследования сформулированы следующие итоговые выводы, фиксирующие ключевые закономерности, проблемные узлы и риски реализации жизненных стратегий социально уязвимой молодежи в региональном измерении.

Определена компенсаторно-мобилизационная природа жизненных стратегий уязвимых групп. Выявлен устойчивый парадокс: группы, объективно обладающие наименьшими ресурсами (выпускники детских домов, родители детей-инвалидов, участники СВО, молодежь с ОВЗ), демонстрируют более высокие показатели проективной активности в общественной, политической и самосохранительной сферах по сравнению с нормативной группой. Это позволяет говорить о формировании компенсаторно-символической модели жизненного конструирования, при которой депривационный опыт не столько блокирует устремления, сколько трансформируется в гипертрофированный запрос на признание, субъектность и восстановление утраченного статуса.

Также установлены поляризация типов уязвимости и дифференциация стратегий. Внутри массива социально уязвимой молодежи выделяются три устойчивых кластера, различающиеся по характеру отклонения от нормативных показателей.

— Кластер прямой, неопосредованной уязвимости (выпускники детдомов, родители детей-инвалидов, участники СВО) отличается максимальной проективной мобилизацией, ориентацией на институциональные формы участия, повышенными ожиданиями долголетия и многодетности, выраженной потребностью в публичной валидации.

— Кластер ресурсно-ограниченной адаптации (одинокое родители, лица с инвалидностью/ОВЗ, беженцы) демонстрирует умеренное превышение нормативных показателей, ориентацию на доступные формы активности (волонтерство, профессиональная самореализация), сниженные ожидания в сферах, требующих стартового капитала

— Кластер опосредованной, «фоновой» уязвимости (члены семей участников СВО, потерявшие близкого на СВО, получатели пособий) формирует показатели, близкие к нормативной группе или незначительно превышающие их, с минимальной компенсаторной мобилизацией и высокой долей прокрастинации жизненных решений.

Можно говорить и об инверсии ценностно-поведенческих паттернов, так как фиксируется устойчивое расхождение между вербальной приверженностью традиционным ценностям и реальными жизненными планами. Нормативная группа, декларируя максимальную поддержку традиционной семьи (63,6%), ориентирована на малодетность (один-два ребенка). Напротив, группы с релятивистским отношением к формам семьи (беженцы, участники СВО) демонстрируют значительно более высокую готовность к многодетности (до 48,5% планируют трех и более детей).

Социально уязвимая молодежь показывает высокий, но латентный гражданский потенциал. Устремленность большинства рассматриваемых групп на эффективные и социально значимые для региона жизненные выборы в разы превышает аналогичные решения со стороны благополучных групп молодежи. Однако этот потенциал остается нереализованным ввиду ресурсных, компетентностных и институциональных барьеров. Необходимо понимать, что реализация таких желаний связана прежде всего с той помощью и поддержкой, которая будет им оказана. Целенаправленная, планируемая помощь и поддержка, разработанная и внедренная с учетом потребностей конкретных социально уязвимых групп молодежи, может способствовать реализации их жизненных планов и снижению рисков их маргинализации.

Исследование позволило выявить ключевые проблемы и риски в планировании и реализации жизненных стратегий уязвимой молодежи.

Во-первых, это риск деструктивной политической мобилизации. В группах, переживших институциональную травму (выпускники детдомов) или экстремальный опыт (участники СВО, потерявшие близкого), фиксируется кратно более высокий протестный потенциал (до 74% у родителей детей-инвалидов). При отсутствии легитимных каналов артикуляции интересов и институциональных форм поддержки данный потенциал может трансформироваться в деструктивные формы политического участия. Особого внимания требует молодежь, потерявшая близких на СВО, у которой протестная готовность сочетается с низкой ориентацией на системные формы участия.

Во-вторых, возникает риск экзистенциальной паузы и депривации перспективы в группах опосредованной уязвимости. Наиболее проблемными группами, демонстрирующими признаки фрустрации, дезадаптации и сужения временной перспективы, являются: молодежь со статусом беженцев, получатели пособий по низкому доходу и молодые люди, потерявшие близких на СВО. У этих групп фиксируются снижение горизонта жизненного планирования, высокая доля прокрастинации (особенно в самосохранительных стратегиях), минимальная компенсаторная мо-

билизация и заниженные ожидания достижимости. Ситуация усугубляется отсутствием институциональных механизмов, способных конвертировать их потенциал в реальные траектории.

Наряду с выявленными закономерностями следует обозначить риски, сопряженные с межпоколенной динамикой воспроизводства уязвимости. В группах, характеризующихся институциональным опытом (выпускники детских домов) и хронической опекунской нагрузкой (родители детей-инвалидов), зафиксированы высокие показатели ожидания возвратной заботы со стороны детей — 46,4 % и 47,4 % соответственно, что сочетается с устойчивой ориентацией на многодетность. При отсутствии адресных социальных лифтов и системных программ сопровождения подобная конфигурация установок может способствовать закреплению дефицитарных паттернов в следующем поколении, формируя тем самым замкнутый контур воспроизводства социальной уязвимости.

К числу значимых рисков относится также диссонанс между декларируемыми задачами социальной политики и реальным ресурсным обеспечением уязвимых категорий молодежи. Подобное рассогласование создает риск фрустрации при столкновении с реальными барьерами, что потенциально способно приводить к социальной аномии, отказу от легитимных стратегий адаптации и переходу к девиантным формам поведения.

Таким образом, социально уязвимая молодежь представляет собой не объект патерналистской опеки, а субъект, обладающий значительным, но институционально заблокированным потенциалом. Снятие этих барьеров необходимо не только для повышения качества жизни самих уязвимых групп, но и для укрепления человеческого капитала региона в целом.

Список литературы (References)

1. Благорожева Ж. О. Семейные стратегии региональной молодежи // Научный результат. Социология и управление. 2022. Т. 8. № 3. С. 91—102. <https://doi.org/10.18413/2408-9338-2022-8-3-0-7>.
Blagorozheva Zh. O. (2022) Family Strategies of Regional Youth. *Research Result. Sociology and Management*. Vol. 8. No. 3. P. 91—102. <https://doi.org/10.18413/2408-9338-2022-8-3-0-7>. (In Russ.)
2. Богданов М. Б., Малик В. М. Как сочетаются социальное, территориальное и гендерное неравенства в образовательных траекториях молодежи России? // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 3. С. 391—421. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.3.1603>.
Bogdanov M. B., Malik V. M. (2020) Social, Territorial and Gender Inequalities in Educational Trajectories of the Russian Youth. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 3. P. 391—421. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.3.1603>. (In Russ.)
3. Боровиков А. П. Инклюзивное социальное проектирование как инструмент социализации студентов с инвалидностью // Инновационное развитие профессионального образования. 2022. № 4. С. 117—123.

- Borovikov A. P. (2022) Inclusive Social Design as a Tool for Socialization of Students with Disabilities. *Innovative Development of Professional Education*. No. 4. P. 117—123. (In Russ.)
4. Бочаров В. Ю. Концепция баланса работы и личной жизни как основание для типологии стратегий трудового поведения рабочей молодежи // Социально-трудовые исследования. 2020. № 2. С. 113—129. <https://doi.org/10.34022/2658-3712-2020-39-2-113-129>.
Bocharov V. Y. (2020) The Concept of Work-Life Balance as the Basis for a Typology of Strategies for the Labor Behavior of Working Youth. *Social and Labor Research*. No. 2. P. 113—129. <https://doi.org/10.34022/2658-3712-2020-39-2-113-129>. (In Russ.)
 5. Веселов Ю. В., Скворцов Н. Г. Трансформация культуры доверия в России // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2023. № 1. С. 157—179. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2023.1.2212>.
Veselov Y. V., Skvortsov N. G. (2023) Transformation of the Culture of Trust in Russia. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 1. P. 157—179. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2023.1.2212>. (In Russ.)
 6. Загутин Д. С., Гафиатулина Н. Х., Самыгин С. И. Социальное здоровье российской студенческой молодежи в контексте реализации институциональных механизмов социальной поддержки // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2017. № 6—7. С. 41—45.
Zagutin D. S., Gafiatulina N. H., Samygin S. I. (2017) Social Health of Russian Students in the Context of the Implementation of Institutional Mechanisms of Social Support. *Humanities, Socio-Economic and Social Sciences*. No. 6—7. P. 41—45. (In Russ.)
 7. Зубок Ю. А., Чупров В. И. Саморегуляция смысложизненных ценностей в культурном пространстве молодежи // Вестник Института социологии. 2019. Т. 10. № 4. С. 164—186. <https://doi.org/10.19181/vis.2019.31.4.614>.
Zubok Yu. A., Chuprov V. I. (2019) Self-Regulation of Meaningful Values in the Cultural Space of Youth. *Bulletin of the Institute of Sociology*. Vol. 10. No. 4. P. 164—186. <https://doi.org/10.19181/vis.2019.31.4.614>. (In Russ.)
 8. Зубок Ю. А., Чупров В. И. Жизненные стратегии молодежи: реализация ожиданий и социальные настроения // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 3 (157). С. 13—41. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.3.1602>.
Zubok Yu. A., Chuprov V. I. (2020) Youth's Life Strategies: Realization of Expectations and Social Attitudes. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 3. P. 13—41. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.3.1602>. (In Russ.)
 9. Илаева Р. А., Савина Н. Н. Сущность жизненной стратегии и ее типологии // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 6. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=25635> (дата обращения: 23.07.2025).

- Ilaeva R. A., Savina N. N. (2016) The Essence of Life Strategy and its Typology. *Modern Problems of Science and Education*. No. 6. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=25635> (дата обращения: 23.07.2025). (In Russ.)
10. Казенов Р. С. Карьерные стратегии молодежи в условиях социальной трансформации // Академия педагогических идей. Новация. 2019. № 5. С. 66—69. Kazenov R. S. (2019) Career Strategies of Youth in the Context of Social Transformation. *Academy of Pedagogical Ideas. Novation*. No. 5. P. 66—69. (In Russ.)
11. Касаткина Н. П., Шумкова Н. В. От самообразования к самозанятости: неграмотный вход молодежи на рынок труда // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 3. С. 201—223. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.3.1600>. Kasatkina N. P., Shumkova N. V. (2020) From Self-Education to Self-Employment: Back Entrance for Youth to the Labor Market. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 3. P. 201—223. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.3.1600>. (In Russ.)
12. Кисиленко А. В., Шаповалова И. С. Проектирование жизненного пути или как молодёжь видит свое будущее? // Социологические исследования. 2023. № 2. С. 83—94. <https://doi.org/10.31857/S013216250024385-6>. Kisilenko A. V., Shapovalova I. S. (2023) Designing a Life Path or How Do Young People See Their Future? *Sociological Studies*. No. 2. P. 83—94. <https://doi.org/10.31857/S013216250024385-6>. (In Russ.)
13. Ковальчук О. В. Профессиональные жизненные стратегии детей-инвалидов как индикатор благополучия региона // Научный результат. Социология и управление. 2023. Т. 9. № 3. С. 37—48. <https://doi.org/10.18413/2408-9338-2023-9-3-0-4>. Kovalchuk O. V. (2023) Professional Life Strategies of Children with Disabilities as an Indicator of the Region's Well-Being. *Research Result. Sociology and Management*. Vol. 9. No. 3. P. 37—48. <https://doi.org/10.18413/2408-9338-2023-9-3-0-4>. (In Russ.)
14. Косарева Е. С., Чистяков А. В., Маслова Ю. В. Образовательные стратегии российской молодежи в условиях цифровизации общества // Вестник Южно-Российского государственного технического университета (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023. Т. 16. № 5. С. 66—74. <https://doi.org/10.17213/2075-2067-2023-5-66-74>. Kosareva E. S., Chistyakov A. V., Maslova Yu. V. (2023) Educational Strategies of Russian Youth in the Context of Digitalization of Society. *Bulletin of the South-Russian State Technical University (NPI). Series: Socio-Economic Sciences*. Vol. 16. No. 5. P. 66—74. <https://doi.org/10.17213/2075-2067-2023-5-66-74>. (In Russ.)
15. Котов Д. А., Грек Н. В. Трансформация репродуктивного поведения в контексте жизненных стратегий российской молодежи // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 3. С. 499—517. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.3.1628>.

- Kotov D. A., Grek N. V. (2020) Transformation of Reproductive Behavior in the Context of Life Strategies of Russian youth. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 3. P. 499—517. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.3.1628>. (In Russ.)
16. Кошарная Г. Б., Каримова Л. Ф. Пути преодоления основных проблем социальной защиты малообеспеченной молодежи (на примере Пензенской области) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2022. Т. 22. № 2. С. 374—386. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2022-22-2-374-386>.
Kosharnaya G. B., Karimova L. F. (2022) Ways to Overcome the Main Problems of Social Protection of Low-Income Youth (On the Example of the Penza Region). *RUDN Journal of Sociology*. Vol. 22. No. 2. P. 374—386. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2022-22-2-374-386>. (In Russ.)
17. Малышкина А. И., Кулигина М. В., Панова И. А., Рычихина Н. С. Самосохранительные и репродуктивные стратегии современной студенческой молодежи: медико-социологический анализ // Женщина в российском обществе. 2023. № 4. С. 113—122. <https://doi.org/10.21064/WinRS.2023.4.9>.
Malyshkina A. I., Kuligina M. V., Panova I. A., Rychikhina N. S. (2023) Self-Preservation and Reproductive Strategies of Modern Student Youth: A Medical and Sociological Analysis. *Woman in Russian Society*. No. 4. P. 113—122. <https://doi.org/10.21064/WinRS.2023.4.9>. (In Russ.)
18. Павленко Е. С., Якубовская А. А. Интерпретации взросления и формирование образовательных траекторий // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 3. С. 376—390. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.3.1604>.
Pavlenko E. S., Yakubovskaya A. A. (2020) Interpretations of Adulthood and Formation of Educational Trajectories. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 3. P. 376—390. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.3.1604>. (In Russ.)
19. Сергеева Е. А. Специфика политики социальной поддержки уязвимых категорий населения // Отечественный журнал социальной работы. 2005. № 4. С. 35—46.
Sergeeva E. A. (2005) Specifics of the Policy of Social Support for Vulnerable Categories of the Population. *Domestic Journal of Social Work*. No. 4. P. 35—46. (In Russ.)
20. Смолева Е. О. Барьеры инклюзии на рынке труда в восприятии социально уязвимых категорий населения (на примере Северо-западного Федерального округа) // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2018. № 4. С. 351—368. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.4.18>.
Smoleva E. O. (2018) Barriers to inclusion in the labor market in the perception of socially vulnerable categories of the population (on the example of the North-Western Federal District). *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social*

Changes. No. 4. P. 351—368. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.4.18>. (In Russ.)

21. Терновоя Л. О. Понимание проявлений эксклюзии и инклюзии в осмыслении специфики социального государства // Вестник экономических и социологических исследований. 2023. № 1. С. 35—44.
Ternovaya L. O. (2023) Understanding the Manifestations of Exclusion and Inclusion in Understanding the Specifics of the Welfare State. *Bulletin of Economic and Sociological Research*. No. 1. P. 35—44. (In Russ.)
22. Толстиков В. А., Извекова Ю. С., Кашина Т. Л. Образовательная стратегия как один из важнейших компонентов жизненной стратегии молодежи // Казанский социально-гуманитарный вестник. 2019. № 5. С. 38—43.
Tolstikov V. A., Izvekova Yu. S., Kashina T. L. (2019) Educational Strategy as One of the Most Important Components of the Youth's Life Strategy. *The Kazan Socially-Humanitarian Bulletin*. No. 5. P. 38—43. (In Russ.)
23. Чупров В. И., Зубок Ю. А., Романович Н. А. Отношение к социальной реальности в российском обществе: Социокультурный механизм формирования и воспроизводства. М.: Норма; ИНФРА-М, 2014.
Chuprov V. I., Zubok Yu. A., Romanovich N. A. (2014) Attitude to Social Reality in Russian Society: Socio-Cultural Mechanism of Formation and Reproduction. Moscow: Norma; INFRA-M. (In Russ.)
24. Шабунова А. А., Калачикова О. Н., Леонидова Г. В., Смолева Е. О. Эксклюзия как критерий выделения социально уязвимых групп населения // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2016. №2. С. 29—47. <https://doi.org/10.15838/esc.2016.2.44.2>.
Shabunova A. A., Kalachikova O. N., Leonidova G. V., Smoleva E. O. (2016) Exclusion as a Criterion for Identifying Socially Vulnerable Groups of the Population. *Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast*. No. 2. P. 29—47. <https://doi.org/10.15838/esc.2016.2.44.2>. (In Russ.)
25. Шаповалова И. С. Политические стратегии молодежи: будет ли наша политика молодой? // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2022. Т. 22. № 1. С. 39—45. <https://doi.org/10.18500/1818-9601-2022-22-1-39-45>.
Shapovalova I. S. (2022) Youth Political Strategies: Will our Politics be Young? *Izvestiya of Saratov University. Sociology. Politology*. Vol. 22. No. 1. P. 39—45. <https://doi.org/10.18500/1818-9601-2022-22-1-39-45>. (In Russ.)
26. Шаповалова И. С., Валиева И. Н. Протестный потенциал регионального студенчества в России: социальные предпосылки // Интеграция образования. 2022. Т. 26. № 2. С. 345—362.
Shapovalova I. S., Valieva I. N. (2022) The Protest Potential of Regional Students in Russia: Social Background. *Integration of Education*. Vol. 26. No. 2. P. 345—362. (In Russ.)

27. Шаповалова И. С., Хашаева С. В., Чернышева Е. А., Благорожева Ж. О., Валиева И. С. Трудовые стратегии выпускников медицинских образовательных учреждений: прогнозируемые риски медицинской отрасли // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2023. Т. 31. № S1. С. 774—783. <https://doi.org/10.32687/0869-866X-2023-31-s1-774-783>.
Shapovalova I. S., Khashaeva S. V., Chernysheva E. A., Blagorozheva Zh. O., Valieva I. S. (2023) Labor Strategies of Graduates of Medical Educational Institutions: Predicted Risks of the Medical Industry. *Problems of Social Hygiene, Healthcare and the History of Medicine*. Vol. 3. No. S1. P. 774—783. <https://doi.org/10.32687/0869-866X-2023-31-s1-774-783>. (In Russ.)
28. Чернова Ж. В., Шпаковская Л. Л. Путевка в жизнь: Социологические эссе об образовании, классовом неравенстве и социальном исключении в России. СПб.: Издательство ЕУСПб, 2023.
Chernova Zh. V., Shpakovskaya L. L. (2023) A Guide to Life: Sociological Essays on Education, Class Inequality, and Social Exclusion in Russia. St. Petersburg: European University Press. (In Russ.)
29. Чернова Ж. В., Шпаковская Л. Л. Переход к взрослой жизни молодых людей, имеющих опыт институциональной заботы // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 3. С. 94—118. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.3.1618>.
Chernova Z. V., Shpakovskaya L. L. (2020) Institution-Reared Children and Their Transition to Adulthood. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 3. P. 94—118. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.3.1618>. (In Russ.)
30. Tedeschi R. G., Calhoun L. G. (2004) Posttraumatic Growth: Conceptual Foundations and Empirical Evidence. *Psychological Inquiry*. Vol. 15. No. 1. P. 1—18. https://doi.org/10.1207/s15327965pli1501_01.

Приложение

Таблица 1. **Параметры выборочной совокупности**

Группы социальной уязвимости	Количество опрошенных	% от всех опрошенных	% от представителей групп социальной уязвимости
Мать или отец, в одиночку воспитывающий ребенка (детей)	210	3,6	29,0
Выпускник детского дома	97	1,7	13,4
Родитель ребенка инвалида	97	1,7	13,4
Наличие инвалидности	124	2,1	17,1
Человек с ограниченными возможностями (по состоянию здоровья)	109	1,9	15,0
Член семьи участника СВО	280	4,8	38,6
Участник СВО	76	1,3	10,5

Группы социальной уязвимости	Количество опрошенных	% от всех опрошенных	% от представителей групп социальной уязвимости
Потеряли на СВО близкого человека	117	2,0	16,1
Получаете пособие из-за низкого дохода	111	1,9	15,3
Имеете статус беженца	85	1,5	11,7
Не отношусь ни к одной из групп	5122	87,6	—
Итого ответивших:	5847	—	—

Таблица 2. Экономические стратегии социально уязвимых групп молодежи
(в таблице даны только ответы «обязательно»)

Варианты жизненных стратегий	Мать или отец, в одиночки	Выпускник детского дома	Родитель ребенка инвалида	Наличие инвалидности	Человек с ОВЗ	Член семьи участника СВО	Участник СВО	Потеряли на СВО близкого человека	Получаете пособие из-за низкого дохода	Имеете статус беженца	Не отношусь ни к одной из групп
Жизненные стратегии											
Отказаться от материальной помощи родителей	61,3	55,8	48,6	49,5	57,4	59,5	46,4	47,6	49,3	53,8	59,6
Покупка машины	60	58,6	52,2	53,6	58,5	64,9	57,7	52,4	58,2	67,3	57,9
Покупка квартиры	71,3	67,4	54,3	69,1	75,5	67,6	62,9	57,1	72	76,9	69,3
Открытие бизнеса	30,7	28,8	26,8	26,8	34	27	34	12,7	29,1	21,2	26,3
Помощь родителям	74,8	75,2	76,8	78,4	75,5	66,2	79,4	76,2	79,1	73,1	78,9
Выход на пенсию с отказом от работы	29,5	26,2	19,6	17,5	25,5	27	18,6	12,7	28,4	26,9	24,6
Наличие финансовых накоплений	70,7	68,1	63	66	76,6	52,7	58,8	61,9	68,7	84,6	65,8
Высокий заработок	67,4	65,6	60,1	72,2	74,5	52,7	56,7	50,8	64,6	69,2	59,6
Открытие депозитного счета (в банке, под проценты)	38,5	34,9	29,7	26,8	43,6	37,8	32	22,2	35,1	30,8	36,8
Открытие инвестиционного счета (процент от роста ценных бумаг, акций)	33,6	31,7	28,3	24,7	35,1	31,1	33	17,5	32,5	25	30,7
Благотворительная деятельность	31,2	28,5	38,4	21,6	39,4	31,1	32	23,8	32,1	30,8	33,3

Таблица 3. **Политические стратегии социально уязвимых групп молодежи**
(в таблице даны только ответы «обязательно»)

Варианты жизненных стратегий	Мать или отец, в одиночки	Выпускник детского дома	Родитель ребенка инвалида	Наличие инвалидности	Человек с ОВЗ	Член семьи участника СВО	Участник СВО	Потеряли на СВО близкого человека	Получаете пособие из-за низкого дохода	Имеете статус беженца	Не отношусь ни к одной из групп
Стать политически более активным: разбираться в политике, участвовать в политических дискуссиях, следить за политическими новостями	33,9	52,6	56,7	46	40,4	23,6	47,4	37,6	36	37,6	14,7
Вступить или участвовать в работе политической партии	24,7	34	43,3	28,2	29,4	16,8	47,4	26,5	26,1	25,9	9
Участвовать в избирательных кампаниях в поддержку политических лидеров	29,4	46,4	49,5	34,7	38,5	18,9	43,4	29,1	32,4	23,5	14,3
Участвовать в выборах, референдумах	34,7	44,3	46,4	43,5	38,5	32,1	53,9	34,2	37,8	37,6	29,6
Участвовать в протестных движениях	28,4	43,3	42,3	36,3	33,9	20,7	40,8	28,2	29,7	29,4	9,3
Участвовать в качестве кандидата в депутаты в выборах	26,5	44,3	46,4	32,3	32,1	17,9	43,4	27,4	31,5	28,2	10,3
Баллотироваться в мэры или губернаторы	27,3	49,5	44,3	35,5	40,4	19,3	44,7	29,1	33,3	27,1	10,4

Таблица 4. Общественные стратегии социально уязвимых групп молодежи
(в таблице даны только ответы «обязательно»)

Варианты жизненных стратегий	Мать или отец, в одиночки	Выпускник детского дома	Родитель ребенка инвалида	Наличие инвалидности	Человек с ОВЗ	Член семьи участника СВО	Участник СВО	Потеряли на СВО близкого человека	Получаете пособие из-за низкого дохода	Имеете статус беженца	Не отношусь ни к одной из групп
Заниматься волонтерской деятельностью	46,3	62,9	62,9	54,8	55	40,7	60,5	44,4	51,4	47,1	24,4
Основать или стать членом общественной организации	34,1	48,5	57,7	41,1	39,4	27,1	48,7	36,8	39,6	34,1	14,5
Заниматься благотворительностью	40,2	54,6	54,6	47,6	48,6	38,9	53,9	44,4	48,6	43,5	25,9
Предложить и реализовать какой-то социально-значимый проект	38,4	47,4	51,5	43,5	34,9	30	51,3	38,5	42,3	40	18,6
Заниматься социальным предпринимательством (для решения какой-либо социальной проблемы)	37,6	47,4	57,7	45,2	45,9	25,7	51,3	41	41,4	36,5	17,9

Таблица 5. Семейные стратегии социально уязвимых групп молодежи
(в таблице даны только ответы «обязательно»)

Варианты жизненных стратегий	Мать или отец, в одиночки	Выпускник детского дома	Родитель ребенка инвалида	Наличие инвалидности	Человек с ОВЗ	Член семьи участника СВО	Участник СВО	Потеряли на СВО близкого человека	Получаете пособие из-за низкого дохода	Имеете статус беженца	Не отношусь ни к одной из групп
Жениться/выйти замуж	59,2	73,2	67	70,2	56,9	60	71,1	60,7	62,2	61,2	60
Иметь одного ребенка	51,2	54,6	56,7	50,8	44	53,9	63,2	56,4	50,5	54,1	50,8
Иметь двух детей	37,6	54,6	51,5	48,4	43,1	37,9	48,7	44,4	40,5	34,1	29,3
Иметь трех детей	27,5	43,3	44,3	33,9	31,2	17,9	39,5	23,9	30,6	23,5	10,7
Иметь более трех детей	26,1	48,5	48,5	37,1	34,9	18,9	40,8	28,2	34,2	32,9	8,7
Жить совместно со своими детьми в старости	28,6	46,4	47,4	38,7	30,3	18,9	43,4	24,8	30,6	25,9	9,7
Жить вместе с престарелыми родителями, в случае их болезни и немоции	45,3	53,6	55,7	54,8	46,8	47,5	53,9	46,2	47,7	47,1	40,2

Таблица 6. Самосохранительные стратегии социально уязвимых групп молодежи
(в таблице даны только ответы «обязательно»)

Варианты жизненных стратегий	Мать или отец, в одиночки	Выпускник детского дома	Родитель ребенка инвалида	Наличие инвалидности	Человек с ОВЗ	Член семьи участника СВО	Участник СВО	Потеряли на СВО близкого человека	Получаете пособие из-за низкого дохода	Имеете статус беженца	Не отношусь ни к одной из групп
Заниматься спортом	65,9	80,4	76,3	75,8	69,7	63,9	75	70,1	66,7	75,3	60,2
Не курить и не употреблять других вредных веществ	60	74,2	67	72,6	61,5	61,8	59,2	60,7	64	56,5	65,3
Не употреблять алкоголь (минимум употребления)	62,2	76,3	72,2	74,2	69,7	60,7	71,1	62,4	66,7	63,5	61,7
Придерживаться здорового питания	56,1	71,1	68	66,9	57,8	56,1	57,9	62,4	60,4	62,4	52,2
Посещать поликлинику и проходить диспансеризацию в целях профилактики заболеваний	56,7	71,1	69,1	67,7	66,1	57,1	63,2	59	63,1	67,1	52,9
Стать спортивным волонтером	47,6	66	69,1	57,3	52,3	41,4	61,8	53	49,5	50,6	32,7
Дожить до 70 лет	57,8	69,1	68	66,9	62,4	54,6	73,7	63,2	58,6	61,2	55,1
Дожить до 80 лет	52,9	69,1	62,9	64,5	62,4	50	67,1	59,8	53,2	54,1	48,2
Дожить до 90 лет	51,4	72,2	63,9	61,3	56,9	44,3	67,1	54,7	54,1	51,8	40
Дожить до 100 лет или более	48,4	70,1	64,9	61,3	54,1	38,2	60,5	47,9	50,5	54,1	35,6

Правильная ссылка на статью:

Мониторинг мнений (ВЦИОМ): июль — август 2026 // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2026. № 4. С. 147—154.

For citation:

Public Opinion Poll (VCIOM): July — August 2026. (2026) *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 147–154.

МОНИТОРИНГ МНЕНИЙ: ИЮЛЬ — АВГУСТ 2026

Результаты ежедневных опросов «ВЦИОМ—Спутник». Методы опроса: (1) телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет (выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ); (2) интернет-опрос по формализованной анкете на базе вероятностной панели «ВЦИОМ-онлайн» (участники панели рекрутируются в ходе ежедневного всероссийского телефонного (CATI) опроса «Спутник», который проводится по случайной (RDD) выборке мобильных номеров из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ). Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95 % не превышает 2,5—3,1 %. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

СОДЕРЖАНИЕ ДАЙДЖЕСТА

ПОЛИТИКА

РОССИЯ — КИТАЙ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ.....	148
ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ — 2026	150

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

ПЛАТФОРМЕННАЯ ЗАНЯТОСТЬ В РОССИИ.....	151
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ: ОТ ЛОЗУНГА К ДЕЙСТВИЯМ	152

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА!	153
ДОРОГА, КОТОРАЯ ВЕДЕТ К ОНЛАЙН-ХРАМУ.....	154

Авторы аналитических обзоров: Татьяна Смак, Людмила Карпова, Олег Маврин, Яна Ширяева
Составитель дайджеста: Ольга Якимова

ПОЛИТИКА

РОССИЯ — КИТАЙ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ.....	148
ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ — 2026.....	150

РОССИЯ — КИТАЙ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

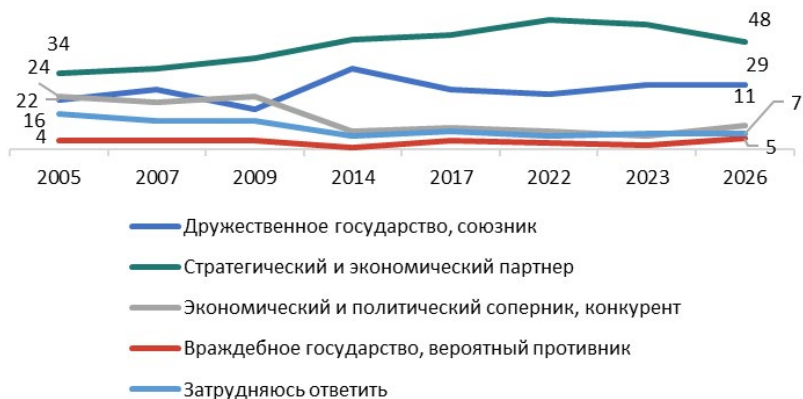
19 августа 2026 г.

Согласно полученным результатам, в образе Китая у россиян преобладают положительные и нейтральные ассоциации. Ядро составляет сильная экономика и производственная мощь (60 % ответов). Лишь у немногих Поднебесная ассоциируется с дешевыми и некачественными товарами, что отражает скорее устаревший стереотип, чем современный образ Китая. Несмотря на рост популярности этого туристического направления среди россиян, туристический образ Поднебесной в массовом сознании сформирован гораздо слабее, чем образ промышленной державы (всего 8 % ответов). Второй по популярности пласт ассоциаций — культура и история (47 % ответов). Для многих наших сограждан страна предстает древней цивилизацией с богатым культурным наследием и узнаваемыми символами (Великая Китайская стена, национальная кухня, китайский чай, драконы и пр.). Местные жители занимают скорее периферийное место в образе Китая (19 % ответов). При этом россияне в целом склонны воспринимать китайцев позитивно (трудолюбивые, доброжелательные, вызывающие восхищение). Персонифицированный образ Китая сконцентрирован вокруг двух политических лидеров — действующего главы КНР Си Цзиньпина и главного символа революционного прошлого Китая, основателя КНР Мао Цзэдуна. В российском обществе сложился устойчиво благоприятный образ Китая. Более половины наших сограждан относятся к стране скорее положительно, около трети — нейтрально. На протяжении последних двух десятилетий россияне все чаще отмечали, что их мнение о Китае изменилось в лучшую сторону: к середине 2020-х годов об этом говорит уже каждый второй. Безразличие к Китаю в 2026 г. достигло минимума за весь период наблюдений, что свидетельствует в том числе о росте общественного интереса к стране.

Рис. 1. Как Вы в целом относитесь к Китаю?
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)



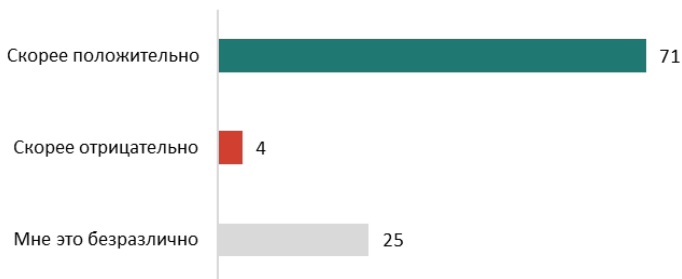
Рис. 2. Как Вам кажется, кем сегодня является для России Китай?
(закрытый вопрос, один ответ, в % от всех опрошенных)



ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ — 2026*20 августа 2026 г.*

Для большинства россиян флаг является эмоциональным и безусловно положительным символом. Самая частая ассоциация с ним — гордость, ее называют четверо из десяти, и этот вариант лидирует с большим отрывом. Далее возникают образы Родины и России, патриотизма и любви к стране, радости и уважения. В ответах также звучат темы истории, силы, величия, стабильности и надежды. Большинство россиян согласны с тем, что флаг напоминает каждому об общей истории и будущем. Россияне также придерживаются мнения, что флаг выходит за рамки политики и способен вызывать у людей чувство гордости независимо от политических убеждений. Семь из десяти россиян позитивно относятся к использованию российского флага в частном пространстве, например на домах, балконах, окнах или у ворот, в праздничные и значимые дни. Еще четверть относится к таким ситуациям нейтрально, а негатив встречается в единичных случаях. Таким образом, кроме образа государства для россиян флаг стал еще и образом общей исторической судьбы, гордости за страну и национальных достижений.

Рис. 3. У некоторых россиян дома есть флаг России, и они вывешивают его, например, у ворот дома, на балконе, в окне в значимые события, праздники. Скажите, как Вы к этому относитесь: скорее положительно, скорее отрицательно или Вам это безразлично? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)



СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

ПЛАТФОРМЕННАЯ ЗАНЯТОСТЬ В РОССИИ.....	151
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ: ОТ ЛОЗУНГА К ДЕЙСТВИЯМ	152

ПЛАТФОРМЕННАЯ ЗАНЯТОСТЬ В РОССИИ

21 июля 2026 г.

Платформенная занятость привлекает почти каждого второго россиянина (44%). Однако оснований говорить о вытеснении традиционных трудовых отношений пока нет: 56% наших сограждан не рассматривают для себя работу через различные онлайн-сервисы. Среди подразумевающих платформенную модель в собственной трудовой траектории 62% называют ее способом подработки или дополнительного заработка, и только 16% расценивают как основную работу. Важно отметить, что эти показатели не отражают реальный текущий опыт и больше говорят о готовности работать в таком формате в будущем. Интерес к платформенной занятости различается в зависимости от возраста. Наиболее привлекательной ее считает молодежь (65% в группе 18—24 года, 57% — в группе 25—34 года). Чем выше по возрастной шкале, тем ниже интерес к такому формату работы (в группе 60 лет и старше — лишь 29%). Различия заметны и по другим социально-демографическим показателям: платформенная занятость привлекательнее для мужчин, чем для женщин (47% против 41%) и для жителей городов-миллионников (56%, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга — 48%), чем для жителей средних и малых городов (45%) и села (34%). Топ характеристик, которые приписывают платформенной занятости: удобная (40% россиян), временная (28%), вынужденная (22%), компромиссная (20%). Лишь 14% считают такой формат оптимальным.

Рис. 1. Вы рассматриваете работу через онлайн-сервисы скорее...
(закрытый вопрос, один ответ, % от рассматривающих платформенную занятость)

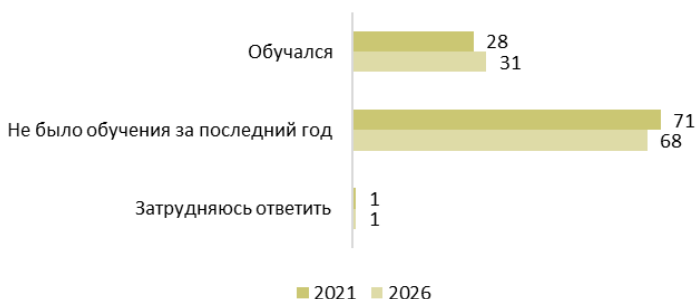


НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ: ОТ ЛОЗУНГА К ДЕЙСТВИЯМ

18 августа 2026 г.

За последние пять лет во взглядах россиян на непрерывное образование мало что изменилось. Большинство — семь из десяти — наших сограждан по-прежнему придерживаются мнения, что обучение нужно проходить как минимум раз в несколько лет, в том числе более трети опрошенных убеждены, что осваивать новые навыки следует ежегодно. Впрочем, высокая декларируемая ценность непрерывного образования вовсе не означает столь же высокой вовлеченности в образовательные практики: за последний год различного рода обучение (в том числе лекции, вебинары, стажировки, не предполагающие выдачу диплома или сертификата) проходили трое из десяти наших сограждан. Предпочтение по большей части отдается освоению прикладных, в том числе цифровых (программирование, работа с искусственным интеллектом) навыков. Значительно реже в качестве значимого образовательного опыта опрошенные отмечают развитие так называемых мягких навыков — саморазвитие, личностный рост, управленческие компетенции и пр. На фоне остальных выделяются жители обеих столиц. Каждый второй москвич и петербуржец недавно проходил обучение, примерно столько же планируют научиться чему-то новому в ближайший год. При этом высокий темп столичной жизни вовсе не означает, что предпочтение отдается «быстрому» обучению; вопреки ожиданиям, однодневные курсы столичные жители выбирают реже остальных. По-разному складываются образовательные траектории у молодых и старших поколений. Наряду с зумерами активно продолжают учиться старшие миллениалы и представители реформенного поколения.

Рис. 2. Скажите, за последний год (последние 12 месяцев) Вы проходили какое-то обучение, связанное или не связанное с работой, — курсы, лекции, стажировки, вебинары, в том числе те, которые не предполагают дипломов или сертификатов, или не было такого обучения за последний год? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)



ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА!	153
ДОРОГА, КОТОРАЯ ВЕДЕТ К ОНЛАЙН-ХРАМУ	154

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА!

20 июля 2026 г.

Сказать, что интеллектуальные игры хорошо известны россиянам, скорее нельзя: назвать конкретные примеры смогли лишь немногим больше половины. Чаще всего с играми «на подумать» ассоциируются шахматы, заметно реже вспоминают sudoku, кроссворды, маджонг, пазлы, словесные игры и квизы. При этом ответы выдают опыт разных поколений: «Что? Где? Когда?» лучше других знают те, кто застал телевизионный расцвет интеллектуального казино, — реформенное поколение и миллениалы. Миллениалы также чаще вспоминают «Свою игру», а ставшие не так давно популярными sudoku легче вспоминают зумеры. Хотя осведомленность о конкретных играх не растет, проводить досуг «с умом» наши сограждане за последние пять лет стали чаще. Среди зумеров и младших миллениалов почти треть еженедельно коротают время за такими развлечениями. Они не только играют чаще, но и арсенал игр у них богаче: шахматы, шашки, sudoku, нарды, монополия, кроссворды, слова, маджонг, покер и другие карточные и настольные игры.

С возрастом игровая активность резко сокращается, выбор интеллектуальных игр становится более традиционным: на первый план выходят sudoku, кроссворды, сканворды и словесные задачи. Шахматы, шашки и sudoku можно назвать универсальным вариантом, общим для разных поколений. При этом на предложение сыграть в шахматы скорее откликнутся мужчины, а женщин будет легче заинтересовать словесными играми. Очные встречи остаются самым распространенным форматом интеллектуальных игр, но постепенно они уступают дистанционной игре, тогда как привычка играть в одиночку — с приложением или программой — так же популярна, как и пять лет назад. Но в целом виден тренд на дистанционность: на фоне цифровизации и развития онлайн-форматов личное присутствие партнера становится все менее необходимым.

Рис. 1. **А Вы играете или не играете в интеллектуальные игры? Если играете, то как часто?**
(закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)



ДОРОГА, КОТОРАЯ ВЕДЕТ К ОНЛАЙН-ХРАМУ

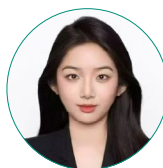
13 августа 2026 г.

По сравнению с 1993 г. личная значимость религии выросла: доля тех, для кого она важна, увеличилась на 9 п. п. При этом наиболее высокий показатель значимости религии фиксировался в 2023 г. — 40%. С возрастом роль религии в жизни россиян растет. Если среди молодых людей она важна лишь для каждого четвертого (24% среди зумеров и младших миллениалов), то в самом старшем поколении — для каждого второго (50%). Чаще всего россияне узнают о религии из разговоров с родственниками, друзьями и коллегами — 28%. Для молодежи этот канал особенно значим и остается главным способом передачи религиозных представлений. На втором месте — новости и программы на телевидении (26%), замыкают тройку социальные сети и мессенджеры (18%). Далее следуют книги и религиозные тексты (14%), другие интернет-сайты (11%), а также видео и подкасты (10%). Церковные источники тоже играют заметную роль, но охватывают более узкую аудиторию. Личное общение со священниками и религиозными деятелями назвали 17% опрошенных, столько же — посещение религиозных мест и мероприятий. Еще 10% получают информацию через общение с верующими и членами религиозных общин, а 7% — через официальные сайты, группы храмов, монастырей и религиозных организаций.

Отношение россиян к религиозной жизни в интернете остается сдержанным. Большинство опрошенных — 61% — считают, что онлайн-участие в службе или другом религиозном действии не может заменить личного присутствия и дать такое же чувство духовной причастности. Еще 14% полагают, что такой опыт возможен, но в более слабой форме, и только 6% уверены, что интернет способен в полной мере дать то же чувство вовлеченности, что и очное участие.

Рис. 2. Как Вы думаете, участие в религиозной службе или другом действии онлайн, в интернете может или нет дать человеку такое же чувство духовной причастности, как и личное присутствие? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)



DOI: [10.14515/monitoring.2026.4.3148](https://doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3148)**И. Е. Калабихина, В. Г. Оксиненко, Ц. Лю****ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ И ТРАНСФОРМАЦИИ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В КИТАЕ****Правильная ссылка на статью:**

Калабихина И. Е., Оксиненко В. Г., Лю Ц. Особенности взаимосвязи и трансформации демографических и социокультурных ценностей в Китае // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2026. № 4. С. 155—184. <https://www.doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3148>.

For citation:

Kalabikhina I. E., Oksinenko V. G., Liu J. (2026) Features of the Interrelationship and Transformation of Demographic and Sociocultural Values in China. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 155–184. <https://www.doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3148>. (In Russ.)

Получено: 19.10.2025. Принято к публикации: 07.07.2026.

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ И ТРАНС-
ФОРМАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И СОЦИО-
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В КИТАЕ

КАЛАБИХИНА Ирина Евгеньевна — доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой демографии экономического факультета, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия

E-MAIL: ikalabikhina@yandex.ru

<https://orcid.org/0000-0002-3958-6630>

ОКСИНЕНКО Валерия Геннадьевна — кандидат экономических наук, независимый исследователь, Братислава, Словакия

E-MAIL: leraoksinenko@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-3274-7793>

ЛЮ Цзясюй — магистрант факультета экономики, направление «Международная экономика и бизнес», Университет МГУ-ППИ, Шэньчжэнь, Китай

E-MAIL: 3466706545@qq.com

<https://orcid.org/0009-0009-2697-1247>

FEATURES OF THE INTERRELATIONSHIP AND
TRANSFORMATION OF DEMOGRAPHIC AND
SOCIOCULTURAL VALUES IN CHINA

Irina E. KALABIKHINA¹ — Dr. Sci. (Econ.), Professor, Head of the Department of Demography, Faculty of Economics

E-MAIL: ikalabikhina@yandex.ru

<https://orcid.org/0000-0002-3958-6630>

Valeria G. OKSINENKO² — Cand. Sci. (Econ.), Independent Researcher

E-MAIL: leraoksinenko@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-3274-7793>

Jiaxu LIU³ — Master's student, Faculty of Economics, International Economics and Business Programme

E-MAIL: 3466706545@qq.com

<https://orcid.org/0009-0009-2697-1247>

¹ Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

² Bratislava, Slovakia

³ MSU-BIT University, Shenzhen, China

Аннотация. В работе рассматриваются трансформация демографических ценностей в китайском обществе, их связь с социокультурными ценностями, а также связь обеих групп ценностей с субъективной удовлетворенностью жизнью — ощущением счастья и финансовой удовлетворенностью. На основе данных китайской выборки Всемирного исследования ценностей (WVS) за 1995, 2001, 2007 и 2020 гг. с помощью регрессионного и кластерного анализа показано, что в Китае модернизация демографических и социокультурных ценностей слабо связаны друг с другом в течение рассматриваемого периода. На фоне антинационалистской политики в конце 1990-х годов демографическая модернизация опережала

Abstract. The study examines the transformation of demographic values in Chinese society, their relationship with sociocultural values, and the association of both groups of values with subjective life satisfaction, namely perceived happiness and financial satisfaction. Using data from the Chinese samples of the World Values Survey (WVS) for 1995, 2001, 2007, and 2020, and applying regression and cluster analyses, the study shows that the modernization of demographic and sociocultural values in China was only weakly interconnected over the period under consideration. Against the background of antinationalist population policies in the late 1990s, demographic modernization was ahead of sociocultural modernization. At present, by contrast, so-

социокультурную, а в настоящее время социокультурная модернизация опережает демографическую, которая стагнирует и даже демонстрирует откат по отдельным демографическим установкам на фоне пронаталистской политики. Авторы показывают, что в современном Китае, во-первых, наблюдается большая ценностная разобщенность между группами населения в отношении демографических ценностей. Во-вторых, ценностная ориентация на модернизацию в большей степени дает ощущение счастья, чем в конце прошлого века. В-третьих, финансовая удовлетворенность стабильно связана с модернистскими ценностями.

Ключевые слова: демографические ценности, социокультурные ценности, репродуктивные установки, модернизация, субъективное счастье, финансовая удовлетворённость, Китай, Всемирное исследование ценностей

Благодарность. Исследование выполнено в рамках государственного задания МГУ имени М. В. Ломоносова.

ciocultural modernization is advancing faster than demographic modernization, which has stagnated and has even shown a reversal in certain demographic attitudes amid pronatalist population policies. The authors show that, in contemporary China, first, there is greater value polarization across population groups with regard to demographic values. Second, a modernist value orientation appears to be more strongly associated with a sense of happiness than it was at the end of the twentieth century. Third, financial satisfaction remains consistently associated with modernist values.

Keywords: demographic values, sociocultural values, reproductive attitudes, marital attitudes, modernization, traditional values, life satisfaction, subjective happiness, financial satisfaction, China, WVS

Acknowledgements. The study was conducted under the state assignment of Lomonosov Moscow State University.

Введение

В постиндустриальном обществе трансформация паттернов демографического поведения населения приобрела новый характер. Первыми это описали и систематизировали Рон Лестхеге и Дирк Ван де Каа [Lesthaeghe, van de Kaa, 1986], которые ввели понятие «второй демографический переход». Данная теория описывает изменение демографических моделей в западных обществах, которое характеризуется низким уровнем рождаемости, разделением брака и деторождения, а также ценностными трансформациями, например ростом индивидуализма и реструктуризацией гендерных ролей. Типичные признаки второго демографического перехода — продолжающееся снижение рождаемости, либерализация аборт, деинституционализация брачной системы (проявляющаяся в повышении возраста вступления в первый брак и росте числа разводов) и распространение диверсифицированных форм семьи (например, внебрачное сожительство).

Первоначально теория второго демографического перехода подвергалась значительной критике, в первую очередь потому, что ее положения были применимы только к наиболее развитым странам — Западной Европе, США, Канаде, Австралии. Тем не менее в последние десятилетия стало очевидно, что характерные

для второго демографического перехода паттерны рождаемости и брачности все чаще наблюдаются в странах Азии и Латинской Америки [Lesthaeghe, 2014]. Например, повсеместно все более распространенным становится сожитительство и повышается возраст вступления в брак.

Основной движущей силой второго демографического перехода теоретики называют сдвиг в ценностных установках людей (движение к индивидуализму, изменение отношения к браку и рождению детей), а также экономический рост [Zaidi, Morgan, 2017]. Ключевую роль при этом играют демографические и социокультурные ценности [Lesthaeghe, 1995], которые, в свою очередь, связаны между собой [Калабихина и др., 2023]. Теоретики показывают, что чем выше уровень экономического развития страны, тем выше степень развития демократии и тем более модернистскими по совокупности признаков становятся ценности общества [Inglehart, Welzel, 2005]. Это доказывают и многочисленные эмпирические исследования, причем на примере ряда стран мы видим не только сопоставленность изменений, но и сходство их темпов [Калабихина и др., 2021].

Универсальна ли взаимосвязь разных проявлений модернизации? В настоящее время мы видим черты второго демографического перехода во многих странах, траектория развития которых не всегда укладывается в общепринятые паттерны. Одна из таких стран — Китай. Несмотря на особую роль традиционных ценностей в процессах развития государства и общества [Клупт, 2025], Китай идет по собственному пути развития, что подтверждают как экономические [Chung, Tan, 2017], так и социальные исследования [Морозова, 2018]. Положение об особом пути Китая закреплено и в официальной доктрине государства [Борох, Ломанов, 2024]. Академическая литература подтверждает особые черты второго демографического перехода в Китае. В частности, несмотря на снижение уровня рождаемости и повышение возраста брачности, к началу XXI века в Китае не получили распространение добрачная рождаемость и концепция чайдфри, а отношение к браку остается традиционным и характеризуется стабильно небольшой долей разводов [Yu, Xie, 2022].

Целью данного исследования — определить, как взаимосвязаны демографическое поведение и социокультурные ценности на фоне кардинально меняющейся демографической политики в данной стране на протяжении трех десятилетий. Представляется, что, как и во многих других сферах общественной жизни, Китай идет по отличному от других стран пути второго демографического перехода. И демографическая модернизация не идет совместно, однонаправленно с социокультурной модернизацией.

Дополнительно мы оценим, как связаны удовлетворенность жизнью (ощущение счастья и финансовая удовлетворенность) в разных группах населения в контексте их приверженности более модернистским или более традиционным демографическим и социокультурным ценностям.

Изменения рождаемости и брачности в Китае во второй половине XX — первой половине XXI века: краткий обзор

Этапы трансформации демографической политики Китая

Китай вступил в эпоху бурного экономического развития во второй половине 1970-х годов, хотя пик экономического роста был достигнут в 1990-х [Barro,

2016]. Параллельно с этим в стране начали наблюдаться типичные признаки второго демографического перехода: с 1970-х годов в стране снижаются коэффициенты рождаемости и растет возраст вступления в первый брак [Jiang et al., 2019]. По данным Национального бюро статистики Китая, в 1990 г. общий коэффициент рождаемости составлял 21,06‰, а к 2024 г. он снизился до 6,77‰¹. Также повышается средний возраст вступления в брак: согласно данным Всемирного банка, в 1990 г. он составлял 22,1 года, а в 2016 г. вырос до 25,4 лет². Средний возраст вступления в первый брак продолжает расти [Chen, 2023].

В период с 1971 по 2013 г. в Китае сначала действовала антинатовалистская политика планирования семьи «Позже, реже, меньше», а затем политика «Одна семья — один ребенок». С 1971 по 1979 г. политика планирования семьи «Позже, реже, меньше», которая была направлена на позднее вступление в брак, более позднее рождение первого ребенка, более длительные интервалы между рождениями и меньшее число детей, добилась явного успеха в снижении суммарного коэффициента рождаемости с 6,1 (1970 г.) до 2,7 (1979 г.) детей на женщину. С 1980 по 2013 г. политика «Одна семья — один ребенок» проходила на фоне снижения суммарного коэффициента рождаемости до 1,6—1,7 ребенка на женщину (скорее в первое десятилетие этой политики). Затем произошел отказ от ограничений на число рожденных детей, после чего наблюдался небольшой рост показателя до 1,8 (2017 г.) ребенка на женщину, а далее уровень рождаемости упал до 1 ребенка на женщину (2022—2024 гг.). Оценки календарного суммарного коэффициента рождаемости здесь приведены по данным Всемирного банка, национальный статистический офис Китая публикует показатель не по текущему сплошному учету, а по данным выборочных обследований в период проведения последних переписей (раз в десять лет).

Какие факторы влияют на уровень рождаемости?

40 лет назад, в период пика экономического роста в Китае, в городских районах более высокий уровень дохода ассоциировался с более высоким уровнем рождаемости [Birdsall, Jamison, 1983]. По мнению авторов, в начале 1980-х годов более высокий уровень дохода позволял семьям игнорировать влияние прочих экономических факторов и чаще заводить детей. В то же время исследование, проведенное в начале XXI века в четырех крупнейших городах Китая — Шанхае, Пекине, Чангчуне и Шеньяне, — выявило сильно превышающий средний по стране процент бездетных семей. При этом респонденты в основном объясняли отсутствие детей высокой загруженностью на работе и финансовыми ограничениями [Liu, 2005].

Неэкономические — социальные и культурные — факторы также могут оказывать влияние. В частности, снижение уровня рождаемости напрямую коррелирует с ростом уровня образования женщин и снижением рождаемости малообразованных женщин за счет повышения их осведомленности о средствах контрацепции [Chen, 2023].

¹ Национальное бюро статистики Китайской Народной Республики: URL: <https://www.stats.gov.cn/english/> (дата обращения: 03.10.2025).

² Портал данных Всемирного банка. URL: <https://genderdata.worldbank.org/en/indicator/sp-dyn-smam?year=2016> (дата обращения: 03.10.2025).

Не последнюю роль в снижении уровня рождаемости, а по мнению некоторых исследователей — даже основную (см., например, [Yingchun, Zhenzhen, 2020]), сыграло изменение гендерного баланса в китайском обществе. Более высокая степень вовлечения женщин в рынок труда создает для них необходимость выбирать между семьей и работой, что неизменно приводит к откладыванию рождения детей.

Религиозность общества традиционно ассоциируется с распространением и укреплением традиционных паттернов демографического поведения и традиционных гендерных установок. Хотя Китай не характеризуется высоким уровнем религиозности, среди тех, кто считает себя верующим, уровень рождаемости выше, причем для представителей ислама и христианства этот эффект значительнее, чем для представителей буддизма [Xie, Zhou, 2022]. Что важно, исследователи не находят значимых различий во влиянии фактора религиозности на репродуктивные установки между мужчинами и женщинами [Zhang, 2008]. В то же время традиционные конфуцианские ценности оказывают значимое влияние на процессы модернизации в стране и способствуют укреплению роли государства во всех сферах жизни общества [Клупт, 2025]. Так, исследователи обнаруживают, что ключевые мысли «китайской мечты» восходят к клише конфуцианского «Канона Перемен» [Крушинский и др., 2015].

В последние годы исследователи изучают уже не факторы снижения рождаемости, а факторы роста или стабилизации рождаемости в Китае.

Отрицательно влияет на деторождение стоимость жилья: увеличение отложенной стоимости жилья на 100 тыс. юаней приводит к снижению вероятности рождения у женщины детей на 14 % [Liu et al., 2023]; соотношение стоимости жилья и уровня доходов в провинции устойчиво отрицательно связано с уровнем рождаемости [Kalabikhina, Nan, 2026].

В китайском обществе все еще остается значимым влияние на деторождение бабушек и дедушек. Семьи, в которых бабушки и дедушки участвуют в воспитании внуков, демонстрируют более высокие показатели рождаемости [Ji, 2015]. При этом интересно отметить, что исследователь не обнаружил значимого влияния на деторождение факта проживания бабушек и дедушек с семьями своих детей.

Подробнее обсудим роль демографической политики в формировании паттернов реальной рождаемости в прошлом и современном китайском обществе, поскольку в нашем исследовании политика является фоном, на котором мы рассматриваем трансформации ценностей.

Китайские исследователи по-разному оценивают роль политики в конце прошлого века: одни видят тесную связь с падением рождаемости и нарушением вторичного соотношения полов при рождении [Feng, Gu, Cai, 2016], другие пишут, что резкое снижение численности населения произошло не из-за влияния политики, а в силу выпавших на этот период значительных социально-экономических изменений в китайском обществе и расцвета глобализации [Yong, 2010].

С середины 2010-х годов в целях увеличения рождаемости в Китае начала проводиться комплексная политика поощрения рождения второго ребенка. Однако, вопреки ожиданиям авторов мер, рождаемость вторых детей не выросла в течение первых пяти лет после отмены прежней политики [Zhang, Guo, Zhai, 2019; Fang, 2019]. Хотя исследователи и обнаружили, что некоторые семьи начали де-

монстрировать краткосрочную положительную динамику рождаемости, в целом рост показателя не был устойчивым.

В связи с этим в 2021 г. Китай перешел на политику поддержки увеличения количества детей в семьях до трех детей. В данном случае речь шла не только об официальном разрешении, но и о целом комплексе сопутствующих мер поддержки матерей и ухода за детьми. Однако согласно эмпирическому исследованию [Jing et al., 2022] введение политики трех детей было плохо воспринято городскими женщинами из среднего класса и высокообразованными женщинами, а стимулы политики оказались недостаточными, чтобы компенсировать давление альтернативных издержек на содержание и воспитание детей. В итоге суммарный коэффициент рождаемости кратковременно и незначительно вырос после отмены запретов, но новая пронаталистская политика не остановила его падение.

Политика, вероятно, может ускорять модернистские тенденции, но весьма ограничена в изменении трендов. Это, однако, не значит, что она не может иметь успех в развороте тренда. Полагаем, это зависит от других институтов (таких как привычка к «послушанию») и от объема необходимых ресурсов.

Заметим, что демографическое (репродуктивное) поведение проявляется как в установках на рождение определенного числа детей, так и в реализации этих установок. Проведя краткий исторический анализ изменения реального уровня рождаемости на фоне разных стадий демографической политики в Китае, мы переходим к измерению ценностной части демографического поведения — изменениям в демографических ценностях (репродуктивных и матримониальных установках). Ценности могут также меняться под влиянием разных факторов [Макаренцева, Бирюкова, 2023], в том числе политики, но могут быть не всегда связаны с реальными рождениями, хотя предсказуемая сила репродуктивных установок в прогнозе уровня рождаемости весьма велика [Архангельский, Козлова, Калачикова, 2025].

Не выявляя значение набора конкретных факторов динамики ценностей, мы хотим понять, как связаны социокультурные ценности и демографические ценности в уникальной стране, где мы наблюдаем кардинальный перелом в демографической политике. Могут ли эти группы ценностей меняться не гармонично, не совместно на фоне перелома в демографической политике?

Методология и данные исследования

Определение демографических ценностей

Мы будем отвечать на поставленный вопрос, используя как переменные, отвечающие непосредственно за демографические установки, так и переменные, которые показывают результат этих установок в недавнем прошлом.

В качестве основных показателей демографических ценностей в китайском обществе на основе данных WVS мы выбрали отношение к абортam, отношение к разводам, количество детей у женщин и брачный статус респондентов. Такой выбор показателей неслучаен. Отношение к абортam и разводам отражает нормативные установки и трактуется как прямое выражение матримониально-семейно-репродуктивных ценностей. Чем позитивнее общество относится к разводам и абортam, тем более модернистским оно считается. Брачное состояние и число детей — прокси для показателей реализации ценностных установок: для

более традиционного общества характерны большее количество детей у женщин и более высокий показатель уровня брачности.

Определение социокультурных ценностей

Несмотря на наличие культурных различий и специфический исторический бэкграунд, в результате социально-экономического развития все страны движутся в одном направлении на карте ценностей [Inglehart, Baker, 2000]. В классификации авторов это движение от традиционных к секулярно-рациональным ценностям и от ценностей выживания к ценностям самовыражения; обобщенно можно сказать, что в этой системе общество движется от традиционных ценностей к модернистским (см. рис. 1).

Рис. 1. Классификация ценностей по Р. Инглхарту и У. Бэйкеру

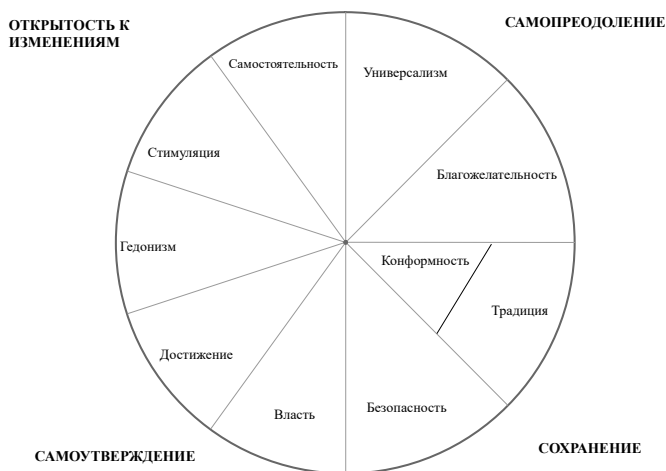


Существуют и другие классификации ценностей. В статической оценке ценностных характеристик общества или индивидуумов используется классификация ценностей Ш. Шварца (или ее расширенные варианты), в которой все человеческие ценности делятся на десять видов, сгруппированных по четырем кластерам (см. рис. 2). При этом автор отмечал важность рассмотрения всех ценностей не как отдельных конструктов, а в кластерах, так как они диктуются единым мотивационным континуумом [Schwartz, 1992]. При этом вне зависимости от страны наиболее важны для людей зачастую три ценности: доброжелательность, самостоятельность и универсализм [Schwartz, Bardi, 2001].

В своем исследовании мы используем комплексный подход к классификации ценностей и идею группировки ценностей Шварца, но в большей степени опираемся на методологию Р. Инглхарта и У. Бэйкера для выделения так называемых традиционных и модернистских ценностей в группе демографических и социокультурных ценностей.

Важность политики в жизни свидетельствует о склонности к модернистским ценностям, показывая уровень гражданской вовлеченности. Важность работы

мы трактовали как традиционную ценность. Этот параметр не строго определяет традиционные взгляды, но в сочетании с важностью свободного времени он существенно более традиционный в иерархии ценностей человека в соответствии с нормой периода промышленной стадии развития экономики с ее основными маркерами успеха, определяющими две ключевые роли человека: «работа — своя семья/дети», «быть работником — быть родителем/супругом(ой)». Важность религии отражает ориентацию на традиционный авторитет, традиционные ценности. Важность свободного времени, как мы отметили, а также важность свободы выбора — модернистские ценности, отражающие степень индивидуализма и автономии.

Рис. 2. Диаграмма ценностей Ш. Шварца³

Данные

Мы используем данные Всемирного исследования ценностей (WVS) за 1995, 2001, 2007 и 2020 гг. по Китаю. Хотя исследование проводится с интервалом пять лет, именно в указанных волнах китайской выборки WVS представлен полный набор переменных, необходимых для реализации авторского подхода к исследованию.

База содержит данные из 120 стран по ценностям людей в таких областях, как религия, политика, семья. Также респонденты оценивают свое субъективное благополучие и экономическое положение. Основоположником данного проекта был Р. Инглхарт; на основе собранных данных он ставил цель отслеживать и анализировать динамику изменения ценностей людей во времени и влияние на них внешних факторов⁴. Последние доступные на момент проведения анализа данные относятся к 2020 г.

³ Адаптировано авторами на основе [Caprara et al., 2006: 8].

⁴ Официальный сайт Всемирного исследования ценностей. URL: <https://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp> (дата обращения: 03.10.2025).

Исследовательский путь

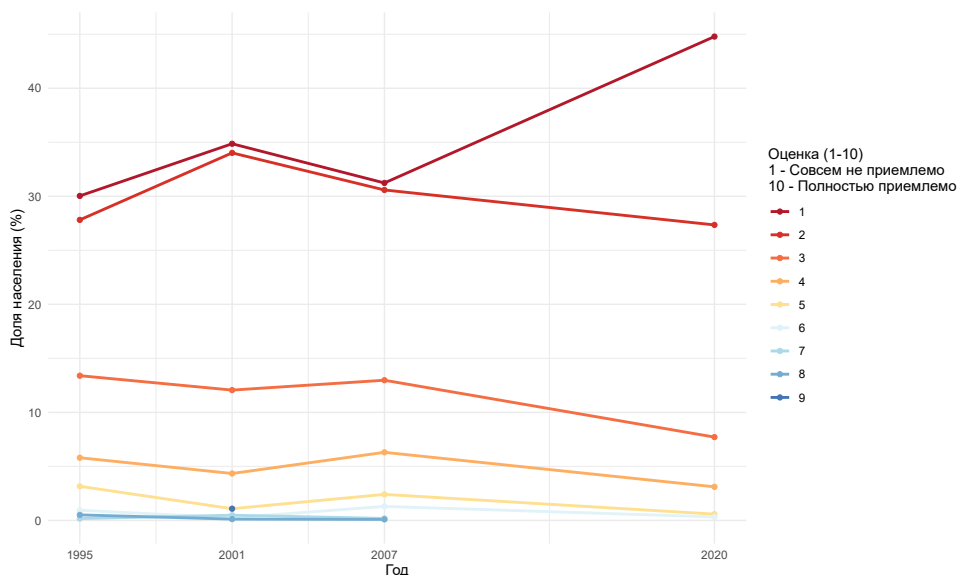
Наш анализ включает три этапа. Вначале с помощью множественного линейного регрессионного анализа мы оценили связь демографических и социокультурных ценностей в Китае с конца 1990-х до 2020 г. Далее с помощью кластерного анализа мы сгруппировали респондентов по признакам приверженности традиционным или модернистским ценностям, чтобы определить направление движения китайского общества по двум группам ценностей в сторону традиций или модерна. Наконец, опираясь на регрессионный анализ, мы оценили, насколько высоко оценивают свою удовлетворенность жизнью представители разных ценностных групп (через ощущение счастья и через финансовую удовлетворенность) и как эти оценки менялись с течением времени.

Связь демографических и социокультурных ценностей в Китае с конца 1990-х до 2020 г.

Динамика трансформации основных демографических ценностей в Китае

Согласно данным WVS, уровень общественного одобрения абортов (оценки от 1 до 10, где 1 — полностью не приемлю, 10 — полностью одобряю) в Китае демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению. На основе анализа распределения оценок респондентов можно отметить, что на протяжении последних десятилетий наблюдается устойчивый рост негативного отношения к абортam, в то время как поддержка или нейтралитет по отношению к данной практике постепенно ослабевают (см. рис. 3).

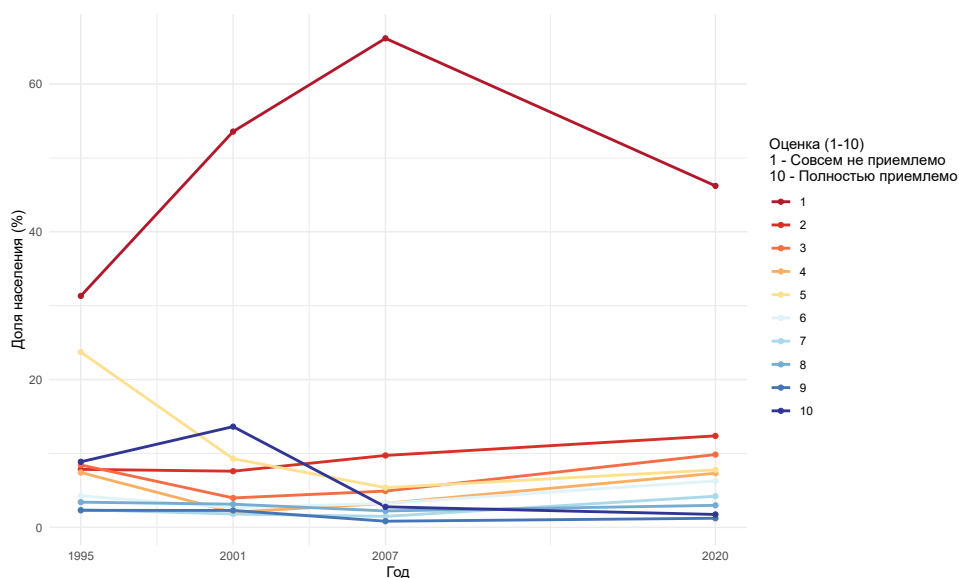
Рис. 3. Распределение и динамика оценок отношения к абортam в Китае



По рисунку 3 легко заметить, что доля населения, решительно выступающего против аборт (оценки 1—2 балла), остается самой высокой и продолжает расти, причем пик зафиксирован в 2020 г. Одновременно доля группы с умеренным или нейтральным отношением к абортам (оценки 4—7 баллов) постепенно сокращается. Наконец, доля респондентов, полностью признающих допустимость аборт (оценка 10 баллов), остается крайне низкой и на протяжении всех раундов исследования практически не меняется.

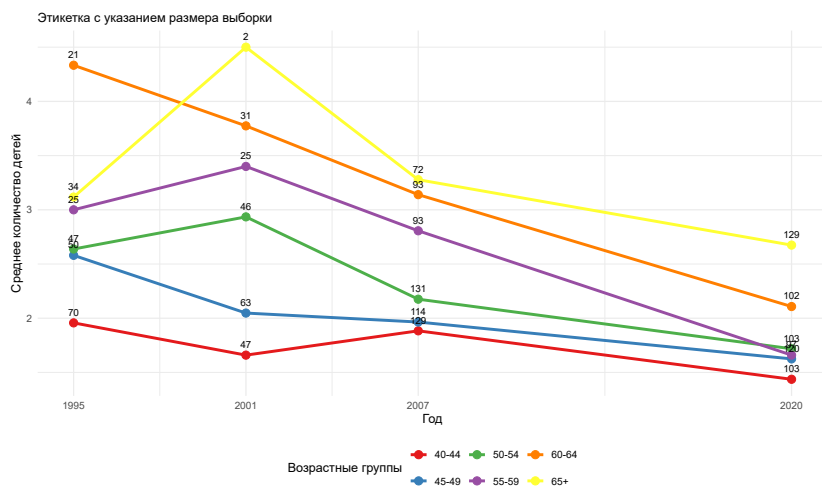
В то же время отношение китайского общества к разводам (1 — полностью не приемлю, 10 — полностью одобряю) постепенно становится более терпимым (см. рис. 4).

Рис. 4. Распределение и динамика оценок отношения к разводам в Китае



Консервативные взгляды (неприятие развода) продолжают доминировать, но в целом ослабевают. Так, оценку 1 («совершенно неприемлемо») в 2007 г. поставило порядка 70 % населения, но затем доля таких респондентов значительно снизилась. В то же время количество людей, выражающих терпимое отношение к разводам, постепенно растет, хотя в целом высокие оценки (7—10 баллов) по-прежнему ставит незначительная часть выборки. При этом доля респондентов, считающих развод полностью приемлемым (оценка 10), достигала пика в 2001 г. Таким образом, если в 1995 г. однозначно преобладали консервативные взгляды, к 2020 г. все больше людей стали воспринимать развод как нормальное или приемлемое явление.

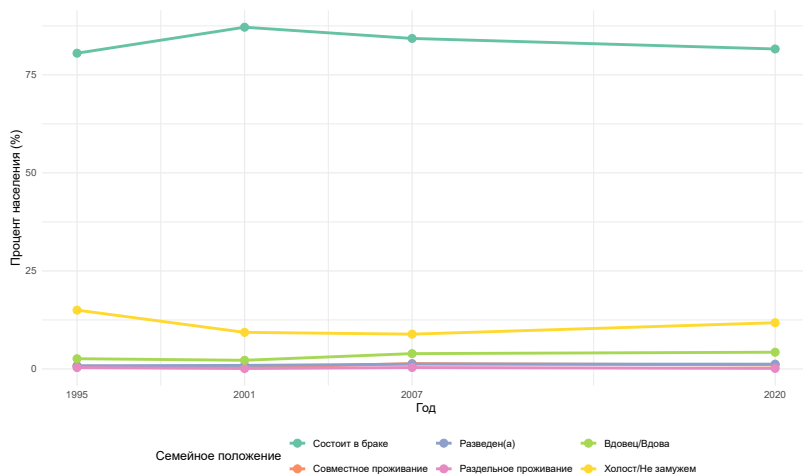
Анализ распределения среднего количества детей у женщин старше 40 лет в Китае с 1995 по 2020 г. позволяет выделить ряд устойчивых демографических тенденций (см. рис. 5).

Рис. 5. Изменение среднего числа детей у женщин старше 40 лет в Китае (1995—2020 гг.)⁵

Мы видим общее снижение рождаемости во всех возрастных группах: на протяжении всего анализируемого периода все линии графика имеют отрицательный наклон линии тренда. Также заметно, что к 2020 г. сглаживаются межпоколенные различия: почти все возрастные группы сходятся к среднему количеству около двух детей.

На завершающей стадии данного этапа анализа мы проследили динамику изменений в брачном статусе населения Китая за период с 1995 по 2020 г. среди респондентов в возрасте от 15 до 99 лет (см. рис. 6).

Рис. 6. Динамика семейного положения населения Китая (1995—2020 гг.)



⁵ Цифры у точек на графике показывают размер выборки, по которой получена оценка среднего.

Брак остается доминирующей формой семейного положения. Доля населения, состоящего в браке, высока на протяжении всего периода — от 80,5 % в 1995 г. до 81,6 % в 2020 г., а вот сожитительство и раздельное проживание встречаются крайне редко. Это свидетельствует о преобладании традиционной семейной ориентации в китайском обществе. При этом нельзя не отметить тенденцию к росту доли холостых людей. После снижения с 15 % в 1995 г. до 8,8 % в 2007 г. доля таких людей вновь возросла до 11,8 % в 2020 г. Это может отражать увеличение числа тех, кто откладывает вступление в брак или отказывается от него. Наконец, доли разведенных и овдовевших также незначительно увеличились, что говорит о постепенных изменениях в структуре семьи и брачных отношений.

Обобщая, мы видим, что в Китае больше не существует тренда на модернистские демографические ценности, показатели демографической модернизации либо меняются очень медленно (отношение к разводам, приверженность к официальным бракам), либо идут вспять (отношение к абортам), что может быть результатом новой политики страны по стимулированию рождаемости с элементами традиционных ценностей.

Детерминанты демографических установок в китайском обществе: связь с социокультурными ценностями

Для более детального анализа указанной связи мы выбрали демографические установки, продемонстрировавшие наиболее существенные изменения на протяжении всего периода наблюдения: отношение к абортам и количество детей у женщин старше 40 лет.

Социокультурные ценности и отношение к абортам

В таблице 1 приведены результаты множественного линейного регрессионного анализа ценностных оснований отношения к абортам в Китае в четырех раундах исследования. В список регрессоров, помимо базовых демографических характеристик респондентов, мы включили социокультурные переменные. Напомним, что важность политики, свободного времени, свободы выбора в жизни свидетельствует о склонности к модернистским ценностям, а важность работы и религии отражает ориентацию на традиции.

Таблица 1. Детерминанты отношения к абортам в Китае: 1995, 2001, 2007 и 2020 гг. (зависимая переменная изменяется от 1 (отрицательное отношение) до 10 баллов (полная допустимость аборта))

Переменные	1995	2001	2007	2020
Важность политики в жизни	0,047	−0,014	0,083***	0,125*
	0,068	0,105	0,041	0,058
Важность работы в жизни	0,059	−0,336*	0,02	−0,06
	0,16	0,222	0,08	0,076
Важность религии в жизни	−0,051	0,221*	0,024	−0,034
	0,042	0,107	0,031	0,05

Переменные	1995	2001	2007	2020
Важность свободного времени	−0,32***	0,163	−0,023	−0,149*
	0,084	0,127	0,071	0,085
Важность свободы выбора	−0,046	0,078*	−0,066***	−0,013
	0,022	0,05	0,029	0,039
Возраст	0,098**	−0,073	−0,017	0,074**
	0,033	0,087	0,028	0,031
Возраст ²	−0,001**	0,001	0	−0,001**
	0	0,001	0	0
Пол	−0,075	−0,196	−0,062	−0,165
	0,192	0,216	0,119	0,119
Уровень образования: низкий	−1,087***	−0,242	−0,328	−0,736**
	0,237	0,456	0,199	0,277
Уровень образования: средний	−0,916***	0,118	−0,14	−0,43***
	0,122	0,343	0,208	0,148
Уровень дохода: низкий	0,342	−0,713*	0,244	−0,431*
	0,174	0,34	0,211	0,276
Уровень дохода: средний	0,122	−0,028	0,336	−0,093
	0,308	0,309	0,174	0,253
Проживание в сельской местности	0,224	0,613*	−0,399	
	0,302	0,213	0,622	
Проживание в городе	−0,411*	0,345	−0,773***	
	0,21	0,249	0,251	
В разводе/вдовец(ица)	0,628	−0,24	0,537*	−0,249
	0,322	0,501	0,334	0,159
Холост(ая)	0,147	−0,218	0,163	0,489*
	0,225	0,546	0,228	0,227
Проживает с родителями		−2,211**	−1,875	−1,661*
		0,591	1,77	0,809
R2	0,0489	0,0268	0,0252	0,0492
Количество наблюдений	1400	973	1730	1863
Количество кластеров	4	4	4	4

* $p < 0,1$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$.

Коэффициенты при показателях традиционных социокультурных ценностей в основном незначимы. При проверке робастности модели через замену ценностных переменных на прокси (см. табл. П1 Приложения) коэффициенты при показателях религиозности и значимости работы остаются незначимыми. Модернистские социокультурные ценности связаны с отношением к аборту. При этом интерес к политике созвучен с допустимостью абортс с конца 2000-х годов (ранее нет связи), но важность свободы выбора и свободного времени в разные периоды отрицательно связаны с допустимостью абортс. То есть две группы ценностей не просто не имеют связи в процессе прогрессивного развития, но имеют отрицательную связь.

Мы видим, что тип населенного пункта, образование и возраст имеют значение (при этом возраст связан нелинейно), что соответствует результатам эмпирических исследований [Архангельский, Васильева, Васильева, 2021; Vakulenko et al., 2021].

Социокультурные ценности у женщин с разным числом детей

Ценностные детерминанты детности (среднее количество детей у женщин старше 40 лет), представлен в таблице 2.

Таблица 2. Ценностные детерминанты детности (количество детей у женщин старше 40 лет), 1995, 2001, 2007 и 2020 гг.

Переменные	1995	2001	2007	2020
Важность политики в жизни	−0,028	−0,086**	−0,015	−0,022
	0,028	0,028	0,024	0,019
Важность работы в жизни	0,01	0,085	−0,038	0,015
	0,055	0,084	0,029	0,02
Важность религии в жизни	0,032	0,005	−0,005	−0,019
	0,02	0,037	0,017	0,02
Важность свободного времени	0,019	−0,056	−0,007	0,025
	0,038	0,054	0,027	0,019
Важность свободы выбора	−0,011	0,013	−0,008	−0,002
	0,007	0,011	0,013	0,01
Возраст	0,071***	−0,092**	0,044**	−0,014
	0,017	0,031	0,019	0,009
Возраст ²	0	0,002***	0	0***
	0	0	0	0
Уровень образования: низкий	0,4***	0,48**	0,453***	0,504***
	0,076	0,147	0,122	0,145
Уровень образования: средний	0,249***	0,279**	0,117*	0,199***
	0,057	0,083	0,043	0,031

Переменные	1995	2001	2007	2020
Уровень дохода: низкий	−0,119	−0,164	0,168	−0,002
	0,104	0,101	0,111	0,077
Уровень дохода: средний	−0,019	0,062	0,098	0,044
	0,085	0,065	0,104	0,058
Проживание в сельской местности	0,361***	−0,105		
	0,08	0,092		
Проживание в городе	0,136*	−0,027	0,179**	
	0,138	0,099	0,1	
В разводе/вдове(ица)	−0,04	−0,281	−0,286***	−0,375***
	0,221	0,186	0,129	0,11
Холост	−0,986***	−0,406*	−0,87	−1,083***
	0,077	0,412	0,078	0,079
Не проживает с родителями	−0,051	1,706***	−0,116	−0,255
	0,079	0,162	0,142	0,316
R2	0,071	0,038	0,041	0,053
Количество наблюдений	1260	901	1504	1652
Количество кластеров	4	4	4	4

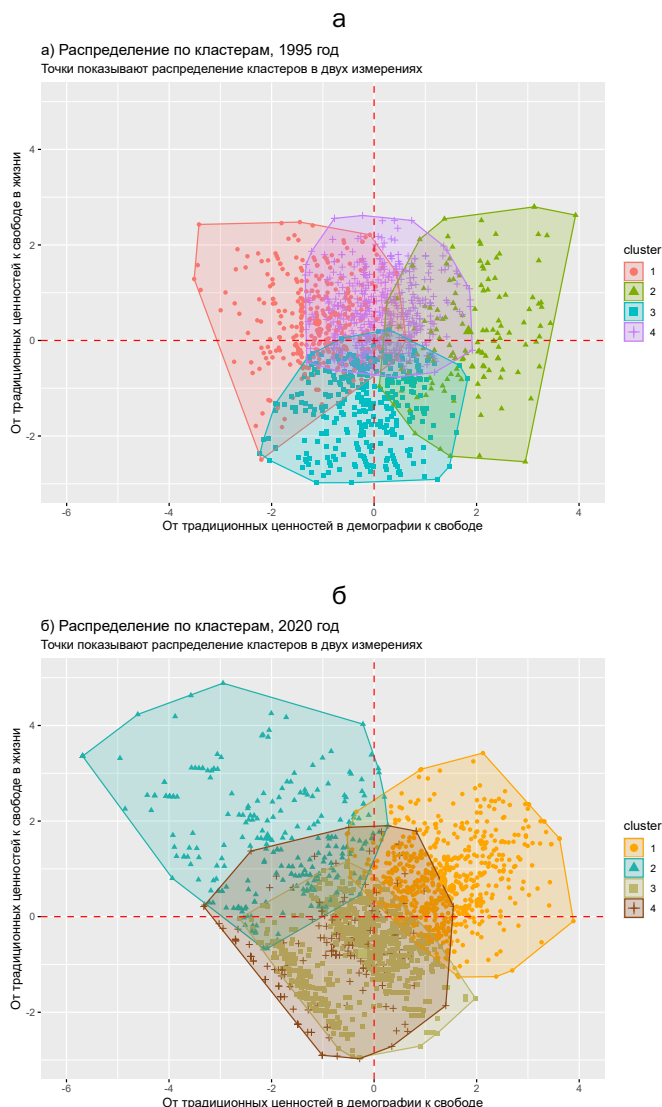
* $p—0,1$, ** $p—0,05$, *** $p—0,01$.

Результаты свидетельствуют скорее об отсутствии связи между социокультурными ценностями в момент измерения и демографическими ценностями в прошлом. Разные версии модели подтверждают отсутствие связи (см. табл. П2 Приложения). Либо ценности у индивида неустойчивы, либо связи между социокультурными ценностями и уровнем рождаемости в данном обществе при данном способе измерения нет. При этом контрольные переменные (возраст, образование, отсутствие партнера) имеют значение даже с учетом лагов во времени.

Деление китайского общества на кластеры по социокультурным и демографическим ценностям

Для более глубокого анализа структурных связей между демографическими и социокультурными ценностями в китайском обществе мы провели двумерный кластерный анализ, сопоставив первый и последний годы в нашей выборке (1995 и 2020 гг.). Рисунок 7, показывающий результаты кластеризации, устроен следующим образом: ось X на обоих графиках отражает движение слева направо от традиционных демографических ценностей к современным — модернистским, либеральным и индивидуалистским. По оси Y мы снизу вверх движемся от консервативного образа жизни к модернистскому. Таким образом, по оси X отражается трансформация демографических ценностей, по оси Y — социокультурных.

Рис. 7. Двумерная кластеризация демографических и социокультурных ценностей в Китае в 1995 (а) и 2020 (б) гг.



На двух кластерных картах мы видим различающиеся картины. На карте 1995 г. большинство наблюдений сосредоточены в правом нижнем секторе графика, что указывает на асимметричное распределение ценностных ориентаций: с точки зрения демографических ценностей респонденты в целом склонялись к более современным матримонимальным и репродуктивным установкам, подчеркивая индивидуальный выбор и автономность в принятии решений, но в рамках социокультурных ценностей сохраняли выраженную консервативность, проявляющуюся

в приверженности иерархии, авторитету и коллективным нормам. Такая структура свидетельствует, что к середине 1990-х годов под влиянием политики ограничения рождаемости в китайском обществе начали формироваться элементы современных репродуктивных установок, однако в социокультурной сфере по-прежнему доминировали традиционные ценности.

В 2020 г. в кластерной структуре наблюдаются два принципиальных изменения. Во-первых, основная масса точек сместилась вверх, что означает сдвиг общественных социокультурных установок в сторону более современных, свободных и индивидуализированных. Все больше людей принимают разнообразие образов жизни, акцентируя внимание на личной свободе и самостоятельности. Во-вторых, в левой части графика формируется новый кластер, что свидетельствует о существовании группы людей, не приверженных современным демографическим нормам — отказу от идей планирования семьи, от аборт, позднего рождения и малого числа детей.

Такая двойственная динамика демонстрирует нарастающую поляризацию ценностей в китайском обществе, которая напрямую связана с политическими трансформациями в Китае. С одной стороны, политика планирования семьи представляла собой выражение модернистской логики управления рождаемостью, но за десятилетия не смогла закрепить универсальные современные ценности на уровне населения. С другой стороны, новая политика стимулирования рождаемости отражается в традиционных семейных установках, создавая резонанс вокруг идеи пронатализма как культурно приемлемой нормы.

Чтобы понять природу наблюдаемых различий между кластерами, мы провели сравнительный анализ средних значений ценностных переменных в кластерах 1995 и 2020 гг. (см. табл. 3 и 4).

Таблица 3. Сравнение средних значений ценностных переменных в кластерах китайского общества в 1995 г.

Социо-культурные ценности	Демографические ценности	Степень интереса к политике	Важность работы	Религиозность	Важность свободы	Принятие абортов	Принятие разводов
Модернисты	Неопределенные	1,80	1,09	3,39	7,85	2,23	4,22
Неопределенные	Модернисты	0,771	0,88	-0,571	5,69	3,21	5,10
	Традиционалисты	2,67	2,26	3,05	5,98	3,14	4,04
Традиционалисты	Неопределенные	2,23	1,21	3,28	5,49	6,66	7,57
Средние значения		1,86775	1,36	2,28725	6,2525	3,81	5,2325

Таблица 4. Сравнение средних значений ценностных переменных в кластерах китайского общества в 2020 г.

Социо-культурные ценности	Демографические ценности	Степень интереса к политике	Важность работы	Религиозность	Важность свободы	Принятие аборт	Принятие разводов
Модернисты	Традиционалисты	2,09	1,58	2,48	7,30	–1,83	–1,82
	Модернисты	2,36	1,62	3,04	7,13	5,18	6,57
Неопределившиеся	Неопределившиеся	2,30	1,75	3,08	7,45	1,54	1,96
	Модернисты	1,80	1,41	2,37	–0,0512	0,521	0,87
Средние значения		2,1375	1,59	2,7425	5,4572	1,35275	1,895

В каждом случае мы определяли кластеры по их положению относительно осей социокультурных и демографических ценностей. По каждой оси мы выделили три относительные категории: традиционалисты, неопределившиеся и модернисты, где традиционалисты и модернисты — это приверженцы традиционных и модернистских установок в модели Р. Инглхарта и У. Бэйкера соответственно, а неопределившиеся занимают промежуточное положение. Набор кластеров в каждом случае соответствует распределениям, показанным на рисунке 7.

В 1995 г. различия между кластерами наблюдались по всем параметрам, а в 2020 г. мы не видим существенных различий в оценках важности политики, работы и религии. При этом разброс в показателях важности свободы и принятия аборт и разводов стал более существенным.

Также таблицы 3 и 4 демонстрируют, как изменились социокультурные ценности в Китае за рассматриваемый период. К 2020 г. средние значения всех переменных, традиционно ассоциирующихся с более модернистским обществом (принятие аборт и разводов, важность свободы), снизились. При этом мнения в обществе стали более полярными: часть кластеров населения демонстрирует усиление консервативных позиций, тогда как другие выражают растущую терпимость.

В то же время возросла значимость политического участия и труда как ценностей: средние значения соответствующих переменных в 2020 г. выше, чем в 1995 г. То есть на фоне общего снижения индивидуалистического подхода к жизни мы видим нарастание социальной разобщенности в обществе и рост вовлеченности в экономическую и политическую сферы жизни общества. Разобщенность по вопросам демографических ценностей — новый феномен в китайском обществе.

В таблице 5 представлено деление на кластеры в 1995 и 2020 гг. (обозначим социокультурные ценности — СК, демографические ценности — Д).

Таблица 5. **Ценностные кластеры в 1995 и 2020 гг.**

№	1995	2020
1	Модернисты (СК) и неопределившиеся (Д)	Модернисты (СК) и традиционалисты (Д)
2	Неопределившиеся (СК) и модернисты (Д)	Модернисты (СК) и модернисты (Д)
3	Неопределившиеся (СК) и традиционалисты (Д)	Неопределившиеся (СК) и неопределившиеся (Д)
4	Традиционалисты (СК) и неопределившиеся (Д)	Неопределившиеся (СК) и модернисты (Д)

Обратим внимание на то, что сама структура кластеров в 1995 и 2020 гг. различается. Сочетание модернистских и традиционных демографических и социокультурных ценностей с учетом промежуточных групп дает несколько разную структуру. В 1995 г. нет ни одного кластера с совпадающими типами демографических и социокультурных ценностей. Во всех кластерах присутствуют неопределившиеся в каких-то ценностях группы. В 2020 г. выделяются «чистые» модернисты и «чистые» неопределившиеся кластеры. Модернисты присутствуют в трех кластерах из четырех.

Оценка уровня удовлетворенности жизнью людей, принадлежащих к разным ценностным кластерам

В целях изучения взаимосвязи между типами ценностных ориентаций и субъективной удовлетворенностью жизнью мы провели сравнительный анализ уровня субъективного счастья и удовлетворенности финансовым состоянием по кластерам в 1995 и 2020 гг.

Ощущение счастья

В 1995 г. субъективное чувство счастья в целом было выше в кластерах, тяготеющих к традиционным ценностям и неопределившимся (см. рис. 8). В частности, представители третьего кластера (неопределившиеся СК — традиционалисты Д) продемонстрировали наивысший средний уровень счастья (2,03 балла), тогда как наиболее низкое значение (1,83 балла) показал второй кластер (неопределившиеся СК — модернисты Д).

Аналогичный анализ для 2020 г. (см. рис. 9) фиксирует наивысший уровень счастья у модернистов, представителей второго кластера (модернисты — модернисты), а наименьший — в третьем кластере (неопределившиеся — неопределившиеся).

В современном Китае ценностная ориентация на модернизацию скорее дает ощущение счастья, несмотря на призывы к традиционным демографическим ценностям со стороны государства. В конце прошлого века, наоборот, скорее традиционные ценности и неопределенность приводили к ощущению счастья. По-видимому, доминирующей культурной нормой еще в конце 1990-х годов были традиционные ценности. Хотя в вопросах демографической модернизации население отвечало «как надо» — в соответствии с государственной политикой, — чувство счастья было ярче у традиционалистов. А современный Китай осознал прелести модернизационного пути, в том числе демографического, но политика изменилась, в результате возникает неуверенность в субъективном счастье у тех, кто вновь сомневается и задает себе вопрос о «правильных» ценностях.

Рис. 8. Распределение оценок субъективного счастья по кластерам, 1995 г.

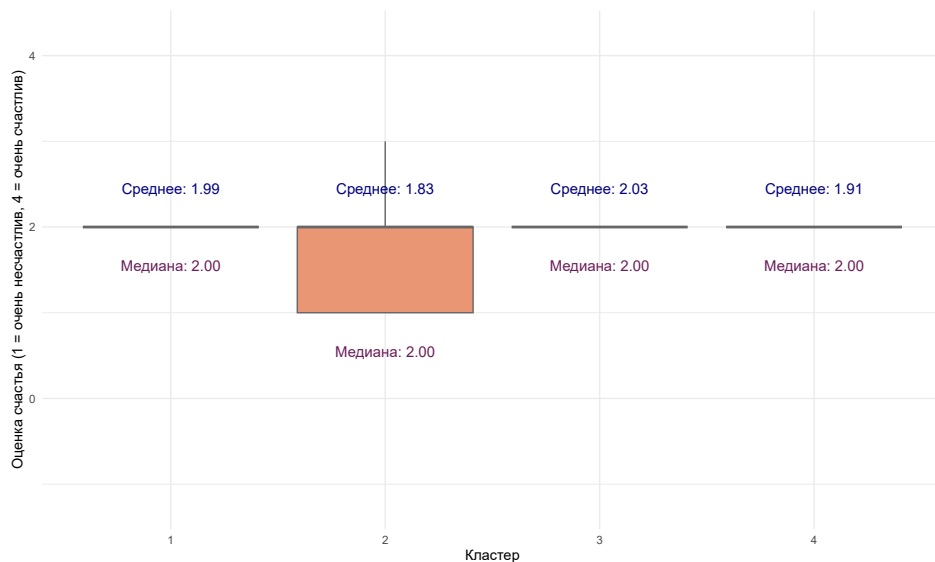
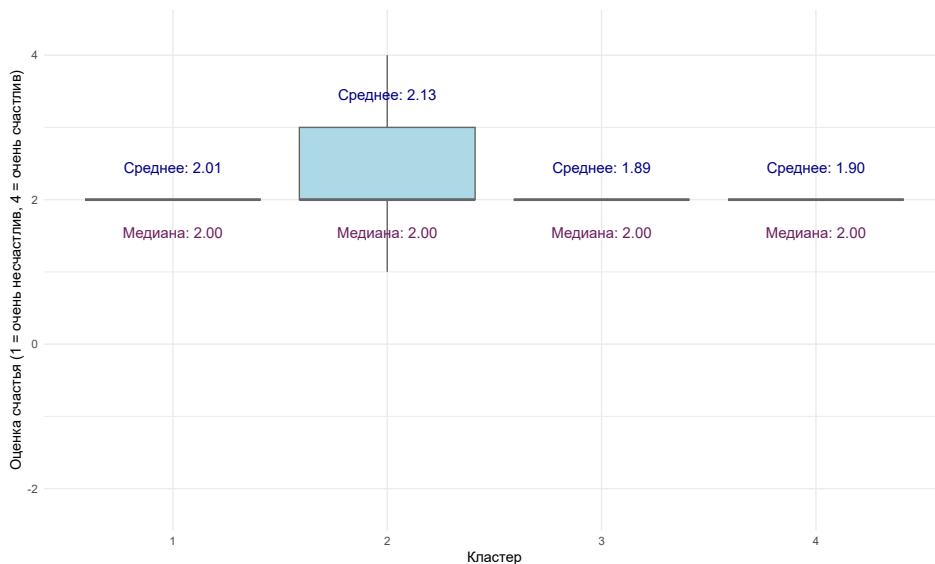


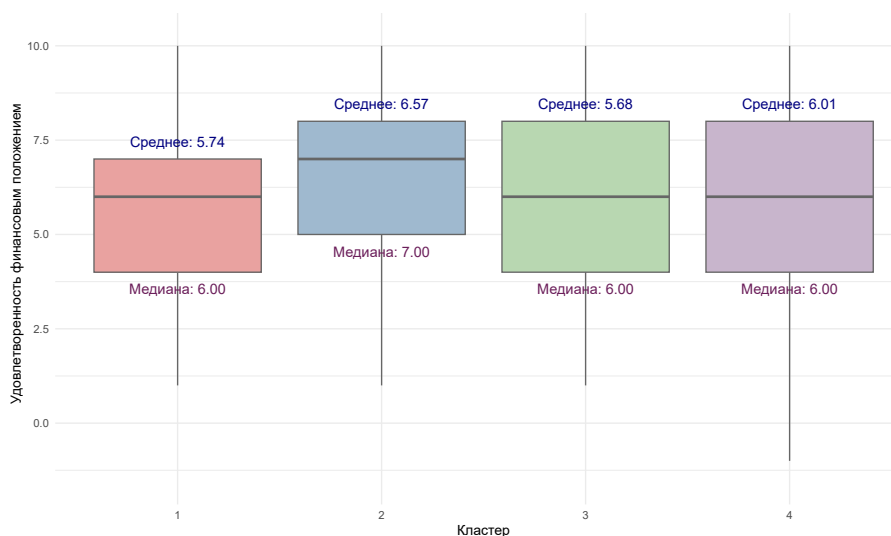
Рис. 9. Распределение оценок субъективного счастья по кластерам ценностей, 2020 г.



Финансовая удовлетворенность

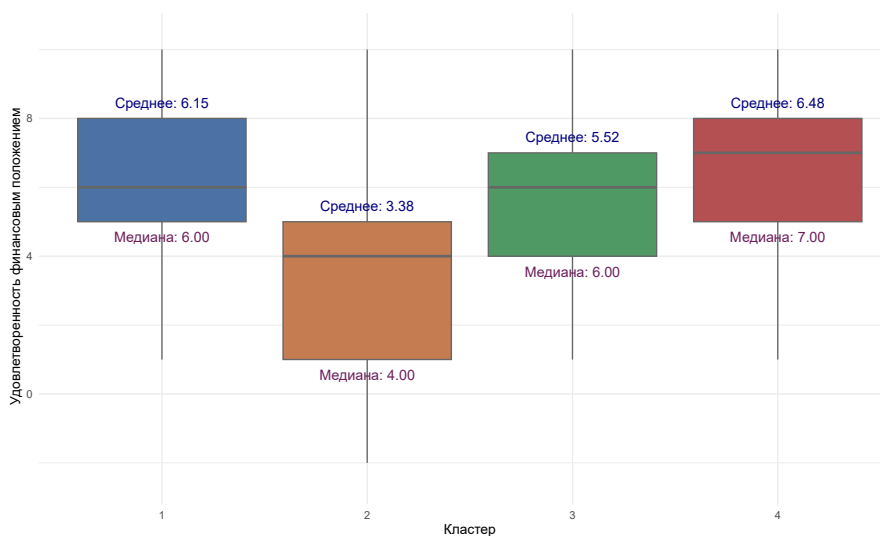
В 1995 г. наивысший уровень финансовой удовлетворенности наблюдался во втором кластере (неопределившиеся СК — модернисты Д), средняя оценка 6,57, а наинизший — в третьем кластере (неопределившиеся СК — традиционалисты Д) (см. рис. 10).

Рис. 10. Распределение оценок субъективной удовлетворенности финансовым благосостоянием по кластерам ценностей, 1995 г.



В 2020 г. наивысший уровень удовлетворенности продемонстрировали представители кластера четыре (неопределившиеся СК — модернисты Д), средний балл 6,48, а наименьший — кластер два (модернисты — модернисты), балл 3,38. В целом разница в оценках между кластерами стала более значительной, чем в 1995 г. (см. рис. 11).

Рис. 11. Распределение оценок субъективной удовлетворенности финансовым благосостоянием по кластерам ценностей, 2020 г.



Интерпретация результатов в данном случае такая: модернистские демографические взгляды в прошлом и сейчас (допустимость аборт, меньшее число детей) связаны с большими финансовыми возможностями, что соответствует финансовой удовлетворенности. При этом в 2020 г. связь между социокультурными ценностными установками и удовлетворенностью финансовым положением не всегда разворачивается вдоль оси «традиционализм — модернизм»: представители промежуточных взглядов оценивают свое финансовое благополучие выше всех.

Заключение

Эволюция социокультурных и экономических ценностей в Китае не является линейным процессом, а представляет собой результат сложного взаимодействия политики, культуры, поколенческих различий и институциональных факторов.

Основной вывод работы: в Китае не наблюдается связи между демографическими и социокультурными ценностями — ни в период антинаталистской политики, ни в период пронаталистской политики. Сначала социокультурные ценности отставали от демографических ценностей на пути модернизации, а затем обогнали демографические ценности, поскольку мы наблюдаем ренессанс традиционных демографических ценностей. На фоне смены вектора демографической политики с антинаталистской на пронаталистскую, пропаганды модернистских демографических ценностей на популяризацию традиционных ценностей демографическая модернизация к концу прошлого века набрала хорошие темпы. Но в наши дни в ценностном измерении она начала стагнировать или даже идти вспять по ряду демографических показателей. При этом в прошлом социокультурная модернизация отставала от демографической, но набирает обороты на протяжении рассматриваемого периода.

Еще один важный вывод — в 2020 г. мы видим большую разобщенность между группами населения: пока одни движутся в сторону модернизации и индивидуального выбора, другие возвращаются к традиционным ориентирам. Особенно это заметно в отношении демографических ценностей.

В современном Китае ценностная ориентация на модернизацию скорее дает ощущение счастья, тогда как в конце прошлого века традиционные ценности приводили к ощущению счастья. При этом приверженность модернистским или, позже, традиционным демографическим ценностям в ответах анкеты Всемирного обследования ценностей колеблется у значительной части населения вместе с провозглашаемыми демографической политикой ценностями, хотя это не всегда отождествляется с чувством субъективного счастья в том же самом опросе.

Финансовая удовлетворенность более однозначно связана с модернистскими ценностями, так как они ассоциируются с большими возможностями повысить свое благосостояние.

Подобные черты особого пути второго демографического перехода в Китае — ранняя демографическая модернизация и затем традиционный ренессанс на фоне растущей социокультурной модернизации — становятся понятнее в контексте исторических изменений в демографической политике страны. Демографическая модернизация и социокультурная модернизация могут осуществляться с разной скоростью и даже идти в противоположных направлениях, если существуют ин-

ституты, которые могут влиять на одну из частей модернизационного пути. Возможно, в Китае демографическая политика — такой успешный институт. Сначала модернизационная демографическая политика помогала демографической модернизации опережать социокультурную модернизацию, а затем традиционалистская демографическая политика влияет на обратный переход к традиционным ценностям в демографических вопросах, что развело два тренда на модернизацию в противоположные стороны. Несмотря на успешную антинаталистскую политику с 1970-х до середины 2010-х годов, которая сопровождалась распространением модернистских ценностей (а некоторые признаки второго демографического перехода были даже привнесены в рамках государственной политики, например, возраст брачного совершеннолетия — 20 и 22 года для женщин и мужчин) и способствовала демографической модернизации, политический разворот к пронаталистской концепции с продвижением традиционных ценностей не просто затормозил движение общества в сторону более модернистских демографических ценностей, но и повернул его вспять в некоторых вопросах. Модернизация социокультурных ценностей при этом продолжается. Возможно, она теснее связана с экономическими успехами китайского общества: как показывает Ж. Ванг китайские граждане, выигравшие от урбанизации, развития системы образования и занятости в несельскохозяйственных, наукоемких секторах, демонстрируют более выраженные модернистские ценности [Wang, 2015].

И именно в этом, на наш взгляд, причина отличия Китая от других стран, где связи демографических и социокультурных ценностей теснее (например, от России, см. [Калабихина и др., 2021]). В перспективе было бы интересным продолжить изучение данного феномена на панельных данных, которые позволили бы отследить трансформацию отношения к разным группам ценностей у представителей разных поколений, особенно в контексте появившегося расхождения в ценностных взглядах в китайском обществе.

Такая интерпретация роли политики в изменении ценностей наводит на рассуждение об эффективности мер демографической политики в целом. Представляется, что Китай — пример опровержения расхожего мнения о неэффективности демографической политики в области рождаемости, в том числе в самом Китае [Yong, 2010]. Данный результат нуждается в уточнении на основе исследования на других данных чистых эффектов демографической политики на репродуктивный результат (рождаемость и брачность) и репродуктивные намерения (число желаемых и ожидаемых детей). Однако наш вывод позволяет предположить, что государство может воздействовать на паттерны демографического поведения в обществе. Этот эффект не обязательно будет таким же в других странах по причине наличия разных институтов, но демографическая политика может иметь значение.

Список литературы (References)

1. Архангельский В. Н., Васильева Е. Н., Васильева А. Е. Репродуктивные намерения современной российской молодежи и оценка возможностей их реализации // Logos et Praxis. 2021. Т. 20. № 3. С. 93—111. <https://doi.org/10.15688/lp.jvolu.2021.3.10>.

- Arkhangelsky V. N., Vasilyeva E. N., Vasilyeva A. E. (2021) Reproductive Intentions of Contemporary Russian Youth and Assessment of the Possibilities of Their Realization. *Logos et Praxis*. Vol. 20. No. 3. P. 93—111. <https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2021.3.10>. (In Russ.)
2. Архангельский В. Н., Козлова О. А., Калачикова О. Н. Значимость исследований репродуктивных намерений населения для прогнозирования рождаемости // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2025. Т. 18. № 3. С. 223—235. <https://doi.org/10.15838/esc.2025.3.99.12>.
Arkhangelskiy V. N., Kozlova O. A., Kalachikova O. N. (2025) The Importance of Research on Reproductive Intentions for Fertility Forecasting. *Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast*. Vol. 18. No. 3. P. 223—235. <https://doi.org/10.15838/esc.2025.3.99.12>. (In Russ.)
3. Борох О. Н., Ломанов А. В. Модернизация китайского типа: эволюция концепции // Мировая экономика и международные отношения. 2024. Т. 68. № 1. С. 31—47.
Borokh O. N., Lomanov A. V. (2024) Chinese- Style Modernization: Evolution of the Concept. *World Economy and International Relations*. Vol. 68. No. 7. P. 31—47. (In Russ.)
4. Калабихина И. Е., Казбекова З. Г., Банин Е. П., Клименко Г. А. Демографические ценности и социально-демографический портрет пользователей ВКонтакте: есть ли связь? // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2023. № 58. С. 157—180. <https://doi.org/10.55959/MSU0130-0105-6-58-3-8>.
Kalabikhina I. E., Kazbekova Z. G., Banin E. P., Klimenko G. A. (2023). Demographic Values and the Socio-Demographic Profile of VKontakte Users: Is There a Connection? *Lomonosov Economics Journal*. No. 58. P. 157—180. <https://doi.org/10.55959/MSU0130-0105-6-58-3-8>. (In Russ.)
5. Калабихина И. Е., Горбачева Д. Д., Сахбетдинова К. И. Связана ли демографическая модернизация с общей модернизацией общества: эмпирическое исследование демографических и социокультурных ценностей в России // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2021. № 3. С. 158—184. https://doi.org/10.52180/2073-6487_2021_3_158_184.
Kalabikhina I., Gorbacheva D., Sakhbetdinova K. I. (2021) Is Demographic Modernization Related to General Modernization of the Society: an Empirical Study of Demographic and Sociocultural Values in Russia. *The Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences*. No. 3. P. 158—184. https://doi.org/10.52180/2073-6487_2021_3_158_184. (In Russ.)
6. Клупт М. А. Обращение к традиционным ценностям в России, Индии и Китае: компаративный анализ // Социологические исследования. 2025. Т. 51. № 7. С. 23—32.
Klupt M. A. (2025) Appeal to Traditional Values in Russia, India, and China: A Comparative Analysis. *Sociological Studies*. Vol. 51. No. 7. P. 23—32. (In Russ.)

7. Крушинский А. А., Ломанов А. В., Переломов Л. С. «Китайская мечта» и категории традиционной китайской мысли // Проблемы Дальнего Востока. 2015. № 5. С. 135—148.
Krushinsky A., Lomanov A., Perelomov S. (2015) “Chinese Dream” in the Context of Traditional Chinese Thought’ Categories. *Far Eastern Studies*. No. 5. P. 135—148. (In Russ.)
8. Макаренцева А. О., Бирюкова С. С. Факторы, устойчивость и реализация репродуктивных намерений в России // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2023. № 2. С. 31—56. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2023.2.2379>.
Makarentseva A. O., Biryukova S. S. (2023) Factors, Consistency, and Realization of Reproductive Intentions in Russia. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 2. P. 31—56. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2023.2.2379>. (In Russ.)
9. Морозова Н. В. Специфика «государства-нации» в китайской модели развития // Вестник РГГУ. Серия «Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение». 2018. № 2. С. 105—115.
Morozova N. V. (2018) Specificity of the “Nation-State” in the Development Model of China. *RSUH/RGGU Bulletin. “Political Science. History. International Relations. Area Studies. Oriental Studies” Series*. No. 2. P. 105—115. (In Russ.)
10. Barro R. J. (2016) Economic Growth and Convergence, Applied to China. *China & World Economy*. Vol. 24. No. 5. P. 5—19. <https://doi.org/10.1111/cwe.12172>.
11. Birdsall N., Jamison D. T. (1983) Income and Other Factors Influencing Fertility in China. *Population and Development Review*. Vol. 9. No. 4. P. 651—675. <https://doi.org/10.2307/1973544>.
12. Caprara G., Schwartz Sh., Capanna C., Vecchione M., Barbaranelli C. (2006) Personality and Politics: Values, Traits, and Political Choice. *Political Psychology*. Vol. 27. No. 1. P. 1—28. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2006.00447.x>.
13. Chen W. (2023) Changing Fertility Patterns in China. *Chinese Journal of Sociology*. Vol. 9. No. 4. P. 497—521. <https://doi.org/10.1177/2057150X231209063>.
14. Chung L., Tan K. H. (2017) The Unique Chinese Innovation Pathways: Lessons from Chinese Small and Medium Sized Manufacturing Firms. *International Journal of Production Economics*. Vol. 190. P. 80—87. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.09.004>.
15. Fang L. (2019) Will China’s “Two-child in One Family” Policy to Spur Population Growth Work? *Population and Economics*. Vol. 3. No. 2. P. 36—44. <https://doi.org/10.3897/popecon.3.e37962>.
16. Feng W., Gu B., Cai Y. (2016) The End of China’s One-Child Policy. *Studies in Family Planning*. Vol. 47. No. 1. P. 83—86. <https://doi.org/10.1111/j.1728-4465.2016.00052.x>.

17. Inglehart R., Baker W. E. (2000) Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values. *American Sociological Review*. Vol. 65. No. 1. P. 19—51. <https://doi.org/10.1177/000312240006500103>.
18. Inglehart R., Welzel Ch. (2005) Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence. New York, NY: Cambridge University Press.
19. Ji Y., Chen F., Cai Y., Zheng Zh. (2015) Do Parents Matter? Intergenerational Ties and Fertility Intention in a Low Fertility Context. *Chinese Journal of Sociology*. Vol. 1. No. 4. P. 485—514. <https://doi.org/10.1177/2057150X15614545>.
20. Jiang Q., Yang S., Li S., Feldman M. W. (2019) The Decline in China's Fertility Level: A Decomposition Analysis. *Journal of Biosocial Science*. Vol. 51. No. 6. P. 785—798. <https://doi.org/10.1017/S0021932019000038>.
21. Jing W., Liu J., Ma Q., Zhang S., Li Y., Liu M. (2022) Fertility Intentions to Have a Second or Third Child under China's Three-Child Policy: A National Cross-Sectional Study. *Human Reproduction*. Vol. 37. No. 8. P. 1907—1918.
22. Kalabikhina I. E., Han L. (2026) Determinants of Low Fertility in China: Does Housing Affordability Matter? *BRICS Journal of Economics*. Vol. 7. No. 2. P. 5—20. <https://doi.org/10.3897/brics-econ.7.e153485>
23. Lesthaeghe R. (1995) The Second Demographic Transition in Western Countries: An Interpretation. In: Oppenheim Mason K., Jensen A.-M. (eds.) *Gender and Family Change in Industrialized Countries*. Oxford: Clarendon Press. P. 17—62.
24. Lesthaeghe R. (2014) The Second Demographic Transition: A Concise Overview of its Development. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. Vol. 111. No. 51. P. 18112—18115. <https://doi.org/10.1073/pnas.1420441111>.
25. Lesthaeghe R., van de Kaa D. (1986) Twee Demografische Transitie's? In van de Kaa D. J., Lesthaeghe R. (eds.) *Bevolking: Groei en Krimp, Mens en Maatschappij*. Deventer: Van Loghum Slaterus. P. 9—24.
26. Liu H., Liu L., Wang F. (2023) Housing Wealth and Fertility: Evidence from China *Journal of Population Economics*. Vol. 36. No. 1. P. 359—395. <https://doi.org/10.1007/s00148-021-00879-6>.
27. Liu L. (2005) Fertility Trends in China's More Developed Urban Districts: The Case of Four Cities. *Population, Space and Place*. Vol. 11. No. 5. P. 411—424. <https://doi.org/10.1002/psp.377>.
28. Schwartz Sh. (1992) Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries. In: Zanna M. (ed.) *Advances in Experimental Social Psychology*. Vol. 25. New York, NY: Academic Press. P. 1—65. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(08\)60281-6](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60281-6).
29. Schwartz Sh., Bardi A. (2001) Value Hierarchies Across Cultures. *Journal of Cross-cultural Psychology*. Vol. 32. No. 3. P. 268—290. <https://doi.org/10.1177/0022022101032003002>.

30. Vakulenko E., Gorskiy D., Kondrateva, V., Trofimenko I. (2025) Periods of High Uncertainty: How Fertility Intentions in Russia Changed during 2022—2023. *Demographic Research*. Vol. 52. P. 939—970. <https://doi.org/10.4054/DemRes.2025.52.29>.
31. Wang Zh. (2015) Socioeconomic Changes and Value Modernization in China: Changes and Continuity 1993—2011. *Asian Journal for Public Opinion Research*. Vol. 2. No. 3. P. 140—171. <https://doi.org/10.15206/ajpor.2015.2.3.140>.
32. Xie D., Zhou Y. (2022) Religion Effects on Fertility Preference: Evidence from China. *Journal of Population Research*. Vol. 39. P. 341—371. <https://doi.org/10.1007/s12546-022-09286-4>.
33. Yingchun J., Zhenzhen Z. (2020) China's Low Fertility Rate from the Perspective of Gender and Development. *Social Sciences in China*. Vol. 41. No. 4. P. 169—184. <https://doi.org/10.1080/02529203.2020.1806478>.
34. Yong C. (2010) China's Below-Replacement Fertility: Government Policy or Socioeconomic Development? *Population and Development Review*. Vol. 36. No. 3. P. 419—440. <https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2010.00341.x>.
35. Yu J., Xie Y. (2022) Is there a Chinese Pattern of the Second Demographic Transition? *China Population and Development Studies*. Vol. 6. P. 237—266. <https://doi.org/10.1007/s42379-022-00113-0>.
36. Zaidi B., Morgan S. P. (2017) The Second Demographic Transition Theory: A Review and Appraisal. *Annual Review of Sociology*. Vol. 43. P. 473—492. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-060116-053442>.
37. Zhang L. (2008) Religious Affiliation, Religiosity, and Male and Female Fertility. *Demographic Research*. Vol. 18. P. 233—262.
38. Zhang X., Guo F., Zhai Z. (2019) China's Demographic Future Under the New Two-Child Policy. *Population Research and Policy Review*. Vol. 38. No. 4. P. 537—563. <https://doi.org/10.1007/s11113-019-09519-0>.

Приложение

Таблица П1. **Результаты регрессионного анализа факторов, влияющих на принятие аборт в Китае, 1995, 2001, 2007 и 2020 гг., прокси-переменные социокультурных ценностей**

Переменные	1995	2001	2007	2020
Частность обсуждения политических вопросов с друзьями	0,047	–0,011	0,172***	0,119*
	0,068	0,092	0,049	0,056
Важность работы в жизни	0,059	–0,327	0,022	–0,039
	0,16	0,218	0,084	0,069
Обратная мера религиозной практики (индекс неверия по Вельцелю)	–0,051	–0,915	0,008	–0,066
	0,042	1,049	0,022	0,051

Переменные	1995	2001	2007	2020
Важность свободного времени	-0,32***	-0,617	-0,009	-0,108
	0,084	0,78	0,068	0,083
Важность свободы выбора	-0,046*	-1,234	-0,064**	-0,009
	0,022	0,819	0,028	0,036
Возраст	0,098**	1,038*	-0,013	0,074**
	0,033	0,894	0,028	0,032
Возраст ²	-0,001**	-0,905	0	-0,001**
	0	1,215	0	0
Пол	-0,075	-0,413	-0,108	-0,205
	0,192	0,545	0,124	0,113
Уровень образования: низкий	-1,087***	-0,068	-0,31*	-0,784**
	0,237	0,601	0,186	0,274
Уровень образования: средний	-0,916***	0,166	-0,157	-0,438***
	0,122	0,124	0,207	0,145
Уровень дохода: низкий	0,342*	0,08*	0,219	-0,436*
	0,174	0,051	0,203	0,27
Уровень дохода: средний	0,122	-0,07	0,313*	-0,1
	0,308	0,087	0,167	0,243
Проживание в сельской местности	0,224	0,001	-0,331	
	0,302	0,001	0,612	
Проживание в городе	-0,411*	-0,224	-0,754***	
	0,21	0,233	0,234	
В разводе/вдовец(ица)	0,628*	-0,325	0,513	
	0,322	0,47	0,326	0,156
Холост	0,147	0,087	0,204	0,515*
	0,225	0,345	0,229	0,222
Не проживает с родителями	0,026	0,008	-1,681	-1,734*
	0,134	0,318	1,771	0,823
R2	0,049	0,026	0,025	0,049
Количество наблюдений	1400	973	1730	1863
Количество кластеров	4	4	4	4

* $p < 0,1$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$.

Таблица П2. Результаты регрессионного анализа факторов, влияющих на среднее количество детей у женщин старше 40 лет в Китае, 1995, 2001, 2007 и 2020 гг., прокси-переменные социокультурных ценностей

Переменные	1995	2001	2007	2020
Частотность обсуждения политических вопросов с друзьями	0,025	-0,035		
	0,019	0,057		
Важность работы в жизни	0,007	0,071	-0,044	-0,002
	0,047	0,08	0,026	0,023
Обратная мера религиозной практики (индекс неверия по Вельцелю)	-0,023	-0,023		
	0,025	0,031		
Важность свободного времени	0,023	-0,073	-0,019	0,009
	0,039	0,051	0,024	0,016
Важность свободы выбора	-0,011	0,011	-0,005	-0,003
	0,006	0,01	0,013	0,009
Возраст	0,071***	-0,092**	0,046**	-0,014
	0,017	0,032	0,019	0,009
Возраст ²	0	0,002***	0	0***
	0	0	0	0
Уровень образования: низкий	0,393***	0,521***	0,428***	0,506***
	0,074	0,151	0,119	0,157
Уровень образования: средний	0,252***	0,296**	0,114*	0,194***
	0,059	0,082	0,042	0,032
Уровень дохода: низкий	-0,13	-0,138	0,183*	-0,011
	0,097	0,1	0,117	0,077
Уровень дохода: средний	-0,021	0,081	0,113	0,037
	0,081	0,068	0,11	0,059
Проживание в сельской местности	0,353***	-0,087		
	0,09	0,095		
Проживание в городе	0,139	-0,036	0,224*	
	0,136	0,097	0,119	
В разводе/вдовец(ица)	-0,039	-0,273	-0,277**	-0,377***
	0,216	0,193	0,129	0,116
Холост	-0,984***	-0,404	-0,859***	-1,075***
	0,074	0,415	0,075	0,081
Не проживает с родителями	-0,05	1,94***	-0,097	-0,27
	0,082	0,266	0,166	0,304
R2	0,071	0,038	0,041	0,053
Количество наблюдений	1260	901	1504	1652
Количество кластеров	4	4	4	4

* $p < 0,1$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$.

DOI: [10.14515/monitoring.2026.4.3055](https://doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3055)

Е. В. Чурилова, К. О. Чертенков, Е. М. Андреев

**РЕПРОДУКТИВНЫЕ НАМЕРЕНИЯ И КОГОРТНАЯ
РОЖДАЕМОСТЬ РОССИЯНОК С РАЗНЫМ УРОВНЕМ
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ДАННЫМ ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ**

Правильная ссылка на статью:

Чурилова Е. В., Чертенков К. О., Андреев Е. М. Репродуктивные намерения и когортная рождаемость россиянок с разным уровнем образования по данным из разных источников // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2026. № 4. С. 185—206. <https://www.doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3055>.

For citation:

Churilova E. V., Chertenkov K. O., Andreev E. M. (2026) Reproductive Intentions and Cohort Fertility of Russian Women with Different Levels of Education According to Data from Various Sources. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 185—206. <https://www.doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3055>. (In Russ.)

Получено: 01.07.2025. Принято к публикации: 07.04.2026.

РЕПРОДУКТИВНЫЕ НАМЕРЕНИЯ И КОГОРТНАЯ РОЖДАЕМОСТЬ РОССИЯНОК С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ДАННЫМ ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ЧУРИЛОВА Елена Владимировна — кандидат социологических наук, заведующая Международной лабораторией исследований населения и здоровья, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
 E-MAIL: evchurilova@hse.ru
<https://orcid.org/0000-0001-9524-7177>

ЧЕРТЕНКОВ Кирилл Олегович — стажер-исследователь Международной лаборатории исследований населения и здоровья, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
 E-MAIL: kchertenkov@hse.ru
<https://orcid.org/0009-0007-8430-7008>

АНДРЕЕВ Евгений Михайлович — кандидат физико-математических наук, научный руководитель Международной лаборатории исследований населения и здоровья, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
 E-MAIL: e.andreev@hse.ru
<https://orcid.org/0000-0002-1233-437X>

Аннотация. Статья посвящена оценке степени реализации репродуктивных планов российских женщин и анализа ее зависимости от уровня образования путем сопоставления среднего ожидаемого числа детей с когортной рождаемостью в поколениях женщин 1950—1979 гг. р. Источники данных об итоговой рождаемости — База показателей рождаемости россиянок НИУ ВШЭ и Всероссийская перепись населения 2020 г., источники данных об ожидаемом числе детей — микроперепись 1994 г. и выборочные обследования РидМиж-2004 и РПН-2012. Результаты показывают, что

REPRODUCTIVE INTENTIONS AND COHORT FERTILITY OF RUSSIAN WOMEN WITH DIFFERENT LEVELS OF EDUCATION ACCORDING TO DATA FROM VARIOUS SOURCES

Elena V. CHURILOVA¹ — Cand. Sci. (Soc.), Laboratory Head, International Laboratory for Population and Health
 E-MAIL: evchurilova@hse.ru
<https://orcid.org/0000-0001-9524-7177>

Kirill O. CHERTENKOV¹ — Research Assistant, International Laboratory for Population and Health
 E-MAIL: kchertenkov@hse.ru
<https://orcid.org/0009-0007-8430-7008>

Evgeny M. ANDREEV¹ — Cand. Sci. (Physico-math.), Academic Supervisor of the International Laboratory for Population and Health
 E-MAIL: e.andreev@hse.ru
<https://orcid.org/0000-0002-1233-437X>

¹ HSE University, Moscow, Russia

Abstract. The study compares the average expected number of children and completed cohort fertility both in general and by educational level across generations of Russian women born in 1950–1979. The data on completed cohort fertility comes from the Russian Fertility Database of the HSE University and the All-Russian Population Census 2020; the data on the expected number of children comes from the national Microcensus 1994, the Generations and Gender Survey (2004) and the Sample Survey of Population Reproductive Plans (2012). The results show that the expected number of children and the completed co-

ожидаемое число детей и итоговая рождаемость женщин близки друг к другу в поколениях женщин до начала 1970-х г. р., в более молодых поколениях различия нарастают ввиду повышения репродуктивных ожиданий. У женщин, чей репродуктивный период пришелся на советское время, подтверждена обратная связь уровня образования как с ожидаемым числом детей, так и с рождаемостью, при этом фактическое число рождений близко к запланированному. Среди женщин моложе 45 лет на момент переписи 2020 г. ожидаемое число детей однородно по уровню образования, однако сохраняется негативный образовательный градиент в итоговой рождаемости и в степени недореализации репродуктивных планов: женщины с высшим образованием не реализовали около 20—25 % запланированных рождений, со средним профессиональным — 15—20 %, со средним общим — около 8 %. Опираясь на полученные результаты, авторы заключают, что ожидаемое число детей в молодых возрастах в России перестает служить ориентиром итоговой рождаемости реального поколения. Стирание образовательных различий в репродуктивных планах при сохранении градиента в их реализации указывает на усиливающееся влияние нематериальных, ценностных факторов.

Ключевые слова: репродуктивные намерения, ожидаемое число детей, итоговая рождаемость, База показателей рождаемости россиянок, перепись населения 2020 года, образовательная дифференциация

Благодарность. Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ (HSE-BR-2025-012).

hort fertility of women are close to each other in generations of women born before the early 1970s, while in younger generations, differences increase due to higher reproductive expectations. For women whose reproductive period fell during the Soviet era, an inverse relationship between the level of education and both the expected number of children and the completed fertility has been confirmed, while the actual number of births is close to the planned one. Among women under 45 years of age at the time of the 2020 census, the expected number of children is uniform in level of education. However, a negative educational gradient remains in the completed cohort fertility and in the degree of under-realisation of reproductive plans. At that, women with higher education have not had about 20—25% of planned births, with secondary vocational education — 15—20%, with secondary general education — about 8%. Based on the results obtained, the authors conclude that the expected number of children at young ages in Russia ceases to serve as a proxy for the completed cohort fertility. Moreover, vanishing educational differences in reproductive plans coupled with remaining gradient in their implementation indicates the increasing influence of intangible, value-related factors of fertility behaviour.

Keywords: reproductive intentions, expected number of children, completed cohort fertility, Russian Fertility Database, 2020 Census, educational differences

Acknowledgments. The study was implemented within the framework of the Basic Research Program at HSE University (HSE-BR-2025-012).

Введение

Ожидаемое число детей — сколько респондент собирается иметь в течение своей жизни — традиционно считается показателем, предсказывающим будущую рождаемость когорт, и используется при прогнозировании коэффициентов суммарной и итоговой рождаемости. Однако ученые указывают на снижение его предсказательной способности для некоторых европейских стран [Beaujouan, Berghammer, 2019]. Казалось бы, решить проблему может измерение репродуктивных намерений не с помощью ожидаемого числа детей, а с помощью выяснения намерения родить ребенка в течение определенного периода времени. Но исследования показывают довольно высокую межстрановую вариацию по степени реализации положительных краткосрочных намерений [Beaujouan, Singh, 2025], поэтому применимость данного показателя в качестве альтернативного при прогнозах итоговой рождаемости все еще под вопросом. В частности, на российских данных выявлено, что и в 2000-е, и в 2010-е годы среди женщин, уверенно заявивших о намерении родить ребенка в ближайшие три года, реализовывали эти намерения менее половины [Синявская, Тынди́к, 2010; Макаренцева, Бирюкова, 2023].

Репродуктивные намерения россиян относительно регулярно измерялись и измеряются в ходе различных выборочных исследований, наиболее часто — в рамках общероссийских опросов омнибусного типа, реже — в рамках крупных выборочных социально-демографических исследований. Тем не менее пул работ, в которых анализировались показатели идеального, желаемого и ожидаемого числа детей, а также краткосрочные репродуктивные намерения в разные календарные годы среди россиян, довольно малочисленный (например, [Тынди́к, 2012а; Чурилова, Захаров, 2019; Гудкова, 2019; Архангельский, Шульгин, Зинькина, 2020; Осипова, 2020; Макаренцева, Бирюкова, 2023; Чурилова, 2023]).

Сравнение среднего ожидаемого числа детей в период молодости с числом когда-либо рожденных детей у женщин старше репродуктивного возраста или близких к его завершению — задача, с одной стороны, стандартная для демографов, с другой — требующая наличия данных крупных выборочных обследований, а также данных переписей или микропереписей населения, которые проводятся раз в пять-десять лет, или длинных рядов итоговой рождаемости поколений. Это сравнение позволяет понять, насколько выполненными оказались планы женщин на счет числа рожденных детей.

Подобные сравнения в отечественной литературе проводились и ранее. Е. М. Андреев и Г. А. Бондарская использовали данные советских выборочных обследований семей, Всесоюзной переписи населения 1989 г. и Микропереписи населения 1994 г. [Андреев, Бондарская, 2000]. Е. М. Андреев и Т. Л. Харькова опирались на данные Микропереписи населения 1994 г., Всероссийской переписи населения 2010 г. и показатель итоговой рождаемости реальных поколений из Международной базы данных о рождаемости (Human Fertility Database) [Андреев, Харькова, 2013]. Обе работы показали, что в целом число рожденных советскими женщинами детей было близко к изначально запланированному. Учитывая появление данных об итоговой рождаемости поколений женщин, репродуктивный период которых полностью пришелся на постсоветские годы, наша первая задача — установить, насколько были реализованы репродуктивные планы женщин,

принимавших участие в различных выборочных социально-демографических исследованиях в 1990-е, 2000-е и в начале 2010-х годов.

Вторая задача статьи — проведение аналогичного анализа в разрезе крупных образовательных групп. В целом изучение рождаемости и репродуктивных намерений женщин по уровню образования или в разрезе иных социально-демографических характеристик — редкая для исследователей задача, особенно в когортной перспективе. Это связано с тем, что, во-первых, уровень образования женщины в течение ее жизни может повышаться и при удлинении периода обучения или повышении возраста получения профессионального образования репродуктивные планы должны быть зафиксированы в возрасте, к которому большинство женщин получили образование. Во-вторых, в любых выборочных обследованиях уровень образования указывается со слов респондента, а в переписях населения уровень образования женщины указывается членом домохозяйства, который отвечает на вопросы переписчика либо самостоятельно заполняет переписные листы, что может вести к искажению данных.

Тем не менее в зарубежной науке эта тема разработана заметно лучше. Существуют попытки собрать данные о когортной рождаемости по уровню образования женщины на основе переписей и выборочных обследований населения — например, База данных когортной рождаемости и образования (Cohort Fertility and Education Database) [Zeman et al., 2017] или визуализация когортной рождаемости для женщин с разным уровнем образования в США [Hudde, Cohen, 2024]. Ряд работ показывает наличие образовательного градиента в итоговой рождаемости женских когорт [Jalovaara et al., 2019; Nisén, 2021], а также негативной связи между уровнем образования и реализацией репродуктивных намерений [Berrington, Pattaro, 2014].

В отечественной литературе исследований связи уровня образования, репродуктивных намерений и рождаемости крайне мало. В. Н. Архангельский, С. Г. Шульгин и Ю. В. Зинькина анализировали итоговую рождаемость женщин с разным уровнем образования, но не сравнивали с ранее озвученными репродуктивными планами [Архангельский, Шульгин, Зинькина, 2020]. А. О. Тындик проводила комплексное исследование дифференциации репродуктивного поведения у российских мужчин и женщин по уровню образования и пришла к выводу о существовании одновременно однородности репродуктивных установок и разной степени их реализации [Тындик, 2012а]. Использование нами данных Всероссийской переписи населения 2020 г. позволит проверить, сохранилась ли образовательная дифференциация в итоговой рождаемости и реализации репродуктивных намерений среди россиянок.

Мы исходим из того, что, во-первых, женщины с высшим образованием являются авангардной группой с точки зрения изменения числа рожденных детей и возраста начала материнства: они первыми начали откладывать рождение детей, первыми использовали современные средства контрацепции и делали выбор в пользу малодетности, — нормы и паттерны их репродуктивного поведения постепенно распространяются на женщин с более низким уровнем образования; во-вторых, уровень образования тесно связан с уровнем дохода, социальным статусом, гендерным равенством и другими показателями социально-экономического

положения женщины в обществе, а также является индикатором ценностных установок относительно создания семьи, рождения детей, самореализации. Существование в населении социально-демографических групп с разным репродуктивным поведением является вызовом для социально-демографической политики ввиду необходимости отслеживать как изменения в линиях репродуктивного поведения, так и их причины, а также потребности и барьеры на пути реализации запланированного числа рождений, что приобретает дополнительную актуальность в свете низкой рождаемости в России и попыток найти эффективные инструменты и способы ее повышения.

Данные и методы

Мы использовали информацию из пяти источников данных.

Первый источник данных — итоги Всероссийской переписи населения 2020 г., проведенной осенью 2021 года. Опубликованные результаты (том 9) содержат среднее число рожденных детей в сочетании с демографическими, социальными и экономическими характеристиками женщин, в том числе с уровнем образования. Данные приведены не по году рождения, а по возрастным группам (15—17, 18—19, 20—24, ..., 65—69, 70 лет и старше) и по девяти уровням образования — от «не имеющих образования» до «кадров высшей квалификации».

В нашей работе среднее число рожденных детей в возрастных группах от 30—34 до 65—69 лет используется как индикатор итоговой рождаемости реальных поколений. Мы выделяем три укрупненные образовательные группы: (1) женщины с высшим и неполным высшим образованием, включая кадры высшей квалификации; (2) женщины со средним профессиональным образованием; (3) женщины со средним общим образованием.

Женщины с образованием ниже среднего в анализ не включались по нескольким причинам. Во-первых, эта группа малочисленна: по данным Всероссийской переписи населения (ВПН) за 2020 г., в рассматриваемых возрастных группах ее доля составляет от 5,7 до 9,1 % в зависимости от возраста, поэтому ее вклад в суммарную рождаемость невелик¹. Во-вторых, в используемых далее выборочных обследованиях число респонденток с таким уровнем образования в пятилетних возрастных группах нередко оказывается меньше 30 — ниже минимума, необходимого для статистического анализа. Наконец, эта группа, по-видимому, неоднородна и отличается от остальных по социально-демографическому портрету и состоянию здоровья, которое само по себе может влиять на способность иметь детей; в нее входят, в частности, представители некоторых этнических меньшинств и лица с хроническими заболеваниями, требующими стационарного лечения или обучения по адаптированным программам. Специфика этой группы требует отдельного изучения.

Расчет среднего числа когда-либо рожденных детей в трех образовательных группах выполнен на основе данных из таблицы 5 тома 9 («Среднее число рож-

¹ Малочисленность этой группы закономерна: среднее образование для рассматриваемых поколений фактически всеобщее. В СССР обязательное восьмилетнее образование было введено законом «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР» (1958 г.), а в современной России основное общее и среднее общее образование обязательны согласно ч. 5 ст. 66 Федерального закона № 273-ФЗ.

денных детей женщинами, проживающими в частных домохозяйствах, имеющими различный уровень образования») и таблицы 1 тома 3 («Население по возрасту, полу и уровню образования»). Среднее число рожденных детей в каждой из возрастных групп получено путем взвешивания показателей относительно численности женщин с указанными уровнями образования.

Второй источник — данные о накопленной рождаемости к возрасту 45 лет для российских женщин поколений 1950—1979 гг. р. из Базы показателей рождаемости россиянок НИУ ВШЭ. Отметим, что показатели накопленной рождаемости и итоговой рождаемости по переписи населения имеют под собой разные основания. Расчет показателя накопленной рождаемости основан на использовании данных текущего учета, а именно возрастных коэффициентов рождаемости по однолетним группам возраста матери (подробнее см. [Churilova et al., 2024]). Показатель итоговой рождаемости (среднее число когда-либо рожденных детей) по ВПН-2020 — показатель, получаемый из ответа женщин на вопрос «Сколько детей Вы родили?». Его недостаток связан с тем, что, во-первых, женщины часто умалчивают об умерших детях, что может приводить к небольшому занижению числа рождений в старших возрастных группах, в данном случае — в поколениях, чей активный репродуктивный возраст пришелся на 1970-е — 1990-е годы, когда младенческая смертность была существенно выше современного уровня. Во-вторых, пожилые женщины могут забывать или неправильно указывать число рожденных детей из-за проблем с памятью или состоянием здоровья.

Третий источник — это массив микроданных Микропереписи населения 1994 г., в анкете которой был вопрос и об ожидаемом числе детей. Данная микроперепись проводилась с 14 по 23 февраля и охватила 5% населения. Вопрос об ожидаемом числе детей был сформулирован как «Сколько детей Вы собираетесь иметь, включая уже имеющихся?» и задавался всем женщинам от 15 до 44 лет. На этот вопрос ответили 1425,5 тыс. женщин. Для анализа мы отобрали женщин в возрасте 18—42 года, что соответствует возрасту 45—69 лет в 2021 г. Информация и об уровне образования, и об ожидаемом числе детей доступна для 1353,1 тыс. женщин данного диапазона возрастов.

Четвертый источник — данные первой волны выборочного социально-демографического обследования «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе» (РидМиЖ)², проведенного в 2004 г. Общий объем выборки — 11261 респондент в возрасте от 18 до 81 года, из которых 7038 — женщины. Вопросник не содержал прямого вопроса об ожидаемом числе детей, вместо него респондентам репродуктивного возраста задавались вопросы о планах завести (еще одного) ребенка: «Собираетесь ли Вы завести (еще одного) ребенка в течение ближайших трех лет?», «Предположим, что Вы не собираетесь заводить (еще одного) ребенка в течение ближайших трех лет, а хотели бы Вы вообще когда-нибудь завести (еще) детей?» и «Сколько еще детей дополнительно к имеющимся Вы собираетесь иметь? Если у Вас пока нет детей, то сколько Вы собираетесь иметь всего?». Переменная об ожидаемом числе детей была рассчитана а) как число уже

² Панельное социально-демографическое обследование «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе» (РидМиЖ) является частью международной программы «Поколения и гендер». Данные обследования доступны на сайте <https://www.ggp-i.org> (дата обращения: 07.03.2026).

рожденных детей — для тех женщин, которые определенно не хотят иметь вообще или еще детей, б) как сумма числа уже рожденных детей и числа детей, которых женщина собирается родить, — для тех, у кого уже есть дети, и в) как число детей, которых женщина собирается иметь, — для бездетных женщин.

Пятый источник — данные Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения Росстата (РПН)³, проведенного в 2012 г. Общий объем выборки составил 10054 респондентов в возрасте от 18 до 61 года, из которых 5144 — женщины. Вопрос об ожидаемом числе детей был сформулирован классическим образом: «Сколько всего детей (включая имеющихся) Вы собираетесь иметь?». Ответ на вопрос предполагал в том числе вариант «Трудно сказать». Этот вариант ответа выбрали 372 респондентки, которые в дальнейшем были исключены из анализа.

Распределение числа женщин по году рождения в используемых выборочных обследованиях представлено в Приложении 1. Распределение числа женщин по возрасту и уровню образования для трех выборочных обследований приведено в таблице 1.

Таблица 1. **Распределение женщин по пятилетним группам возраста и уровню образования в трех выборочных обследованиях: МПН-1994, РидМиЖ-2004 и РПН-2012**

Возраст на момент ВПН-2020	Возраст на момент МПН-1994	МПН-1994			Возраст на момент РидМиЖ-2004	РидМиЖ-2004			Возраст на момент РПН-2012	РПН-2012		
		Высшее	Среднее профессиональное	Среднее общее		Высшее	Среднее профессиональное	Среднее общее		Высшее	Среднее профессиональное	Среднее общее
30—34									21—25	399	189	86
35—39					18—22	105	168	163	26—30	491	261	80
40—44					23—27	174	254	55	31—35	400	249	108
45—49					28—32	165	296	63	36—40	382	326	100
50—54	23—27	52 117	86 623	83 362	33—37	133	329	61	41—45	347	336	78
55—59	28—32	60 382	91 963	90 930	38—42	158	351	89				
60—64	33—37	68 295	110 436	16 718	43—47	178	462	140				
65—69	38—42	62 157	100 294	96 832								

Проведенный нами анализ имеет ряд ограничений. Первое: данные МПН-1994, РидМиЖ-2004 и РПН-2012 — это данные выборочных обследований населения, репрезентативных для России в целом. При этом выборка МПН-1994 г. представляет собой 5 % от численности всего населения России, в то время как выборка РидМиЖ-2004 и РПН-2012 — чуть более 10 тыс. человек. Поэтому наполненность

³ Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения в 2012 году // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/RPN/Publisher/index.html (дата обращения: 07.03.2026).

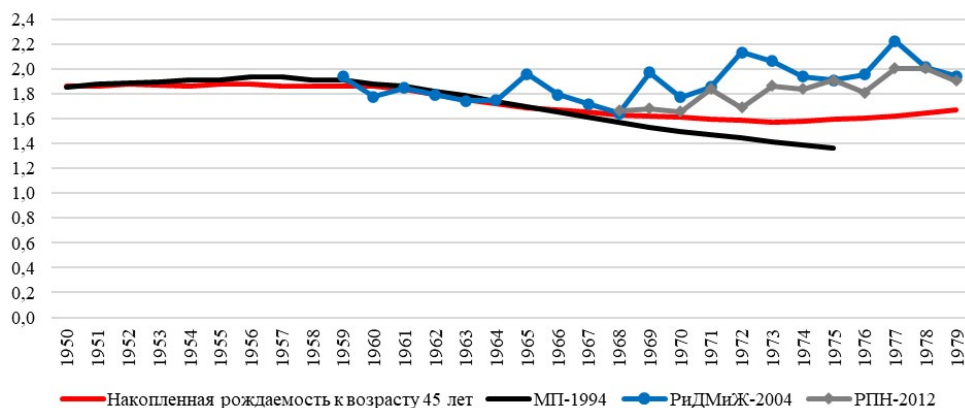
групп как по однолетним когортам, так и по пятилетним группам возраста и уровню образования в ряде случаев невелика, и точность оценок по РидМиЖ-2004 и РПН-2012 ниже, чем по МПН-1994. Второе: существующие исследования показывают, что половина россиянок в когортах 1950—1979 гг.р. получили профессиональное образование к 19 годам, а женщины из когорт 1980-х гг. — к 20 годам, при этом медианные возрасты для вступления в брак и рождения ребенка на 1—2 года больше [Митрофанова, 2023; Mitrofanova, Makarov, 2023]. С одной стороны, это означает, что, несмотря на концентрированность первых социально-демографических событий у российских женщин до 25 лет, получение полного профессионального образования все же предшествует материнскому дебюту; с другой стороны, что часть женщин рождает ребенка до получения профессионального образования. К сожалению, нам неизвестен процент женщин, родивших в процессе учебы и в итоге завершивших обучение, поэтому мы исходим из того, что уровень образования женщин, которым на момент участия в используемых нами выборочных исследованиях было меньше 25 лет, остался неизменным.

Результаты

Репродуктивные намерения и их реализация среди женщин 1950—1979 гг. р.

На рисунке 1 представлены накопленная рождаемость к 45 годам у женщин из поколений 1950—1979 гг. р. и среднее ожидаемое число детей у женщин из этих же поколений по данным МПН-1994 г., РидМиЖ-2004 и РПН-2012 г. Число респондентов и стандартные ошибки среднего для оценок среднего ожидаемого числа детей для трех выборочных обследований приведены в Приложении 1.

Рис. 1. Накопленная рождаемость женщин к 45 годам и среднее ожидаемое число детей по данным выборочных обследований по году рождения женщин



Показатели накопленной рождаемости к возрасту 45 лет и ожидаемого числа детей по Микрорепериси населения 1994 г. довольно близки в женских когортах 1950—1966 гг. р., разница между этими показателями в зависимости от когорты составляет от 0,01 до 0,05 ребенка на женщину: именно на столько меньше запланированных детей родили женщины из этих поколений. Различия между

показателем накопленной рождаемости к 45 годам и ожидаемым числом детей нарастают у когорт 1967—1975 г. р. Однако нужно отметить, что на момент проведения микропереписи возраст этих женщин составлял от 18 до 26 лет: чем моложе была женщина на момент микропереписи, тем в среднем меньшее число детей она планировала родить. При этом исследователи ранее уже указывали на большую долю неответов на вопрос об ожидаемом числе детей среди молодых женщин до 24 лет, что говорит в том числе о высокой неопределенности относительно репродуктивных планов в этих возрастах [Андреев, Харьковская, 2013]. Кроме того, проведение микропереписи пришлось на политически и экономически сложные годы после распада Советского Союза, что, как ранее уже отмечалось в научной литературе, могло повлиять на декларируемые намерения о рождении детей [Чурилова, Захаров, 2019; Козлова, Архангельский, 2021].

Ряды средних ожидаемых чисел детей по году рождения женщины по данным РидМиЖ-2004 и РПН-2012 выглядят менее гладко, чем по данным МПН-1994, из-за гораздо меньшего объема выборки. Тем не менее они дают нам важное представление о том, какое число детей озвучивали женщины одного года рождения в разные календарные годы. Мы можем зафиксировать, первое, что репродуктивные планы женщин из поколений 1970-х гг. р., постепенно возрастали. Второе, что и по РидМиЖ-2004, и по РПН-2012 были получены довольно близкие значения ожидаемого числа детей, хотя для более старших когорт по РПН-2012 оно ниже, чем по РидМиЖ-2004. Эта особенность логично объясняется эффектом возраста и коррекции жизненных планов: женщины, близкие к завершению репродуктивного возраста, все же склонны более продуманно оценивать свои жизненные планы и репродуктивные возможности. Третье, существует довольно значительный разрыв между накопленной к 45 годам рождаемостью женщин из поколений 1970-х гг. рождения и средним ожидаемым ими числом детей. Величина этого разрыва в отдельных женских когортах достигает 0,5 рождения на женщину при сравнении с РидМиЖ-2004 и до 0,3 рождения на женщину при сравнении с РПН-2012.

Ожидаемое число детей у женщин с разным уровнем образования

Мы проанализировали ожидаемое число детей, основываясь на ответах женщин разного возраста и с разным уровнем образования по трем источникам данных: МПН-1994, РидМиЖ-2004, РПН-2012 (см. табл. 2, результаты проверки статистической значимости различий между группами представлены в Приложениях 2 и 3).

По данным МПН-1994 прослеживается обратная связь между уровнем образования и ожидаемым числом детей: чем выше был уровень образования женщины, тем меньшее число детей она собиралась родить. Это верно для женщин из разных поколений — как тех, кто на момент проведения МПН-1994 был молод, так и тех, чей репродуктивный возраст подходил к окончанию. При этом поколенческие различия в ожидаемом числе детей наблюдаются во всех образовательных группах: среднее ожидаемое число детей тем выше, чем старше была женщина на момент опроса. Отметим, что среднее ожидаемое число детей, близкое или равное уровню воспроизводства, называли только женщины в возрасте от 33 до 42 лет со средним общим образованием.

Таблица 2. Среднее ожидаемое число детей
по уровню образования женщины и возрастным группам

Возраст на момент ВПН-2020	Возраст на момент МПН-1994	МПН-1994			Возраст на момент РидМиЖ-2004	РидМиЖ – 2004			Возраст на момент РПН-2012	РПН-2012		
		Высшее	Среднее специальное	Среднее общее		Высшее	Среднее специальное	Среднее общее		Высшее	Среднее специальное	Среднее общее
Среднее ожидаемое число детей												
30—34									21—25	1,98	2,02	2,13
35—39					18—22	2,02	1,76	1,80	26—30	2,00	1,98	2,06
40—44					23—27	1,96	1,99	2,00	31—35	1,98	1,95	2,09
45—49					28—32	1,91	1,96	2,14	36—40	1,79	1,86	2,02
50—54	23—27	1,43	1,52	1,60	33—37	1,74	1,76	1,83	41—45	1,57	1,73	2,12
55—59	28—32	1,54	1,72	1,87	38—42	1,65	1,81	2,02				
60—64	33—37	1,77	1,97	2,13	43—47	1,67	1,87	2,12				
65—69	38—42	1,67	1,86	2,02								
Стандартная ошибка среднего												
30—34									21—25	,04	,05	,06
35—39					18—22	,07	,10	,12	26—30	,03	,05	,09
40—44					23—27	,08	,06	,18	31—35	,04	,05	,09
45—49					28—32	,06	,05	,13	36—40	,04	,05	,11
50—54	23—27	,004	,003	,003	33—37	,07	,05	,09	41—45	,04	,05	,13
55—59	28—32	,003	,003	,003	38—42	,08	,05	,14				
60—64	33—37	,003	,003	,003	43—47	,07	,05	,11				
65—69	38—42	,003	,003	,003								

По данным РидМиЖ-2004 аналогичная обратная связь между уровнем образования и ожидаемым числом детей наблюдалась только для женщин, перешагнувших 30-летний рубеж, то есть тех, кто был старше 18 лет на момент проведения МПН-1994 или достиг совершеннолетия во второй половине 1990-х годов. Для женщин моложе 30 лет были характерны изменения в репродуктивных планах: во-первых, стерлись различия в ожидаемом числе детей между женщинами с высшим образованием и женщинами со средним профессиональным образованием, во-вторых, ожидаемое число детей у женщин этого возраста с этими уровнями образования стало выше и приблизилось к уровню простого воспроизводства в сравнении с женщинами более старшего возраста с аналогичным уровнем образования.

Наконец, данные РПН-2012 подтверждают отсутствие значимой образовательной дифференциации ожидаемого числа детей у молодых женщин в возрасте младше 35 лет и одновременно ее наличие у женщин старше этого возраста. Таким образом, речь идет о выравнивании репродуктивных планов молодых жен-

щин с разным уровнем образования и о сохранении высокой однородности репродуктивных намерений, ранее выявленной в работе А. О. Тындик [20126].

Реализация запланированного числа рождений

Мы сопоставили, насколько итоговое среднее число родившихся детей у женщин с разным уровнем образования к моменту ВПН-2020 соответствует изначальным и промежуточным планам женщин с аналогичным уровнем образования по данным МПН-1994, РидМиЖ-2004 и РПН-2012.

Самым старшим рассматриваемым нами поколением женщин в момент проведения ВПН-2020 было 65—69 лет. При проведении МПН в 1994 г. их возраст был от 38 до 42 лет. Учитывая довольно молодую возрастную модель рождаемости в России в советский период и в середине 1990-х годов, мы закономерным образом обнаружили, что среднее число когда-либо рожденных детей у этих женщин минимально отличается от среднего ожидаемого числа детей (см. табл. 3). Присутствует отрицательная связь уровня образования и среднего числа когда-либо рожденных детей. В целом в этой возрастной группе женщины независимо от уровня образования родили столько же, сколько планировали. Аналогичный вывод мы можем сделать и для женщин в возрастах 55—59 и 60—64 лет на момент ВПН-2020: доля реализованных намерений как при сравнении с ожидаемым числом детей по данным МПН-1994, так и по данным РидМиЖ-2004 для них составляет более 90 % независимо от уровня образования.

Таблица 3. **Итоговая рождаемость и процент выполнения репродуктивных намерений от ожидаемого числа детей по возрасту матери**

Возраст на момент ВПН-2020	Итоговая рождаемость			% выполненных намерений								
	ВПН-2020			МПН-1994			РидМиЖ-2004			РПН-2012		
	Высшее	Среднее специальное	Среднее общее	Высшее	Среднее специальное	Среднее общее	Высшее	Среднее специальное	Среднее общее	Высшее	Среднее специальное	Среднее общее
30—34	1,20	1,42	1,72							61	70	81
35—39	1,49	1,61	1,90				74	92	106	75	81	92
40—44	1,56	1,64	1,90				80	82	95	79	84	91
45—49	1,49	1,59	1,82				78	81	85	83	85	90
50—54	1,46	1,60	1,83	102	106	114	84	91	100	93	92	86
55—59	1,49	1,68	1,91	97	98	102	90	93	95			
60—64	1,58	1,77	1,94	90	90	91	95	95	92			
65—69	1,61	1,78	1,92	96	96	95						

Для тех женщин, которым на момент ВПН-2020 было 50—54 лет, прослеживается аналогичный образовательный градиент итогового числа рождений и ожидаемого числа детей. С той разницей, что этим женщинам на момент МПН-1994

было 23—27 лет и они находились в наиболее активных репродуктивных возрастах. Среднее число рожденных ими детей во всех образовательных группах оказалось несколько выше, чем ожидаемое число. Женщины из этих же поколений принимали участие и в РидМиЖ-2004 в возрасте 33—37 лет, и в РПН-2012 в возрасте 41—45 лет. Образовательные различия в ожидаемом числе детей присутствуют для данных поколений и по результатам этих опросов, при этом само по себе ожидаемое число детей по ответам оказалось сильно выше, чем раньше. Возможно, подобное изменение репродуктивных планов и оптимизм относительно необходимого числа детей внесли свой вклад в рождение большего среднего числа детей по сравнению с изначальными планами.

Для тех женщин, которым на момент переписи было 45—49 лет, характерна более близкая итоговая рождаемость по уровню образования в сравнении с женщинами из старшего поколения. Однако у них, как мы уже упоминали выше, репродуктивные планы оказались изначально выше, поэтому закономерно снизилась доля реализованных рождений. При этом обнаруживается негативная связь доли реализованных рождений с уровнем образования. Женщины с высшим образованием, по нашим оценкам, родили чуть более 70 % запланированных детей, со средним профессиональным — около 80 % детей, а со средним общим образованием — 85 %.

В более молодых поколениях женщин в возрасте от 30 до 44 лет ни по данным РидМиЖ-2004, ни по данным РПН-2012 не обнаружилось значимых различий в ожидаемом числе детей: женщины, имеющие высшее, среднее профессиональное или среднее основное образование, в среднем хотели бы родить около двух детей. Однако можно однозначно утверждать, что среднее число когда-либо рожденных детей к моменту ВПН-2020 у женщин, которым было от 30 до 44 лет, оказалось тем ниже, чем выше их уровень образования. Как следствие, разница между ожидаемым и уже рожденным числом детей также негативно связана с уровнем образования. Среди 30—34-летних женщин на момент ВПН-2020 среднее число рожденных детей составляет 60 % от ожидаемого в группе с высшим образованием, 70 % в группе со средним профессиональным и 80 % в группе со средним общим.

Среди женщин в возрасте 35—39 лет с высшим образованием среднее число рожденных детей составляет 75 % от ожидаемого, со средним профессиональным — около 80 % от ожидаемого, со средним общим — 92 % от ожидаемого. Аналогичный образовательный градиент реализации репродуктивных планов наблюдается и у женщин 40—44 лет. Эти числа свидетельствуют о том, что женщины в возрасте до 45 лет с разным уровнем образования хоть и декларировали одинаковые ожидания относительно количества детей в семье, но планы реализовали в разной степени. При этом женщины в возрасте 30—34 лет еще достаточно молоды, чтобы успеть родить больше детей, с некоторой осторожностью можно так же сказать и о женщинах в возрасте 35—39 лет, но значимая образовательная дифференциация в реализации репродуктивных ожиданий у женщин старше 40 лет уже явно не снизится.

В целом, если рассматривать разницу между итоговой рождаемостью и ожидаемым числом детей не в доле реализованных рождений, а в числе детей на жен-

щину (см. табл. 4), то разница по модулю в этих показателях в поколениях женщин, которым на момент переписи 2020 г. было от 55 до 69 лет, составляет от 0,1 до 0,2 рождения — именно на столько больше могла быть выше итоговая рождаемость, если бы все женщины родили изначально запланированное число детей. Поколение женщин, которым на момент переписи было 50—54 лет, пока остается единственным перевыполнившим репродуктивные планы молодости, однако эти женщины все равно родили меньше, чем им хотелось бы в более позднем возрасте. В более молодых поколениях наблюдается более существенная разница между планами и их реализацией: от 0,2 до 0,4 рождения в зависимости от уровня образования среди женщин старше 40 лет. В поколениях женщин в возрасте от 30 до 39 лет разрыв пока составляет от 0,2 до 0,8 ребенка на женщину в зависимости от уровня образования женщины.

Таблица 4. Разница между итоговым и ожидаемым числом рождений

Возраст на момент ВПН-2020	МПН-1994			РИДМИЖ-2004			РПН-2012		
	Высшее	Среднее специальное	Среднее общее	Высшее	Среднее специальное	Среднее общее	Высшее	Среднее специальное	Среднее общее
30—34							–0,78	–0,60	–0,41
35—39				–0,53	–0,15	0,10	–0,51	–0,37	–0,17
40—44				–0,40	–0,35	–0,10	–0,42	–0,31	–0,18
45—49				–0,42	–0,37	–0,32	–0,29	–0,27	–0,20
50—54	0,02	0,08	0,23	–0,28	–0,16	0,00	–0,12	–0,13	–0,29
55—59	–0,04	–0,04	0,04	–0,16	–0,12	–0,11			
60—64	–0,18	–0,20	–0,19	–0,09	–0,10	–0,17			
65—69	–0,06	–0,08	–0,10						

Заключение

Наша цель состояла в исследовании выполнения репродуктивных планов женщин с привлечением данных из пяти разных источников: данных о накопленной рождаемости россиянок на основе официальной статистики, результатов переписи населения 2020 г. и трех выборочных обследований. Каждый из этих источников данных обладает своими преимуществами и недостатками. В частности, различаются размеры выборок и формулировки вопросов, а также отсутствует информация об образовательной траектории респондентов в используемых социально-демографических обследованиях. Но, несмотря на неполную методологическую сопоставимость этих исследований, по итогам анализа мы увидели схожие тенденции касательно репродуктивных планов женщин с разным уровнем образования. Появление крупного регулярного выборочного обследования с панельной составляющей, собирающего подробную информацию о датах получения образования разного уровня, датах рождения детей, вступления в брак и сожительство, позволило бы расширить анализ.

По итогам проведенного анализа мы можем сделать следующие выводы. Первое, мы зафиксировали повышение среднего ожидаемого числа детей в поколениях женщин, родившихся в 1970-е годы, по сравнению с их предшественницами. Полагаем, что это изменение репродуктивных планов сказалось и на итоговой рождаемости, так как именно с поколения 1973 г. р. наблюдается ее увеличение. Второе, мы подтвердили существование однородности репродуктивных установок у молодых россиянок с разным уровнем образования, что ранее было выявлено в работе [Тындик, 2012б]. Третье, мы зафиксировали увеличение разрыва между средним ожидаемым числом детей по данным выборочных обследований и накопленным числом рождений к возрасту 45 лет. Мы не ставили перед собой задачу выявить причины нарастания этого разрыва, но можем утверждать, что в России, как и в некоторых других странах, ожидаемое число детей в молодых (и даже в активных репродуктивных) возрастах перестает играть роль ориентира итоговой рождаемости реального поколения. Четвертое, среди женщин, которым на момент ВПН-2020 г. было более 50 лет, образовательная дифференциация наблюдалась как по репродуктивным планам согласно обследованиям, проведенным в период их молодости, так и по итоговому числу рожденных детей. Но эти женщины фактически родили то среднее число детей, которое изначально планировали.

Пятое, среди женщин, которым на момент ВПН-2020 г. было 45—49 лет, проявляются сразу два образовательных градиента. Во-первых, сохраняется обычная обратная связь уровня образования как с ожидаемым, так и с итоговым числом детей: чем выше уровень образования, тем меньше детей женщины и планировали, и в итоге родили. Во-вторых, с уровнем образования связана и степень недореализации этих планов: чем выше уровень образования, тем большая доля запланированных рождений осталась неосуществленной. Этих женщин опрашивали дважды. В 1994 г., будучи совсем молодыми (19—23 года), они называли сравнительно низкое ожидаемое число детей — и в итоге родили больше, чем тогда планировали. Однако к 2004 г., наиболее активному репродуктивному возрасту (28—32 года), они родили заметно меньше, чем ожидали. Недовыполнение планов 2004 г. характерно для всех образовательных групп, но выражено тем сильнее, чем выше уровень образования.

Шестое, мы не обнаружили сильных различий в репродуктивных планах женщин в возрасте от 35 до 44 лет в зависимости от уровня образования, но зафиксировали, что к моменту ВПН-2020 г. они родили в среднем меньшее число детей, чем собирались родить по опросам общественного мнения, проведенным в период их молодости и нахождения в наиболее активных репродуктивных возрастах. Разрыв между ожидаемым и реализованным числом рождений тем больше, чем выше уровень образования женщины. При этом женщины с высшим и неполным высшим образованием не реализовали в этих возрастных группах порядка 20—25 % среднего запланированного числа рождений, женщины со средним профессиональным — от 15 до 20 %, а со средним общим — 8 % запланированных рождений. Это означает, что есть определенные причины или сложности, мешающие осуществлению репродуктивных планов и приводящие к отказу от рождения детей во всех образовательных группах.

Российские исследователи в начале 2010-х годов пытались разобраться в причинах существования образовательного градиента в недореализации репродуктивных планов и, в частности, призывали к внедрению мер политики, ориентированных на разные образовательные группы [Тындик, 2012а]. В конце 2024 г. вышел совместный доклад Общественной палаты РФ и Федеральной службы государственной статистики, в котором подчеркивается, что «*нереализованная потребность в детях у возрастной категории 30—40 лет — самый большой резерв восстановления рождаемости в стране*» [Семья и дети в России, 2024: 23]. Мы не можем не согласиться с этим выводом, но все же хотелось бы добавить, что наиболее далеки от достижения запланированного числа детей в этой возрастной группе оказались женщины с высшим образованием. Если для женщин с высшим образованием в возрасте 30—34 лет мы можем предположить, что они начали рожать позже и, возможно, в итоге догонят по числу рожденных детей женщин с более низким уровнем образования, то у женщин 35—39 лет уже биологически меньше шансов реализовать отложенные деторождения, и поэтому вероятно, что сохранится столь большой наблюдаемый разрыв между планами и их реализацией.

Учитывая, что женщины с высшим образованием обладают большим человеческим капиталом, чем женщины с более низким уровнем образования, кажется логичным выявление факторов и причин, мешающих реализации ими их репродуктивных планов. Но, с другой стороны, женщины с образованием ниже высшего тоже стали реже рожать изначально запланированное число детей. Является ли это следствием откладывания деторождений, что, учитывая возрастные биологические ограничения, ведет к невозможности родить желанное число детей? Или же финансовая и жилищная необеспеченность, которыми в опросах общественного мнения женщины часто объясняют свое нежелание родить (еще одного) ребенка, настолько велики, что ведут к столь высокому проценту отказов от рождения этого ребенка?

Мы хотели бы обратить внимание на то, что в России, как и в других странах, увеличение длительности периода получения профессионального образования остановилось, то есть объяснить откладывание рождений на более поздний возраст и снижение рождаемости расширением группы женщин, получающих высшее образование, нельзя. При этом по опросам общественного мнения⁴ семья и дети остаются одними из главных ценностей для россиян.

Мы предполагаем, что причиной нарастающей недореализации репродуктивных планов становятся иные факторы, имеющие нематериальный характер, так как группа высокообразованных женщин довольно широко представлена в российском обществе. Изменения в репродуктивном поведении после 1960-х и снижение рождаемости ниже уровня простого воспроизводства в развитых странах объяснялись появлением возможности планирования семьи, фокусом на самореализации, вписыванием рождения детей в индивидуальный жизненный путь, поиском баланса семьи и карьеры: всеми теми демографическими и социальными изменениями, которые объединены теорией Второго демографического перехода [Lesthaeghe, 2014]. Сейчас исследователи все больше внимания обращают

⁴ Семья в системе ценностей россиян // ВЦИОМ. 2024. 6 июня. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/senja-v-sisteme-cennostei-rossijan> (дата обращения: 07.03.2026).

на увеличение влияния создаваемой медиа идеальной картинки, транслирующей стандарты жизни и потребления, а также нарастание неуверенности в будущем, а также на факторы, связанные с нежеланием менять образ жизни [Rotkirch, 2020; Savelieva, Jokela, Rotkirch, 2022], нарастание гедонизма и ценности жизни в свое удовольствие [Leijen, van Herk, Bardi, 2022], в том числе среди россиян [Магун, 2023], что в целом не противоречит теории Второго демографического перехода, но говорит об усилении влияния культуры и ценностей на принятие решений о рождении детей. Полагаем, стирание образовательных различий в репродуктивных планах означает появление социально-экономической однородности в предпочитаемой детности. Тогда как разница в реализации запланированного числа рождений между разными образовательными группами может свидетельствовать не только о большем детоцентризме или большем интенсивном родителстве со стороны женщин с более высоким уровнем образования, но и о появлении конкуренции между материальными затратами на рождение (еще одного) ребенка и на жизнь в свое удовольствие и удовольствие уже рожденных детей, так как рождение большего числа детей ведет к снижению уровня жизни.

Список литературы (References)

1. Андреев Е. М., Бондарская Г. А. Можно ли использовать данные об ожидаемом числе детей в прогнозе численности населения // Вопросы статистики. 2000. № 11. С. 56—62.
Andreev E. M., Bondarskaya G. A. (2000) Can the Expected Number of Children Be Used in Population Forecasting. *Voprosy Statistiki*. No. 11. P. 56—62 (In Russ.)
2. Андреев Е. М., Харьковская Т. Л. Сравнительный анализ данных из разных источников о числе рожденных детей // Вопросы статистики. 2013. № 5. С. 38—46.
Andreev E. M., Kharkova T. L. (2013) Comparative Analysis of Data from Different Sources on the Number of Children Born. *Voprosy Statistiki*. No. 5. P. 38—46 (In Russ.)
3. Архангельский В. Н., Шульгин С. Г., Зинькина Ю. В. Репродуктивное поведение российских женщин в зависимости от образовательного статуса // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2020. Т. 20. № 3. С. 546—559. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2020-20-3-546-559>.
Arkhangelsky V. N., Shulgin S. G., Zinkina Yu. V. (2020) Reproductive Behavior of Russian Women as Depending on Their Level of Education. *RUDN Journal of Sociology*. Vol. 20. No. 3. P. 546—559. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2020-20-3-546-559>. (In Russ.)
4. Гудкова Т. Б. Репродуктивные намерения россиян: мотивация и сдерживающие факторы // Демографическое обозрение. 2019. Т. 6. № 4. С. 83—103. <https://doi.org/10.17323/demreview.v6i4.10428>.
Gudkova T. B. (2019) Fertility Intentions in Russia: Motivation and Constraints. *Demographic Review*. Vol. 6. No. 4. P. 83—103. <https://doi.org/10.17323/demreview.v6i4.10428>. (In Russ.)

5. Козлова О. А., Архангельский В. Н. Прогноз рождаемости в России: подходы, гипотезы, результаты // Вестник Российской академии наук. 2021. Т. 91. № 9. С. 845—855. <https://doi.org/10.31857/S0869587321090061>.
Kozlova O. A., Arkhangelsky V. N. (2021) Russian Fertility Forecast: Approaches, Hypotheses, and Results. *Herald of the Russian Academy of Sciences*. Vol. 91. No. 9. P. 845—855. <https://doi.org/10.31857/S0869587321090061>. (In Russ.)
6. Магун В. С. Эволюция базовых ценностей российского населения, 2006—2021 годы // Социологические исследования. 2023. № 12. С. 44—58.
Magun V. S. (2023) The Evolution of Basic Human Values of the Russians, 2006—2021. *Sociological Studies*. No. 12. P. 44—58. (In Russ.)
7. Макаренцева А. О., Бирюкова С. С. Факторы, устойчивость и реализация репродуктивных намерений в России // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2023. Т. 2. № 174. С. 31—56. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2023.2.2379>.
Makarentseva A. O., Biryukova S. S. (2023) Factors, Consistency, and Realization of Reproductive Intentions in Russia. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. Vol. 2. No. 174. P. 31—56. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2023.2.2379>. (In Russ.)
8. Митрофанова Е. С. Календари и последовательности событий у разных поколений взрослеющих жителей Франции, Эстонии и России // Демографическое обозрение. 2023. Т. 10. № 1. С. 108—135. <https://doi.org/10.17323/demreview.v10i1.17262>.
Mitrofanova E. S. (2023) Calendars and Sequences of Events During the Transition to Adulthood Among Different Generations in France, Estonia and Russia. *Demographic Review*. Vol. 10. No. 1. P. 108—135. <https://doi.org/10.17323/demreview.v10i1.17262>. (In Russ.)
9. Осипова И. Репродуктивные установки россиян и отношение к государственным мерам поддержки рождаемости // Демографическое обозрение. 2020. Т. 7. № 2. С. 97—120. <https://doi.org/10.17323/demreview.v7i2.11143>.
Osipova I. (2020) Reproductive Attitudes of Russians and How They Regard Government Measures to Support Fertility. *Demographic Review*. Vol. 7. No. 2. P. 97—120. <https://doi.org/10.17323/demreview.v7i2.11143>. (In Russ.)
10. Семья и дети в России. Специальный доклад Общественной палаты Российской Федерации. Статистический сборник Росстата / общ. ред. и сост. Галкина С. С. и Михеевой Л. Ю. М.: ОП РФ, 2024. URL: <https://files.oprf.ru/storage/documents/doklad-semiya-deti-2024.pdf> (дата обращения: 01.07.2025)
Galkina S. S., Mikheeva L. Yu. (eds.) (2024) Family and Children in Russia. Special Report of the Civic Chamber of the Russian Federation. Rosstat Statistical Handbook. Moscow: The Civic Chamber of the Russian Federation. URL: <https://files.oprf.ru/storage/documents/doklad-semiya-deti-2024.pdf> (accessed: 01.07.2025). (In Russ.)

11. Синявская О. В., Тынди́к А. О. Вклад репродуктивных намерений в объяснение рождаемости в современной России // X Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 3 кн. Кн. 3. / общ. ред. и сост. Е. Г. Ясина. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010. С. 22—30.
 Sinyavskaya O. V., Tyndik A. O. (2010) Contribution of Reproductive Intentions in Explaining Fertility in Modern Russia. In: Yasin Ye. G. (ed.) *X International Scientific Conference on Problems of Development of Economy and Society*. Moscow: HSE Press. P. 22—30. (In Russ.)
12. Тынди́к А. О. Репродуктивные установки и их реализация в современной России // Журнал исследований социальной политики. 2012a. Т. 10. № 3. С. 361—376. <https://jsps.hse.ru/article/view/3471>.
 Tyndik A. O. (2012a) Reproductive Attitudes and Their Realization in Modern Russia. *The Journal of Social Policy Studies*. Vol. 10. No. 3. P. 361—376. <https://jsps.hse.ru/article/view/3471> (In Russ.)
13. Тынди́к А. О. Образовательный фактор репродуктивного поведения населения России: автореф. дисс. ... канд. экон. наук. Москва, 2012б.
 Tyndik A. O. (2012b) Educational Factor of Reproductive Behaviour of the Russian Population. Extended Abstract of PhD Dissertation in Economic Science. Moscow. (In Russ.)
14. Чурилова Е. В., Захаров С. В. Репродуктивные установки населения России: есть ли повод для оптимизма? // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2019. Т. 129. № 3—4. С. 69—89.
 Churilova E. V., Zakharov S. V. (2019) Reproductive Attitudes of the Russian Population: is There a Reason for Optimism? *The Russian Public Opinion Herald. Data. Analysis. Discussions*. Vol. 129. No. 3—4. P. 69—89. (In Russ.)
15. Чурилова Е. В. Репродуктивные установки в современной России: постоянство идеала двухдетной семьи на фоне меняющегося репродуктивного поведения // Аист на крыше. Демографический журнал. 2023. № 11. Ст. 1.
 Churilova E. V. (2023) Reproductive Attitudes in Modern Russia: the Constancy of the Ideal of a Two-child Family Against the Background of Changing Reproductive Behaviour. *Stork on the Roof. Demographic Journal*. No. 11. Art. 1. (In Russ.)
16. Beaujouan E., Berghammer C. (2019) The Gap Between Lifetime Fertility Intentions and Completed Fertility in Europe and the United States: A Cohort Approach. *Population Research and Policy Review*. Vol. 38. P. 507—535. <https://doi.org/10.1007/s11113-019-09516-3>.
17. Beaujouan E., Singh S. (2025) Do Fertility Goals Provide a Good Approximation of Fertility Patterns? Report on webinar “Fertility Goals: Conceptualization, Measurement, and Impact for Science and Policy”. 24 March 2025. <https://www.bgsu.edu/ohio-population-consortium/events-opc/webinar.html> (accessed: 01.07.2025)
18. Berrington A., Pattaro S. (2014) Educational Differences in Fertility Desires, Intentions and Behaviour: A Life Course Perspective. *Advances in Life Course Research*, Vol. 21, P. 10—27, <https://doi.org/10.1016/j.alcr.2013.12.003>.

19. Churilova E., Andreev E. M., Chertenkov K., Kishenin P., Rodina O., Sokolova V. (2024) Russian Fertility Database. *Population and Economics*. Vol. 8. No. 4. P. 138—149. <https://doi.org/10.3897/popecon.8.e135073>.
20. Hudde A., Cohen P. N. (2024) Completed US Fertility by Sex, Cohort, and Education Level. *Socius: Sociological Research for a Dynamic World*. Vol. 10. P. 1—3. <https://doi.org/10.1177/237802312412616>.
21. Jalovaara M., Neyer G., Andersson G., Dahlberg J., Dommermuth L., Fallesen P., Lappegård T. (2019) Education, Gender, and Cohort Fertility in the Nordic Countries. *European Journal of Population*. Vol. 35. P. 563—586. <https://doi.org/10.1007/s10680-018-9492-2>.
22. Lesthaeghe R. (2014) The Second Demographic Transition: A Concise Overview of Its Development. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. Vol. 111. No. 51. P. 18112—18115. <https://doi.org/10.1073/pnas.1420441111>.
23. Leijen I., van Herk H., Bardi A. (2022) Individual and Generational Value Change in an Adult Population, a 12-year Longitudinal Panel Study. *Scientific Reports*. Vol. 12. No. 1. Art. 17844. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-22862-1>.
24. Mitrofanova E. S., Makarov S. A. (2023) West and East: Convergence or Divergence of Millennials' Transition to Adulthood in Four European Countries. *Population and Economics*. Vol. 7. No. 4. P. 68—90. <https://doi.org/10.3897/popecon.7.e112452>.
25. Nisén J., Klüsener S., Dahlberg J., Dommermuth L., Jasilionienė A., Kreyenfeld M., Lappegård T., Li P., Martikainen P., Neels K., Riederer B. (2021) Educational Differences in Cohort Fertility Across Sub-national Regions in Europe. *European Journal of Population*. Vol. 37. P. 263—295. <https://doi.org/10.1007/s10680-020-09562-0>.
26. Rotkirch A. (2020) The Wish for a Child. *Vienna Yearbook of Population Research*. Vol. 18. P. 49—61. <https://doi.org/10.1553/populationyearbook2020.deb05>.
27. Savelieva K., Jokela M., Rotkirch A. (2022) Reasons to Postpone Childbearing During Fertility Decline in Finland. *Marriage & Family Review*, Vol. 59. No. 3. P. 253—276. <https://doi.org/10.1080/01494929.2022.2083283>.
28. Zeman K., Brzozowska Z., Sobotka T., Beaujouan E., Matysiak A. (2017) Cohort Fertility and Education Database. Methods Protocol.

**Приложение 1. Накопленная рождаемость к возрасту 45 лет
и среднее ожидаемое число детей в когортах женщин 1949—1979 гг.р.**

Год рождения женщины	Накопленная рождаемость к возрасту 45 лет	Среднее ожидаемое число детей			Число респондентов			Стандартная ошибка среднего		
		МПН-1994	РиДМиЖ-2004	РПН-2012	МПН-1994	РиДМиЖ-2004	РПН-2012	МПН-1994	РиДМиЖ-2004	РПН-2012
1949	1,809	1,855			57 388			0,005		
1950	1,861	1,851			54 312			0,005		
1951	1,866	1,876			54 307			0,005		
1952	1,880	1,891			55 610			0,005		
1953	1,874	1,900			55 066			0,005		
1954	1,867	1,912			60 072			0,004		
1955	1,879	1,916			58 693			0,004		
1956	1,878	1,936			59 096			0,004		
1957	1,867	1,936			61 610			0,004		
1958	1,863	1,914			62 970			0,004		
1959	1,865	1,911	1,94		62 358	148		0,004	0,089	
1960	1,864	1,882	1,78		63 650	167		0,004	0,071	
1961	1,842	1,860	1,85		60 299	144		0,004	0,092	
1962	1,797	1,820	1,79		57 054	145		0,004	0,071	
1963	1,754	1,784	1,74		54 825	129		0,004	0,073	
1964	1,721	1,741	1,75		49 546	136		0,004	0,085	
1965	1,687	1,699	1,96		47 984	101		0,004	0,116	
1966	1,668	1,658	1,80		46 315	111		0,004	0,084	
1967	1,653	1,616	1,72		45 109	114		0,004	0,072	
1968	1,629	1,575	1,65	1,67	45 597	109	187	0,004	0,087	,068
1969	1,618	1,528	1,97	1,68	45 612	107	235	0,004	0,108	,060
1970	1,611	1,494	1,78	1,66	49 889	127	194	0,004	0,078	,059
1971	1,596	1,469	1,86	1,84	50 187	105	167	0,004	0,092	,075
1972	1,586	1,448	2,14	1,69	52 909	115	196	0,004	0,099	,071
1973	1,575	1,417	2,06	1,87	52 082	118	179	0,004	0,089	,071
1974	1,584	1,392	1,94	1,84	52 741	112	194	0,005	0,087	,064
1975	1,601	1,361	1,91	1,91	52 278	116	221	0,005	0,077	,056
1976	1,608		1,96	1,81		106	243		0,073	,058
1977	1,626		2,23	2,01		106	216		0,132	,058
1978	1,647		2,01	2,01		121	181		0,086	,066
1979	1,669		1,94	1,91		110	196		0,104	,060

Приложение 2. Результаты проверки гипотезы о равенстве среднего ожидаемого числа детей у женщин разного возраста с указанным уровнем образования

Исследование		Высшее	Среднее специальное	Среднее общее
МПН-1994	F-статистика	798,078	3869,838	8145,320
	значимость	,000	,000	,000
РиДМиж-2024	F-статистика	3,927	2,405	1,445
	значимость	,001	,026	,197
РПН-2012	F-статистика	21,079	5,676	,186
	значимость	,000	,000	0,946

Приложение 3. Результаты проверки гипотезы о равенстве среднего ожидаемого числа детей у женщин с разным уровнем образования в указанной возрастной группе

Исследование	Возрастная группа					
		23—27	28—32	33—37	38—42	
МПН-1994						
F-статистика		601,204	2451,799	3927,114	3925,926	
Значимость		0,000	0,000	0,000	0,000	
РиДМиж-2012	18—22	23—27	28—32	33—37	38—42	43—47
F-статистика	2,023	,550	1,626	,275	3,883	7,625
Значимость	0,136	0,964	0,198	0,760	0,021	0,001
РПН-2012	21—25	26—30	31—35	36—40	41—45	
F-статистика	1,475	0,400	1,032	2,918	12,555	
Значимость	0,229	0,670	0,357	0,055	0,000	

DOI: [10.14515/monitoring.2026.4.3211](https://doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3211)



С. В. Захарова

РЕПРОДУКТИВНЫЕ НАМЕРЕНИЯ И РАЗДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ В СЕМЬЕ: ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СВЯЗИ НА РОССИЙСКИХ ДАННЫХ

Правильная ссылка на статью:

Захарова С. В. Репродуктивные намерения и разделение обязанностей в семье: эмпирическая оценка связи на российских данных // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2026. № 4. С. 207—230. <https://www.doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3211>.

For citation:

Zakharova S. V. (2026) Reproductive Intentions and Division of Chores in the Family: An Empirical Assessment of the Relationship Using Russian Data. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 207–230. <https://www.doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3211>. (In Russ.)

Получено: 04.12.2025. Принято к публикации: 24.06.2026.

РЕПРОДУКТИВНЫЕ НАМЕРЕНИЯ И РАЗДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ В СЕМЬЕ: ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СВЯЗИ НА РОССИЙСКИХ ДАННЫХ

ЗАХАРОВА Светлана Владимировна — аспирант факультета экономических наук, стажер-исследователь Центра комплексных исследований социальной политики Института социальной политики, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
E-MAIL: svzaharova@hse.ru
<https://orcid.org/0009-0000-0842-5300>

Аннотация. Статья представляет эмпирический анализ связи между репродуктивными намерениями россиян и разделением домашних обязанностей в сочетании с уровнем удовлетворенности им. Работа опирается на теоретические подходы, связывающие рождаемость с участием мужчин и женщин в домашнем труде, и продолжает методологию, предложенную в исследовании Б. Ридерера и соавторов на данных четырех европейских стран. Эмпирической базой стали данные первой волны (2004 г.) репрезентативного обследования «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе» (РидМиЖ; обследование проведено в России в рамках международной программы «Поколения и гендер»). На основе четырех видов домашних занятий (приготовление еды, мытье посуды, покупка продуктов, уборка) был сконструирован индекс, позволивший выделить группы домохозяйств с традиционным и модернизированным разделением труда. Затем данный индекс был совмещен с тремя уровнями удовлетворенности сложившимся распределением. Для проверки гипотез оценивалась бинарная логистическая регрессия с зависимой переменной — намерением завести ребенка в ближайшие три года. Модели оценивались отдельно для мужчин и женщин, а также для

REPRODUCTIVE INTENTIONS AND DIVISION OF CHORES IN THE FAMILY: AN EMPIRICAL ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP USING RUSSIAN DATA

Svetlana V. ZAKHAROVA¹ — PhD Student, Faculty of Economic Sciences, Research Assistant at the Centre for Comprehensive Social Policy Studies, Institute for Social Policy
E-MAIL: svzaharova@hse.ru
<https://orcid.org/0009-0000-0842-5300>

¹ HSE University, Moscow, Russia

Abstract. This article presents an empirical analysis of the relationship between Russians' reproductive intentions and the division of household chores, along with their satisfaction with it. The study draws on theoretical approaches linking fertility to the participation of men and women in domestic labor, and builds upon the methodology proposed in a study by Riederer and co-authors using data from four European countries. The empirical basis is the first wave (2004) of the nationally representative survey "Parents and Children, Men and Women in Family and Society" (implemented in Russia as part of the international Generations and Gender Programme). Based on four types of household chores (cooking, washing dishes, shopping for groceries, and cleaning), the author constructed an index to classify households into groups with traditional and modernized division of labor. This index was then combined with three levels of satisfaction with the existing distribution. To test the hypotheses, a binary logistic regression was estimated with the dependent variable being the intention to have a child in the next three years. Models were estimated separately for men and women, as well as for respondents with and without children. The results showed that a combination of a modernized division of labor and extremely high satisfaction with it is significant

респондентов с детьми и без детей. Результаты показали, что для формирования положительных намерений значимо сочетание модернизированного разделения труда и чрезвычайно высокой удовлетворенности им. Напротив, традиционное разделение труда в сочетании с низкой удовлетворенностью оказалось одним из заметных негативных факторов. Анализ на подвыборках выявил гетерогенность: для женщин значим положительный эффект от модернизированного разделения труда и высокой удовлетворенности, в то время как для мужчин значимым остался только негативный эффект от неудовлетворенности традиционной моделью. Связь разделения труда и намерений устойчива для респондентов с детьми, но малозначима для бездетных.

Ключевые слова: рождаемость, репродуктивное поведение, репродуктивные намерения, разделение домашних обязанностей, модели бинарного выбора

Благодарность. Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ (HSE-BR-2025-013). Автор выражает искреннюю благодарность Е. С. Вакуленко и рецензентам статьи за ценную обратную связь, замечания и рекомендации, которые помогли улучшить ее содержание.

Введение

В современной России повышение рождаемости — один из приоритетов демографической политики. Обширный пласт исследований и мер государственной поддержки сосредоточен на объективных экономических факторах, таких как введение материнского капитала, поддержание доступности жилья через введение льготных семейных ипотек и др. [Slonimczyk, Yurko, 2014; Вакуленко, Евграфова, 2025]. При этом все больше исследований указывает на важность учета внутри-семейных и субъективных факторов, связанных с принятием решений о рождении ребенка [Вакуленко и др., 2024]. В частности, характер распределения труда в семье и то, насколько партнеры им удовлетворены, может быть не менее значимым

for the formation of positive intentions. In contrast, traditional division of labor combined with low satisfaction proved to be one of the notable negative factors. Analysis on subsamples revealed heterogeneity: for women, the positive effect of modernized division of labor with high satisfaction was significant, whereas for men, only the negative effect of dissatisfaction with the traditional model remained significant. The link between division of labor and intentions is robust for respondents with children but almost statistically insignificant for childless respondents.

Keywords: fertility, reproductive behavior, reproductive intentions, division of household chores, binary choice models

Acknowledgments. This article is an output of a research project (HSE-BR-2025-013) implemented as part of the Basic Research Program at HSE University. The author expresses sincere gratitude to Elena Vakulenko and the anonymous reviewers for their valuable feedback, comments, and recommendations, which helped to improve the content of the article.

фактором репродуктивного поведения, чем объективные экономические условия. Изучение таких механизмов — актуальная задача экономики домохозяйств.

Сложившаяся в России модель распределения домашних обязанностей отличается асимметрией: основная нагрузка по дому и уходу за детьми приходится на женщин, даже при их высокой занятости на рынке труда [Антонов, Карпова, Ляликова, 2024; Барсукова, Радаев, 2001]. При этом, как показывают исследования, ключевую роль играет не только фактическое распределение обязанностей, но и его субъективное восприятие и удовлетворенность им [Макаренцева, Бирюкова, Третьякова, 2017]. Зарубежные ученые выявили, что более равномерное участие партнеров в домашнем труде, особенно в сочетании с высокой удовлетворенностью таким распределением, положительно связано с репродуктивными намерениями [Riederer, Buber-Ennsner, Brzozowska, 2019; Kan, Hertog, Kolpashnikova, 2019]. Несмотря на признание важности справедливого распределения труда в семье, эмпирических исследований в российском контексте, в которых такая связь с репродуктивным поведением находилась бы в фокусе работы, остается недостаточно.

Репродуктивные установки могут пониматься в исследованиях по-разному: как намерение родить ребенка в определенный период, желаемое число детей, предпочтительные интервалы между рождениями детей. В настоящей работе репродуктивные намерения рассматриваются как краткосрочные намерения рождения (еще одного) ребенка в течение ближайших трех лет. Цель исследования — выявление связи между намерениями завести ребенка в ближайшие три года и характером распределения домашних обязанностей в паре в сочетании с уровнем удовлетворенности этим распределением.

Для достижения данной цели были проанализированы данные первой волны (2004 г.) репрезентативного обследования «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе» (РидМиЖ). В работе рассматривалась выборка респондентов репродуктивного возраста (18—45 лет), состоящих в отношениях. Для оценки связи репродуктивных намерений с разделением домашних обязанностей и удовлетворенностью им оценивалась бинарная логистическая регрессия. Ключевыми объясняющими переменными выступили переменные, показывающие тип распределения обязанностей в домохозяйстве в сочетании с удовлетворенностью им. Для проверки устойчивости результатов и выявления гетерогенности были оценены отдельные модели на подвыборках мужчин и женщин, а также респондентов с детьми и без детей.

Таким образом, работа призвана внести вклад в сложившуюся научную дискуссию путем эмпирического исследования репродуктивных намерений россиян в 2000-е годы.

Обзор литературы

Теоретическая рамка

Изучение репродуктивного поведения может быть основано на анализе репродуктивных намерений или фактических рождений. К репродуктивному поведению можно применить теорию планируемого поведения [Ajzen, 1991]: с этой точки зрения намерение рассматривается как основной предшественник действия. Само

намерение формируется под воздействием трех групп факторов (установок, субъективных норм и воспринимаемого поведенческого контроля), которые в контексте рождаемости могут выражаться как осознанное желание рождения ребенка; существующие в обществе социальные нормы и имеющиеся у семьи ресурсы. В России изучение репродуктивных намерений показывает их связь с фактическими рождениями: исполняются 97 % высказанных отрицательных намерений о рождении ребенка в перспективе трех лет, а также порядка 40 % определенных положительных намерений [Макаренцева, Бирюкова, 2023]. Таким образом, анализ репродуктивных намерений позволяет выявить факторы, связанные именно с принятием решения о рождении ребенка до его реализации.

Что касается связи рождаемости и разделения домашних обязанностей, здесь можно выделить два главных направления дискуссии. В экономическом анализе рождаемости широко распространена работа Г. Беккера о выборе родителей между количеством и качеством детей при условии имеющихся ограничений [Becker, 1960]. Но, кроме того, Беккер также внес вклад в обсуждение связи репродуктивного поведения и характера разделения труда в домохозяйстве. Он рассматривал домохозяйство как единицу, максимизирующую свою полезность, для которой может существовать выгода от следующей специализации: мужчина специализируется на рыночном труде, а женщина — на домашнем труде, рождении и воспитании детей [Becker, 1985]. Согласно этому подходу, подобное традиционное разделение труда должно приводить к более высокой рождаемости. В экономическом анализе рождаемости также подчеркивается важность альтернативных издержек времени женщин [Willis, 1973; Schultz, 1986]. Авторы показывали, что рост доходов и уровня образования женщин увеличивает ценность их времени на рынке труда, что может приводить к снижению рождаемости.

С другой стороны, ряд авторов отмечает, что в странах, где значительно выросли человеческий капитал и возможности женщин на рынке труда, неравенство в семейной жизни может становиться причиной снижения темпов рождаемости [McDonald, 2000; Goldin, 2025]. Обосновывая предложенную теоретическую модель, К. Голдин на межстрановых данных показывает: суммарный коэффициент рождаемости оказывается ниже в тех странах, где выше разрыв во времени, затрачиваемом на неоплачиваемый домашний труд между женщинами и мужчинами. Согласно данному подходу, повышение рождаемости в современных условиях возможно, если мужчина принимает справедливое участие в домашнем труде и уходе за детьми, что снижает «цену» материнства для женщины.

Обзор эмпирических исследований:

бюджеты времени, разделение труда и рождаемость

Эмпирические исследования факторов рождаемости, проведенные на репрезентативных данных (Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ, «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе», Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения), показывают устойчивую связь репродуктивных планов и наличия образования, определенного материального положения [Журавлева, Гаврилова, 2017; Тындык, 2012]. Даже при наличии положительных репродуктивных намерений сдерживающими фак-

торами выступают социально-экономические условия и субъективные оценки благосостояния семьи [Гудкова, 2019]. Экономические ограничения дополняются воспринимаемыми рисками и нагрузкой, связанными с рождением ребенка.

Анализ бюджетов времени также показывает различия между мужчинами и женщинами в распределении домашнего труда в российских семьях. Данные Выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением 2019 г. показывают, что матери несут основную нагрузку по уходу за детьми, причем с ростом числа детей становится заметна тенденция: время женщин на оплачиваемый труд сокращается, а на домашний — возрастает [Антонов и др., 2024]. С другой стороны, увеличение рыночной занятости не всегда компенсируется соответствующим перераспределением домашних обязанностей [Барсукова, Радаев, 2001].

При анализе бюджетов времени важным фактором может быть субъективное восприятие существующих различий. Исследования показывают наличие устойчивого расхождения в оценках времени, затрачиваемого на домашний труд, между мужчинами и женщинами [Макаренцева и др., 2017]. Мужчины склонны оценивать как собственное участие, так и участие супруги (партнера) выше, что приводит к различающимся оценкам. Это восприятие связано с удовлетворенностью распределением обязанностей, которая может зависеть от продолжительности отношений и наличия детей. Таким образом, в рамках данного исследования можно предполагать, что именно сочетание разделения труда и субъективной удовлетворенности им — значимый фактор, влияющий на принятие репродуктивных решений.

Непосредственная связь между разделением домашнего труда и репродуктивными решениями была в фокусе ряда зарубежных исследований. Можно отметить общую тенденцию: более равное участие партнеров в выполнении домашних обязанностей положительно связано с репродуктивными планами. Эти сходства можно заметить в работах по странам с низким уровнем рождаемости, но различным культурным контекстом: в странах Азии, Европы, Америки.

На данных Восточной Азии (Китай, Япония, Южная Корея) авторы выявили, что участие мужей в домашнем труде положительно связано с идеальным числом детей как у женщин, так и у мужчин [Kan et al., 2019]. Сравнительное исследование России и Швеции показывает, что даже при схожей модели семьи с двумя «кормильцами» и сравнимом уровне занятости женщин традиционные женские и мужские роли в России поддерживаются заметно сильнее и распределение домашнего труда остается менее равномерным [Кравченко, Аквиле, 2008].

В отдельных работах предлагается рассматривать также удовлетворенность сложившимся разделением труда [Riederer et al., 2019]. На данных четырех европейских стран (Австрия, Венгрия, Польша и Франция) авторы показали, что сбалансированная модель разделения обязанностей положительно связана с краткосрочными репродуктивными намерениями в тех парах, где партнеры удовлетворены таким распределением. Важным вывод также в том, что разделение труда значимо связано именно с формированием намерений, в то время как его роль в последующей реализации рождений оказывается менее существенной и требует дальнейшего изучения.

Исследования, использующие замеры временных затрат на основе данных бюджетов времени, показывают значимость воспринимаемой нагрузки. Так, на данных Финляндии доказано, что увеличение времени, затрачиваемого женщинами на домашний труд, снижает вероятность последующих рождений [Miettinen, Lainiala, Rotkirch, 2015]. Канадские данные также свидетельствуют о значимом эффекте занятости: работающие женщины, разделявшие домашние обязанности с партнером, демонстрировали более высокие намерения родить ребенка, при этом уровень образования такой роли не играл [Erfani, Pilon, 2025].

Таким образом, современное состояние исследований позволяет сформулировать основные содержательные гипотезы работы.

Гипотеза 1. Формирование репродуктивных намерений значимо связано с разделением труда в домохозяйстве в сочетании с субъективной удовлетворенностью им.

Гипотеза 2. Традиционное разделение труда в сочетании с низкой удовлетворенностью им снижает вероятность формирования намерений рождения ребенка в ближайшие три года.

Гипотеза 3. Модернизированное разделение труда в сочетании с высокой удовлетворенностью им повышает вероятность формирования намерений рождения ребенка в ближайшие три года.

Работа призвана внести вклад в сложившуюся дискуссию путем эмпирического исследования на репрезентативных данных для России, где, как было показано ранее, существует асимметрия в распределении домашних обязанностей. В части методов в работе развивается подход, предложенный в исследовании по схожим международным данным [Riederer et al., 2019].

Данные и методология

Данные

Исследование основано на данных первой волны (2004 г.) репрезентативного российского социально-демографического обследования «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе» (РиДМиЖ), являвшегося частью международной программы «Поколения и гендер». Несмотря на то что данные были собраны достаточно более 20 лет назад, изучение сложившихся моделей семейного поведения сохраняет актуальность. Кроме того, уникальность источника и его связь с международным исследованием позволяют проводить межстрановые сопоставления за аналогичные периоды. При возобновлении обследования или появлении более современных данных, допускающих применение аналогичной методологии, станет возможным анализ изменений репродуктивного поведения за прошедшее время с реализацией схожей методологии.

В выборку вошли респонденты репродуктивного возраста (18—45 лет), состоящие в браке или имеющие партнера и проживающие с ним (с ней) в одном домохозяйстве. Зависимой переменной выступили репродуктивные намерения на ближайшие три года. Респондентам задавался вопрос: «Собираетесь ли Вы завести (еще одного) ребенка в течение ближайших трех лет?», ответам «Определенно да» и «Пожалуй, да» присваивалось значение 1, ответам «Определенно нет» и «Пожалуй, нет» — значение «0».

Дополнительно были рассмотрены доли респондентов, у которых ребенок родился до второй волны РидМиЖ (2007 г.). Для этого данные первых двух волн были объединены; при определении реализации репродуктивных намерений учитывались фактические рождения между опросами и беременности на момент второй волны в соответствии с подходом, применяемым в других работах [Макаренцева, Бирюкова, 2023].

Методология

Для оценки взаимосвязи разделения труда в семье и репродуктивных намерений оценивалась бинарная логистическая модель. Зависимой переменной выступало намерение рождения ребенка в течение ближайших трех лет. Описание конструирования объясняющих переменных в модели представлено далее. Для элементов, составивших ключевые объясняющие переменные в регрессионных моделях, также представлен описательный анализ.

Кроме того, для оценки вклада разделения домашних обязанностей в объяснение зависимой переменной применялось разложение псевдо- R^2 с помощью вектора Шепли. Также были оценены модели на подвыборках (женщин и мужчин, а также в зависимости от числа детей) и проверена статистическая значимость такого разбиения (LR-тест отношения правдоподобия).

Характер разделения домашних обязанностей и удовлетворенность им

Ключевые объясняющие переменные — характер разделения домашних обязанностей в домохозяйстве и удовлетворенность им, при определении которых работа опирается на статью зарубежных авторов [Riederer et al., 2019]. Воспроизведение предложенной ими методологии стало возможным благодаря сопоставимости анкет РидМиЖ и международного исследования «Поколения и гендер».

Для измерения разделения домашних обязанностей был построен индекс, объединяющий четыре вида деятельности: приготовление еды, мытье посуды, покупку продуктов и уборку пылесосом. По каждому занятию респонденты указывали, кто обычно его выполняет. Исходная шкала была преобразована в пятибалльную: от 1 («всегда выполняется мужчиной») до 5 («всегда выполняется женщиной»), при этом ответы, согласно которым задачу выполняет другой человек (проживающий в домохозяйстве или нет), относились к категории 3, поскольку оба партнера в равной мере не участвуют в ее выполнении. На основе четырех занятий для каждого респондента рассчитывался средний индекс (среднее по выборке — 3,72). С использованием порогового значения 3,75 были выделены домохозяйства с традиционным (индекс выше 3,75) и модернизированным (индекс 3,75 и ниже) разделением труда. Последнее предполагало, что мужчина участвует в большинстве занятий наравне с женщиной либо несет основную ответственность хотя бы за одно из них.

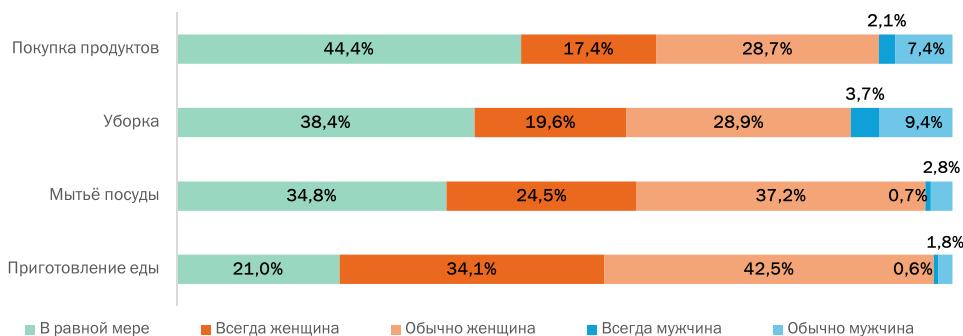
Дополнительно учитывалась удовлетворенность распределением домашних обязанностей, оцениваемая по шкале от 0 («совершенно не удовлетворен(а)») до 10 («полностью удовлетворен(а)»). Исходная 11-балльная шкала была преобразована в три категории сопоставимого размера: «умеренная удовлетворенность или меньше» (0—7 баллов), «довольно хорошая удовлетворенность» (8—9 баллов) и «чрезвычайно высокая удовлетворенность» (10 баллов).

В дальнейшем анализе использовалась комбинированная переменная, объединяющая тип разделения труда и уровень удовлетворенности, что позволило выделить шесть групп респондентов. Референтной категорией в регрессионных моделях выступала группа с традиционным разделением труда и чрезвычайно высокой удовлетворенностью.

Описательный анализ элементов разделения домашних обязанностей

Переменные разделения домашних обязанностей состоят из нескольких элементов, поэтому их предварительный описательный анализ представляет самостоятельный интерес. На рисунке 1 показано распределение ответов по участию в приготовлении еды, мытье посуды, покупке продуктов и уборке.

Рис. 1. Распределение ответов респондентов по четырем занятиям в домохозяйстве по всей выборке, %¹



Из диаграммы заметно, что наиболее часто мужчины вовлечены в покупку продуктов (средний индекс — 3,51) и уборку (3,50), тогда как наиболее «женскими» занятиями оказываются приготовление еды (4,06) и мытье посуды (3,80). На рисунке 2 представлено распределение усредненного индекса по четырем видам домашних обязанностей.

Для выборки респондентов репродуктивного возраста среднее значение индекса составило 3,72. Распределение является скошенным: ситуации, когда все или большинство домашних дел выполняет мужчина, встречаются редко, при этом 7,9 % респондентов указали, что все четыре занятия *всегда* выполняет женщина.

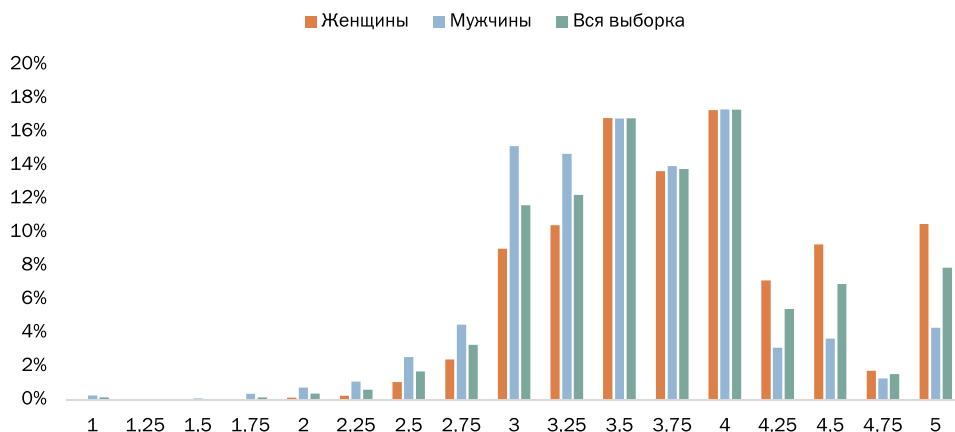
Стоит отметить, что полученные от респондентов ответы могут содержать смещение. Поскольку опрос проводился индивидуально и не позволял сопоставить ответы партнеров из одного домохозяйства, мужчины и женщины могли по-разному оценивать собственный вклад в домашний труд. В результате женщины чаще характеризовали разделение труда как традиционное, а мужчины — как модернизированное.

Так, в выборке в домохозяйствах с модернизированным разделением труда проживают 70 % мужчин и 54 % женщин. Такое расхождение может объясняться как переоценкой мужчинами собственного участия в домашних обязанностях, так

¹ Источник: расчеты автора по данным РИДМИЖ.

и недооценкой женщинами вклада партнеров [Макаренцева и др., 2017]. Кроме того, чрезвычайно удовлетворены сложившимся разделением труда 49% мужчин и всего 28% женщин, среди женщин наиболее распространена умеренная или низкая удовлетворенность (48%). Тем не менее агрегированные по обеим группам результаты представляются более сбалансированными.

Рис. 2. Распределение значений усредненного индекса разделения домашнего труда по всей выборке, отдельно для мужчин и женщин по четырем занятиям в домохозяйстве, %²



Согласно разделению по рассчитанному индексу, модернизированное распределение труда характерно для 60,9% респондентов, традиционное — для 39,1%. Чрезвычайно удовлетворены сложившимся распределением обязанностей 36,7% респондентов, довольно удовлетворены — 26,5%, умеренно или менее — 36,8%. Объединение этих переменных позволило сформировать шесть категорий (список представлен в таблице 2), при этом существенного перевеса в той или иной группе не наблюдается.

Дополнительно были рассмотрены три возрастные группы: 18—24, 25—34 и 35—45 лет. Средние значения индекса разделения домашних обязанностей между ними почти не различаются, поэтому можно предположить отсутствие существенного влияния возрастной структуры выборки на выделение групп с традиционным и модернизированным разделением труда. Удовлетворенность сложившимся разделением труда несколько снижается с возрастом: доля респондентов с умеренной или низкой удовлетворенностью возрастает с 32,8% в группе 18—24 лет до 38,3% в группе 35—45 лет, тогда как доля чрезвычайно удовлетворенных сопоставимо во всех трех группах.

Контрольные переменные

Контрольные переменные были подобраны на основе предыдущих исследований факторов формирования репродуктивных намерений на российских данных

² Источник: расчеты автора по данным РИДМИЖ.

[Макаренцева, Бирюкова, 2023; Вакуленко, Митрофанова, Горский, 2023; Журавлева, Гаврилова, 2017], а также опорного в части методологии зарубежного исследования [Riederer et al., 2019]. Они охватывают социально-демографические и социально-экономические характеристики, устойчиво связанные с репродуктивными намерениями.

Кроме характеристик разделения домашних обязанностей и удовлетворенности ими, к объясняющим переменным относились: возраст и его квадрат (для учета нелинейности); пол респондента; наличие одного или нескольких детей у респондента и/или партнера, проживающих в домохозяйстве; наличие высшего образования (получение именно высшего образования меняет положение индивида на рынке труда, повышает альтернативные издержки времени, что отражается на репродуктивных установках); вероисповедание; тип населенного пункта, слабое состояние здоровья респондента (самооценка здоровья как плохого или очень плохого); материальное положение домохозяйства; наличие жилья в собственности и удовлетворенность жильем.

Материальное положение оценивалось на основе вопроса: «Если говорить о совокупном доходе Вашего домохозяйства, насколько легко у Вас получается сводить концы с концами?». Для анализа категории «с большим трудом» и «с трудом» были объединены, как и категории «довольно легко», «легко» и «очень легко», категория «с некоторыми усилиями» рассматривалась отдельно. Референтной категорией в регрессионных моделях выступали домохозяйства, довольно легко, легко или очень легко живущие в рамках своих доходов. Хотя анкета содержала вопрос о денежном доходе домохозяйства, субъективная оценка материального положения представляется более интерпретируемой для данных 2004 г. Кроме того, высокая удовлетворенность жильем определялась как оценки восемь-десять баллов по десятибалльной шкале при ответе на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены своим жильем?».

Описательные статистики объясняющих переменных представлены в таблице 1. Средние значения фиктивных переменных, характеризующих разделение труда и удовлетворенность им, соответствуют долям респондентов в каждой группе и представлены в таблице 2.

Таблица 1. Описательные статистики объясняющих переменных, использованных в регрессионных моделях

Переменная	Среднее значение	Статистическое отклонение
Возраст	34,02	6,98
Квадрат возраста	1206,27	469,59
Женщины	0,58	0,49
Есть один ребенок	0,48	0,50
Есть двое детей и более	0,38	0,49
Высшее образование	0,29	0,45
Слабое здоровье	0,04	0,20

Переменная	Среднее значение	Статистическое отклонение
Вероисповедание — православное христианство	0,74	0,44
Вероисповедание — ислам	0,05	0,22
Проживание в Москве / Московской области или Санкт-Петербурге / Ленинградской области	0,16	0,37
Проживание в сельском населенном пункте	0,27	0,44
Домохозяйство с усилиями живет в рамках совокупного дохода	0,44	0,50
Домохозяйство с (большим) трудом живет в рамках совокупного дохода	0,43	0,50
Наличие жилья в собственности	0,60	0,49
Высокая удовлетворенность жильем	0,26	0,44

Примечание. Указанные переменные — фиктивные (значение «1» при отнесении респондента к названной категории, «0» — иначе), кроме возраста (значения от 18 до 45 лет).

Источник: расчеты автора по данным РИДМЖ за 2004 г.

Результаты

Описательный анализ различий в репродуктивных намерениях групп

До перехода к оцениванию регрессионных моделей уже можно отметить заметные различия репродуктивных намерений групп респондентов из семей с разным разделением труда. 22,3% респондентов из семей с традиционным разделением труда выражали намерение родить ребенка в течение ближайших трех лет, в то время как для респондентов из семей с модернизированным разделением труда соответствующее значение составило 30,8% (различия статистически значимы согласно критерию χ^2 Пирсона, $p < 0,01$). Среди респондентов, наименее удовлетворенных сложившимся разделением труда в семье, положительное репродуктивное намерение выражали 20,4%, а среди тех, кто был довольно хорошо и чрезвычайно высоко удовлетворен разделением, — 29,9% и 32,8% соответственно. Доля намеренных родить ребенка респондентов в каждой группе по разделению труда в сочетании с удовлетворенностью им представлена далее в таблице 2.

Таблица 2. Доли респондентов, намеренных родить ребенка в течение ближайших трех лет, %

Группа	Количество (и доли, %) респондентов	Доли респондентов с положительными репродуктивными намерениями, %
Модernизированное разделение труда и умеренная удовлетворенность или меньше	491 (19,1)	25,1
Модernизированное разделение труда и довольно хорошая удовлетворенность	448 (17,4)	31,5
Модernизированное разделение труда и чрезвычайно высокая удовлетворенность	628 (24,4)	34,7
Традиционное разделение труда и умеренная удовлетворенность или меньше	455 (17,7)	15,4

Группа	Количество (и доли, %) респондентов	Доли респондентов с положительными репродуктивными намерениями, %
Традиционное разделение труда и довольно хорошая удовлетворенность	235 (9,1)	26,8
Традиционное разделение труда и чрезвычайно высокая удовлетворенность	317 (12,3)	29,0

Источник: расчеты автора по данным РидМиЖ за 2004 г.

Из таблицы 2 видно, что наибольшая доля положительных репродуктивных намерений наблюдается при модернизированном разделении труда и чрезвычайно высокой удовлетворенности им, наименьшая — при традиционном разделении труда и умеренной удовлетворенностью или менее.

Результаты оценивания регрессионной модели

Для проверки предложенных в работе гипотез оценивалась логистическая регрессия с бинарной зависимой переменной — намерением рождения (еще одного) ребенка в ближайшие три года. Полученные средние предельные эффекты представлены в сравнении с моделями, в которые включены: М1 — только переменные интереса о разделении труда в семье, М2 — только контрольные переменные (см. табл. 3). Среди показателей качества итоговой модели (М3) с включением одновременно переменных интереса и контрольных можно отметить: значение псевдо- R^2 составило 0,31, площадь под ROC-кривой — 0,86. Общее число наблюдений составило 2 574 респондента.

Таблица 3. *Средние предельные эффекты логистической модели: репродуктивные намерения*

Переменная	М1 (разделение труда)	М2 (контрольные)	М3 (разделение труда + контрольные)
Возраст		–0,012***	–0,012***
		(0,001)	(0,001)
Женщина		–0,059***	–0,032**
		(0,015)	(0,015)
Модернизированное разделение труда и умеренная удовлетворенность или меньше	–0,039		–0,003
	(0,032)		(0,026)
Модернизированное разделение труда и довольно хорошая удовлетворенность	0,023		0,006
	(0,031)		(0,026)
Модернизированное разделение труда и чрезвычайно высокая удовлетворенность	0,051*		0,050**
	(0,029)		(0,025)
Традиционное разделение труда и умеренная удовлетворенность или меньше	–0,158***		–0,087***
	(0,035)		(0,028)

Переменная	M1 (разделение труда)	M2 (контрольные)	M3 (разделение труда + контрольные)
Традиционное разделение труда и довольно хорошая удовлетворенность	–0,022		0,009
	(0,038)		(0,030)
В семье есть один ребенок		–0,225***	–0,221***
		(0,027)	(0,027)
В семье есть двое детей или более		–0,472***	–0,470***
		(0,027)	(0,027)
Проживание в Москве / Московской области или Санкт-Петербурге / Ленинградской области		0,011	0,012
		(0,021)	(0,021)
Проживание в сельском населенном пункте		0,016	0,031*
		(0,018)	(0,018)
Высшее образование		0,043***	0,037**
		(0,016)	(0,016)
Вероисповедание — православное христианство		–0,007	–0,006
		(0,018)	(0,018)
Вероисповедание — ислам		0,146***	0,144***
		(0,037)	(0,037)
Слабое здоровье		–0,093*	–0,090*
		(0,048)	(0,046)
Домохозяйство с усилиями живет в рамках совокупного дохода		–0,060***	–0,056**
		(0,022)	(0,022)
Домохозяйство с (большим) трудом живет в рамках совокупного дохода		–0,085***	–0,073***
		(0,023)	(0,023)
Наличие жилья в собственности		0,003	0,002
		(0,016)	(0,015)
Высокая удовлетворенность жильем		–0,035**	–0,043**
		(0,018)	(0,018)
Количество наблюдений	2574	2574	2574
Pseudo-R2 (McFadden)	0,019	0,301	0,311
Log Likelihood	–1483,784	–1058,325	–1043,109
AUC ROC	0,589	0,853	0,858
AIC	2979,569	2148,649	2128,218
BIC	3014,688	2242,301	2251,135

Примечание. Стандартные ошибки указаны в скобках; *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,1$.

Источник: расчеты автора по данным РидМиЖ за 2004 г.

Дополнительно были оценены модели, включающие отдельно тип разделения труда и удовлетворенность им. Результаты показали, что оба фактора статистически значимы по отдельности: модернизированное разделение труда связано с более вы-

сокой вероятностью положительных репродуктивных намерений (+5,1 п. п.), а умеренная и более низкая удовлетворенность разделением труда — с меньшей (–7,2 п. п.)³.

Из таблицы видно, что значимыми являются две переменные, характеризующие разделение домашних обязанностей и удовлетворенность им. При прочих равных условиях респонденты из домохозяйств с модернизированным разделением труда и чрезвычайно высокой удовлетворенностью им на 5,0 п. п. чаще выражали намерение завести ребенка в ближайшие три года по сравнению с референтной категорией (традиционное разделение труда и чрезвычайно высокая удовлетворенность). Напротив, респонденты с традиционным разделением труда и умеренной или низкой удовлетворенностью на 8,7 п. п. реже сообщали о таких намерениях. Скорее всего, в таких домохозяйствах рождение ребенка воспринимается как дополнительная нагрузка для женщины, уже выполняющей основную часть домашних обязанностей.

Среди контрольных переменных статистически значимыми оказались возраст, пол, наличие детей, высшее образование, исповедание ислама, материальное положение, состояние здоровья и удовлетворенность жильем. Возраст оказывает нелинейное влияние: вероятность намерения рождения ребенка сначала возрастает, а затем снижается. Женщины в среднем на 3,2 п. п. реже мужчин сообщали о намерении завести ребенка. Низкое материальное положение связано с меньшей вероятностью положительных репродуктивных намерений; аналогичный отрицательный эффект наблюдается для высокой удовлетворенности жильем. Один из немногих положительных эффектов — наличие высшего образования: такие респонденты на 3,7 п. п. чаще выражали намерение о рождении ребенка. Это согласуется с выводами предыдущих исследований [Mills et al., 2008], согласно которым получение высшего образования позволяет сосредоточиться на семейных целях и, кроме того, расширяет возможности выбора более устойчивых форм занятости, совместимых с воспитанием детей. Положительный эффект обнаружен также при переменной вероисповедания ислама: при прочих равных исповедующие данную религию на 14,4 п. п. чаще выражали положительное репродуктивное намерение, что соответствует результатам предыдущих работ [Philipov, Berghammer, 2007; Захаров, Чурилова, 2022]. Слабый отрицательный эффект оказывает плохое состояние здоровья. Наличие детей связано со снижением вероятности формирования положительных репродуктивных намерений: родители одного ребенка на 22,1 п. п. реже сообщали о таких намерениях по сравнению с бездетными респондентами, а родители двоих детей и более — на 47,0 п. п. реже. Вероятно, этот эффект дополнительно усиливался контекстом начала 2000-х годов, когда уровень рождаемости в России был относительно низким.

Результаты оценивания регрессионной модели на подвыборках

LR-тест отношения правдоподобия выявил гетерогенность подвыборок мужчин и женщин ($p < 0,05$), поэтому дополнительно были оценены отдельные регрессионные модели для каждой группы (см. табл. 4)⁴.

³ Эти результаты оценивания регрессионных моделей могут быть предоставлены по запросу.

⁴ Развернутые оценки средних предельных эффектов для контрольных переменных могут быть предоставлены по запросу.

Таблица 4. **Средние предельные эффекты логистической модели: репродуктивные намерения мужчин и женщин**

Переменная	Женщины	Мужчины
Модернизированное разделение труда и умеренная удовлетворенность или меньше	0,0101 (0,034)	–0,0003 (0,041)
Модернизированное разделение труда и довольно хорошая удовлетворенность	0,030 (0,033)	–0,026 (0,041)
Модернизированное разделение труда и чрезвычайно высокая удовлетворенность	0,088*** (0,033)	0,016 (0,036)
Традиционное разделение труда и умеренная удовлетворенность или меньше	–0,049 (0,032)	–0,172** (0,070)
Традиционное разделение труда и довольно хорошая удовлетворенность	0,041 (0,038)	–0,042 (0,049)
Контрольные переменные	Включены	Включены
Количество наблюдений	1 485	1 089
Pseudo-R ² (McFadden)	0,346	0,283
Log Likelihood	–542,475	–485,274
AUC ROC	0,877	0,843
AIC	1124,950	1010,548
BIC	1231,014	1110,408

Примечание. Стандартные ошибки указаны в скобках; *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,1$.

Контрольные переменные: возраст, наличие одного или двух детей, проживание в Москве или Санкт-Петербурге, в сельском населенном пункте, наличие высшего образования, вероисповедание, слабое здоровье, материальное положение, жилищные условия.

Источник: расчеты автора по данным РИДМИЖ за 2004 г.

Для женщин статистически значимым оказалось только сочетание модернизированного разделения труда и чрезвычайно высокой удовлетворенности им: вероятность формирования положительных репродуктивных намерений в этой группе была на 8,8 п. п. выше по сравнению с референтной категорией.

Для мужчин данный эффект оказался незначимым, то есть участие в домашних обязанностях само по себе не было связано с репродуктивными намерениями. Вместе с тем значимым оказался эффект традиционного разделения труда в сочетании с умеренной или низкой удовлетворенностью им: такие мужчины на 17,2 п. п. реже планировали рождение ребенка в ближайшие три года. Вероятно, низкая удовлетворенность распределением домашних обязанностей указывает на более общие проблемы в отношениях пары, отражающиеся на репродуктивных намерениях респондентов. Такая интерпретация согласуется с результатами предыдущих исследований, показывающих снижение благополучия мужчин при росте совокупной нагрузки женщин на рынке труда и в домашнем хозяйстве [Ядрищенская, 2026].

LR-тест отношения правдоподобия ($p < 0,01$) выявил различия в репродуктивных намерениях в зависимости от числа детей, поэтому регрессионные модели

были оценены отдельно для респондентов без детей, с одним ребенком и с двумя детьми или более (см. табл. 5)⁵. Доля респондентов с положительными репродуктивными намерениями составила 59,2 % среди бездетных, 35,3 % среди родителей одного ребенка и 6,0 % среди родителей двух и более детей.

Таблица 5. Средние предельные эффекты логистической модели: репродуктивные намерения респондентов по числу детей

Переменная	Нет детей	Один ребенок	Двое детей или более
Модернизированное разделение труда и умеренная удовлетворенность или меньше	–0,033	0,001	–0,003
	(0,080)	(0,044)	(0,027)
Модернизированное разделение труда и довольно хорошая удовлетворенность	0,007	0,008	–0,005
	(0,080)	(0,044)	(0,028)
Модернизированное разделение труда и чрезвычайно высокая удовлетворенность	–0,022	0,100**	0,015
	(0,069)	(0,041)	(0,023)
Традиционное разделение труда и умеренная удовлетворенность или меньше	–0,158*	–0,084*	–0,097**
	(0,084)	(0,046)	(0,043)
Традиционное разделение труда и довольно хорошая удовлетворенность	0,013	0,037	–0,016
	(0,084)	(0,053)	(0,029)
Контрольные переменные	Включены	Включены	Включены
Количество наблюдений	361	1 230	983
Pseudo-R2 (McFadden)	0,353	0,158	0,149
Log Likelihood	–157,918	–672,736	–189,863
AUC ROC	0,859	0,752	0,790
AIC	353,836	1383,473	417,727
BIC	427,725	1480,653	510,648

Примечание. Стандартные ошибки указаны в скобках; *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,1$. Контрольные переменные: возраст, пол респондента, проживание в Москве или Санкт-Петербурге, в сельском населенном пункте, наличие высшего образования, вероисповедание, слабое здоровье, материальное положение, жилищные условия.

Источник: расчеты автора по данным РидМИЖ за 2004 г.

Негативный эффект традиционного разделения труда в сочетании с низкой удовлетворенностью наблюдается во всех подгруппах, при этом его величина и статистическая значимость различаются. Для респондентов, у которых есть один ребенок, модернизированное разделение труда в сочетании с чрезвычайно высокой удовлетворенностью повышает вероятность намерения завести ребенка на 10,0 п. п. Напротив, традиционное разделение труда и низкая удовлетворенность снижают ее на 8,4 п. п., что согласуется с результатами общей модели.

⁵ Развернутые оценки средних предельных эффектов для контрольных переменных могут быть предоставлены по запросу.

Для бездетных респондентов результаты несколько иные. Эта группа сравнительно малочисленна ($N = 361$), моложе остальных, при этом для нее характерен высокий исходный уровень положительных репродуктивных намерений (59,2 %). На 10-процентном уровне значимости традиционное разделение труда в сочетании с умеренной удовлетворенностью связано со снижением вероятности положительных репродуктивных намерений на 15,8 п. п. Можно предположить, что при планировании первого ребенка организация домашнего труда играет меньшую роль по сравнению с другими обстоятельствами.

Для родителей двух и более детей положительный эффект модернизированного разделения труда незначим, что может указывать на большую роль иных факторов при принятии решений о переходе к многодетности (третьем и последующих рождениях). Таким образом, наиболее заметное значение разделение труда имеет для родителей одного ребенка, планирующих рождение второго: модернизированное распределение обязанностей в сочетании с высокой удовлетворенностью повышает вероятность положительных репродуктивных намерений на 10,0 п. п.

Оценка вклада объясняющих переменных модели

Для оценки вклада переменных в объяснение зависимой переменной в основной модели применялась декомпозиция псевдо- R^2 методом Шепли [Israeli, 2007]. Часть переменных модели была сгруппирована для удобства вычислений. Оказалось, что наибольший вклад в объяснение зависимой переменной (44,9 %) вносят две сгруппированные физиологические характеристики человека — возраст и пол. Наличие одного, двоих детей или более также вносит заметный вклад (42,4 %) в объяснение зависимой переменной рассматриваемой модели. На следующем месте по значимости (4,3 %) находится группа фиктивных переменных, характеризующих разделение труда в домохозяйстве и удовлетворенность им. Данная группа факторов несколько превосходит по оценке объясненной части зависимой переменной даже материальное положение, на которое приходится 3,0 % объяснения. Оставшиеся переменные и их группы составляют суммарно 5,5 % вклада в объяснение зависимой переменной.

Реализация репродуктивных намерений

Для расчета долей респондентов, реализовавших репродуктивные намерения, были использованы данные второй волны РидМиЖ (2007 г.). Итоговая выборка включала 1803 респондента репродуктивного возраста, состоявших в паре и ответивших на вопросы о разделении труда в первой волне (около 70 % первоначальной выборки).

Среди респондентов, высказывавших положительные репродуктивные намерения в первой волне, их реализовали 24 %. Для ответивших «определенно да» соответствующая доля составила 36,4 %, для ответивших «пожалуй, да» — 18,4 %. Полученные оценки близки к результатам предыдущих исследований (38,8 % и 21,3 % соответственно) [Макаренцева, Бирюкова, 2023: 37]. Небольшие расхождения, вероятно, связаны с исключением респондентов, не ответивших на вопросы о разделении труда в первой волне.

Несмотря на согласованность полученных результатов с предыдущими исследованиями, в работе было решено отказаться от моделирования влияния разделения труда на реализацию репродуктивных намерений. Основное ограничение заключается в том, что данные о разделении домашних обязанностей и удовлетворенности им были доступны только для первой волны. За трехлетний период между обследованиями характеристики респондентов могли измениться, что создало бы риск смещения оценок из-за пропущенных переменных. Например, респонденты могли пересмотреть распределение домашнего труда, готовясь к рождению ребенка, или же могли возникнуть новые факторы (изменение состояния здоровья, профессиональные факторы), которые отразились на реализации первоначальных планов или разделении труда.

Таким образом, анализ был сосредоточен на связи репродуктивных намерений с текущими условиями. Изучение реализации намерений возможно с использованием панельных данных, в которых ключевые переменные, включая разделение труда, измерялись бы повторно.

Заключение

Настоящее исследование было посвящено анализу связи между репродуктивными намерениями россиян и характером разделения домашних обязанностей в сочетании с удовлетворенностью им. Анализ данных обследования РидМиЖ позволяет сделать несколько выводов.

Для формирования положительных репродуктивных намерений наиболее благоприятно модернизированное разделение труда в сочетании с чрезвычайно высокой удовлетворенностью им. Напротив, традиционное разделение труда при низкой удовлетворенности выступает одним из самых заметных негативных факторов. Полученные результаты согласуются с выводами [Riederer et al., 2019], показавшими значимость не только самого разделения труда, но и удовлетворенности им.

Кроме того, анализ подвыборок также выявил ряд различий. Для женщин значимым оказался положительный эффект модернизированного разделения труда при высокой удовлетворенности, в то время как для мужчин — отрицательный эффект традиционного разделения труда при низкой удовлетворенности, что может говорить о более общих проблемах в отношениях пары. Связь между разделением труда и репродуктивными намерениями проявлялась главным образом у респондентов, уже имеющих детей. Особенно важным модернизированное распределение обязанностей оказывалось для родителей одного ребенка, планирующих рождение второго. Для бездетных респондентов данная связь почти не наблюдалась, что, вероятно, связано с их высокой исходной мотивацией к рождению первого ребенка.

Несмотря на полученные содержательные результаты, в работе есть несколько ограничений. Во-первых, используются данные 2004 г., при этом за прошедшие два десятилетия могли измениться как семейные и ролевые установки, так и условия выполнения домашних обязанностей, в том числе вследствие распространения новых технологий (доставка продуктов, посудомоечные машины, роботы-пылесосы и др.). Поэтому важной задачей будущих исследований является воспроизведение анализа на более современных репрезентативных данных для проверки устойчивости выявленных закономерностей.

Во-вторых, в анализе учитывались только домашние обязанности без рассмотрения труда по уходу за детьми, который может распределяться иначе и тоже быть связанным с репродуктивными намерениями. В работе также не рассматривалась напрямую роль старших родственников семьи, чья помощь может перераспределять домашний труд. Другим ограничением стало использование индекса разделения труда, в котором все виды домашних обязанностей имеют одинаковый вес в соответствии с подходом в опорной работе [ibid.]. Перспективным направлением представляется разработка взвешенных показателей, учитывающих различия во временных затратах и нагрузке, например с помощью метода главных компонент. Наконец, международный характер программы РидМиЖ создаст возможности для дальнейших межстрановых сравнений.

Полученные результаты могут быть полезны при разработке социальной и демографической политики. Они свидетельствуют в пользу мер, способствующих более справедливому распределению домашнего труда. В этом контексте данная работа находит поддержку в исследовании И. Е. Калабихиной, предлагающей парадигму социально-демографической политики, основанную на управлении временем как ключевом ресурсе и выступающей за переход к решениям для улучшения баланса между семьей и работой [Калабихина, 2020]. При таком подходе конкретными мерами могут быть расширение практик вовлечения отцов в уход за детьми, развитие инфраструктуры, снижающей нагрузку на семью по уходу за детьми и создающей условия для более равномерного распределения труда. Кроме того, как отмечается в Стратегии действий в области семейной и демографической политики⁶, важным направлением является содействие в успешном совмещении семейной и профессиональной реализации, в том числе через распространение гибких форм занятости для родителей.

Таким образом, исследование показывает, что рождаемость в России связана не только с объективными экономическими, но и с внутрисемейными аспектами жизни, одним из которых является справедливое для обоих партнеров распределение домашнего труда.

Список литературы (References)

1. Антонов А. И., Карпова В. М., Ляликова С. В. Времени в обрез: сколько времени россияне уделяют заботе о собственных детях? // *Народонаселение*. 2024. Т. 27. № 3. С. 137—152. <https://doi.org/10.24412/1561-7785-2024-3-137-152>. Antonov A. I., Karpov V. M., Lyalikova S. V. (2024) Pressed for Time: How Much Time Do Russians Spend Caring for Their Children? *Population*. Vol. 27. No. 3. P. 137—152. <https://doi.org/10.24412/1561-7785-2024-3-137-152>. (In Russ.)
2. Барсукова С. Ю., Радаев В. В. Принципы распределения труда между супругами в современной городской семье // *Экономическая социология*. 2001. Т. 2. № 2. С. 23—60.

⁶ Правительство утвердило Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 г. Распоряжение Правительства РФ № 615-р от 15 марта 2025 г. URL: <http://government.ru/docs/54573/> (дата обращения 23.11.2025).

- Barsukova S. Yu., Radaev V. V. (2001) Principles of Labor Distribution between Spouses in a Modern Urban Family. *Journal of Economic Sociology*. Vol. 2. No. 2. P. 23—60. (In Russ.)
3. Вакуленко Е. С., Митрофанова Е. С., Горский Д. И. Репродуктивные намерения россиян с детьми в начале пандемии COVID-19 // Вопросы экономики. 2023. № 4. С. 85—102. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2023-4-85-102>.
Vakulenko E. S., Mitrofanova E. S., Gorskiy D. I. (2023) Reproductive Intentions of Russians with Children at the Beginning of the COVID-19 Pandemic. *Voprosy Ekonomiki*. No. 4. P. 85—102. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2023-4-85-102>. (In Russ.)
 4. Вакуленко Е. С., Горский Д. И., Кондратьева В. П., Трофименко И. А. Репродуктивные намерения россиян в 2022—2023 гг.: роль субъективных факторов // Вопросы экономики. 2024. № 9. С. 138—157. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2024-9-138-157>.
Vakulenko E. S., Gorskiy D. I., Kondrateva V. P., Trofimenko I. A. (2024) Reproductive Intentions of Russians in 2022—2023: The Role of Subjective Factors. *Voprosy Ekonomiki*. No. 9. P. 138—157. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2024-9-138-157>. (In Russ.)
 5. Вакуленко Е. С., Евграфова Р. Ю. Ипотека и репродуктивные намерения: стимул или преграда? // Вопросы экономики. 2025. № 6. С. 137—153. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2025-6-137-153>.
Vakulenko E. S., Evgrafova R. Yu. (2025) Mortgage and Reproductive Intentions: A Boost or a Barrier? *Voprosy Ekonomiki*. No. 6. P. 137—153. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2025-6-137-153>. (In Russ.)
 6. Гудкова Т. Б. Репродуктивные намерения россиян: мотивация и сдерживающие факторы // Демографическое обозрение. 2019. Т. 6. № 4. С. 83—103. <https://doi.org/10.17323/demreview.v6i4.10428>.
Gudkova T. B. (2019) Fertility Intentions in Russia: Motivation and Constraints. *Demographic Review*. Vol. 6. No. 4. P. 83—103. <https://doi.org/10.17323/demreview.v6i4.10428>. (In Russ.)
 7. Журавлева Т. Л., Гаврилова Я. А. Анализ факторов рождаемости в России: что говорят данные РМЭЗ НИУ ВШЭ? // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2017. Т. 21. № 1. С. 145—187.
Zhuravleva T. L., Gavrilova Ya. A. (2017) Analysis of Fertility Determinants in Russia: What do RLMS Data Say? *Higher School of Economics Economic Journal*. Vol. 21. No. 1. P. 145—187. (In Russ.)
 8. Захаров С. В., Чурилова Е. В. Вероисповедание, религиозность и рождаемость в России. Есть ли взаимосвязь? // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2022. Т. 40. № 4. С. 77—104. <https://doi.org/10.22394/2073-7203-2022-40-4-77-104>.

- Zakharov S. V., Churilova E. V. (2022) Fertility in Russia: Does Religion and Religiousness Matter? *State, Religion and Church in Russia and Worldwide*. Vol. 40. No. 4. P. 77—104. <https://doi.org/10.22394/2073-7203-2022-40-4-77-104>. (In Russ.)
9. Калабихина И. Е. Измерение временем: новая парадигма социально-демографической политики // *Народонаселение*. 2020. Т. 23. № 2. С. 37—50. <https://doi.org/10.19181/population.2020.23.2.4>.
Kalabikhina I. E. (2020) Measurement by Time: A New Paradigm of Socio-Demographic Policy. *Population*. Vol. 23. No. 2. P. 37—50. <https://doi.org/10.19181/population.2020.23.2.4>. (In Russ.)
 10. Кравченко Ж. В., Аквиле М. Женщины и мужчины на работе и дома: гендерное разделение труда в России и Швеции // *Журнал исследований социальной политики*. 2008. Т. 6. № 2. С. 177—200.
Kravchenko Zh. V., Akvile M. (2008) Women and Men in Employment and at Home: Gendered Work Patterns in Russia and Sweden. *The Journal of Social Policy Studies*. Vol. 6. No. 2. P. 177—200. (In Russ.)
 11. Макаренцева А. О., Бирюкова С. С. Факторы, устойчивость и реализация репродуктивных намерений в России // *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены*. 2023. № 2 (174). С. 31—56. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2023.2.2379>.
Makarentseva A. O., Biryukova S. S. (2023) Factors, Consistency, and Realization of Reproductive Intentions in Russia. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 2. P. 31—56. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2023.2.2379>. (In Russ.)
 12. Макаренцева А. О., Бирюкова С. С., Третьякова Е. А. Представления мужчин и женщин о затратах времени на работу по дому // *Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены*. 2017. № 2 (138). С. 97—114. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2017.2.06>.
Makarentseva A. O., Biryukova S. S., Tretyakova E. A. (2017) Perceptions of Time Spent on Housework among Men and Women. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 2. P. 97—114. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2017.2.06>. (In Russ.)
 13. Тынди́к А. О. Репродуктивные установки и их реализация в современной России // *Журнал исследований социальной политики*. 2012. Т. 10. № 3. С. 361—376.
Tyndik A. O. (2012) Reproductive Attitudes and Their Realization in Modern Russia. *The Journal of Social Policy Studies*. Vol. 10. No. 3. P. 361—376. (In Russ.)
 14. Ядрищенская К. Ю. Оценка благополучия членов российских домохозяйств с учетом данных о распределении суточного времени: автореф. дисс. ... канд. экон. наук. М.: Московский государственный университет, 2026.
Yadrishenskaya K. Yu. (2026) Assessment of the Well-Being of Members of Russian Households Based on Data on the Daily Time Allocation. Extended Abstract of the PhD Dissertation in Economics. Moscow: Moscow State University. (In Russ.)

15. Ajzen I. (1991) The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. Vol. 50. No. 2. P. 179—211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T).
16. Becker G. S. (1960) An Economic Analysis of Fertility. In: Roberts G. B. (ed.) *Demographic and Economic Change in Developed Countries*. New York, NY: Columbia University Press. P. 209—240.
17. Becker G. S. (1985) Human Capital, Effort, and the Sexual Division of Labor. *Journal of Labor Economics*. Vol. 3. No. 1, Part 2. P. S33—S58. <https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/298075>.
18. Erfani A., Pilon L. (2025) Gender Equality in the Division of Housework and Fertility Intentions in Canada: The Moderating Effect of Employment and Education. *Journal of Family Issues*. Vol. 46. No. 5. P. 784—804. <https://doi.org/10.1177/0192513x241299419>.
19. Goldin C. (2025) The Downside of Fertility. Working Paper 34268. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
20. Israeli O. (2007) A Shapley-Based Decomposition of the R-square of a Linear Regression. *The Journal of Economic Inequality*. Vol. 5. No. 2. P. 199—212. <https://doi.org/10.1007/s10888-006-9036-6>.
21. Kan M. Y., Hertog E., Kolpashnikova K. (2019) Housework Share and Fertility Preference in Four East Asian Countries in 2006 and 2012. *Demographic Research*. Vol. 41. P. 1021—1046. <https://doi.org/10.4054/DemRes.2019.41.35>.
22. McDonald P. (2000) Gender Equity, Social Institutions and the Future of Fertility. *Journal of the Australian Population Association*. Vol. 17. No. 1. P. 1—16. <https://doi.org/10.1007/BF03029445>.
23. Miettinen A., Lainiala L., Rotkirch A. (2015) Women's Housework Decreases Fertility: Evidence from a Longitudinal Study among Finnish Couples. *Acta Sociologica*. Vol. 58. No. 2. P. 139—154. <https://doi.org/10.1177/0001699315572028>.
24. Mills M., Mencarini L., Tanturri M. L., Begall K. (2008) Gender Equity and Fertility Intentions in Italy and the Netherlands. *Demographic Research*. Vol. 18. P. 1—26. <https://doi.org/10.4054/DemRes.2008.18.1>.
25. Philipov D., Berghammer C. (2007) Religion and Fertility Ideals, Intentions and Behaviour: A Comparative Study of European Countries. In: Lutz W. (ed.) *Vienna Yearbook of Population Research*. Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. P. 271—305. <https://doi.org/10.1553/populationyearbook2007s271>.
26. Riederer B., Buber-Ennsner I., Brzozowska Z. (2019) Fertility Intentions and Their Realization in Couples: How the Division of Household Chores Matters. *Journal of Family Issues*. Vol. 40. No. 13. P. 1860—1882. <https://doi.org/10.1177/0192513X19848794>.

27. Schultz T. P. (1986) The Value and Allocation of Time in High-Income Countries: Implications for Fertility. *Population and Development Review*. Vol. 12. P. 87—108.
28. Slonimczyk F., Yurko A. (2014) Assessing the Impact of the Maternity Capital Policy in Russia. *Labour Economics*. Vol. 30. P. 265—281.
29. Willis R. J. (1973) A New Approach to the Economic Theory of Fertility Behavior. *Journal of Political Economy*. Vol. 81. No. 2. Part 2. P. S14—S64.

DOI: [10.14515/monitoring.2026.4.3004](https://doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3004)



А. Л. Янак

ТРАДИЦИОННОЕ И СОВРЕМЕННОЕ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ О СЕМЬЕ И УСТАНОВКАХ НИЖЕГОРОДСКИХ СТУДЕНТОВ

Правильная ссылка на статью:

Янак А. Л. Традиционное и современное в представлениях о семье и установках нижегородских студентов // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2026. № 4. С. 231—251. <https://www.doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3004>.

For citation:

Yanak A. L. (2026) Traditional and Modern in Family Perceptions and Attitudes of Nizhny Novgorod Students. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 231–251. <https://www.doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3004>. (In Russ.)

Получено: 26.04.2025. Принято к публикации: 07.05.2026.

ТРАДИЦИОННОЕ И СОВРЕМЕННОЕ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ О СЕМЬЕ И УСТАНОВКАХ НИЖЕГОРОДСКИХ СТУДЕНТОВ

ЯНАК Алина Леонидовна — кандидат социальных наук, старший научный сотрудник, доцент кафедры общей социологии и социальной работы факультета социальных наук, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия

E-MAIL: alinayanak91@yandex.ru

<https://orcid.org/0000-0001-6823-7125>

Аннотация. Цель исследования — описать спектр брачно-репродуктивных установок студенческой молодежи и сопоставить их с ключевыми тенденциями второго демографического перехода. Автор статьи анализирует представления студентов о традиционных и современных практиках супружества и родительства, опираясь на данные онлайн-опроса студентов бакалавриата и магистратуры семи нижегородских вузов, проведенного в 2020—2021 гг. ($N=1113$; 71 % девушек и 29 % юношей). Установлено, что студенчество в целом лояльно относится к таким брачно-семейным и интимным практикам, как сожительство, повторный союз, замещающее родительство, контрацепция, тогда как супружеская измена оценивается как недопустимая. Представления об организации семейной жизни прагматизируются: фиксируются ориентация на минимизацию рисков и целерациональное планирование, откладывание брака и деторождения к 25—29 годам, установка на одного или двух детей при развернутой структуре условий для их рождения. Усиливается запрос на эгалитаризацию супружеских и родительских ролей, при этом сохраняются устойчивые гендерные различия: девушки чаще ориентированы на современную модель семьи, а также юридиче-

TRADITIONAL AND MODERN IN FAMILY PERCEPTIONS AND ATTITUDES OF NIZHNY NOVGOROD STUDENTS

Alina L. YANAK¹ — Cand. Sci. (Soc.), Senior Researcher, Associate Professor of the Department of General Sociology and Social Work, Faculty of Social Sciences

E-MAIL: alinayanak91@yandex.ru

<https://orcid.org/0000-0001-6823-7125>

¹ Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (National Research University), Nizhny Novgorod, Russia

Abstract. The study aims at describing the range of marital and reproductive attitudes among university students and at relating them to the key trends of the second demographic transition. The author of the article analyses perceptions of traditional and modern practices of marriage and parenthood based on data coming from an online survey of undergraduate and graduate students at Nizhny Novgorod universities conducted in 2020—2021 ($N=1113$; 71 % females and 29 % males). The findings show that students are generally tolerant of modern marital, family and intimate practices — cohabitation, repeated unions, substitute parenthood, and contraception — whereas marital infidelity is deemed unacceptable. Views on organising family life are becoming more pragmatic: students show a focus on risk minimisation and goal-rational planning, postponement of marriage and childbearing to the age of 25—29, and an orientation toward having one or two children subject to an elaborated set of prerequisites for their birth. Support for egalitarian spousal and parental roles is growing, yet stable gender differences persist. Thus, women more often favour a modern family model and the legal and material security of marriage, while men retain certain patriarchal elements. The state is perceived mainly as a secondary source of fam-

скую и имущественную защищенность брака, юноши — на отдельные патриархальные элементы. Государство воспринимается скорее как вторичный источник поддержки семьи при выраженном запросе на развитие инфраструктуры заботы о детях. Сочетание современных ориентаций с сохранением детных (чаще двухдетных) установок и элементов патриархальной модели позволяет говорить о гибридном, переходном характере установок молодежи, так как обнаруживаются точки сближения индивидуальных стратегий и нормативных предписаний.

Ключевые слова: традиционная семья, современная семья, брачно-семейные установки, семейно-демографическое поведение, студенческая молодежь, индивидуальные стратегии

Благодарность. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда № 24-78-00190 (<https://rscf.ru/project/24-78-00190/>).

ily support, alongside a pronounced demand for developing childcare infrastructure. The combination of modern orientations with the persistence of child-centred (most often two-child) attitudes and elements of the patriarchal model points to the hybrid, transitional character of young people's attitudes, in which individual strategies and normative prescriptions converge.

Keywords: traditional family, modern family, marriage and family attitudes, family and demographic behavior, student youth, individual strategies

Acknowledgments. The study was supported by a grant of Russian Science Foundation (RSF) № 24-78-00190 (<https://rscf.ru/project/24-78-00190/>).

Введение

Исследования функционирования и трансформации семьи нередко выстраиваются в континууме противопоставления традиционной и современной моделей семьи. Как пишет Э. Гидденс, «семья — это поле боя между традициями и современностью...» [Гидденс, 2004: 69].

Традиционную семью описывают через набор устойчивых признаков: пожизненный официальный гетеросексуальный брак, биологические дети, общее домохозяйство, экономическое и моральное главенство мужчины, прочные межпоколенные связи и гендерное разделение обязанностей, закрепленных преимущественно за женщиной [Кучмаева, 2019; Новоселова, 2014; Самыгин, Верещагина, Загирова, 2016]. Близкие по смыслу обозначения — «нормативная» и «основная» семья [Елисеева, 2020] (по выполняемым для личности и общества функциям), «патриархальная» [Карлсон, 2003] (по асимметрии ролей мужчины и женщины) и «моногамная» [Голод, 2003] (по брачной и детной структуре).

У Э. Гидденса традиционная семья — категория «несовременной» культуры: с сильной семейной экономикой, в которую вовлечены все члены семьи, неравенством мужей и жен, отцов и матерей, правовой незащищенностью детей и слитностью брака, сексуальности и деторождения. В западных исследованиях в целом традиционной чаще называют семью переходного периода 1950-х годов, когда

«стандартной» считалась модель, в которой «оба родителя живут вместе с детьми, рожденными в браке, мать является домохозяйкой, а отец — кормильцем» [Гидденс, 2004: 69—73].

В типологии С. И. Голода традиционной семье соответствует «патриархальная» форма, современной — «детоцентристская», постсовременной — «супружеская». Эти формы не сменяют друг друга последовательно, а «неконфликтно функционируют параллельно в одном историческом времени, образуя широкий спектр моделей» [Голод, 2003: 117]. «Супружеский» тип отличают планирование рождений, ориентация на малодетность, относительная автономия брака, родительства и сексуальности, а также вариативность семейной жизни [там же].

Отмечая модернизацию и плюрализацию семьи, исследователи фиксируют распространение альтернативных, инновационных и немодальных форм. Последнее А. А. Клецин сближает с внебрачными и нетипичными практиками, «неофициальными и неактуальными семьями» [Гурко, 2008: 185]. К новым (нетрадиционным) формам относят монородительские, послеразводные, вдовы, фактические, повторнобрачные семьи, семьи с неродными родителями, би- и полигамные с раздельным проживанием супругов, открытые браки и одиночные домохозяйства [Клецин, 1994; Голод, 2003: 117]. В этой же категории рассматривается немодальное родительство, например материнство и отцовство, выходящие за рамки традиционного (кровного и прямого родства, полной родительской структуры, юридически подтвержденного родительства), демографической нормы и социально одобряемых образцов поведения [Янак, 2022а].

Ф. Фюрстенберг с коллегами делит родственные отношения в альтернативных семьях на три группы. Первая — вариации официального брака или его отсутствия: последовательные браки, многоженство, незарегистрированные союзы, семьи одиноких родителей, а также легитимированные в ряде западных стран однополюсные партнерства. Вторая — альтернативы естественному зачатию и рождению ребенка (вспомогательные репродуктивные технологии, далее — ВРТ; усыновление). Третья — связи, считающиеся родственными без биологических или юридических оснований: неформальное усыновление в повторных отношениях, «желаемое» родство (например, с крестными родителями) либо, напротив, вынужденное (с соседями по комнате в общежитии) [Furstenberg et al., 2020]. К нетипичным относят и расширенные домохозяйства, куда входят постоянно или периодически присутствующие родственники нуклеарной ячейки — прародители, тети и дяди, бывшие супруги, новые партнеры родителей, сводные сиблинги [Kavanagh, 2004].

Современная семья описывается через актуальные тенденции. В сфере брака это модернизация семьеобразующего поведения (нуклеаризация, откладывание супружества и родительства, популярность пробных, временных, многоступенчатых браков/партнерств, добровольное и/или вынужденное раздельное проживание супругов [Levin, 2004], распространенность разводов, внебрачных рождений) и эгалитаризация ролей [Артамонова, 2018; Гурко, Тарченко, 2019; Егорова, 2016]. В сфере родительства — изменение социальных норм и ценностей детности (малодетность, дети как инвестиционный проект [Багирова, 2022; Синельников, 2019; Антонов и др., 2020]), трансформация родительских прак-

тик (от распространения моделей ответственного родительства до радикализации его девиантных типов [Янак, 2022a]).

Указанные тенденции дискутируются в рамках теории второго демографического перехода [Lesthaeghe, 1991; van de Kaa, 2001; Вишневский, 2014]. Р. Лестеге уточняет: если при первом переходе возрастающее значение индивидуальной автономии проявлялось кулуарно («акт несогласия происходит кулуарно»), то при втором стремление к независимости в частной жизни становится публичным и массовым, противопоставляется институциональному вмешательству и охватывает различные сферы — от межличностных отношений, сексуальности и брачности до рождения и воспитания детей, организации домохозяйства [Lesthaeghe, 1991].

В исследовательском дискурсе обсуждаются социально-экономические, социально-политические, социокультурные предпосылки этих тенденций во взаимосвязи [Иванов, 2017: 8—9]. Ученые показывают, что вступление в брак, рождение детей и сохранение семьи могли быть принесены в жертву стремлению к стабилизации и/или улучшению личного материального благосостояния, что стало возможно благодаря усилению рыночных ориентаций, повышению стандартов качества жизни, консьюмеризму, развитию конкуренции мужчин и женщин на рынке образования и труда, увеличению продолжительности обучения молодых людей, росту экономической независимости матерей. Для одних женщин такая автономия предопределяет снижение «полезности» брака и брачной мотивации, для других означает «отсрочку» замужества и деторождения до закрепления стартовых профессиональных позиций и проблему совмещения трудовой и родительской занятости [Lesthaeghe, 1991; Easterlin, Crimmins, 1991: 524; McDonald et al., 2011]. Подчеркивается, что секуляризация также сыграла важную роль в изменении семейно-демографического поведения (разделении сексуальности, брака и прокреации [Голод, 2008]), способствовала «выбору в пользу до- и внебрачного секса и нетипичных моделей формирования домохозяйств» [Lesthaeghe, 2010: 228], саморегуляции матримониальности и фертильности при помощи контрацепции и соответственно, распространению внебрачной рождаемости, сожителств, разводов [Вишневский, 2014: 16—17].

Все больше альтернатив браку и родительству становятся социально приемлемыми. Данные процессы обозначаются как три взаимосвязанные революции: контрацептивная, сексуальная и гендерная [Lesthaeghe, 2010: 216]. Они сопряжены с технологическим прогрессом — среди факторов продолжения курса на саморегулирование фертильности и откладывание рождаемости выделяется становление BPT [McDonald et al., 2011].

По мере экономического роста забота об удовлетворении базовых потребностей сменяется ориентирами более высокого порядка — на ценности самовыражения, самореализации и самоактуализации [Lesthaeghe, 2010: 213—214]. В сфере межличностных отношений это проявляется в повышении требований к их качеству, что тоже можно отнести к факторам распространения «пробных» партнерских союзов и частого распада отношений (проявление главенства выбора спутника жизни [van de Kaa, 2001: 294; Cherlin, 2004]), малодетных семей ввиду изменения мотивации родительства и ценности детей — от детей как объекта «огромных сентиментальных и финансовых инвестиций» к родительству как одной из сфер

самореализации взрослых [Lesthaeghe, 1991: 9]. Речь идет о «сдвиге от ценностно-рациональной к целерациональной мотивации семейно-демографического поведения» [Вишневский, 2014: 14; Зверева, 2015].

Определенный вклад в распространение консенсуальных союзов и неполных, в частности материнских, семей, внебрачных рождений и малодетности вследствие контроля фертильности сделала правовая либерализация социальной и семейной политик государств: упрощение процедуры развода, декриминализация аборт, экономическая поддержка матерей-одиночек [Lesthaeghe, 1991: 16; van de Каа, 2001: 302; Здравомыслова, Темкина, 2003].

Исследователи также обращают внимание на тенденцию «непринятия рисков» и формирования стратегий управления ими в качестве объяснения откладывания брака и деторождения, а также на популярность сожительства, распространение «безотцовщины» и отказ мужчин от родительских обязательств после развода, снижение числа регистрируемых повторных браков [Егорова, 2016; Исупова, 2015; Чернова, Шпаковская, 2010].

В контексте реализации семейных стратегий среди молодежи особенно ярко проявляются противоречия между индивидуальными и институциональными установками. С одной стороны, социальная позиция молодых взрослых обуславливает «большую степень свободы и возможностей жизненного выбора по сравнению с зависимым положением детей и подростков или высокой степенью ответственности за других, характерной для представителей старшего возраста» [Чернова, Шпаковская, 2010: 21]. Индивидуалистические ценностные ориентации молодых людей несколько отдалают их от традиционных взглядов на семейный уклад, поэтому молодежи свойственны разнообразие мнений по отношению к актуальным тенденциям и толерантность к современным (альтернативным) формам семейной жизни [Карлсон, 2003]. С другой стороны, молодые взрослые являются одним из приоритетных объектов семейно-демографической политики, поскольку с ними связаны ожидания государства по позитивному изменению динамики брачности и рождаемости [Вишневский, Дидковская, Зырянова, 2024].

В отечественном научном дискурсе проблематизируются репродуктивные установки молодежи в контексте влияния на них социально-экономических, прежде всего финансового и жилищного, и социокультурных факторов, а также ориентации на откладывание деторождения и малодетность [Бессчетнова, 2025; Вяльшина, Ножкина, Шалаева, 2025; Чернова, Шпаковская, 2010]. Изучаются и матримонимальные стратегии, в том числе отношение к современным брачным практикам и сожительству [Гурко, Тарченко, 2019; Поленова и др., 2023; Ростовская, Кучмаева, Золотарева, 2023].

Исследователи фиксируют точечные ценностные изменения в демографическом поведении и ожиданиях молодежи в брачно-семейной сфере: с одной стороны, в пользу партнерства, интимности и эгалитаризма, с другой — в пользу прагматизма (утилитарности, избегания рисков, ориентации на удовлетворение внутриличностных и внутрисемейных потребностей) [Зубок, Чупров, 2020; Наберушкина, Бессчетнова, Судоргин, 2024; Чернова, Шпаковская, 2020].

Противоречивое положение российской молодежи в области реализации семейных сценариев стало одним из сквозных сюжетов современных исследова-

ний студенчества и молодых семей. Однако отношение студентов к современным практикам супружества и родительства, рассмотренное через призму второго демографического перехода, остается перспективным и недостаточно проработанным фокусом. Исходя из этого, цель настоящей работы — описать спектр брачно-репродуктивных установок студенческой молодежи (на примере нижегородских вузов) и соотнести их с ключевыми тенденциями второго демографического перехода. Одной из исследовательских задач было выявление вариативности взглядов нижегородских студентов на семью и родительство в зависимости от социально-демографических характеристик респондентов. Большинство имеющихся исследований по теме имеют разные организационные, методологические и региональные акценты, что делает их самобытными, но затрудняет сравнение результатов [Гурко, Тарченко, 2019; Ростовская, Кучмаева, Золотарева, 2023]. Несмотря на аналогичные ограничения, данная работа вносит вклад в формирование эмпирической базы для будущих сравнительных и мониторинговых проектов.

Эмпирическая база исследования

В 2020—2021 гг. при участии автора в разработке анкеты, сборе и анализе данных было проведено исследование «Представления студентов о семье и семейных отношениях» среди учащихся бакалавриата и магистратуры разных специальностей и форм обучения семи нижегородских вузов ($N = 1113$, 71 % девушек и 29 % юношей). В качестве метода исследования был выбран анкетный онлайн-опрос. Анкета включала несколько тематических блоков, операционализированных в соответствии с задачами исследования: обязательные и желательные признаки семьи (разграничение традиционной и современной моделей семьи); отношение к альтернативным (современным) брачным, интимным и родительским практикам (выяснение их допустимости); мотивы создания семьи (в том числе, причины выбора сожительства или отказа от регистрации брака); репродуктивные установки (желаемое число детей, оптимальный возраст и условия для рождения детей); представления о должном распределении обязанностей мужчин и женщин в семье (эгалитарная или патриархальная ориентации). Распространение анкеты осуществлялось по принципу «снежного кома» с использованием Google Forms. В широком смысле целью анкетирования было выявление представлений студенческой молодежи о различных семейных (брачных и родительских) практиках и каналах их формирования, критериях создания и функционирования семьи. Данные обработаны при помощи пакета IBM SPSS Statistics. Различия анализировались по полу, религиозной идентификации и субъективной оценке материального положения респондентов. Сравнение долей ответов респондентов по различным утверждениям проводилось с использованием хи-квадрат Пирсона для таблиц сопряженности. В тексте приводятся значения хи-квадрат, степени свободы (df) и p -уровни. Уровни значимости маркированы: * $p \leq 0,05$; ** $p \leq 0,01$; *** $p \leq 0,001$.

Результаты исследования

Студенчество лояльно относится к разным явлениям в брачно-семейных, интимных отношениях, многие из них считая допустимыми, кроме адюльтера — он недопустим для более чем 90 % опрошенных (см. табл. 1). Наиболее «привыч-

ным» оказалось использование контрацепции. Вероятно, она рассматривается как инструмент контроля фертильности, а значит, часть стратегии регуляции брачно-репродуктивного поведения. Однако данное предположение требует отдельной верификации.

Допустимость добрачных сексуальных связей показывает, что молодежь считает нормой разрыв во времени между сексуальным дебютом и вступлением в брак (а шире — автономию сексуальности от брака) и пробные интимные отношения, включая сожительство. Современная интерпретация сексуальности проявляется в несогласии большинства (68 %) с утверждением, что «первым сексуальным партнером женщины должен быть муж». Лояльность к сожительствам молодые люди подтверждают на практике: 11 % опрошенных состоят в неофициальном союзе; 31 % находятся в отношениях, но не проживают с партнером, из них 60 % рассматривают возможность съехаться в течение года и 16 % намерены зарегистрировать отношения (среди пар, проживающих вместе, таковых 47 %).

Оценки разводов, аборт и материнского монородительства менее однозначны. Многие молодые люди (54 %) пока не имеют опыта серьезных отношений и потому не включают эти явления в структуру своего потенциального выбора, но и не отвергают их. При этом допустимость сама по себе не означает приверженности — и наоборот. Проверить это можно только при помощи лонгитюдных и сравнительных исследований.

Таблица 1. **Отношение к различным семейным явлениям, %**

	Недопустимо	И да, и нет, затрудняюсь ответить	Допустимо
Добрачные сексуальные связи мужчин	9	11	80
Добрачные сексуальные связи женщин	12	14	75
Супружеские измены мужчин	94	4	2
Супружеские измены женщин	96	3	2
Сожительство без детей	8	14	78
Сожительство при наличии детей	18	15	67
Разводы	28	25	48
Использование средств контрацепции	6	8	86
Аборты	35	19	46
Применение репродуктивных технологий	13	17	70
Усыновление, приемное родительство	6	12	82
Рождение ребенка одинокой женщиной	24	23	53
Повторные браки	10	14	76

Студенты считают **обязательными** составляющими семьи уважение (80 %), любовь (78 %), ответственность (77 %), совместный быт (49 %), общность интересов (48 %). Среди **желательных** компонентов фигурируют общий бюджет (45 %) и имущество (43 %), полное родительское ядро (39 %), дети (39 %) и сексуальные отношения (37 %), хотя мы предполагали, что этот компонент будет среди **обязательных**. **Необязательное** условие — венчание (62 %) [Янак, 2022б].

Фиксируется связь некоторых показателей с полом респондентов. Если юноши демонстрируют более традиционный взгляд на детную структуру семьи, считая наличие детей (44 % против 37 %, $\chi^2 = 10,7$, $df = 2$, $p = 0,005^{**}$) желательным и обязательным чаще, чем девушки, то последние придерживаются более консервативного подхода к организации семейной жизни, чаще подчеркивая необходимость регистрации брака (36 % против 30 %, $\chi^2 = 6,9$, $df = 2$, $p = 0,031^{*}$; хотя 57 % респондентов не видят его «пожизненным»), желательность общего бюджета (48 % против 38 %, $\chi^2 = 10,3$, $df = 2$, $p = 0,006^{**}$) и имущества (47 % против 35 %, $\chi^2 = 12,0$, $df = 2$, $p = 0,002^{**}$). Данную позицию студентки «отстаивают» при ответе на альтернативный вопрос — 39 % (в отличие от 29 % юношей, $\chi^2 = 24,8$, $df = 4$, $p \leq 0,001^{***}$) признают «моментом создания семьи» заключение брака, что может квалифицироваться как потребность девушек в юридической и материальной защищённости в отношениях с партнёром, т. е. управлении рисками в семейном проектировании, индикатор традиционного взгляда на роль брака в жизни женщины и ее положение в семье. Зато позицию молодых женщин относительно родительства, на первый взгляд, можно расценивать как эмансипированную, однако ответы на другие вопросы заставляет характеризовать ее скорее как прагматичную, зависящую от тех или иных условий и сценариев.

Более тесно составляющие семьи коррелируют с религиозной идентичностью: верующие существенно чаще считают обязательными регистрацию брака (49 % против 20 %, $\chi^2 = 41,9$, $df = 4$, $p \leq 0,001^{***}$), наличие детей (32 % против 8 %, $\chi^2 = 40,6$, $df = 4$, $p \leq 0,001^{***}$), обоих родителей (41 % против 22 %, $\chi^2 = 18,8$, $df = 4$, $p \leq 0,001^{***}$), желательным — венчание (25 % против 8 %, $\chi^2 = 25,9$, $df = 4$, $p \leq 0,001^{***}$). Они демонстрируют более традиционные представления о наполнении семьи и регламентации семейного взаимодействия, что релевантно установленной в рамках исследования Т. А. Гурко связи между религиозностью студентов и их «консервативными» взглядами на семейные роли и отношения [Гурко, 2019].

В представлениях студентов предпосылки для создания семьи группируются в «гегемонию чувств» [Гидденс, 2004; Roussel, 1989] и экономические условия (см. табл. 2). Это согласуется с результатами других авторов [Поленова и др., 2023] — с оговоркой, что, в отличие от нашего исследования, в выводах белгородских коллег одну из ключевых ролей в брачной мотивации играют наставления родителей.

Таблица 2. Условия для создания семьи, %

Условия для создания семьи	%
Наличие сильного чувства	85
Стабильный доход хотя бы у одного из партнеров	51
Наличие собственного жилья	49
Стабильный доход у обоих партнеров	37
Наличие работы хотя бы у одного из партнеров	28
Наличие работы у обоих партнеров	24
Получение законченного профессионального образования обоими партнерами	14
Получение законченного профессионального образования одним из партнеров	11
Беременность	11
Одобрение родителей/окружения	8

Среди прочих условий в нашем исследовании выделяются стаж партнерских отношений как показатель их стабильности и оформление брачного контракта (47 % полагают, что он нужен всем парам, еще 35 % — только обеспеченным людям). По мнению 46 % опрошенных, 1—3 года достаточно, чтобы узнать партнера и принять решение о создании с ним семьи. 82 % подчеркивают необходимость сожительства для бытовой «притирки» и уверенности в своем выборе.

Условия для создания семьи коррелируют с полом респондентов (лишь отметим, что девушки чаще выбирали вариант «стабильный доход у обоих партнеров», чем парни — 40 % против 28 %, $\chi^2 = 13,9$, $df = 1$, $p = 0,000***$, «наличие работы у обоих партнеров» — 26,9 % против 17,9 %, $\chi^2 = 10,0$, $df = 1$, $p = 0,002**$), а также связаны с оценкой материального положения: для идентифицирующих себя как «богатые» чаще имеет значение одобрение родителей ($\chi^2 = 10,2$, $df = 3$, $p = 0,017*$). Наблюдается стремление к преемственности текущего образовательного и материального статуса как компонента жизненного и семейного проектирования.

Причины отказа от регистрации брака, выбор в пользу сожительства как его замены, затянувшегося предбрака, связываются с нежеланием брать на себя ответственность (56 %) и терять свободу (51 %), «необязательностью штампа в паспорте» (49 %), финансовой несостоятельностью (43 %), характеристикой актуальных отношений как «несерьезных», временных (40 %), сомнениями в готовности к браку (40 %), вынужденной «ассимиляцией» с партнером, не желающим связывать себя узами брака (37 %), негативным опытом в предыдущем союзе (36 %). Избегание брака и выбор в пользу альтернатив может быть копинг-стратегией в реальных или потенциальных ситуациях стресса, неопределенности, нежелания принимать решения [Егорова, 2016; Исупова, 2015].

Взгляды студентов на ролевые позиции мужчины и женщины в семье тоже укладываются в современные тенденции эгалитаризации супружеских и родительских ролей, признания равноценности материнства и отцовства [Гурко, 2019]. Для половины опрошенных (55 %) далек тезис «создание семьи важнее для женщины, чем для мужчины», и наоборот, абсолютное большинство (96 %) считают, что «над отношениями в семье должны работать оба партнера». Почти половина респондентов (45 %) не согласны, что «для семьи хорошо, если главный в ней — мужчина», 72 % выступают за одинаковую ответственность за материальное благополучие семьи, 86 % — за участие мужчин в работе по дому (для 80 % нормально, если мужчина берет на себя большую часть домашних обязанностей).

Признается важность отцовской вовлеченности, с одной стороны, и вклада матери в семейный бюджет — с другой. Студенты согласны с суждениями: «ответственность матери за материальное благополучие семьи должна быть такой же, как у отца» (63 %) и «ничего страшного, если в семье женщина зарабатывает больше мужчины» (74 %). При этом молодежи импонирует мысль о том, что «мужчина должен активно включаться в воспитание ребенка, уход за ним» (93 %), и наоборот, 74 % опрошенных отвергают традиционные представления о материнской «монополии» на заботу о ребенке. Можно говорить о конвергенции традиционно материнской («поставщик заботы») и отцовской («кормилец») ролей.

Выявлены статистически значимые, хотя и слабые, гендерные различия: девушки последовательнее отходят от патриархальной модели, а юноши сопротив-

ляются симметрии обязанностей — и в быту, и в деньгах. Так, девушки реже придерживаются многодетности ($\chi^2 = 29,3$, $df = 4$, $p \leq 0,001^{***}$), чаще допускают, что ребенка можно вырастить счастливым и без отца ($\chi^2 = 41,3$, $df = 4$, $p \leq 0,001^{***}$), и реже согласны с главенством мужчины в семье ($\chi^2 = 64,5$, $df = 4$, $p \leq 0,001^{***}$). Юноши, напротив, более скептически к идее неразрывности брака ($\chi^2 = 11,6$, $df = 4$, $p < 0,020^*$) и к симметричному вкладу мужчины в домашний труд ($\chi^2 = 27,3$, $df = 4$, $p \leq 0,001^{***}$), а женщины — в экономику семьи ($\chi^2 = 19,8$, $df = 4$, $p = 0,001^{***}$).

Приверженность студентов эгалитарной модели семьи прослеживается и в их взглядах на распределение семейных обязанностей (см. табл. 3).

Таблица 3. Мнение о должном распределении семейных обязанностей, %

	Только женщина	В основном женщина	Примерно поровну	В основном мужчина	Только мужчина	Затрудняюсь ответить
Приготовление пищи	3	20	74	1	0	2
Стирка, глажка	7	40	51	1	0	1
Уборка квартиры, дома	4	16	77	2	0	1
Покупки	1	5	80	10	2	1
Ремонт дома, квартиры, авто	1	1	26	44	25	3
Управление бюджетом	1	4	69	18	5	3
Оплата коммунальных платежей	1	7	69	14	6	2
Организация семейного досуга	1	7	84	6	1	1
Присмотр и уход за ребенком	3	27	67	2	0	1
Подготовка и проверка уроков	2	12	81	3	1	2
Проведение досуга с детьми (игры, прогулки)	1	4	90	3	1	1

Ответы на данный вопрос фиксируют редукцию гендерной сегрегации домашнего труда, по крайней мере на уровне представлений. Молодые нижегородцы считают справедливым равное участие супругов в хозяйственно-бытовых задачах, управлении бюджетом и основных родительских функциях. Исключение составляют ремонтные работы, которые вменяются мужчинам (69%), а также стирка и глажка, которые многие относят преимущественно к ведению женщин (47%). Однако внимания заслуживают различия в оценках юношей и девушек в: распределении финансовых средств ($\chi^2 = 50,3$, $df = 5$, $p \leq 0,001^{***}$), приготовление пищи ($\chi^2 = 43,1$, $df = 5$, $p \leq 0,001^{***}$), покупки ($\chi^2 = 42,0$, $df = 5$, $p \leq 0,001^{***}$), организацию досуга ($\chi^2 = 36,8$, $df = 5$, $p \leq 0,001^{***}$), уборку ($\chi^2 = 29,5$, $df = 5$, $p \leq 0,001^{***}$), осуществление обязательных платежей ($\chi^2 = 26,4$, $df = 5$, $p \leq 0,001^{***}$), помощь детям с уроками ($\chi^2 = 22,7$, $df = 5$, $p \leq 0,001^{***}$) студентки чаще, чем юноши, «готовы» делегировать мужчинам. Нулевая гипотеза базировалась на том, что ориентация на супружескую ролевую симметрию укладывается в современное видение се-

мейного уклада, а разделение «зон ответственности» на «женские» и «мужские» — в традиционное. В соответствии с нашими ожиданиями и результатами проведенных ранее смежных исследований [Гурко, 2019; Егорова, Янак, Рябинская, 2020], девушки больше стремятся к современной модели организации семейной жизни, а молодые люди — к сохранению патриархальных элементов, закрепляющих экономическое доминирование мужа. В целом ориентации на эгалитаризацию супружеских и родительских ролей косвенно отражают потребность молодежи, прежде всего девушек, в рационализации рисков семейной жизни, повышении договороспособности и удовлетворенности партнеров, балансе семьи и работы, возможности самореализации мужчин и женщин как в публичной, так и в частной сфере [Ефанова, Пискалова-Паркер, 2020; Клецина, Векилова, 2020; Чернова, Шпаковская, 2020].

Откладывание молодыми людьми вступления в брак и деторождения на возрастной интервал 25—29 лет рассматривается как тактика управления рисками в потенциальной семейной жизни и признак прагматического жизненного проектирования. Данный период считают оптимальным для рождения детей у мужчин (68 % респондентов) и у женщин (54 %). Хотя есть расхождения в установках на брак: 66 % опрошенных думают, что мужчинам лучше жениться в 25—29 лет, 49 % — что девушкам лучше выходить замуж в 21—24 года (хотя 43 % всех респондентов «за» вариант «25—29 лет»). Очевидно, бытует мнение, что мужчины либо позже «созревают» для семейной жизни, либо делается ставка на их профессиональное и финансовое становление, накопление капиталов для создания и обеспечения семьи [Архангельский, Васильева, Васильева, 2021; Ростовская, Кучмаева, Золотарева, 2023]. В этом усматриваются индикаторы скорее традиционных взглядов. Девушки могут вступить в брак пораньше, еще в процессе или сразу после обучения в вузе, «тестировать» роль жены. Однако более ответственная и емкая роль матери, конкурирующая с потребностями женщин в профессиональной самореализации, мобильности, разнообразном досуге, требует более длительной моральной и финансовой подготовки.

Большинство (54 %) опрошенных хотели бы двоих детей, 21 % — одного ребенка, 14 % — троих и более, что соответствует общему тренду¹ [Вяльшина, Ножкина, Шалаева, 2025; Романович, 2023]. Хотя официальная статистика отражает динамику роста желаемого и идеального числа детей, формирование более привлекательного образа многодетности в молодежной среде², ВЦИОМ фиксирует объективные барьеры при переходе от «социального ориентирования» к «практическим намерениям»³: ключевыми являются финансовая неуверенность и нерешенность жилищного вопроса⁴, вторичными — самореализация и страхи, связанные с реализацией супружества и родительства.

¹ Сколько детей нужно для счастья? // ВЦИОМ. 2025. 30 мая. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/skolko-detei-nuzhno-dlja-schastja> (дата обращения: 02.12.2025).

² Семья и брак в России XXI века // ВЦИОМ. 2025. 12 мая. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/semja-i-brak-v-rossii-xxi-veka> (дата обращения: 02.12.2025).

³ Репродуктивные планы россиян: два пишем, три в уме // ВЦИОМ. 2025. 25 февраля. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/reproduktivnye-plany-rossijan-dva-pisem-tri-v-ume> (дата обращения: 03.12.2025).

⁴ Квартирный ответ на демографический вопрос // ВЦИОМ. 2025. 12 августа URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/kvartirnyi-otvet-na-demograficheskii-vopros> (дата обращения: 03.12.2025).

Нижегородские студенты назвали множество факторов, способствующих рождению детей: финансовая устойчивость (95 %); наличие отдельного жилья (91 %); возможность организовать присмотр за детьми (82 %); наличие знаний о родах, уходе и воспитании (81 %); единство взглядов на распределение обязанностей по уходу за ребенком с супругом(ой)/ партнером(шей) (77 %); согласование репродуктивных и жизненных планов (72 %). При этом значимая государственная материальная поддержка (46 %) и согласование деторождения с профессиональными траекториями (43 %) отступают на второй план.

В отношении большинства параметров наблюдается статистическая взаимосвязь ответов с полом респондентов. Для девушек важнее, чем для юношей, наличие собственного жилья ($\chi^2 = 34,3$, $df = 4$, $p \leq 0,001^{***}$), финансовая уверенность ($\chi^2 = 26,5$, $df = 4$, $p \leq 0,001^{***}$), внутренняя готовность к рождению детей ($\chi^2 = 23,6$, $df = 4$, $p \leq 0,001^{***}$), материальная поддержка государства ($\chi^2 = 19,4$, $df = 4$, $p = 0,001^{***}$), чтобы ребенок вписывался в их долгосрочные жизненные планы ($\chi^2 = 15,6$, $df = 4$, $p = 0,004^{**}$), возможности и помощь в организации присмотра за ребенком ($\chi^2 = 14,0$, $df = 4$, $p = 0,007^{**}$). Вероятно, причины коренятся в их более глубоком понимании ответственности родительства. Как правило, после рождения ребёнка именно женщина перестраивает свою повседневность на (не)определённый период, осуществляя фактический уход за ним, внося больший вклад в его воспитание. Также выявлено, что для респондентов, причисляющих себя к малообеспеченным, финансовые возможности ($\chi^2 = 79,6$, $df = 12$, $p \leq 0,001^{***}$) и наличие жилья ($\chi^2 = 63$, $df = 12$, $p \leq 0,001^{***}$) приобретают существенно большее значение, чем для высокодоходных групп.

Обращает на себя внимание невысокая — на фоне остальных условий — значимость государственной материальной поддержки: в самооценках студентов она стоит не в первых рядах. Это согласуется с оценкой влияния материнского капитала (действует с 2007 г.) на рождаемость как ограниченного [Biryukova, Sinyavskaya, 2021]. Приоритет отдается внутренним, психологическим и семейным мотивам рождения детей, а также развитию инфраструктуры присмотра за ними; прослеживается запрос на самостоятельное материальное обеспечение родительства.

Заключение

Проведенное исследование подтверждает, что брачно-репродуктивные установки нижегородских студентов носят гибридный характер: откладывание вступления в брак и родительства, потребность в «тестовом» брачном режиме (сожительство), ориентация на одного-двух детей при развернутой структуре условий для их рождения и развития, запрос на эгалитаризацию супружеских и родительских ролей, принятие диверсифицированных сценариев семейной жизни, толерантность к их альтернативным формам, соответствующие маркерам второго демографического перехода, сочетаются с традиционными элементами, в частности, приверженностью (особенно девушек) официальному оформлению отношений, воспроизводством гендерной асимметрии в некоторых видах домашнего труда, желательностью детей. Вариативность установок дифференцирована по социально-демографическим группам: девушки больше ориентированы на современную модель семьи, юридическую и имущественную защищенность брака, юноши чаще

сохраняют патриархальные паттерны; верующие чаще тяготеют к традиционным «регламентам» семейной жизни (обязательность брака, венчания, полного родительского ядра); идентифицирующие себя как «богатые» чаще придают значение одобрению родителей и окружения при создании семьи, «малообеспеченные» особую важность придают материальным условиям для рождения детей. При этом государственная материальная поддержка воспринимается всеми группами как вторичный фактор, по сравнению с уверенностью в своих силах и развитием инфраструктуры заботы о детях.

Современные формы брачно-семейного поведения отчасти выступают механизмами рационализации семейных стратегий молодежи: сожительство рассматривается как профилактика рисков официального брака, развод — как способ устранения стрессоров и исправления ошибок брачного выбора, контрацепция — как ответственный подход к репродуктивному здоровью и планированию детей, малодетность — как возможность снизить родительскую нагрузку и обеспечить более успешный трансфер капиталов, эгалитаризм — как механизм распределения нагрузки и установления баланса между публичной и семейной вовлеченностью.

Интерпретация результатов требует учета ограничения выборки студентами нижегородских вузов, которое не позволяет экстраполировать выводы на всю российскую молодежь, даже студенческую, без дополнительных сравнительных, межрегиональных исследований. Можно предположить, что зафиксированные позиции подвижны и связаны как с возрастными особенностями респондентов и этапом их жизненного цикла (получение образования, отсутствие партнера, выход на рынок труда), так и реальными ценностными сдвигами, социально-экономической и социально-политической турбулентностью, размытостью одобряемого государством образа семьи или его несоответствием действительности, недостаточностью стимулирующих мер. Однако второе ограничение исследования — кросс-секционный дизайн опроса — не дает возможности отделить возрастной эффект от когортного, поэтому данная гипотеза требует дополнительной эмпирической проверки в рамках прежде всего повторного и лонгитудного исследования.

Список литературы (References)

1. Антонов А. И., Карпова В. М., Ляликов С. В., Новоселова Е. Н., Синельников А. Б. Ценности семейно-детного образа жизни (СеДОЖ-2019): Аналитический отчет по результатам межрегионального социолого-демографического исследования / под ред. А. И. Антонова. М.: МАКС Пресс, 2020.
Antonov A. I., Karpova V. M., Lyalikov S. V., Novoselova E. N., Sinelnikov A. B. (2020) The Values of a Family and Child Lifestyle (FacI-2019): An Analytical Report on the Results of an Interregional Sociological and Demographic Study. Moscow: MAKS Press Publ. (In Russ.)
2. Артамонова А. В. Траектории формирования российской семьи: изменения и факторы, их определяющие // Социологический журнал. 2018. Т. 24. № 2. С. 110—134. <https://doi.org/10.19181/socjour.2018.24.2.5847>.

- Artamonova A. V. (2018) Changes in Family Formation Trajectories among Russians and Factors for such Changes. *Sociological Journal*. Vol. 24. No. 2. P. 110—134. <https://doi.org/10.19181/socjour.2018.24.2.5847>. (In Russ.)
3. Архангельский В. Н., Васильева Е. Н., Васильева А. Е. Репродуктивные намерения современной российской молодежи и оценка возможностей их реализации // *Logos et Praxis*. 2021. Т. 20. № 3. С. 93—111. <https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2021.3.10>.
Archangelsky V. N., Vasilieva E. N., Vasilieva A. E. (2021) Reproductive Intentions of Modern Russian Youth and Assessment of the Possibilities of Their Realization. *Logos et Praxis*. Vol. 20. No. 3. P. 93—111. <https://doi.org/10.15688/lp.jvolsu.2021.3.10>. (In Russ.)
4. Багирова А. П. Престижность родительства и представления о нем в оценках уральского студенчества // Вестник Южно-Российского государственного технического университета (НПИ). Социально-экономические науки. 2022. Т. 15. № 1. С. 20—29. <https://doi.org/10.17213/2075-2067-2022-1-20-29>.
Bagirova A. P. (2022) The prestige of parenthood and ideas about it in the assessments of the Ural students. *Bulletin of the South Russian State Technical University. Socioeconomic Sciences*. Vol. 15. No. 1. P. 20—29. <https://doi.org/10.17213/2075-2067-2022-1-20-29>. (In Russ.)
5. Безрукова О. Н., Самойлова В. А. «Папы по любви» и «папы поневоле», или почему российские отцы не идут в отпуск по уходу за ребенком? // Социологические исследования. 2019. № 7. С. 90—101.
Bezrukova O. N., Samoylova V. A. (2019) 'Eager Dads' and 'Dads against Their Will', or Why Russian Dads are Reluctant to Go on Parental Leave. *Sociological Studies*. No. 7. P. 90—101. (In Russ.)
6. Бессчетнова О. В. Семейные ценности и репродуктивные установки современной студенческой молодежи: рожать нельзя откладывать // Вопросы управления. 2025. Т. 19. № 2. С. 17—31.
Besschetnova O. V. (2025) Family Values and Modern Students Reproductive Attitudes: Giving Birth Cannot Be Postponed. *The Management Issues Journal*. No. 19(2). P. 17—31. (In Russ.)
7. Вишневский А. Г. Демографическая революция меняет репродуктивную стратегию вида homo sapiens // Демографическое обозрение. 2014. Т. 1. № 1. С. 6—33.
Vishnevskiy A. G. (2014) The Demographic Revolution is Changing the Reproductive Strategy of Homo Sapiens. *Demographic Review*. Vol. 1. No. 1. P. 6—33. (In Russ.)
8. Вишневский Ю. Р., Дидковская Я. В., Зырянова О. Б. Матримониальные и репродуктивные установки молодежи в контексте безопасности молодой семьи // Женщина в российском обществе. 2024. № 1. С. 40—55. <https://doi.org/10.21064/WinRS.2024.1.3>.
Vishnevsky Y. R., Didkovskaya Y. V., Zyryanova O. B. (2024) Matrimonial and Reproductive Attitudes of Youth in the Context of Young Family Safety. *Woman in Russian Society*. No. 1. P. 40—55. <https://doi.org/10.21064/WinRS.2024.1.3>. (In Russ.)

9. Вьяльшина А. А., Ножкина И. А., Шалаева С. С. Студенческая молодежь с разными репродуктивными планами: ценности, установки и отношение к мерам поддержки // Социальное пространство. 2025. Т. 11. № 1. <https://doi.org/10.15838/sa.2025.1.45.2>.
Vyal'shina A. A., Nozhkina I. A., Shalaeva S. S. (2025) Student Youth with Different Reproductive Plans: Values, Intentions and Attitudes Toward Support Measures. *Social Area*. Vol. 11. No. 1. <https://doi.org/10.15838/sa.2025.1.45.2>. (In Russ.)
10. Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. М.: Весь мир, 2004.
Giddens A. (2004) *Runaway World. How Globalisation is Reshaping Our Lives*. Moscow: Ves' Mir. (In Russ.)
11. Голод С. И. Перспективы моногамной семьи: сравнительный межкультурный анализ // Журнал социологии и социальной антропологии. 2003. Т. 6. № 2. С. 106—119.
Golod S. I. (2003) Perspectives of a Monogamous Family: Comparative Cross-Cultural Analysis. *The Journal of Sociology and Social Anthropology*. Vol. 6. No. 2. P. 106—119. (In Russ.)
12. Голод С. И. Прокреация, плюральность эротического ландшафта: история и современное состояние // Социологические исследования. 2008. № 12. С. 82—90.
Golod S. I. (2008) Procreation, Plural Erotic Landscape: History and Modern State. *Sociological Studies*. No. 12. P. 82—90. (In Russ.)
13. Гурко Т. А. Брак и родительство в России. М.: ИС РАН, 2008.
Gurko T. A. (2008) *Marriage and Parenthood in Russia*. Moscow: Institute of Sociology, RAS. (In Russ.)
14. Гурко Т. А. Представления студентов в отношении родительства и социальных ролей мужчин и женщин // Социологическая наука и социальная практика. 2019. Т. 7. № 2. С. 65—80. <https://doi.org/10.19181/snsp.2019.7.2.6410>.
Gurko T. A. (2019) Students' ideas about parenthood and social roles of men and women. *Sociological Science and Social Practice*. No. 2. P. 65—80. <https://doi.org/10.19181/snsp.2019.7.2.6410>. (In Russ.)
15. Гурко Т. А., Тарченко В. С. Динамика брачных установок и планов студентов // Социологические исследования. 2019. № 7. С. 102—113. <https://doi.org/10.31857/S013216250005797-9>.
Gurko T. A., Tarchenko V. S. (2019) Dynamics of Marital Attitudes and Plans of Students. *Sociological Studies*. No. 7. P. 102—113. <https://doi.org/10.31857/S013216250005797-9>. (In Russ.)
16. Егорова Н. Ю. Сожительство в брачных стратегиях молодых: восприятие и практики // Женщина в российском обществе. 2016. № 2. С. 12—21. <https://doi.org/10.21064/WinRS.2016.2.2>.
Egorova N. Y. (2016) Cohabitation in the Marital Strategies of the Young: Perception and Practices. *Women in Russian Society*. No. 2. P. 12—21. <https://doi.org/10.21064/WinRS.2016.2.2>. (In Russ.)

17. Егорова Н. Ю., Янак А. Л., Рябинская Е. С. Родительские роли в современной российской семье: границы «мужского» // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 2. С. 233—251. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.2.782>.
Egorova N. Y., Yanak A. L., Ryabinskaya E. S. (2020) Parental Roles in the Modern Russian Family: The Male Boundaries. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 2. P. 233—251. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.2.782>. (In Russ.)
18. Елисеева И. И. Основная семья: предыстория и перспективы // Демографическое обозрение. 2020. Т. 7. № 4. С. 6—35. <https://doi.org/10.17323/demreview.v7i4.12042>.
Eliseeva I. I. (2020) The Main Family: Background and Prospects. *Demographic Review*. Vol. 7. No. 4. P. 6—35. <https://doi.org/10.17323/demreview.v7i4.12042>. (In Russ.)
19. Ефанова О. А., Писклакова-Паркер М. П. Современная российская семья в условиях изменения гендерных отношений // Народонаселение. 2020. Т. 23. № 2. С. 26—36. <https://doi.org/10.19181/population.2020.23.2.3>.
Efanova O. A., Pisklakova-Parker M. P. (2020) Modern Russian Family in the Context of Changing Gender Relations. *Population*. Vol. 23. No. 2. P. 26—36. <https://doi.org/10.19181/population.2020.23.2.3>. (In Russ.)
20. Зверева Н. В. Демографический переход: спор о теориях разного уровня // Демографическое обозрение. 2015. Т. 2. № 1. С. 6—23. <https://doi.org/10.17323/demreview.v2i1.1787>.
Zvereva N. V. (2015) Demographic Transition: A Dispute about Theories of Different Levels. *Demographic Review*. No. 1. P. 6—23. <https://doi.org/10.17323/demreview.v2i1.1787>. (In Russ.)
21. Здравомыслова Е. А., Темкина А. А. Государственное конструирование гендера в советском обществе // Журнал исследований социальной политики. 2003. Т. 1. № 3—4. С. 299—321.
Zdravomyslova E., Temkina A. (2003) The Public Construction of Gender in Soviet Society. *The Journal of Social Policy Studies*. Vol. 1. No. 3—4. P. 299—321 (In Russ.)
22. Зубок Ю. А., Чупров В. И. Жизнедеятельность молодежи в изменяющейся реальности: противоречия саморегуляции // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2020. Т. 13. № 6. С. 215—231. <https://doi.org/10.15838/esc.2020.6.72.13>.
Zubok, Y. A., Chuprov V. I. (2020) Youth's activity in changing reality: self-regulation contradictions. *Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast*. Vol. 13. No. 6. P. 215—231. <https://doi.org/10.15838/esc.2020.6.72.13>. (In Russ.)
23. Иванов С. Ф. Детерминанты демографического перехода на глобальном Юге // Демографическое обозрение. 2017. Т. 4. № 2. С. 6—52.
Ivanov S. F. (2017) Determinants of the demographic transition in the global South. *Demographic Review*. Vol. 4. No. 2. P. 6—52. (In Russ.)

24. Исупова О. Г. Российские консенсуальные союзы начала XXI века (по данным международного сравнительного исследования) // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2015. № 2. С. 153—164. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2015.2.10>.
Isupova O. G. (2015) Russian Consensual Unions in the Early XXI Century (Based on the International Comparative Study Data). *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 2. P. 153—164. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2015.2.10>. (In Russ.)
25. Карлсон А. Общество — семья — личность: социальный кризис Америки: Американская школа альтернативной социологии / пер. с англ., под ред. А. И. Антонова. М.: Грааль, 2003.
Carlson A. Society — Family — Person: America's Social Crisis: The American School of Alternative Sociology. Transl. from English, ed. by A. I. Antonov. Moscow: Graal, 2003. (In Russ.)
26. Клецин А. А. Внебрачные и альтернативные (немодальные): формы и содержание // Рубеж. 1994. № 5. С. 166—179.
Kletsin A. A. (1994) Non-Marital and Alternative (Non-Modal) Families: Forms and Content. *Frontier*. No. 5. P. 166—179 (In Russ.)
27. Клецина И. С., Векилова С. А. Гендерные отношения в российской семье: тенденции трансформаций // Женщина в российском обществе. 2020. № 3. С. 78—91. <https://doi.org/10.21064/WinRS.2020.3.7>.
Kletsina I. S., Vekilova S. A. (2020) Relations in the Russian Family: Transformation Trends. *Woman in Russian Society*. No. 3. P. 78—91. <https://doi.org/10.21064/WinRS.2020.3.7>. (In Russ.)
28. Кучмаева О. В. Идеальная модель семьи в глазах россиян и стратегия по повышению ценности семейного образа жизни // Экономика. Налоги. Право. 2019. Т. 12. № 2. С. 70—82. <https://doi.org/10.31483/r-153188>.
Kuchmaeva O. V. (2019) The Ideal Family Model in the Eyes of Russians and a Strategy of Enhancing the Value of a Family Lifestyle. *Economics, Taxes & Law*. Vol. 12. No. 2. P. 70—82. <https://doi.org/10.31483/r-153188>. (In Russ.)
29. Наберушкина Э., Бессчетнова О., Судоргин О. Семья и семейные ценности в представлениях молодого поколения // Журнал исследований социальной политики. 2024. Т. 22. № 4. С. 697—714. <https://doi.org/10.17323/727-0634-2024-22-4-697-714>.
Naberushkina C., Besschetnova O., Sudorgin O. (2024) Family and Family Values in the Perceptions of the Young Generation. *The Journal of Social Policy Studies*. Vol. 22. No. 4. P. 697—714. <https://doi.org/10.17323/727-0634-2024-22-3-697-714>. (In Russ.)
30. Новоселова Е. Н. Традиционная семья в большом городе: социальный атавизм и необходимая ценность // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2014. № 4. С. 166—188.

Novoselova E. N. (2014) The Traditional Family in the Big City: Social Atavism and Essential Value. *Moscow State University Bulletin. Series 18. Sociology and Political Science*. No. 4. P. 166—188. (In Russ.)

31. Поленова М. Е., Лазуренко Н. В., Подпоринова Н. Н., Королева К. Ю. Матримониальное поведение студенческой молодежи в контексте изучения социального здоровья (гендерный аспект) // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2023. Т. 31. № S1. С. 765—773. <https://doi.org/10.32687/0869-866X-2023-31-s1-765-773>.
Polenova M. E., Lazurenko N. V., Podporinova N. N., Koroleva K. Yu. (2023) Matrimonial Behavior of Student Youth in the Context of Social Health Studying (Gender Aspect). *Problems of Social Hygiene, Public Health and History of Medicine*. Vol. 31(SI). P. 765—773. <http://dx.doi.org/10.32687/0869-866X-2023-31-s1-765-773>. (In Russ.)
32. Романович Н. А. Представления молодежи о браке и семье // Социологические исследования. 2023. № 3. С. 135—140. <https://doi.org/10.31857/S013216250021750-8>.
Romanovich N. A. (2023) Youth and Marriage: A Transformation of Values. *Sociological Studies*. No. 3. P. 135—140. <https://doi.org/10.31857/S013216250021750-8>. (In Russ.)
33. Ростовская Т. К., Кучмаева О. В., Золотарева О. А. Студенческая семья в России: детерминанты вступления в брак // Вестник Российского университета дружбы народов. Социология. 2023. Т. 23. № 1. С. 40—60. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2023-23-1-40-60>.
Rostovskaja, T. K., Kuchmaeva, O. V., Zolotareva, O. A. (2023). Student Family in Russia: Determinants of Marriage. *Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Sociology*. Vol. 23. No. 1. P. 40—60. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2023-23-1-40-60>. (In Russ.)
34. Самыгин С. И., Верещагина А. В., Загирова Э. М. Традиционная семья: специфика социологического дискурса и методологические приоритеты // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2016. № 12. С. 81—85.
Samygin S. I., Vereshchagina A. V., Zagirova E. M. (2016) Traditional Family: Specifics of Sociological Discourse and Methodological Priorities. *Humanities, socio-economic and social sciences*. No. 12. P. 81—85. (In Russ.)
35. Синельников А. Б. Демографическая саморегуляция в условиях роста и убыли населения // Социологический журнал. 2019. Т. 25. № 4. С. 84—92. <https://doi.org/10.19181/socjour.2019.25.4.6819>.
Sinelnikov A. B. (2019) Demographic Self-Regulation in Conditions of Population Growth and Decline. *The Sociological Journal*. Vol. 25. No. 4. P. 84—92. <https://doi.org/10.19181/socjour.2019.25.4.6819>. (In Russ.)
36. Чернова Ж., Шпаковская Л. Молодые взрослые: супружество, партнерство и родительство. Дискурсивные предписания и практики в современной России // Laboratorium: журнал социальных исследований. 2010. № 3. С. 19—43.

- Chernova Zh., Shpakovskaya L. (2010) Young Adults: Marriage, Partnership, and Parenthood. Discursive Prescriptions and Practices in Contemporary Russia. *Lab-oratorium*. No. 3. P. 19—43. (In Russ.)
37. Чернова Ж. В., Шпаковская Л. Л. «На других надейся, а сама не плошай». Прагматический индивидуализм как дискурсивная стратегия нормализации биографий молодых представительниц среднего класса // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 6. С. 173—194. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.6.1691>.
Chernova Z. V., Shpakovskaya L. L. (2020) “God Help Those Who Help Themselves”. Pragmatic Individualism as a Discursive Strategy for Normalizing the Biographies of Young Middle-Class Women. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 6. P. 173—194. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.6.1691>. (In Russ.)
38. Янак А. Л. Концептуализация немодального родительства // Социологические исследования. 2022а. № 4. С. 56—67.
Yanak A. L. (2022a) Conceptualizing Non-Modal Parenting. *Sociological Studies*. No. 4. P. 56—67. (In Russ.)
39. Янак А. Л. Немодальный брак и немодальное родительство в контексте семейного потенциала молодежи // Семья и преемственность поколений: Материалы Международного симпозиума, Иваново — Плес, 30 сентября — 01 октября 2022 г. Иваново: ИвГУ, 2022б. С. 220—225.
Yanak A. L. (2022b) Unconventional Marriage and Unconventional Parenting Styles in the Context of Family Capacity-Building Among Youth. In *Family and Continuity of Generations*. Ivanovo State University. P. 220—225. (In Russ.)
40. Biryukova S. S., Sinyavskaya O. V. (2021) More Money — More Births? Estimating Effects of 2007 Family Policy Changes on Probability of Second and Subsequent Births in Russia. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 2. P. 48—72. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2021.2.1830>.
41. Cherlin A. (2004) The Deinstitutionalization of American Marriage. *Journal of Marriage and Family*. Vol. 66. No. 4. P. 848—861. <https://doi.org/10.1111/j.0022-2445.2004.00058.x>.
42. Easterlin R., Crimmins E. (1991) Private Materialism, Personal Self-Fulfillment, Family Life and Public Interest: The Nature, Effects, and Causes of Recent Changes in the Values of American Youth. *Public Opinion Quarterly*. No. 55. P. 499—533. <https://doi.org/10.1086/269280>.
43. Furstenberg F., Harris L., Pesando L., Reed N. (2020) Kinship Practices Among Alternative Family Forms in Western Industrialized Societies. *Journal of Marriage and Family*. Vol. 82. No. 5. <https://doi.org/10.1111/jomf.12712>.
44. Kavanagh M. (2004) Rewriting the Legal Family: Beyond Exclusivity to a Care-Based Standard. *Yale Journal of Law and Feminism*. No. 16. P. 83—131.

45. Lesthaeghe R. (1991) The Second Demographic Transition in Western Countries: An Interpretation. IPD-Working Paper 1991—1992, Vrije Universiteit, Brussels.
46. Lesthaeghe R. (2010). The Unfolding Story of the Second Demographic Transition. *Population and Development Review, The Population Council*. Vol. 36. No. 2. P. 211—251. <https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2010.00328.x>.
47. Levin I. (2004) Living Apart Together: A New Family Form. *Current Sociology*. Vol. 52. No. 2. P. 223—240. <https://doi.org/10.1177/0011392104041809>.
48. McDonald P., Mills M., Rindfuss R., Velde E. (2011) Why Do People Postpone Parenthood? Reasons and Social Policy Incentives. *Human Reproduction Update*. Vol. 17. No. 6. P. 848—860. <https://doi.org/10.1093/humupd/dmr026>.
49. Roussel L. (1989) La famille incertaine. Paris: Editions Odile Jacob.
50. van de Kaa D.J. (2001) Postmodern Fertility Preferences: From Changing Value Orientation to New Behavior. *Population and Development Review*. Vol. 23. P. 290—331.

DOI: [10.14515/monitoring.2026.4.3088](https://doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3088)**М. А. Карцева, А. И. Ким, Ж. В. Чернова****СТИЛЬ ЖИЗНИ В ПИТАНИИ (FOOD-RELATED LIFESTYLE):
АДАПТАЦИЯ И АПРОБАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА В РОССИЙСКОМ
КОНТЕКСТЕ НА ДАННЫХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ****Правильная ссылка на статью:**

Карцева М. А., Ким А. И., Чернова Ж. В. Стилъ жизни в питании (Food-Related Lifestyle): адаптация и апробация инструмента в российском контексте на данных Санкт-Петербурга и Ленинградской области // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2026. № 4. С. 252—281. <https://www.doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3088>.

For citation:

Kartseva M. A., Kim A. I., Chernova Z. V. (2026) Food-Related Lifestyle: Adaptation and Empirical Testing of the Instrument in the Russian Context. Evidence from Saint Petersburg and Leningrad Oblast. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 252–281. <https://www.doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3088>. (In Russ.)

Получено: 14.08.2025. Принято к публикации: 26.06.2026.

СТИЛЬ ЖИЗНИ В ПИТАНИИ (FOOD-RELATED LIFESTYLE): АДАПТАЦИЯ И АПРОБАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА В РОССИЙСКОМ КОНТЕКСТЕ НА ДАННЫХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

FOOD-RELATED LIFESTYLE: ADAPTATION AND EMPIRICAL TESTING OF THE INSTRUMENT IN THE RUSSIAN CONTEXT. EVIDENCE FROM SAINT PETERSBURG AND LENINGRAD OBLAST

КАРЦЕВА Марина Анатольевна — кандидат экономических наук, зам. директора центра «Институт социального анализа и прогнозирования» Института прикладных экономических исследований, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Москва, Россия
E-MAIL: kartseva-ma@ranepa.ru
<https://orcid.org/0000-0002-4292-3597>

Marina A. KARTSEVA¹ — Cand. Sci. (Econ.), Deputy Director, Center “Institute for Social Analysis and Forecasting” at Institute for Applied Economic Research
E-MAIL: kartseva-ma@ranepa.ru
<https://orcid.org/0000-0002-4292-3597>

КИМ Анастасия Игорьевна — главный эксперт центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Москва, Россия
E-MAIL: kim-ai@ranepa.ru
<https://orcid.org/0009-0009-5286-0890>

Anastasia I. KIM¹ — Leading Expert, Center of Expertise TRIM
E-MAIL: kim-ai@ranepa.ru
<https://orcid.org/0009-0009-5286-0890>

ЧЕРНОВА Жанна Владимировна — доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник сектора социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений, Социологический институт РАН — филиал ФНИСЦ РАН, Санкт-Петербург, Россия
E-MAIL: chernova30@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0003-3416-5287>

Zhanna V. CHERNOVA² — Dr. Sci. (Soc.), Leading Researcher
E-MAIL: chernova30@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0003-3416-5287>

¹ RANEPa, Moscow, Russia

² Sociological Institute of the FCTAS RAS, St. Petersburg, Russia

Аннотация. В работе исследуется стиль жизни в питании на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Теоретической основой работы является концепция стиля жизни в питании (food-related lifestyle), объединяющая когнитивные, эмоциональные и поведенческие аспекты пищевого поведения и широко применяемая в международных сравнительных исследованиях. Эмпирическую основу работы составляют данные количественного опроса населения по вопросам питания, проведенного авто-

Abstract. The study examines food-related lifestyle patterns in Russia, using Saint Petersburg and Leningrad Oblast as a case study. The theoretical framework is the food-related lifestyle (FRL) concept, which integrates cognitive, emotional, and behavioural aspects of eating and is widely used in international comparative research. The empirical basis is an original survey on eating habits conducted by the authors in Saint Petersburg and the Leningrad region between December 2024 and January 2025 (N = 703). The survey was conducted

рами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в период с декабря 2024 по январь 2025 г. ($N = 703$). Опрос проводился методом личного интервью по многоступенчатой территориальной выборке: объем выборки пропорционально распределялся между Санкт-Петербургом, городскими и сельскими поселениями Ленинградской области. С помощью латентного классового анализа выделено пять сегментов по стилю жизни в питании, значимо различающиеся по вовлеченности, инновативности и ответственности: ценители еды (высокая вовлеченность, инновативность и ответственность), экспериментаторы (высокая инновативность), консерваторы (высокая вовлеченность, низкая инновативность), умеренные (средние показатели по всем осям) и равнодушные (низкие показатели по всем осям). Проведено профилирование сегментов по основным практикам питания, ценностям, социально-демографическим характеристикам. Дополнительно в работе реализован эконометрический анализ связи сегментов и вероятности нездорового питания. Показано, что нездоровые пищевые привычки в меньшей степени распространены среди экспериментаторов и умеренных. Результаты исследования подтвердили, что принадлежность к сегменту по стилю жизни в питании — значимый предиктор нездорового питания при контроле на социально-демографические характеристики.

Ключевые слова: стиль жизни в питании, практики питания, ценности, нездоровое питание, социология питания

Благодарность. Настоящая статья подготовлена по результатам самостоятельного анализа авторами эмпирических данных, собранных в ходе реализации проекта «Образ жизни современного российского общества: региональный и профессиональный аспекты», поддержанного Институтом

through face-to-face interviews using a multi-stage, area-based sampling design. The sample was allocated proportionally across St Petersburg and the urban and rural settlements of Leningrad Oblast. Latent class analysis identifies five food-related lifestyle segments that differ significantly in terms of food involvement, food innovativeness and food responsibility: “foodies” (high involvement, innovativeness and responsibility), “adventurers” (high innovativeness), “conservative” (high involvement, low innovativeness), “moderates” (average scores on all dimensions) and “uninvolved” (low scores on all dimensions). We profile the segments by nutrition practices, Schwartz’s values, and sociodemographic characteristics. In addition, an econometric analysis is carried out to examine the association between segment membership and the probability of exhibiting unhealthy eating behaviour. The findings show that unhealthy eating habits are less prevalent among adventurers and moderates, and that the food-related lifestyle segment is a significant predictor of unhealthy eating after controlling for socio-demographic characteristics.

Keywords: food related lifestyle, food-related behavior, life values, eating practices, sociology of nutrition

Acknowledgments. This article is the result of the authors' independent analysis of empirical data collected during the implementation of the project named “Lifestyle of Modern Russian Society: Regional and Professional Aspect”, supported by the Gaidar Institute for Economic Policy in 2024-2025. The authors

экономической политики имени Е. Т. Гайдара в 2024—2025 гг. Авторы выражают благодарность Институту, а также лично Дарье Цыплаковой за содействие в реализации проекта. Авторы также выражают благодарность рецензентам и редакторам журнала за ценные рекомендации, способствовавшие улучшению качества работы.

express their gratitude to the Institute and personally to Daria Tsyplakova for facilitating the implementation of the project. The authors also express their gratitude to Yakov Shcheglov for his assistance in developing the theoretical framework of the study and for his valuable recommendations, which contributed to improving the quality of the work.

Введение

Изучение стилей жизни в питании (food-related lifestyle, FRL)¹ занимает важное место в междисциплинарных исследованиях, связанных с социологией, психологией, экономикой и здоровьесбережением [Grunert, 2019]. Сегодня пищевое поведение рассматривается не только как удовлетворение биологических потребностей, но и как набор социокультурных практик, формирующих социальную идентичность, воспроизводящих стратификационные различия и реагирующих на глобальные вызовы, такие как забота о здоровье и изменение климата. Стил жизни в питании характеризует людей по той роли, которую еда играет в их жизни, связывая общие установки с достижением желаемого результата [Brunsø, Scholderer, Grunert, 2004a]. Предполагается, что FRL является посредником между личными ценностями потребителей и поведением в конкретной ситуации (практиками питания) [Grunert, 2006].

Актуальность изучения стилей жизни в питании в России обусловлена прежде всего состоянием отечественной социологии питания: количественные исследования в этой области, как правило, ограничиваются фиксацией отдельных поведенческих паттернов (частоты потребления тех или иных продуктов) без выявления ценностных и когнитивных оснований, которые эти паттерны формируют [Веселов и др., 2018; Ганскау и др., 2014; Немкова, 2008]. Концепция FRL позволяет преодолеть это ограничение: она связывает наблюдаемые практики питания с ценностными ориентациями и поведенческими установками, открывая возможность не только описать, что едят россияне, но и понять, почему, и тем самым формировать более точные основания как для маркетинговых стратегий, так и для политик в области здоровьесбережения [Pérez-Cueto et al., 2010; Thøgersen, 2017].

Поиск подходов к эмпирическому анализу FRL начался в середине 1990-х годов. В частности, был разработан специализированный социологический инструмент, позволяющий провести количественный анализ FRL, а также выполнить сегментацию населения по FRL [Brunsø, Grunert, 1995; Grunert et al., 2001]. Вопросник для анализа FRL позволяет собрать информацию о мотивах и способах приобретения, вопросах качества, о способах приготовления и ситуациях потребления различных продуктов питания. Изначально инструмент FRL использовался преимущественно в маркетинговых исследованиях для анализа потребительского поведения

¹ Устоявшегося русскоязычного перевода термина *food-related lifestyle* в отечественной социологической литературе пока не сложилось. Авторы используют вариант «стиль жизни в питании» как наиболее близкий к социологической традиции изучения стилей жизни и употребляют его наравне с аббревиатурой FRL.

с целью разработки эффективных стратегий продвижения продуктов, таргетированных рекламных кампаний. Впоследствии было показано, что понимание FRL может дать политикам важную информацию для разработки и имплементации политик в области сохранения и укрепления здоровья населения [Pérez-Cueto et al., 2010], а также политик в области устойчивого питания [Thøgersen, 2017]. В целом инструмент оценки FRL был успешно использован более чем в ста исследованиях с целью сегментации потребителей, объяснения и прогнозирования поведения, связанного с едой [см. Brunsø et al., 2021; Thøgersen, 2017].

В России социология питания — развивающееся направление исследований. Немногочисленные эмпирические работы, использующие количественный анализ, сфокусированы в основном на рассмотрении практик потребления продуктов питания [например, Веселов, Чернов, 2020; Веселов и др., 2018; Ганскау и др., 2014; Немкова, 2008]. Насколько нам известно, работ, посвященных анализу стиля жизни в питании с помощью специализированного инструмента, не проводилось.

В данной работе предпринимается попытка использования инструмента оценки FRL, широко применяемого в зарубежной литературе [Brunsø et al., 2021] для количественного изучения стиля жизни в питании. Апробация инструментария проводится с использованием опроса населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, проведенного авторами в период с декабря 2024 по январь 2025 г. ($N = 703$). В статье рассматриваются возможности и особенности практического применения инструмента FRL в России. В частности, выполнена сегментация респондентов по стилю жизни в питании, проанализирована связь стиля жизни в питании с ценностями, практиками питания и социально-демографическими характеристиками.

Отдельным направлением работы стало изучение возможностей инструмента FRL для анализа детерминант, связанных с нездоровым питанием. Нездоровое питание — ключевой фактор риска, способствующий развитию неинфекционных заболеваний, на которые приходится значительная доля инвалидности и смертности (сердечно-сосудистые заболевания, диабет, некоторые виды онкологических заболеваний и пр.) [World Health Organization, 2025; Afshin et al., 2019]. В глобальной стратегии ВОЗ по диете, физической активности и здоровью подчеркивается необходимость разработки и реализации национальной политики, направленной на улучшение питания населения [World Health Organization, 2004]. В России большое внимание уделяется здоровому питанию, формированию здоровых пищевых привычек населения. Продвижение принципов здорового питания входит в задачи, сформулированные в Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 г.² В 2019—2024 гг. в рамках национального проекта «Демография» Роспотребнадзор реализован проект «Здоровое питание». В настоящее время ведомство продолжает реализацию комплекса мероприятий по проекту, направленных на продвижение принципов здорового питания (просветительские программы, мониторинг питания и качества продуктов, развитие обучающих центров). Понимание дополнительных поведенческих характеристик,

² Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 г. № 1364-р «Об утверждении Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 г.»

связанных с нездоровыми пищевыми привычками, в частности стиля жизни в питании, может дать важную информацию для формирования эффективной таргетированной политики, направленной на популяризацию правильного питания (например, информационных кампаний).

Статья имеет следующую структуру: сначала описываются теоретические основы исследования, далее характеризуются данные, служащие эмпирической базой работы, обсуждается используемый инструмент оценки стиля жизни в питании, приводятся основные описательные статистики. Затем рассматривается методика исследования и приводятся результаты работы. В заключении приводятся основные выводы и обсуждаются ограничения исследования.

Теоретические основания исследования

Современная социология потребления рассматривает пищевое поведение как сложную социальную практику, формируемую в результате взаимодействия биологических потребностей, культурных кодов, социальных норм и стратификационных процессов. Еда выполняет не только утилитарную функцию, но и служит средством символической коммуникации, выражения идентичности и социальной принадлежности. Ряд исследований демонстрирует, что стили питания определяются такими характеристиками социального положения индивидов, как доход, уровень образования, гендер и класс [Darmon, Drewnowski, 2008]. Эти социальные различия влияют на то, как представители различных группы воспринимают и организуют свои практики питания, что в значительной степени отражает их социально-экономический статус. Одним из важных инструментов для анализа этих различий является концепция стиля жизни в питании (food-related lifestyle, далее также FRL) [Brunsø, Grunert, 1995]. Стил жизни в питании, FRL, — это устойчивая, индивидуально специфичная конфигурация когнитивных, эмоциональных и поведенческих ориентаций, определяющих отношение человека к пище: от выбора и приобретения продуктов до их приготовления и потребления. Концепция FRL акцентирует внимание на ценностных основаниях предпочтений в еде и отличается от традиционных моделей потребительского поведения, которые чаще фокусируются исключительно на рациональных или экономических аспектах выбора. В отличие от понятия «пищевые предпочтения», FRL описывает целостный паттерн, в котором мотивы, ценности, практики и ситуационные контексты образуют связную и относительно устойчивую систему [Brunsø, Grunert, 1995; Grunert et al., 2001]. Именно это делает концепцию инструментом не просто описания пищевого поведения, но и сегментации населения по его типу.

Хотя в рамках FRL ценности не измеряются напрямую, модель концептуально и эмпирически соотнесена с исходной десятикомпонентной теорией базовых индивидуальных ценностей Ш. Шварца [Schwartz, 1992]. Исследования показали, что отдельные измерения FRL, например ориентация на новизну и удовольствие, положительно коррелируют с такими ценностями, как стимуляция и автономия, в то время как склонность к традиционализму и планированию питания соотносится с ценностями безопасности, конформизма и традиции [Brunsø et al., 2004b]. FRL можно рассматривать как медиатор между базовыми ценностными ориентациями и практиками питания. Исследование связей между измерения-

ми FRL и ценностными доменами модели Шварца дает свидетельства номологической валидности конструкта: обнаруженные взаимосвязи в целом соответствуют теоретически ожидаемому паттерну [Brunsø et al., 2004b]. При этом FRL представляет собой более конкретный, предметно-специфический уровень организации пищевого поведения и не является непосредственной операционализацией базовых ценностей.

С развитием концепции FRL были выделены три ключевые оси — вовлеченность, инновативность и ответственность [Brunsø et al., 2021]. Вовлеченность отражает степень интереса к еде и удовольствия от питания. Инновативность фиксирует готовность пробовать новые продукты, кухни и способы приготовления. Ответственность характеризует ориентацию на экологические, этические и здоровьесберегающие критерии при выборе продуктов [Brunsø et al., 2021]. Три оси формируют единое концептуальное пространство, в котором респонденты сегментируются по стилю жизни в питании. Эти изменения отражают эволюцию социальных ожиданий в отношении питания, включая повышение интереса к устойчивому производству, вопросам экологии и здорового образа жизни [Thøgersen, 2017]. Например, потребители, которые высоко оценивают инновативность, могут быть склонны выбирать продукты, соответствующие последним трендам в питании, таким как суперфуды или продукты с низким содержанием жира, в то время как те, кто ориентируется на вовлеченность в практики питания, могут тратить больше времени на приготовление пищи и заботиться о ее качестве и составе. Эти потребительские практики также могут быть связаны с ответственностью, выражающейся в предпочтении экологически чистых продуктов или заботе о здоровье через рациональное питание.

Концепция FRL показала высокую аналитическую ценность в разнообразных контекстах. Например, применение этой модели для анализа гендерных различий в практиках питания показало, что мужчины и женщины могут иметь разные подходы к выбору продуктов и приготовлению еды, что отражает не только культурные ожидания, но и социальные различия, связанные с их ролями в обществе [Hamam et al., 2024]. Данная концепция была успешно использована для анализа потребительских практик и пищевого поведения [Stancu et al., 2022; Thøgersen, 2017; Szakály et al., 2012], а также для изучения взаимосвязей между стилями питания и рисками ожирения [Pérez-Cueto et al., 2010].

Это также подчеркивает необходимость включать в анализ ценностные ориентации, социальные и культурные предпочтения при изучении того, как устроено поведение индивидов в сфере питания. В этом смысле концепция FRL, сочетающая ценностный подход и теорию практик, дает нам комплексное понимание, выступая своеобразным медиатором между ценностными ориентациями и практиками питания. Она помогает понять, как различные социальные группы выбирают продукты, исходя из своих ценностных предпочтений, уровня вовлеченности, инновативности и ответственности в отношении еды. Это концептуализирует питание не только как физиологическую потребность, но и как социальную практику, которая отражает более широкие социальные и культурные процессы, включая экономические и экологические аспекты потребления [Warde, 2005, 2014; Gronow, 2002, 2019; Веселов, 2020].

Эмпирическая основа исследования: инструментарий обследования, данные, описательные статистики

Эмпирическую основу работы составили данные обследования населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области по вопросам питания, проведенного в период с декабря 2024 по январь 2025 г. Опрос был реализован в 17 районах Санкт-Петербурга и в 20 городских и 22 сельских поселениях Ленинградской области. Выбор поселений для проведения опроса в Ленинградской области осуществлялся экспертным образом с учетом информации о численности населения области в разрезе муниципальных образований, публикуемой Росстатом. Опрос был проведен по маршрутной выборке³. При этом в городских населенных пунктах стартовая точка маршрута определялась случайным образом. В сельских населенных пунктах улица выбиралась интервьюером, опрос начинался с первого дома улицы. Шаг маршрута в многоквартирных домах был равен пяти, в частной застройке — двум. Респонденты в домохозяйствах отбирались согласно квотному заданию (квоты по полу и возрасту были сформированы на основе информации о генеральной совокупности жителей двух регионов). Опрос проводился по месту жительства респондента с помощью личного интервью по заранее разработанной анкете. Основные социально-демографические характеристики выборки представлены в электронном приложении в таблице 1 [Приложения](#).

Ценности анализировались с использованием портретного ценностного опросника Шварца для измерения десяти базовых ценностей [Schwartz, 2003]⁴. Респондентам предлагалось 21 описание людей с различными ценностями, которые они оценивали по шестибалльной шкале от «совсем не похож на меня» до «очень похож на меня». Для корректировки смещения, вызванного особенностями стиля ответов респондентов (например, использования только определенных частей шкалы), мы выполнили центрирование каждого ценностного индекса относительно среднего ответа респондента по всем вопросам ценностного опросника (ipsatization) [Магун, Руднев, 2008]. Центрированные показатели интерпретируются как относительные ценностные приоритеты (по сравнению со средним уровнем оценки всех ценностей). Средние значения центрированных ценностных индексов (см. рис. 1 [Приложения](#)) показывают, что наиболее значимы для участников опроса безопасность, доброжелательность и универсализм, тогда как наименее значимы стимуляция и власть.

Инструмент эмпирической оценки стиля жизни в питании

Эмпирические исследования стиля жизни в питании были начаты в середине 1990-х годов [Brunsø, Grunert, 1995; Grunert et al., 2001]. Их основной целью была сегментация населения с точки зрения стиля жизни в питании. Для этого был разработан вопросник, состоящий из 69 утверждений с семибалльными шкалами (от 1 «совершенно не согласен» до 7 «согласен»). Вопросник позволяет оценить 23 параметра стиля жизни в питании и охватывает пять областей — мотивы и способы покупки, аспекты качества, способы приготовления и ситуации по-

³ Маршрутные выборки широко применяются в современной практике проведения опросов населения (см., например, [AAPOR, 2016; Jabkowski, Kołczyńska, 2020]).

⁴ Подробности применения метода в России подробно обсуждаются в [Магун, 2023].

требления. Этот инструмент был многократно использован в исследовательской практике и показал свою надежность, кросс-национальную и кросс-культурную валидность (см., например, [Thøgersen, 2017; Pérez-Cueto et al., 2010; Scholderer et al., 2004; Brunsø et al., 2004b]). Однако у данного инструмента имеются некоторые недостатки — он достаточно сложен и его применение требует существенных материальных затрат на сбор информации.

На основе базового инструмента в работе [Brunsø et al., 2021] был предложен сокращенный инструмент изучения FRL — для каждого направления (вовлеченность, инновативность, ответственность) помощью эксплораторного факторного анализа было определено пять показателей, которые в большей степени коррелируют с анализируемыми направлениями. Таким образом, новый инструмент содержит всего 15 вопросов. В исходном исследовании были подтверждены надежность, кросс-культурная валидность и измерительная инвариантность данной версии инструмента [ibid.]. В дальнейшем инструмент применялся для изучения пищевых практик и потребительской сегментации в различных национальных контекстах [Stancu et al., 2022; Hamam et al., 2024].

В нашем исследовании мы используем именно этот инструмент [Brunsø et al., 2021]. Перевод на русский язык осуществлялся авторами с помощью двойного перевода. Была проведена апробация русскоязычного инструмента (десять респондентов), которая позволила внести дополнительные коррективы, связанные с особенностями восприятия вопросов русскоязычными респондентами. В отличие от версии, предложенной в работе [ibid.], в нашем исследовании шкала ответов была сокращена с семи до четырех позиций: 1) «совершенно не согласен», 2) «скорее не согласен», 3) «скорее согласен», 4) «совершенно согласен». Данное изменение было введено для упрощения понимания вопроса респондентом. Формулировки утверждений, средние оценки по ним и агрегированные средние оценки по направлениям представлены в таблице 2 [Приложения](#). Средняя оценка по направлению «вовлеченность» составила 3,11, по направлению «инновативность» — 2,69, а по направлению «ответственность» — 3,05.

Вопросы, касающиеся вовлеченности и инновативности, не вызвали особых сложностей у респондентов — доля пропущенных значений для этих вопросов не превышает 1,6 % (см. табл. 2 [Приложения](#)). Однако вопросы, связанные с ответственностью, привели к большим затруднениям: уровень неответов варьировался от 2 до 12 %. Сложнее всего оказалось определиться с утверждениями «Я стараюсь выбирать продукты, при производстве которых не был нанесен вред окружающей среде» и «Важно, чтобы люди понимали влияние наших пищевых привычек на окружающую среду»: оценить свою степень согласия с каждым из них не смогли 11 % и 12 % опрошенных соответственно. Хотя бы одно из этих утверждений не смогли оценить 20 % респондентов. Кроме того, в методических отчетах интервьюеры отмечали, что именно эти вопросы имели высокую когнитивную сложность. С большой вероятностью это связано с тем, что в российском контексте тема экологической ответственности, включая ответственность в питании, слабо институционализована и воспринимается скорее как индивидуальная инициатива, чем как устойчивая социальная норма [Лебедева, 2021; Шабанова, 2022].

Принимая во внимание значительную долю отказов, которая может создавать смещение выборки (использование обоих утверждений привело бы к сокращению выборки на 20 %), а также значительные сложности в восприятии утверждений, в работе было принято решение отказаться от использования этих двух показателей для сегментации. Для использования в российской практике данные утверждения нуждаются в дополнительном когнитивном тестировании и доработке, которые могут быть выполнены на дальнейших этапах работы.

Инструмент эмпирической оценки практик питания

В анкету обследования были включены вопросы, характеризующие практики питания респондентов. За основу был взят инструмент, использующийся в работе [Brunsø et al., 2021], который содержит 34 утверждения. В нашем исследовании инструмент был расширен с учетом изменений в организации онлайн-покупки еды в России. Развитие e-grocery и онлайн-доставки готовой еды привело к формированию различных способов приобретения продуктов и готовых блюд [Ахенов et al., 2022]. Поэтому вместо общего утверждения «Покупаю онлайн» были включены три отдельных утверждения: «Покупаю продукты или готовую еду онлайн и забираю сам(а) из магазина, кафе, ресторана или пункта выдачи», «Пользуюсь доставкой продуктов на дом», «Пользуюсь доставкой готовой еды на дом». Кроме того, в раздел, касающийся потребления отдельных продуктов, было добавлено утверждение «Пью крепкий алкоголь», так как, несмотря на некоторые позитивные тенденции, для населения России в целом характерна значительная доля крепких напитков в структуре потребления алкоголя [Стадник и др., 2025]. Дополнительно в раздел про потребление отдельных продуктов было включено утверждение «Пью, использую в приготовлении еды и напитков растительное молоко», что обусловлено изменением структуры потребления молочных продуктов в России [Novokshanova, Matveeva, Nikityuk, 2024] и ростом интереса к растительным альтернативам молоку как маркеру здоровьесберегающего стиля питания [Su et al., 2024]. В список утверждений о принятии пищи был добавлен элемент «Обедаю на работе/учебе тем, что приношу из дома». Данная практика отражает степень планирования питания и вовлеченности в домашнее приготовление пищи, которая, согласно литературе, является значимым маркером пищевого стиля жизни [Bisogni et al., 2002].

Таким образом, в вопросник вошли 39 утверждений, касающихся различных практик питания, частоту использования которых респондентам предлагалось оценить по шестибальной шкале (от 1 — «никогда» до 6 — «каждый день или почти каждый день»). Из 39 утверждений 12 касаются практик покупки продуктов питания, 3 — практик приготовления пищи, 15 — практик потребления отдельных продуктов питания и 9 — практик принятия пищи. Согласованность и надежность полученного набора утверждений оценивалась с помощью коэффициента альфа Кронбаха. Для всех практик питания альфа Кронбаха составила 0,71. Отдельно для практик покупки продуктов оценка альфы Кронбаха равна 0,70, для практик приготовления — 0,76 и для практик принятия пищи — 0,68. Полученные значения говорят о достаточной надежности инструмента [Peterson, 1994]. Подробнее список практик и средние оценки их частоты респондентами приведены в таблице 3 [Приложения](#).

В рамках изучения возможностей практического применения инструментария FRL в работе анализируется связь стиля жизни в питании и вероятности нездорового питания. ВОЗ выделяет четыре принципа здорового питания: достаточность, сбалансированность, умеренность и рациональность [World Health Organization, 2024]. Операционализация здорового/нездорового питания в рамках социологического обследования представляет собой непростую задачу. В работе [Gil et al., 2015] представлен обзор наиболее часто используемых комплексных индикаторов качества диеты, однако использование таких показателей требует подробных статистических данных об особенностях питания респондентов, которые, как правило, собираются только в ходе специализированных обследований. В силу ограничений проведенного полевого исследования в работе мы определяем нездоровое питание через конкретные «нездоровые» продукты/паттерны потребления. Подобный подход достаточно распространен в эмпирической литературе [Kachwaha et al., 2024]. На основе доступных данных был сформирован перечень из пяти нездоровых пищевых привычек, а именно частое потребление сливочных/жирных соусов (3 раза в неделю и чаще), частое потребление фастфуда (1—2 раза в неделю и чаще), сладостей (3 раза в неделю и чаще), жирной/жареной пищи (несколько раз в неделю и чаще), чипсов и других снеков (несколько раз в неделю и чаще). Подобный набор типичен для исследования нездоровых пищевых привычек [Kachwaha et al., 2024; Hartman-Petrycka et al., 2022]. На этой основе построен порядковый индикатор нездорового питания, представляющий собой суммарное количество нездоровых пищевых привычек (от 0 до 5). Аналогичные индексы используются, например, в работе [Bergman et al., 2022], а также в рамках международного проекта [Global Diet Quality Project, 2022].

Согласно проведенным расчетам, только 13% опрошенных не имеют рассматриваемых нездоровых пищевых привычек. Треть респондентов имеют одну нездоровую пищевую привычку, две нездоровых пищевых привычки — 38% опрошенных, три-четыре — 16%. Никто из участников опроса не отметил все пять нездоровых привычек. Наиболее распространенной нездоровой пищевой привычкой является частое употребление чипсов и других снеков — 62% опрошенных едят эти продукты несколько раз в неделю и чаще. Треть респондентов (32%) часто едят жирную/жареную пищу. 28% регулярно (три раза в неделю и чаще) едят сливочные/жирные соусы. Каждый четвертый опрошенный (24%) часто потребляет сладости. 12% респондентов часто питаются фастфудом. Подробно показатели нездорового питания представлены в таблице 3 [Приложения](#).

Методика исследования

Сегментация по стилю жизни в питании

Для сегментации респондентов по стилю жизни в питании в работе был использован анализ латентных классов. Сегментация проводилась на базе информации, полученной с помощью инструмента оценки стиля жизни в питании. В качестве критериев выбора модели с оптимальным количеством сегментов применялись критерий логарифма правдоподобия, информационные критерии Акаике (AIC) и Байеса (BIC), а также бутстрап-версия критерия отношения

правдоподобия (Bootstrap Likelihood Ratio Test). В целях избегания попадания в локальный максимум (local maxima problem) модель запускалась итерациями по 100 раз с разными начальными значениями случайного состояния и 20 инициализациями для обеспечения устойчивости и воспроизводимости результатов. Полученные сегменты оценивались с точки зрения внутри- и межклассовой гомогенности (нормированная энтропия), выполнения условия независимости переменных (остаточные корреляции). Различия сегментов по направлениям стиля жизни в питании (вовлеченность, инновативность, ответственность) были проанализированы с помощью дисперсионного анализа (ANOVA) и критерия Тьюки (Tukey-HSD).

Все расчеты выполнены при помощи библиотеки StepMix на языке программирования Python.

Профилирование

Для анализа связи ценностей и практик питания со стилем жизни было проведено профилирование выделенных сегментов. Статистическая значимость различий между сегментами по ценностям и практикам питания определялась с помощью комбинации дисперсионного анализа (ANOVA) и критерия Тьюки (Tukey-HSD). Кроме того, были изучены социально-демографические различия между сегментами. Их значимость определялась с помощью χ^2 критерия, так как социально-демографические характеристики представлены в том числе бинарными переменными.

Анализ факторов нездорового питания

Для оценки взаимосвязи нездорового питания и стиля жизни в питании при контроле на социально-демографические характеристики используется модель бинарного выбора. Аналогичный подход применяется в работе [Pérez-Cueto et al., 2010], в которой исследуется связь ожирения и стиля жизни в питании.

В нашей работе была оценена логит-модель вида:

$$P(\text{unheal\_food} = 1) = \Lambda(x' \beta_1 + \text{fml}' \beta_2), \quad (1)$$

где *unheal_food* — индикатор нездорового питания, принимающий значение 1, если у человека есть три и более признаков нездорового питания, и 0 в противном случае, *x* — вектор социально-демографических характеристик, включающих в себя пол, возраст, брачный статус, наличие детей, характеристики образования, доходов и места проживания респондента, а *fml* — вектор индикаторов стиля жизни в питании, включающий в себя индикаторы принадлежности к определенному сегменту, и Λ — логистическая функция.

Результаты

Стили жизни в питании: сегментация

С помощью анализа латентных классов в работе была проведена сегментация респондентов по стилю жизни в питании. Для поиска оптимального количества латентных классов была проведена процедура кросс-валидации (k-fold cross validation) с вариациями сегментов от 1 до 10. Модель с пятью сегментами пока-

зала наилучшие результаты по критерию логарифма правдоподобия (см. табл. 1). Наши результаты поддерживают результаты предыдущих исследований: как правило, применение данного инструмента изучения FRL позволяет выделить пять сегментов населения [Grunert et al., 2001].

Таблица 1. **Оценка оптимального числа латентных классов по критерию логарифма правдоподобия**

Число сегментов	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Логарифм правдоподобия	-28,65	-27,25	-26,25	-26,15	-26,00	-26,25	-26,60	-26,85	-26,90	-27,45

Источник: расчеты авторов на данных обследования населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области по вопросам питания.

Результаты устойчивы между итерациями: вариативность значений LL-score при многократных запусках модели не является значимой. Модель также показала достаточно высокую степень разделимости классов по показателю нормированной энтропии — 89,7 %. Большинство остаточных корреляций (93,3 %) оказались ниже 0,3, что свидетельствует о соответствии модели предположению об условной независимости показателей.

В таблице 2 приведены средние показатели вовлеченности, инновативности и ответственности по выделенным сегментам, а также размеры сегментов. Дисперсионный анализ показал значимость различий между сегментами по всем факторам стиля жизни в питании. Один из сегментов имеет средние оценки по всем направлениям и называется *умеренные (moderates)*⁵. Умеренные составляют 24 % всех респондентов. 18 % респондентов образуют сегмент с самыми высокими оценками по всем трем направлениям стиля жизни в питании. Этот сегмент — *ценители еды (foodies)*. Другой крупный сегмент (24 %) также характеризуется относительно высокими оценками по всем направлениям (немного ниже, чем у ценителей еды, но значимо выше, чем у двух других сегментов). При этом самые высокие показатели внутри этого сегмента отмечаются для инновативности. Этот сегмент — *экспериментаторы (adventures)*. 16 % выборки составляют *равнодушные (uninvolved)*. У этого сегмента самые низкие оценки по всем направлениям стиля жизни в питании. Пятый сегмент (17 %), *консерваторы (conservative)*, характеризуется высоким показателем вовлеченности, но низким показателем инновативности. В исследовании [Brunsø et al., 2021] консерваторам также свойственна низкая ответственность, однако в нашей работе показатель ответственности для консерваторов статистически не отличается от аналогичного показателя для экспериментаторов. В большой степени это может быть объяснено ограничениями использования инструмента в части изучения ответственности в российской практике.

⁵ При интерпретации классов мы в целом следуем логике работ [Brunsø et al., 2021; Stancu et al., 2022]. В скобках указаны оригинальные англоязычные названия сегментов, использующиеся в исследованиях.

Таблица 2. **Сегментация респондентов по стилю жизни в питании**

	Ценители еды	Эксперимен- таторы	Равнодушные	Умеренные	Консерваторы
Вовлеченность	3,77 ^a	3,25 ^c	2,11 ^e	2,88 ^d	3,49 ^b
Инновативность	3,78 ^a	3,42 ^b	1,58 ^e	2,41 ^c	1,96 ^d
Ответственность	3,69 ^a	3,20 ^b	2,36 ^e	2,80 ^d	3,16 ^{b, c}
Количество респондентов	129	169	113	170	122
Доля в выборке	18%	24%	16%	24%	17%

Примечание. Верхний индекс отражает результаты попарного сравнения сегментов (критерий Тьюки) внутри каждой отдельной строки: группы, которые имеют хотя бы одну общую букву, статистически значимо не различаются; группы без общих букв — различаются при выбранном уровне значимости ($p < 0,05$).

Источник: расчеты авторов на данных обследования населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области по вопросам питания.

Таким образом, *ценители еды* — наиболее вовлеченный и инновативный сегмент: еда занимает важное место в их повседневной жизни. Они готовы экспериментировать с новыми продуктами и кухнями, придают высокое значение качеству и ответственному потреблению. *Экспериментаторы* разделяют высокую инновативность, но несколько уступают ценителям еды по вовлеченности. Для них характерен интерес к новизне при менее выраженной ориентации на качество и ответственность. *Консерваторы* высоко вовлечены в практики питания, однако отвергают новизну. Этот сегмент характеризуется устойчивыми, традиционными пищевыми привычками. *Умеренные* занимают срединную позицию по всем трем осям — еда для них важна, но не является предметом особого интереса или рефлексии. *Равнодушные* демонстрируют минимальную вовлеченность, инновативность и ответственность, то есть питание воспринимается ими как рутинная необходимость, а не как значимая социальная практика.

Профилирование сегментов

1. Ценности

В таблице 3 отражены средние оценки десяти ценностей Шварца для пяти выделенных сегментов. Для корректировки смещения, вызванного особенностями стиля ответов респондентов (например, использованием только определенных частей шкалы), мы выполнили центрирование каждого ценностного показателя относительно среднего ответа респондента по всем вопросам ценностного опросника (ipsatization) [Магун, Руднев, 2008].

Результаты дисперсионного анализа свидетельствуют о наличии статистически значимых различий ($p\text{-value} < 0,05$) между сегментами по четырем ценностям — традиции, самостоятельность, достижения и гедонизм. Равнодушные статистически значимо отличаются от других сегментов по трем направлениям: в их ценностном профиле традиции занимают относительно более низкое, самостоятельность — более высокое, а достижения — более низкое место. У ценителей еды достижения имеют наиболее высокий относительный приоритет среди всех выделенных сегментов, тогда как самостоятельность — наиболее низкий. Для экспериментаторов характерен наиболее низкий относительный приоритет традиций; при этом относительный

приоритет достижений у них близок к показателям ценителей еды. У консерваторов, как и у равнодушных, традиции занимают более высокое относительное место в иерархии ценностей, чем у экспериментаторов. По гедонизму статистически значимые различия обнаружены между несколькими сегментами. У равнодушных его относительный приоритет ниже, чем у ценителей еды, экспериментаторов и умеренных; у консерваторов ниже, чем у экспериментаторов и умеренных. Между остальными сегментами статистически значимых различий по гедонизму не выявлено.

Выявленные различия в ценностных профилях в целом содержательно согласуются с характеристиками сегментов по стилю жизни в питании. Поскольку анализируются относительные показатели ценностей, речь идет о различиях в их месте в индивидуальной ценностной иерархии. У равнодушных традиции и самостоятельность занимают относительно более высокое, а достижения и гедонизм — более низкое место по сравнению с другими сегментами. Такой профиль сочетается с характерными для этого сегмента низкой вовлеченностью в питание и низкой инновативностью. У экспериментаторов традиции имеют наиболее низкий относительный приоритет, тогда как достижения занимают относительно высокое место. Это соответствует их выраженной ориентации на новизну в практиках питания. Для ценителей еды характерен наиболее высокий относительный приоритет достижений среди выделенных сегментов, а гедонизм занимает более высокое место, чем у равнодушных. У консерваторов традиции имеют более высокий относительный приоритет, чем у экспериментаторов, тогда как гедонизм занимает более низкое место, чем у экспериментаторов и умеренных. Таким образом, различия между сегментами затрагивают не отдельную ценность, а конфигурацию относительных ценностных приоритетов, которая соотносится с различиями в вовлеченности, инновативности и ответственности в сфере питания.

Таблица 3. Профиль выделенных сегментов в разрезе ценностей (показатели ценностей центрированы)

Ценности	Ценители еды	Экспериментаторы	Равнодушные	Умеренные	Консерваторы
Конформность	–0,26	–0,23	–0,19	–0,26	–0,06
Традиции	–0,06 ^{a, b, c}	–0,29 ^{c, d}	0,30 ^a	–0,15 ^{b, c, d}	0,17 ^{a, b}
Доброжелательность	0,79	0,51	0,64	0,52	0,67
Универсализм	0,64	0,59	0,71	0,62	0,71
Самостоятельность	0,30 ^{b, c, d}	0,45 ^{a, b, c}	0,80 ^a	0,30 ^{b, c, d}	0,61 ^{a, b}
Стимуляция	–0,77	–0,70	–0,92	–0,79	–1,12
Гедонизм	–0,22 ^{a, b}	–0,11 ^a	–0,58 ^c	–0,23 ^a	–0,36 ^{bc}
Достижения	–0,42 ^a	–0,39 ^{a, b}	–0,89 ^{c, d}	–0,41 ^{a, b, c}	–0,77 ^{a, b, c, d}
Власть	–0,78	–0,62	–0,99	–0,52	–1,04
Безопасность	0,45	0,51	0,77	0,61	0,84

Примечание. Верхний индекс отражает результаты попарного сравнения сегментов внутри каждой отдельной строки (критерий Тьюки): группы, которые имеют хотя бы одну общую букву, статистически значимо не различаются; группы без общих букв — различаются при выбранном уровне значимости (критерий Тьюки, $p < 0,05$). Индекс не указывается при отсутствии значимых различий между всеми сравниваемыми сегментами.

Источник: расчеты авторов на данных обследования населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области по вопросам питания.

2. Практики питания

Согласно результатам дисперсионного анализа, практики питания варьируются в зависимости от сегмента по стилю жизни в питании. Тест ANOVA показал статистически значимую разницу в практиках покупки продуктов питания, приготовления еды, потребления отдельных продуктов питания и принятия пищи. Всего статистически значимые различия отмечаются для 30 практик питания из 39 (см. табл. 4).

В практиках покупки продуктов питания наиболее значимые различия между сегментами наблюдаются в части покупки продуктов в специализированных магазинах. *Ценители еды* и *экспериментаторы* относительно чаще покупают продукты в специализированных магазинах (мясном, рыбном магазин, магазине овощей и фруктов, фермерском магазине), чем представители других сегментов. *Ценители еды, экспериментаторы и консерваторы* чаще, чем *равнодушные* и *умеренные*, покупают продукты на рынке.

Сегменты также значимо различаются по практикам приготовления еды, в частности по временным затратам на приготовление. *Экспериментаторы* и *ценители еды* тратят значимо больше времени на приготовление пищи. В среднем *экспериментаторы* и *ценители еды* каждые выходные и один-два раза в неделю в будни тратят на готовку больше часа, тогда как остальные сегменты проводят больше часа на кухне значительно реже, только один-три раза в месяц.

В нашей работе не было выявлено значимых различий между сегментами в частоте потребления алкогольных напитков. Частота потребления сладостей также не различается между сегментами. Однако частота потребления овощей значимо варьируется. *Ценители еды, консерваторы и экспериментаторы* едят овощи, салаты из свежих овощей три раза в неделю и чаще, что значительно чаще, чем *равнодушные* и *умеренные*.

Среди ситуационных практик принятия пищи незначимыми оказались различия между сегментами по тому, как часто респонденты завтракают, ужинают или перекусывают дома. *Консерваторы* чаще других сегментов обедают дома — в среднем три раза в неделю и чаще, а *экспериментаторы* и *ценители еды* чаще других приносят на работу обед из дома (в среднем один-три раза в месяц).

Таблица 4. Профиль выделенных сегментов в разрезе практик питания

Практики питания	Ценители еды	Экспериментаторы	Равнодушные	Умеренные	Консерваторы
<i>Покупка продуктов питания</i>					
Хожу за покупками в супермаркет	4,9 ^a	4,7 ^{a, b, c}	4,3 ^{c, d, e}	4,4 ^{b, c, d}	4,8 ^{a, b}
Хожу за покупками в несетевой магазин шаговой доступности	3,4	3,1	3,0	3,3	3,0
Хожу за покупками в магазин сыров	1,5 ^{a, b}	1,6 ^a	1,2 ^{c, d, e}	1,4 ^{a, b, c}	1,3 ^{a, b, c, d}
Хожу за покупками в мясной магазин	2,6 ^a	2,5 ^{a, b}	1,7 ^{c, d, e}	2,1 ^c	2,0 ^{c, d}
Хожу за покупками в рыбный магазин	2,0 ^{a, b}	2,1 ^a	1,5 ^{c, d, e}	1,7 ^{b, c}	1,6 ^{c, d}

Практики питания	Ценители еды	Эксперимен- таторы	Равно- душные	Умеренные	Консер- ваторы
Покупаю продукты или готовую еду онлайн и забираю сам(а) из магазина, кафе, ресторана или пункта выдачи	1,7	1,8	1,5	1,8	1,6
Пользуюсь доставкой продуктов на дом	1,9 ^{a, b, c}	2,1 ^a	1,8 ^{a, b, c, d}	2,1 ^{a, b}	1,5 ^{c, d, e}
Пользуюсь доставкой готовой еды на дом	1,7 ^{a, b, c}	1,7 ^{a, b}	1,6 ^{b, c, d}	2,0 ^a	1,4 ^{b, c, d, e}
Хожу за покупками на рынок	2,2 ^a	2,0 ^{a, b}	1,5 ^{c, d, e}	1,7 ^{c, d}	1,9 ^{a, b, c}
Хожу за покупками в фермерский магазин	2,5 ^a	2,2 ^{a, b}	1,6 ^{c, d, e}	1,9 ^{b, c, d}	2,0 ^{b, c}
Хожу за покупками в магазин фруктов и овощей / фруктовую лавку	3,7 ^a	2,9 ^b	2,0 ^{d, e}	2,4 ^{c, d}	2,7 ^{b, c}
Хожу за покупками в пекарню	3,0 ^a	2,9 ^{a, b}	2,1 ^{d, e}	2,8 ^{a, b, c}	2,2 ^d
<i>Приготовление еды</i>					
Провожу >1 часа за готовкой в будние дни	3,9 ^{a, b}	4,2 ^a	2,9 ^{c, d, e}	3,3 ^{b, c, d}	3,3 ^{b, c}
Провожу >1 часа за готовкой в выходные	4,1 ^{a, b}	4,5 ^a	3,0 ^{c, d, e}	3,5 ^{b, c}	3,3 ^{c, d}
Трачу >1 часа на выпечку	2,3 ^a	2,1 ^{a, b}	1,5 ^{c, d}	1,6 ^c	1,5 ^{c, d, e}
<i>Потребление отдельных продуктов питания</i>					
Ем хлеб, другие хлебобулочные изделия	5,4 ^{a, b}	4,7 ^{c, d, e}	4,8 ^{c, d}	4,9 ^c	5,5 ^a
Ем рыбу	3,6 ^a	3,5 ^{a, b}	3,0 ^{c, d, e}	3,1 ^{c, d}	3,2 ^{a, b, c}
Ем сливочные/жирные соусы (например, майонез, тар-тар)	3,6 ^a	3,0 ^{b, c, d, e}	3,3 ^{a, b}	3,1 ^{a, b, c, d}	3,3 ^{a, b, c}
Ем бобовые (фасоль, горох, чечевицу)	3,1 ^a	2,9 ^{a, b}	2,7 ^{a, b, c}	2,5 ^{b, c, d}	2,5 ^{b, c, d, e}
Ем овощи	5,5 ^a	5,1 ^{b, c}	4,7 ^d	4,6 ^{d, e}	5,2 ^{a, b}
Пью вино	2,1	1,9	2,0	1,9	1,7
Ем салаты из свежих овощей	5,0 ^a	4,6 ^b	4,2 ^{c, d}	4,1 ^{d, e}	4,5 ^{b, c}
Ем фрукты	5,2 ^a	4,7 ^{b, c}	4,5 ^{b, c, d}	4,4 ^{c, d, e}	4,9 ^{a, b}
Ем красное мясо (говядину, свинину, баранину)	4,3 ^a	4,0 ^{a, b}	3,8 ^{a, b, c, d, e}	3,8 ^{a, b, c}	3,8 ^{a, b, c, d}
Ем фастфуд (например, пицца, бургеры, шаверма)	2,3 ^{a, b}	2,1 ^{a, b, c}	1,8 ^{c, d, e}	2,3 ^a	1,9 ^{c, d}

Практики питания	Ценители еды	Эксперимен- таторы	Равно- душные	Умеренные	Консер- ваторы
Ем сладости, десерты, торты	3,5	3,3	3,1	3,4	3,4
Пью пиво, сидр	2,1	1,8	1,8	2,1	2,0
Пью крепкий алкоголь	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8
Пью коровье/ козье молоко, включая безлактозное	4,1 ^a	3,4 ^{a, b, c}	3,2 ^{c, d}	3,1 ^{c, d, e}	4,0 ^{a, b}
Пью, используя в приготовлении еды и напитков растительное молоко	1,7 ^a	1,6 ^{a, b}	1,2 ^{c, d, e}	1,5 ^{a, b, c}	1,5 ^{a, b, c, d}
Принятие пищи					
Завтракаю дома	4,9	5,0	4,9	5,2	5,4
Завтракаю на ходу, пока еду/ иду на работу	1,4 ^{a, b, c}	1,5 ^a	1,2 ^{a, b, c, d, e}	1,5 ^{a, b}	1,3 ^{a, b, c, d}
Обедаю на работе/ в ресторане/ кафе	3,0 ^{a, b}	2,8 ^{a, b, c}	2,3 ^{b, c, d, e}	3,1 ^a	2,4 ^{b, c, d}
Обедаю на работе/учебе тем, что приношу из дома	3,1 ^{a, b}	3,2 ^a	2,2 ^d	2,9 ^{a, b, c}	2,1 ^{d, e}
Обедаю дома	4,5 ^{b, c}	4,5 ^{b, c, d}	4,7 ^{a, b}	4,4 ^{b, c, d, e}	5,1 ^a
Ужинаю дома	5,7	5,7	5,6	5,6	5,8
Ужинаю в ресторане/ кафе	1,8 ^{a, b, c}	2,0 ^{a, b}	1,7 ^{a, b, c, d}	2,0 ^a	1,6 ^{c, d, e}
Перекусываю на ходу	1,7 ^{a, b, c}	1,8 ^{a, b}	1,4 ^{b, c, d, e}	2,0 ^a	1,5 ^{b, c, d}
Перекусываю дома	4,0	3,9	4,1	3,9	4,5
Количество наблюдений	129	169	113	170	122

Примечание. Верхний индекс отражает результаты попарного сравнения сегментов внутри каждой отдельной строки (критерий Тьюки): группы, которые имеют хотя бы одну общую букву, статистически значимо не различаются; группы без общих букв различаются при выбранном уровне значимости (критерий Тьюки, $p < 0,05$). Индекс не указывается при отсутствии значимых различий между всеми сравниваемыми сегментами.

Источник: расчеты авторов на данных обследования населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области по вопросам питания.

3. Социально-демографические характеристики

В работе был проведен сравнительный анализ социально-демографических характеристик представителей выделенных сегментов (см. табл. 5). Результаты расчетов свидетельствуют о наличии различий гендерной и возрастной структуры сегментов. *Консерваторы* и *равнодушные* статистически значимо старше, чем остальные сегменты: доля респондентов старше 60 лет в них составляет более 40 %, тогда как в других сегментах этот показатель не превышает 25 %. Среди *экспериментаторов* значимо больше женщин, чем среди *умеренных* (66 % против 48 %). Для других сегментов значимых гендерных различий не выявлено.

Люди с высшим образованием чаще встречаются среди *экспериментаторов*, чем среди *ценителей еды* и *консерваторов*. По материальному положению сегменты также значимо различаются. *Консерваторы* в среднем значимо хуже оценивают свое материальное положение, чем *умеренные* и *ценители еды*. Сре-

ди экспериментаторов доля респондентов, проживающих в сельской местности, является наименьшей (9%) и значительно отличается от других сегментов. В работе не было выявлено значимых различий между сегментами по брачному статусу и количеству детей.

Таблица 5. Профиль выделенных сегментов в разрезе основных социально-демографических характеристик

Характеристика	Ценители еды	Эксперимен- таторы	Равнодуш- ные	Умеренные	Консерва- торы
Возраст					
Возраст, среднее	45	45	54	42	55
18—34 лет	30 % ^{a, b, c}	33 % ^{a, b}	16 % ^{c, d, e}	39 % ^a	20 % ^{b, c, d}
35—59 лет	50 %	42 %	42 %	44 %	34 %
60+ лет	20 % ^{c, d}	25 % ^{b, c}	43 % ^{a, b}	17 % ^{c, d, e}	46 % ^a
Пол					
Женщины	64 % ^{a, b}	66 % ^a	50 % ^{a, b, c, d}	48 % ^{b, c, d, e}	53 % ^{a, b, c}
Семья					
Состоит в браке	50 %	53 %	42 %	55 %	54 %
Есть дети	33 %	33 %	21 %	30 %	23 %
Образование					
Общее среднее	18 %	14 %	22 %	16 %	25 %
Среднее профессиональное	50 %	33 %	40 %	41 %	46 %
Высшее профессиональное	33 % ^{b, c, d}	54 % ^a	38 % ^{a, b, c}	43 % ^{a, b}	29 % ^{b, c, d, e}
Место проживания					
Санкт-Петербург	50 %	52 %	48 %	52 %	47 %
Другой город	22 %	34 %	31 %	32 %	28 %
ПГТ	4 %	6 %	4 %	5 %	3 %
Сельская местность	24 % ^a	9 % ^{c, d, e}	18 % ^{a, b, c}	11 % ^{a, b, c, d}	23 % ^{a, b}
Самооценка материального положения					
Плохое	13 % ^{b, c, d}	15 % ^{a, b, c}	24 % ^{a, b}	11 % ^{b, c, d}	30 % ^a
Среднее	75 %	74 %	66 %	77 %	62 %
Хорошее	12 %	11 %	10 %	12 %	9 %
Количество наблюдений	129	169	113	170	122

Примечание. Верхний индекс отражает результаты попарного сравнения сегментов внутри каждой отдельной строки (критерий χ^2 Пирсона): группы, которые имеют хотя бы одну общую букву, статистически значимо не различаются; группы без общих букв различаются при выбранном уровне значимости ($p < 0,05$). Индекс не указывается при отсутствии значимых различий между всеми сравниваемыми сегментами.

Источник: расчеты авторов на данных обследования населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области по вопросам питания.

Факторы нездорового питания

Статистический анализ показывает, что в среднем нездоровое питание больше распространено среди *ценителей еды*, среди *равнодушных* и среди *консерваторов*, чем среди *умеренных* и *экспериментаторов* (см. табл. 5 [Приложения](#)). Однако простое сравнение средних показателей может привести к некорректным выводам. Для понимания наличия значимой взаимосвязи сегментации и нездорового питания «при прочих равных» в работе был проведен регрессионный анализ (модель 1). Результаты оценивания модели представлены в таблице 6.

Полученные оценки показали, что к нездоровому питанию в большей степени склонны пожилые респонденты (60+ лет), чем молодые люди, тогда как вероятность нездорового питания для людей средних возрастов статистически не отличается от вероятности нездорового питания для молодых людей. Согласно результатам анализа, наличие профессионального образования (как среднего, так и высшего) статистически значимо снижает вероятность нездорового питания. В литературе образование широко признается важнейшим фактором здорового образа жизни, в том числе здорового питания [Znyk et al., 2024; Карамнова и др., 2019а]. Более того, существуют свидетельства, что более образованные люди придерживаются более здоровой диеты, чем менее образованные, вне зависимости от уровня доходов [Olstad, McIntyre, 2025]. Наша работа отчасти подтверждает эти выводы — проведенное моделирование не выявило значимого эффекта более высоких доходов домохозяйства на распространенность нездоровых пищевых привычек. Отмечается также известный защитный эффект брака: люди, состоящие в браке, реже имеют нездоровые пищевые привычки, чем те, кто в браке не состоят. Положительная связь брака и различных аспектов здорового образа жизни широко известна в литературе (см., например, [Hilz, Wagner, 2018]).

Полученные в ходе работы результаты не выявили значимой связи пола респондента с вероятностью нездорового пищевого поведения. В литературе выводы о связи качества диеты и гендера неоднозначны. В ряде исследований показано, что существуют гендерные различия распространенности отдельных нездоровых пищевых привычек (см., например, [Feraco et al., 2024; Карамнова и др., 2019б]). В других работах значимых различий пищевого поведения у мужчин и женщин выявлено не было [McKenzie et al., 2020].

Мы также не обнаружили статистически значимой связи между вероятностью нездорового пищевого поведения и проживанием респондентов в Санкт-Петербурге. Многие предыдущие исследования, напротив, свидетельствуют о существенных территориальных различиях пищевого поведения населения, в частности о различиях между жителями городской и сельской местности (см., например, [European Commission, 2026; Maksimov et al., 2023]).

Несмотря на то что результаты оценки связи социально-демографических показателей и нездорового питания, полученные в работе, представляют интерес и заслуживают обсуждения, в данном исследовании социально-демографические показатели были включены в модель в качестве контрольных переменных, ковариат, позволяющих улучшить оценку связи стиля жизни в питании и нездорового поведения. Для выявления социально-демографических детерминант пищевого

поведения населения РФ требуется привлечение специализированных национально репрезентативных данных.

Исследование показало, что стиль жизни в питании значимо связан с практиками нездорового питания. Согласно результатам моделирования (таблица 6), *экспериментаторы* и *умеренные* статистически значимо реже имеют три и более признаков нездорового питания, чем *ценители еды*. При этом величина эффекта не различается для *экспериментаторов* и *умеренных* (гипотеза о равенстве коэффициентов отвергается, статистика теста хи-квадрат 5,16). Дополнительный анализ (оценки модели 1 с заменой базовой категории стиля жизни в питании) показал, что *экспериментаторы* и *умеренные* также имеют значимо более низкую вероятность нездорового питания, чем *равнодушные* и *консерваторы*.

Полученные результаты ставят содержательный теоретический вопрос: почему стиль жизни в питании — переменная, концептуально связанная с ценностями и поведенческими паттернами, — оказывается значимым предиктором нездорового питания при контроле на социально-демографические характеристики, тогда как ряд последних (пол, место проживания) — нет? Один из возможных ответов: пол и место проживания влияют на качество питания опосредованно — через формирование стиля жизни в питании. Если FRL выступает медиатором между структурными характеристиками и пищевым поведением, прямой эффект соответствующих переменных при контроле на сегмент закономерно оказывается незначимым. Данная гипотеза требует проверки в будущих исследованиях с применением медиационного анализа.

С методической точки зрения результаты подтверждают диагностический потенциал инструмента [Brunsø et al., 2021] для выявления групп риска нездорового питания. Это означает, что «кто ты по социальному положению» объясняет меньше, чем «как ты относишься к еде». Сегментация по FRL позволяет дополнительно уточнить группы риска, расширив стандартный социально-демографический подход, и формировать дифференцированные коммуникационные послания для каждого сегмента.

Таблица 6. **Оценки коэффициентов модели нездорового питания (модель 1)**

Зависимая переменная	Наличие трех и более признаков нездорового питания (доля в выборке — 13%)
<i>Возраст (базовая категория — 18—34 лет)</i>	
35—59 лет	0,397 [0,290]
60 лет и старше	0,520* [0,306]
<i>Пол (базовая категория — мужчина)</i>	
Женщина	–0,236 [0,224]
<i>Образование (базовая категория — общее среднее и ниже)</i>	
Среднее профессиональное	–0,504* [0,270]

Зависимая переменная	Наличие трех и более признаков нездорового питания (доля в выборке — 13%)
Высшее профессиональное	–0,695** [0,293]
<i>Состояние в браке (базовая категория — в браке не состоит)</i>	
Состоят в браке	–0,476** [0,231]
<i>Наличие детей до 18 лет (базовая категория — нет детей)</i>	
Есть дети	0,117 [0,256]
<i>Место проживания (базовая категория — Санкт-Петербург)</i>	
Город Ленинградской области	–0,231 [0,268]
Сельская местность	–0,242 [0,302]
<i>Уровень материального благополучия (базовая категория — низкий)</i>	
Средний	–0,129 [0,279]
Высокий	0,015 [0,423]
<i>Сегмент (стиль жизни в питании) (базовая категория — ценители еды)</i>	
Экспериментаторы	–0,829** [0,335]
Равнодушные	–0,316 [0,329]
Умеренные	–0,991*** [0,343]
Консерваторы	–0,287 [0,322]
Константа	–0,459 [0,459]
Количество наблюдений	703
Псевдо R ²	0.056
LR $\chi^2(15)$	34.6**
p-value для LR-теста	0.003
Log likelihood	–291

Примечание. Стандартная ошибка в скобках, * $p < 0,1$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$.

Источник: расчеты авторов на данных обследования населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области по вопросам питания.

Заключение

В исследовании предпринята попытка количественного анализа стиля жизни в питании в российской практике, на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Теоретической основой работы послужила концепция стиля жизни в пи-

тании (food-related lifestyle, FRL). Эмпирическую основу составили данные опроса населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области (N=703). Для получения информации о стиле жизни в питании в вопроснике используется инструмент, широко применяющийся в современных научных исследованиях и показавший свою кросс-национальную и кросс-культурную валидность [Brunsø et al., 2021].

В целом можно говорить об успешности применения данного инструмента в российской практике. Вопросы, связанные с вовлеченностью и инновативностью в питании, не вызвали существенных затруднений у респондентов. Однако вопросы, связанные с ответственностью в питании, оказались гораздо сложнее для участников обследования, что привело к существенному объему пропущенных значений по этому направлению. Подобные результаты отражают недостаточную институционализацию дискурса экологической ответственности в России, где темы этичного потребления, включая ответственность за выбор продуктов питания, остаются на периферии общественного и академического внимания [Лебедева, 2021; Шабанова, 2022].

С помощью латентного классового анализа на основе полученных данных в работе были выделены пять сегментов по стилю жизни в питании: *ценители еды*, *экспериментаторы*, *равнодушные*, *умеренные* и *консерваторы*. Они различаются по вовлеченности, инновативности и ответственности в питании. По характеристикам направлений стиля жизни в питании выделенные сегменты аналогичны сегментам, определяемым в работе [Brunsø et al., 2021] для Австралии, Венгрии и Дании.

Использование инструмента позволило проанализировать связь стиля жизни в питании с ценностями и пищевыми практиками респондентов. Профилирование показало, что выделенные сегменты статистически значимо различаются как по ценностям, так и по практикам питания. Обнаруженные различия между сегментами по ценностям и практикам питания указывают на потенциальную роль стиля жизни в питании как медиатора между ценностными ориентациями и конкретными практиками питания, что согласуется с результатами, полученными ранее [Scholderer et al., 2004; Brunsø, Grunert, 1995; Grunert et al., 2001].

В работе был проведен регрессионный анализ связи нездорового питания и стиля жизни в питании. Критерий нездорового питания строится на основе информации о наличии у респондента нездоровых пищевых привычек. Результаты анализа позволили выделить сегменты по стилю жизни в питании, которые в большей степени склонны к нездоровому питанию. *Ценители еды*, *равнодушные* и *консерваторы* чаще имеют нездоровые пищевые привычки, чем *экспериментаторы* и *умеренные*. Несмотря на то что информация, полученная в ходе проведенного опроса, содержит ограниченный спектр характеристик нездорового питания, с нашей точки зрения, результаты исследования представляют существенный практический интерес. В настоящее время принято считать, что нездоровый образ жизни в целом и нездоровое питание в частности характерны для отдельных социально-демографических групп (например, люди с низким социально-экономическим статусом [Darmon, Drewnowski, 2008]). Тем не менее результаты работы показывают, что риски нездорового питания связаны не только с социально-демографическими характеристиками человека, но и с его стилем жизни в питании. Таким образом, применение методики FRL для оценки стиля

жизни в питании как детерминанта нездорового питания может дать важную информацию для формирования политики в области продвижения принципов здорового питания (например, для совершенствования таргетинга информационных кампаний и программ).

Подводя итоги, можно отметить, что в данной выборке инструмент FRL [Brunsø et al., 2021] продемонстрировал способность дифференцировать респондентов по стилю жизни в питании. Латентный классовый анализ дал возможность выделить пять сегментов, значимо различающихся по всем трем направлениям FRL: вовлеченности, инновативности и ответственности. Профилирование сегментов по ценностям и пищевым практикам выявило систематические различия между ними, что свидетельствует о содержательной интерпретируемости полученной сегментации. Результаты позволяют рассматривать инструмент FRL как перспективное дополнение к специализированным обследованиям питания, поскольку он дает возможность анализировать неоднородность населения не только по фактическим пищевым практикам и социально-демографическим характеристикам, но и по устойчивым ориентациям в отношении питания. Наиболее информативные результаты могли бы быть получены при включении инструмента FRL в специализированные обследования населения, посвященные вопросам питания (например, проводимое Росстатом раз в пять лет Выборочное наблюдение рациона питания населения). Вместе с тем использование инструмента для эмпирической оценки стиля жизни в питании в рамках более частых мониторинговых обследований представляется менее целесообразным. Необходимо также отметить, что для более эффективного использования инструмента в российской практике необходима дальнейшая методическая доработка инструмента, прежде всего блока вопросов, связанных с оценкой ответственности в питании.

Существенным ограничением работы является географическая ограниченность исследования (два региона). Результаты работы не могут быть распространены на все население РФ. Тем не менее это первый опыт применения инструмента эмпирической оценки стиля жизни в питании в России, который дает основу для проведения более масштабных исследований.

Список литературы (References)

1. Веселов Ю. В., Таранова О. А., Цзинь Ц. Горький хлеб старости? Социальные практики питания пожилых людей // Журнал исследований социальной политики. 2018. Т. 16. № 1. С. 81—94. <https://doi.org/10.17323/727-0634-2018-16-1-81-94>.
Veselov Yu. V., Taranova O. A., Jin J. (2018) The Bitter Bread of Old Age? Social Practices of Nutrition among Elderly People. *The Journal of Social Policy Studies*. Vol. 16. No. 1. P. 81—94. (In Russ.) <https://doi.org/10.17323/727-0634-2018-16-1-81-94>.
2. Веселов Ю. В., Чернов Г. И. Еда и мы: гастрономический портрет Петербурга // Журнал социологии и социальной антропологии. 2018. Т. 21. № 1. С. 182—209. <https://doi.org/10.31119/jssa.2018.21.1.8>.

- Veselov Yu.V., Chernov G.I. (2018) Food and We: Gasronomic Portrait of Saint Petersburg. *The Journal of Sociology and Social Anthropology*. Vol. 21. No. 1. P. 182—209. (In Russ.) <https://doi.org/10.31119/jssa.2018.21.1.8>.
3. Ганскау Е. Ю., Минина В. Н., Семенова Г. И., Гронов Ю. Е. Повседневные практики питания жителей Санкт Петербурга и Ленинградской области // Журнал социологии и социальной антропологии. 2014. Т. 17. № 1. С. 41—58.
Ganskau E., Minina V., Semenova G., Gronow U. (2014) Everyday Nutrition Practices of Residents of St. Petersburg and the Leningrad Region. *The Journal of Sociology and Social Anthropology*. Vol. 17. No. 1. P. 41—58. (In Russ.)
 4. Карамнова Н. С., Максимов С. А., Шальнова С. А., Баланова Ю. А., Имаева А. Э., Муромцева Г. А., Капустина А. В., Евстифеева С. Е., Драпкина О. М. Образовательный статус и характер питания взрослого населения РФ. Результаты эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2019а. Т. 18. № 5. С. 80—89. <https://doi.org/10.15829/1728-8800-2019-5-80-89>.
Karamnova N. S., Maksimov S. A., Shalnova S. A., Balanova Yu. A., Imaeva A. E., Muromtseva G. A., Kapustina A. V., Evstifeeva S. E., Drapkina O. M. (2019a) Educational and Nutritional Status of the Adult Population of the Russian Federation. The Results of an Epidemiological Study ESSE-RF. *Cardiovascular Therapy and Prevention*. Vol. 18. № 5. P. 80—89. (In Russ.) <https://doi.org/10.15829/1728-8800-2019-5-80-89>.
 5. Карамнова Н. С., Шальнова С. А., Тарасов В. И., Деев А. Д., Баланова Ю. А., Имаева А. Э., Муромцева Г. А., Капустина А. В., Евстифеева С. Е., Драпкина О. М. Гендерные различия в характере питания взрослого населения Российской Федерации. Результаты эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ // Российский кардиологический журнал. 2019б. № 6. С. 66—72. <https://doi.org/10.15829/1560-4071-2019-6-66-72>.
Karamnova N. S., Shalnova S. A., Tarasov V. I., Deev A. D., Balanova Yu. A., Imaeva A. E., Muromtseva G. A., Kapustina A. V., Evstifeeva S. E., Drapkina O. M. (2019b) Gender Differences in the Nutritional Pattern of the Adult Population of the Russian Federation: Results of the ESSE-RF Epidemiological Study. *Russian Journal of Cardiology*. 2019b. No. 6. P. 66—72. <https://doi.org/10.15829/1560-4071-2019-6-66-72>. (In Russ.)
 6. Лебедева Д. Р. Человек экологический: повседневные практики заботы об окружающей среде как атрибут современного субъекта в представлениях молодых москвичей // Журнал социологии и социальной антропологии. 2021. Т. 24. № 2. С. 110—143. <https://doi.org/10.31119/jssa.2021.24.2.5>.
Lebedeva D. (2021) Homo Ecologicus: Daily Pro-Environmental Practices as an Attribute of the Modern Subject in the Understanding of Young Muscovites. *The Journal of Sociology and Social Anthropology*. Vol. 24. No. 2. P. 110—143. (In Russ.) <https://doi.org/10.31119/jssa.2021.24.2.5>.
 7. Магун В. С. Эволюция базовых ценностей российского населения, 2006—2021 годы // Социологические исследования. 2023. № 12. С. 44—58.

- Magun V. S. (2023) The Evolution of Basic Human Values of the Russians, 2006—2021. *Sociological Studies*. No. 12. P. 44—58. (In Russ.)
8. Магун В. С., Руднев М. Г. Жизненные ценности российского населения: сходства и отличия в сравнении с другими европейскими странами // Вестник общественного мнения. 2008. № 1. С. 33—58.
Magun V. S., Rudnev M. G. (2008) Life Values of the Russian Population: Similarities and Differences in Comparison with Other European Countries. *The Russian Public Opinion Herald*. No. 1. P. 33—58. (In Russ.)
 9. Немкова Е. В. Факторы и типы потребительского поведения на рынке продовольственных товаров // Экономическая социология. 2008. Т. 9. № 5. С. 68—85.
Nemkova E. V. (2008) Factors and Types of Consumer Behaviour in the Food Market. *Journal of Economic Sociology*. Vol. 9. No. 5. P. 68—85. (In Russ.)
 10. Сергеева В. А., Липатова Т. Е., Чамкина К. С., Ходюшова А. В. Оценка рациона питания, вредных привычек и психологического статуса у мужчин и женщин XXI века. Качественная клиническая практика. 2022. № 2. С. 28—36. <https://doi.org/10.37489/2588-0519-2022-2-28-36>.
Sergeeva V. A., Lipatova T. E., Chamkina K. S., Khodyushova A. V. (2022) Assessment of Diet, Bad Habits and Psychological Status in Men and Women of the XXI Century. *Kachestvennaya Klinicheskaya Praktika (Good Clinical Practice)*. No. 2. P. 28—36. (In Russ.) <https://doi.org/10.37489/2588-0519-2022-2-28-36>.
 11. Стадник Н. М., Никитина С. Ю., Сахарова Г. М., Антонов Н. С., Салагай О. О. (2025) Распространенность потребления алкогольной продукции в Российской Федерации: анализ тенденций в 2019—2023 гг. // Демографическое обозрение. 2025. Т. 12. № 2. С. 132—156. <https://doi.org/10.17323/demreview.v12i2.27499>.
Stadnik N., Nikitina S., Sakharova G., Antonov N., Salagay O. (2025). Prevalence of Alcohol Consumption in the Russian Federation: Analysis of Trends in 2019—2023. *Demographic Review*. Vol. 12. No. 2. P. 132—156. (In Russ.) <https://doi.org/10.17323/demreview.v12i2.27499>.
 12. Шабанова М. А. Выбрасывание продуктов и практики по «спасению еды» в России (микроуровень анализа) // Экономическая социология. 2022. Т. 23. № 1. С. 11—38.
Shabanova M. A. (2022) Throwing Food Away and Food Rescue Practices in Russia (Microlevel Analysis). *Journal of Economic Sociology*. Vol. 23. No. 1. P. 11—38. (In Russ.)
 13. Afshin A., Sur P. J., Fay K. A., Cornaby L., Ferrara G., Salama J. S., Abate K. H., Abbafati C., Abebe Z., Afarideh M., Aggarwal A., Agrawal S., Akinyemiju T., Alahdab F., Bacha U., Bachman V. F., Badali H., Badawi A., ... Murray C. J. L. (2019) Health Effects of Dietary Risks in 195 Countries, 1990—2017: A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. *The Lancet*. Vol. 393. No. 10184. P. 1958—1972. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)30041-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30041-8).

14. American Association for Public Opinion Research. (2016) Address-Based Sampling. Report Prepared for AAPOR Council by the Task Force on Address-Based Sampling. Oakbrook Terrace, IL: AAPOR.
15. Andrade S. C., Previdelli Á. N., Cesar C. L., Marchioni D. M., Fisberg R. M. (2016) Trends in Diet Quality Among Adolescents, Adults and Older Adults: A Population-Based Study. *Preventive Medicine Reports*. Vol. 4. P. 391—396. <https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2016.07.010>.
16. Axenov K. E., Kraskovskaia O. VI., Renni F. M. (2022) Spatial Organisation of the New Forms of E-Grocery and Ready-Made Food Trade in a Large Russian City. *Baltic Region*. Vol. 14. No. 3. P. 28—48. <https://doi.org/10.5922/2079-8555-2022-3-2>.
17. Bergman E., Vepsäläinen H., Erkkola M., Laaksonen M., Kautiainen H., Penttinen M. A., Rautava P., Korhonen P. E. (2022) Healthy and Unhealthy Food Consumption in Relation to Quality of Life Among Finnish Female Municipal Employees: A Cross-Sectional Study. *Nutrients*. Vol. 14. No. 17. Art. 3630. <https://doi.org/10.3390/nu14173630>.
18. Bisogni C. A., Connors M., Devine C. M., Sobal J. (2002) Who We Are and How We Eat: A Qualitative Study of Identities in Food Choice. *Journal of Nutrition Education and Behavior*. Vol. 34. No. 3. P. 128—139. [https://doi.org/10.1016/S1499-4046\(06\)60082-1](https://doi.org/10.1016/S1499-4046(06)60082-1).
19. Brunsø K., Birch D., Memery J., Temesi Á., Lakner Z., Lang M., Dean D., Grunert K. G. (2021) Core Dimensions of Food-Related Lifestyle: A New Instrument for Measuring Food Involvement, Innovativeness and Responsibility. *Food Quality and Preference*. No. 91. Art. 104192. <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2021.104192>.
20. Brunsø K., Grunert K. G. (1995) Development and Testing of a Cross-Culturally Valid Instrument. Food-Related Lifestyle. *Advances in Consumer Research*. Vol. 22. P. 475—480.
21. Brunsø K., Scholderer J., Grunert K. G. (2004a) Closing the Gap between Values and Behavior — a Means—End Theory of Lifestyle. *Journal of Business Research*. Vol. 57. No. 6. P. 665—670. [https://doi.org/10.1016/S0148-2963\(02\)00310-7](https://doi.org/10.1016/S0148-2963(02)00310-7).
22. Brunsø K., Scholderer J., Grunert K. G. (2004b). Testing Relationships between Values and Food-Related Lifestyle: Results from Two European Countries. *Appetite*. Vol. 43. No. 2. P. 195—205. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2004.05.001>.
23. Darmon N., Drewnowski A. (2008) Does Social Class Predict Diet Quality? *American Journal of Clinical Nutrition*. Vol. 87. No. 5. P. 1107—1117. <https://doi.org/10.1093/ajcn/87.5.1107>.
24. European Commission. (2026) Health Inequalities: Dietary and Physical Activity-Related Determinants. *Health Promotion Knowledge Gateway, Knowledge for Policy*. URL: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/health-promotion-knowledge-gateway/health-inequalities-dietary-physical-activity-related_en (date of access: 24.08.2026).

25. Feraco A., Armani A., Amoah I., Guseva E., Camajani E., Gorini S., Strollo R., Padua E., Caprio M., Lombardo M. (2024) Assessing Gender Differences in Food Preferences and Physical Activity: A Population-Based Survey. *Frontiers in Nutrition*. Vol. 11. Art. 1348456. <https://doi.org/10.3389/fnut.2024.1348456>.
26. Gil Á., Martínez de Victoria E., Olza J. (2015) Indicators for the Evaluation of Diet Quality. *Nutrición Hospitalaria*. Vol. 31. Suppl. 3. P. 128—144. <https://doi.org/10.3305/nh.2015.31.sup3.8761>.
27. Global Diet Quality Project. (2022) Measuring What the World Eats: Insights from a New Approach. Geneva: Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN); Boston, MA: Harvard T. H. Chan School of Public Health, Department of Global Health and Population.
28. Gronow J. (2002) *The Sociology of Taste*. London: Routledge.
29. Gronow J., Holm L. (eds.) (2019) *Everyday Eating in Denmark, Finland, Norway and Sweden: A Comparative Study of Meal Patterns 1997—2012*. London: Bloomsbury Academic.
30. Grunert K. G. (2006) Future Trends and Consumer Lifestyles with Regard to Meat Consumption. *Meat Science*. Vol. 74. No. 1. P. 149—160. <https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2006.04.016>.
31. Grunert K. G. (2020) Measuring Meaning of Food in Life. In: H. Meiselman (ed.) *Handbook of Eating and Drinking*. New York, NY: Springer. P. 1—18. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14504-0_92.
32. Grunert K. G., Brunsø K., Bredahl L., Bech A. C. (2001) Food-Related Lifestyle: A Segmentation Approach to European Food Consumers. In: Frewer L. J., Risvik E., Schifferstein H. (eds.) *Food, People and Society*. Berlin, Heidelberg: Springer. P. 211—230. https://doi.org/10.1007/978-3-662-04601-2_14.
33. Hamam M., D'Amico M., Spina D., La Via G., Di Vita G. (2024) The Interplay of Food-Related Lifestyle and Eating Behavior in Italian Women. *Frontiers in Nutrition*. Vol. 11. Art. 1338925. <https://doi.org/10.3389/fnut.2024.1338925>.
34. Hartman-Petrycka M., Witkoś J., Lebiecowska A., Błońska-Fajfrowska B. (2022) Who Likes Unhealthy Food with a Strong Flavour? Influence of Sex, Age, Body Mass Index, Smoking and Olfactory Efficiency on Junk Food Preferences. *Nutrients*. Vol. 14. No. 19. Art. 4098. <https://doi.org/10.3390/nu14194098>.
35. Jabkowski P., Kołczyńska M. (2020) Sampling and Fieldwork Practices in Europe: Analysis of Methodological Documentation From 1,537 Surveys in Five Cross-National Projects, 1981—2017. *Methodology: European Journal of Research Methods for the Behavioral and Social Sciences*. Vol. 16. No. 3. P. 186—207. <https://doi.org/10.5964/meth.2795>
36. Kachwaha S., Kim S. S., Das J. K., Rasheed S., Gavaravarapu S. M., Pandey Rana P., Menon P. (2024) Behavior Change Interventions to Address Unhealthy Food Con-

- sumption: A Scoping Review. *Current Developments in Nutrition*. Vol. 8. No. 3. Art. 102104. <https://doi.org/10.1016/j.cdnut.2024.102104>.
37. Maksimov S. A., Karamnova N. S., Shalnova S. A., Muromtseva G. A., Kapustina A. V., Drapkina O. M. (2023) Regional Living Conditions and Individual Dietary Characteristics of the Russian Population. *Nutrients*. Vol. 15. No. 2. Art. 396. <https://doi.org/10.3390/nu15020396>.
38. McKenzie B. L., Santos J. A., Geldsetzer P., Davies J., Manne-Goehler J., Guring M. S., Sturua L., Gathecha G., Aryal K. K., Tsabedze L., Andall-Brereton G., Bärnighausen T., Atun R., Vollmer S., Woodward M., Jaacks L. M., Webster J. (2020) Evaluation of Sex Differences in Dietary Behaviours and Their Relationship with Cardiovascular Risk Factors: A Cross-Sectional Study of Nationally Representative Surveys in Seven Low- And Middle-Income Countries. *Nutrition Journal*. Vol. 19. Art. 3. <https://doi.org/10.1186/s12937-019-0517-4>.
39. Novokshanova A. L., Matveeva N. O., Nikityuk D. B. (2024) Analysis of Milk Consumption and Dairy Products of the Russian Population Using an Online Survey. *Food Science & Nutrition*. Vol. 12. No. 2. P. 933—942. <https://doi.org/10.1002/fsn3.3808>.
40. Olstad D. L., McIntyre L. (2025) Educational Attainment as a Super Determinant of Diet Quality and Dietary Inequities. *Advances in Nutrition*. Vol. 16. No. 9. Art. 100482. <https://doi.org/10.1016/j.advnut.2025.100482>.
41. Pérez-Cueto F. J. A., Verbeke W., de Barcellos M., Kehagia O., Chryssochoidis G., Scholderer J., Grunert K. (2010) Food-Related Lifestyles and Their Association to Obesity in Five European Countries. *Appetite*. Vol. 54. No. 1. P. 156—162. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2009.10.001>.
42. Peterson R. A. (1994) Meta-Analysis of Alpha Cronbach's Coefficient. *Journal of Consumer Research*. Vol. 21. No. 2. P. 381—391. <https://doi.org/10.1086/209405>.
43. Scholderer J., Brunsø K., Bredahl L., Grunert K. G. (2004) Cross-Cultural Validity of the Food-Related Lifestyles Instrument (FRL) within Western Europe. *Appetite*. Vol. 42. P. 197—211. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2003.11.005>.
44. Stancu V., Brunsø K., Krystallis A., Guerrero L., Santa Cruz E., Peral I. (2022) European Consumer Segments with a High Potential for Accepting New Innovative Fish Products Based on their Food-Related Lifestyle. *Food Quality and Preference*. Vol. 99. Art. 104560. <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2022.104560>.
45. Su W., Zhang Y. Y., Li S., Sheng J. (2024) Consumers' Preferences and Attitudes towards Plant-Based Milk. *Foods*. Vol. 13. No. 1. Art. 2. <https://doi.org/10.3390/foods13010002>.
46. Szakály Z., Sente V., Kövér G., Polereczki Z., Szigeti O. (2012) The Influence of Lifestyle on Health Behavior and Preference for Functional Foods. *Appetite*. Vol. 58. No. 1. P. 406—413. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2011.11.003>.

47. Schwartz S. H. (1992) Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. *Advances in Experimental Social Psychology*. Vol. 25. P. 1—65. [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(08\)60281-6](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60281-6).
48. Schwart S. H. (2003) A Proposal for Measuring Value Orientations Across Nations. *Questionnaire Package of ESS*. P. 259—319.
49. Thøgersen J. (2017) Sustainable Food Consumption in the Nexus between National Context and Private Lifestyle: A multi-level Study. *Food Quality and Preference*. Vol. 55. P. 16—25. <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2016.08.006>.
50. Warde A. (2005) Consumption and Theories of Practice. *Journal of Consumer Culture*. Vol. 5. No. 2. P. 131—153. <https://doi.org/10.1177/1469540505053090>.
51. Warde A. (2014) After Taste: Culture, Consumption and Theories of Practice. *Journal of Consumer Culture*. Vol. 14. No. 3. P. 279—303. <https://doi.org/10.1177/1469540514547828>.
52. World Health Organization. (2004) Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health. Geneva: World Health Organization.
53. World Health Organization. (2024) Healthy Diet. Fact Sheet. Geneva: World Health Organization. URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet> (date of access: 13.02.2026).
54. World Health Organization. (2025) Noncommunicable Diseases. Fact Sheet. Geneva: World Health Organization. URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases> (date of access: 13.02.2026).
55. Znyk M., Raciborski F., Kaleta D. (2024) Dietary Behavior and Determinants of Diet Quality Among Primary Health Care Patients in Poland. *Nutrients*. Vol. 16. No. 7. Art. 925. <https://doi.org/10.3390/nu16070925>.

DOI: [10.14515/monitoring.2026.4.3120](https://doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3120)



Е. А. Стегний, Е. С. Перехожев

**НАВЫК КОМАНДНОЙ РАБОТЫ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ТРЕБОВАНИЙ К МЕНЕДЖЕРАМ И СПЕЦИАЛИСТАМ
В ВАКАНСИЯХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ**

Правильная ссылка на статью:

Стегний Е. А., Перехожев Е. С. Навык командной работы: сравнительный анализ требований к менеджерам и специалистам в вакансиях российских компаний // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2026. № 4. С. 282—307. <https://www.doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3120>.

For citation:

Stegnii E. A., Perekhozhov E. S. (2026) Teamwork Skill: A Comparative Analysis of Requirements for Managers and Specialists in Job Vacancies of Russian Companies. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 282–307. <https://www.doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3120>. (In Russ.)

Получено: 06.10.2025. Принято к публикации: 14.04.2026.

НАВЫК КОМАНДНОЙ РАБОТЫ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К МЕНЕДЖЕРАМ И СПЕЦИАЛИСТАМ В ВАКАНСИЯХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

*СТЕГНИЙ Елена Анатольевна — аспирант Высшей школы бизнеса, департамент организационного поведения и управления человеческими ресурсами, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
E-MAIL: eabeylinasoc@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-3192-2169>*

*ПЕРЕХОЖЕВ Егор Сергеевич — аспирант, младший научный сотрудник Международной лаборатории прикладного сетевого анализа, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
E-MAIL: eperekhozhev@hse.ru
<https://orcid.org/0009-0004-4211-8936>*

Аннотация. Статья посвящена анализу требований к навыкам командной работы в вакансиях российских компаний. Цель исследования — выявить и количественно оценить различия в содержании и структуре требований для менеджеров и специалистов в вакансиях российских работодателей на основе текстового анализа. Эмпирическую базу составил массив из 71 931 вакансии (собранные проектом «РосНавык», которые агрегируют вакансии с крупнейших российских платформ «Работа в России», HeadHunter, SuperJob и «Работа.ру») за период с августа 2024 г. по август 2025 г. Методология включала разработку оригинальных словарей командных навыков и сопутствующих компетенций, текстовый анализ, статистические методы и кластерный анализ. Результаты показали универсализацию командных навыков (98 % вакансий для менеджеров и 90 % для специалистов) при слабой связи между типом роли и наличием тре-

TEAMWORK SKILL: A COMPARATIVE ANALYSIS OF REQUIREMENTS FOR MANAGERS AND SPECIALISTS IN JOB VACANCIES OF RUSSIAN COMPANIES

*Elena A. STEGNII¹ — PhD Student, HSE Graduate School of Business, Department of Organisational Behaviour and Human Resource Management
E-MAIL: eabeylinasoc@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-3192-2169>*

*Egor S. PEREKHOZSHEV¹ — PhD Student, Junior Research Fellow, Faculty of Social Sciences, School of Sociology, International Laboratory for Applied Network Research
E-MAIL: eperekhozhev@hse.ru
<https://orcid.org/0009-0004-4211-8936>*

¹ HSE University, Moscow, Russia

Abstract. The article analyzes the requirements for teamwork skills in job postings of Russian companies. The aim of the study is to identify and quantify differences in the content and structure of requirements for managers and specialists in job vacancies posted by Russian employers based on text analysis. The empirical base consisted of a dataset of 71,931 job postings (collected by the RosNavvyk project, which aggregates vacancies from the largest Russian platforms: Rabota v Rossii, HeadHunter, SuperJob, and Rabota.ru) from August 2024 to August 2025. The methodology included the development of original dictionaries of teamwork skills and related competencies, text analysis, statistical methods, and cluster analysis. The results showed that universalization of teamwork skills was discovered (97,7 % of vacancies for managers and 89,7 % for specialists) with a weak association between the role type and the presence of requirements (Cramér's $V = 0.165$). Besides,

бований (Cramér's $V=0,165$). Вместе с тем выявлено, что в вакансиях для специалистов наблюдается более высокая детализированность описания командных навыков, чем в вакансиях менеджеров. Тематический анализ показал фокус вакансий менеджеров на управленческих аспектах («декомпозиция задач»), а специалистов — на операционных («решение проблем»). Кластерный анализ позволил выявить семь типов «командных ролей», соответствующих запросам работодателей. В результате сделан вывод о трансформации характера труда, связанной с «командизацией» профессиональной деятельности и размыванием границ между управленческими и исполнительскими функциями. Результаты значимы для разработки программ развития персонала и адаптации образовательных стандартов к запросам рынка труда.

Ключевые слова: навыки командной работы, анализ вакансий, российский рынок труда, менеджеры, специалисты, компетенции, анализ текстовых данных

Благодарность. Авторы благодарят проект «РосНавык» за предоставление эмпирической базы, позволившей реализовать данный исследовательский проект. Также мы благодарим руководителя Международной лаборатории прикладного сетевого анализа Мальцеву Д. В. за поддержку и внимание к работе. Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

Введение

Современный рынок труда характеризуется растущим спросом на «гибкие» навыки, среди которых одно из центральных мест занимает командная работа [Deming, 2017; Heckman, Kautz, 2012]. В России это отражено в Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования (ФГОС ВО 3++), где универсальная компетенция УК-3, относящаяся к категории командных компетенций «Командная работа и лидерство», трактуется для бакалавров

it was identified that job postings for specialists exhibit a higher level of detail in describing teamwork skills. Thematic analysis revealed that managers focus on managerial aspects ("task decomposition"), while specialists focus on operational ones ("problem-solving"). Cluster analysis identified 7 types of "team roles" corresponding to employer requirements. The study concludes that there is a transformation in the nature of labor, associated with the shift to the team focus of professional activities and the erasing of boundaries between managerial and executive functions. The results are significant for developing personnel development programs and adapting educational standards to labor market demands.

Keywords: teamwork skills, job analysis, Russian labor market, managers, specialists, competencies, text data analysis

Acknowledgments. The authors thank the "RosNavyk" project for providing the empirical data that made this research possible. We also extend our gratitude to the head of the International Laboratory for Applied Network Analysis, D.V. Maltseva, for her support and attention to this work. This article is an output of a research project implemented as part of the Basic Research Program at HSE University.

и специалистов как «Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде»¹, а для магистров — «Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели»².

Если образовательные стандарты задают ориентиры для освоения профессии, то требования работодателей, фиксируемые в вакансиях, адаптированы к реальным профессиональным задачам, что делает анализ рыночных запросов особенно важным как для проверки образовательных стандартов на соответствие реальным запросам рынка труда, так и для оценки потребностей экономики в целом.

Международные и российские организации, такие как «Атлас новых профессий», Gallup и президентская платформа «Россия — страна возможностей», подчеркивают важность навыка командной работы для успеха в профессиональной деятельности. Работодатели, формулируя требования к менеджерам и специалистам, конкретизируют это общее понятие, адаптируя его под особенности экономической деятельности своих компаний и отраслевую специфику. За кажущимся консенсусом скрывается проблема: понятие «командная работа» остается крайне расплывчатым как для академического сообщества, так и для работодателей и сотрудников [Mathieu et al., 2019; Salas et al., 2018].

В научной литературе и на практике несколько терминов зачастую используются как эквиваленты: «командная работа», «командное взаимодействие», «работа в команде» и «командный дух». Если «командная работа» часто акцентирует совместную деятельность для достижения общей цели, то «командное взаимодействие» делает акцент на процессах коммуникации, координации и взаимного влияния участников [Кабанов, 2020; Ковтун, 2012; Kozlowski, Ilgen, 2006]. Эта смысловая неоднородность напрямую транслируется в тексты вакансий, где требования к командной работе варьируются от общих фраз («умение работать в команде») до конкретных поведенческих индикаторов («фасилитация встреч», «разрешение конфликтов»). Семантическая неопределенность затрудняет как оценку компетенции у соискателей, так и разработку образовательных программ для ее развития.

Традиционно навыки командной работы считаются прерогативой менеджеров, чьи функции по определению связаны с координацией людей [Mintzberg, 2009: 142]. Однако в условиях распространения гибких методологий, проектной работы и кросс-функциональных команд от специалистов (например, аналитиков, разработчиков) также ожидается высокий уровень развития компетенций, связанных с кооперацией [Jones, George, 1998; Проненко, Буняева, 2019; Tannenbaum et al., 2021]. В связи с этим возникает вопрос: насколько различается содержание реального запроса работодателей на навыки командной работы среди этих групп соискателей?

¹ ФГОС — бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика [Электронный ресурс]: утв. Приказом М-ва науки и высш. образования РФ № 954 от 12.08.2020: ред. от 27.02.2023 // Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. URL: https://fgosvo.ru/fgosvo/downloads?f=%2Fuploadfiles%2FFGOS+VO+3%2B%2B%2Fbak%2F380301_B_3_31082020.pdf&id=2035 (дата обращения: 26.02.2025).

² ФГОС — магистратура по направлению подготовки 38.04.01 Экономика: утв. Приказом М-ва науки и высш. образования РФ № 954 от 12.08.2020: ред. от 27.02.2023 // Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. URL: https://fgosvo.ru/fgosvo/downloads?f=%2Fuploadfiles%2FFGOS+VO+3%2B%2B%2Fmag%2F380401_M_3_31082020.pdf&id=2002 (дата обращения: 26.02.2025).

Несмотря на актуальность проблемы, в российской академической литературе ощущается дефицит эмпирических исследований, количественно анализирующих содержание требований к командной работе в текстах вакансий. Большинство работ носят теоретический или узконаправленный эмпирический характер и посвящены иным аспектам рынка труда, таким как удаленная занятость [Смирнова, 2022] или качество вакансий в регионе [Ханнанова, Галиуллина, 2025], при этом анализ больших данных текстов вакансий открывает новые возможности для объективной оценки запросов рынка труда [Волгин, Гимпельсон, 2022; Оболенский, Шевченко, 2023]. Данное исследование призвано заполнить этот пробел.

Новизна исследования заключается в применении методов компьютерного лингвистического анализа и машинного обучения для изучения содержательного наполнения понятия «навыки командной работы». Предлагаемая методология позволяет не только выявить структуру данного запроса, но и провести его сравнительный анализ для двух ключевых профессиональных групп — менеджеров и специалистов, что ранее не изучалось на российском рынке труда.

Объектом исследования выступают тексты вакансий российских компаний, содержащие требования к навыкам командной работы. Предмет исследования — структура и содержание требований к навыкам командной работы в вакансиях для менеджеров и специалистов. Цель работы — путем сравнительного анализа текстов вакансий выявить и количественно оценить статистически значимые различия в содержании, объеме и структуре требований к командной работе, предъявляемой к менеджерам и специалистам (на примере одиннадцати российских групп компаний и компаний, представляющих разные отрасли экономики и входящие в топ рейтингов работодателей).

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- Оценить и сравнить распространенность (долю вакансий) требований к командной работе среди двух групп — менеджеров и специалистов.
- Сравнить детализированность (количество тематических категорий командной работы) и интенсивность (количество упоминаний терминов командной работы) описания этих навыков в двух группах.
- Определить тематическую специфику запроса путем анализа частотности конкретных формулировок и определения уникальных для каждой группы терминов.
- Выявить и сопоставить профили сопутствующих компетенций (технических, управленческих, коммуникационных и др.), наиболее часто встречающихся в вакансиях вместе с требованиями к командной работе, для групп менеджеров и специалистов.
- Разработать типологию командных ролей на основе кластеризации вакансий по паттернам требований к командной работе и сопутствующим навыкам.

Далее статья структурирована следующим образом. Сначала описываются теоретические подходы к пониманию командного взаимодействия, на основании чего составляется словарь компетенций для проведения текстового анализа вакансий российского рынка труда. Затем описана методология исследования, методы и инструменты для анализа данных. Последняя часть посвящена решению поставленных задач. В заключении представляются основные выводы по навыку командной работы на российском рынке труда и выдвигаются гипотезы относительно новых исследований.

Теоретические подходы к пониманию командной работы и командного взаимодействия

Эволюция понятия: от научного менеджмента к цифровой экономике

Изучение командной работы как социально-экономического феномена имеет длинную историю. Зарождение систематического подхода можно отнести к эпохе научного менеджмента (Ф. Тейлор, Г. Форд) в конце XIX — начале XX века, когда акцент делался на жесткой регламентации индивидуальных операций, а коллективный труд понимался как сумма приложенных усилий [Dar, 2022]. Однако в 1920-е — 1930-е годы Хоторнские эксперименты (Э. Мэйо) эмпирически доказали влияние социально-психологических факторов, групповых норм и «человеческих отношений» на производительность, что положило начало изучению неформальных аспектов совместного труда [Mayo, 1933].

В этот же период в Советской России активно формировалась собственная школа научной организации труда. А. К. Гастев разрабатывал методы эффективной организации совместной работы через понятие «трудовые установки», распространяя принципы рациональной организации не только на производственные процессы, но и на культуру труда в целом [Гастев, 1924]. Он отмечал человеческий фактор и необходимость привития трудовой культуры каждому работнику. Помимо этого, разрабатывались теории, позволяющие объяснить эффективность труда через координацию и распределение ролей (например, рационализация труда [Ерманский, 1922] и «административная емкость» руководителя [Дунаевский, 1928]).

Следующий ключевой этап связан с послевоенным периодом и развитием гуманистической психологии и теории систем. Работы К. Левина по групповой динамике и теории Х и У Д. МакГрегора сместили фокус с контроля на мотивацию и самоорганизацию работников [Lewin, 1947; McGregor, 1960].

В СССР в 1960—1970-е годы в связи с усложнением производства и научно-технической революцией вновь усилился интерес к проблемам коллективного труда. Социологи и экономисты активно изучали бригадные формы организации труда, рассматривая производственную бригаду как первичную ячейку совместной деятельности. Среди социально-психологических факторов эффективности трудовых коллективов выделялась зависимость производительности от сплоченности, взаимопомощи и личного общения [Подмарков, 1973: 51—52], то есть выдвигались идеи «человеческих отношений». Иной аспект, который служит базисом для понимания разделения функций менеджера и специалиста, связан с анализом структуры и динамики организационных отношений. А. И. Пригожин уделял внимание проблемам координации и согласования интересов в совместной деятельности [Пригожин, 1980].

В 1970-е — 1980-е годы на Западе, в условиях роста конкуренции и усложнения бизнес-процессов, концепция команды как целостного организма, требующего синергии и взаимодополняющих компетенций (в отличие от рабочей группы, где индивиды координируют усилия, но не имеют общей цели и взаимной ответственности) стала центральной в управленческой мысли [Katzenbach, Smith, 1992]. В конце XX — начале XXI века развитие информационных технологий, глобализация и переход к постиндустриальной, проектно-ориентированной экономике (где деятельность организуется вокруг временных проектов, требую-

щих объединения специалистов разных профилей) привели к новой трансформации. Появление онлайн-, распределенных и кросс-функциональных команд потребовало пересмотра традиционных моделей взаимодействия [Gibson, Gibbs, 2006]. На первый план вышли такие аспекты, как онлайн-коммуникация, управление знаниями и психологическая безопасность [Edmondson, 1999] в условиях неопределенности. Современные российские исследования также подтвердили, что эффективность коллективного труда зависит от согласованности индивидуальных вкладов, распределения функций и психологической совместимости участников [Журавлев, 2005]. При этом в различных типах совместной деятельности (совместно-индивидуальной, совместно-последовательной и совместно-взаимодействующей [Уманский, 1977: 57—58]) требуются разные наборы компетенций — от простой координации до глубокой кооперации и взаимозависимости. А. Л. Журавлев и Т. А. Нестик, развивая это направление, обосновали роль коллективных смыслов и командной рефлексивности как факторов, позволяющих командам эффективно адаптироваться к изменяющимся условиям [Журавлев, Нестик, 2012]. Распределенное лидерство и сетевая организация труда трансформируют традиционные представления об управленческих и исполнительских функциях, что служит основой для формирования гипотез исследования.

Эта эволюция отразилась и в терминологии. Если изначально доминировало понятие «работа в группе» с акцентом на формальную структуру, то позднее утвердился термин «командная работа», подчеркивающий общую цель и взаимную ответственность. В последние годы все чаще используется понятие «командное взаимодействие», которое смещает фокус на непрерывные процессы коммуникации, координации и совместного принятия решений, что особенно актуально для динамичных сред [Mortensen, Haas, 2018]. Таким образом, историческое развитие феномена демонстрирует экономические и организационные изменения: от индустриальной стандартизации к постиндустриальной гибкости и коллаборации, что находит отражение в актуальности изучения текущего состояния командной работы.

Формулирование гипотез исследования

Теоретический обзор показывает, что командная работа становится значимой для разных профессиональных групп. Поэтому исследовательские гипотезы исходят не из противопоставления командной и индивидуальной работы, а из возможных различий в частоте и содержании командных требований, предъявляемых к менеджерам и специалистам.

Управленческие роли обычно предполагают координацию деятельности, распределение задач и взаимодействие с другими работниками [Kraut et al., 1989; Mintzberg, 2009]. В связи с этим можно ожидать, что в вакансиях менеджеров требования к командной работе будут встречаться чаще. Вместе с тем распространение проектных и кросс-функциональных форм работы позволяет предположить, что различие между группами будет относительно небольшим.

H1: доля вакансий, содержащих требования к командной работе, выше среди вакансий менеджеров, чем среди вакансий специалистов.

Управленческая деятельность включает разные формы командного взаимодействия: постановку и распределение задач, коммуникацию, мотивацию сотрудни-

ков, координацию и разрешение конфликтов [Harris, Harris, 1996]. Поэтому можно предположить, что требования к командной работе в вакансиях менеджеров будут описываться более подробно и охватывать больше категорий навыков.

Н2: описания командных навыков в вакансиях менеджеров характеризуются более высокой детализированностью и интенсивностью по сравнению с вакансиями для специалистов.

Мы предполагаем, что командная работа требует не одного набора навыков и не делится просто на «менеджерские» и «исполнительские» роли. В вакансиях могут выделяться разные профили командных компетенций, соответствующие различным функциям внутри команды. Поэтому важно не только оценить частоту упоминаний командной работы, но и определить, образуют ли совместно встречающиеся компетенции устойчивые профили

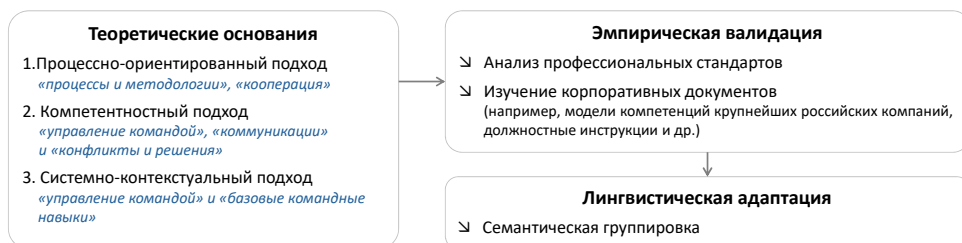
Н3: в вакансиях существуют устойчивые профили требований к командной работе, не относящиеся к разделению на менеджеров и специалистов.

Операционализация концепта командной работы и разработка словарей

Категориальная схема исследования объединяет фундаментальные модели командных процессов и компетенций [Marks et al., 2001; Stevens, Campion, 1994; Ilgen et al., 2005] с более поздними исследованиями, посвященными измерению командного взаимодействия и динамики команд [Lingham, Richley, Serlavos, 2009; Raes et al., 2015; Delice et al., 2019]. Классические работы использовались как основание для выделения компонентов командной работы, а современные исследования — для уточнения их содержания и возможностей эмпирического измерения.

На основе анализа литературы была разработана категориальная схема для анализа требований к командной работе в вакансиях крупных российских работодателей (см. рис. 1).

Рис. 1. Теоретико-методологический подход к составлению словаря компетенций командной работы³



На первом этапе были выделены три взаимодополняющих подхода. Процессный подход [Marks et al., 2001] позволил выделить категории «процессы и методологии» и «кооперация». На основании компетентностного подхода [Stevens, Campion, 1994] в модель были включены категории «управление командой», «коммуника-

³ Источник: составлено авторами на основе анализа работ [Marks et al., 2001; Stevens, Campion, 1994; Ilgen et al., 2005].

ции», «конфликты и решения». Наконец, системно-контекстуальный подход [Ilgen et al., 2005] использовался для выделения категорий «базовые командные навыки» и «стейкхолдеры», отражающих организационный контекст командной работы и взаимодействие с внешними участниками.

Для эмпирической проверки и лингвистической адаптации словаря были выполнены следующие этапы.

— Проанализированы профессиональные стандарты (в части обобщенных трудовых функций, трудовых функций и трудовых действий, связанных с организацией совместной деятельности). Дополнительно рассматривались ФГОС ВО 3++ (где задаются требования к результатам освоения образовательных дисциплин, в частности универсальные компетенции) для выявления терминологии, используемой в нормативных документах. Анализ этих стандартов позволяет сопоставить нормативный язык образовательных организаций с формулировками работодателей.

— Рассмотрены корпоративные модели компетенций из открытых источников (включая документы компаний, вошедших в выборку⁴). Они использовались для уточнения формулировок, характерных для практики управления персоналом в крупных компаниях.

— Проведен пилотный анализ текстов вакансий, позволивший выявить частотные словосочетания, варианты написания и синонимичные выражения, не представленные в нормативных и корпоративных документах.

— Собранные термины были распределены по семи категориям: «базовые командные навыки», «управление командой», «коммуникации», «кооперация», «конфликты и решения», «процессы и методологии» и «стейкхолдеры». Два исследователя независимо выполняли первичную классификацию; спорные случаи обсуждались до согласования итогового решения.

В результате был сформирован словарь из 107 терминов, распределенных по семи категориям (см. табл. 1 [Приложения](#)) Предполагается, что в вакансиях для менеджеров будут преобладать метрики лидерства и координации, тогда как для специалистов — показатели кооперации и гибкости. Так, совместное исследование hh.ru и конкурса «Лидеры России» выявили, что организаторские навыки требуются в 27 % вакансий для руководителей, а управление командой — в 24 %⁵. В 2025 г. около 93 % работодателей столкнулись с разрывом между требованиями к роли и реальными навыками кандидатов⁶. Для его преодоления 48 % компаний планируют использовать корпоративное обучение и менторство⁷, что свидетельствует о том, что работодатели готовы инвестировать в развитие гибких и профессиональных навыков уже нанятых специалистов, адаптируя их под конкретные задачи.

⁴ Например, на карьерном портале Группы НЛМК (<https://career.nlmk.com/?ysclid=mt4mlr563957274263>) есть раздел, посвященный командной работе, подчеркивающий, что сотрудничество является одной из главных ценностей для компании.

⁵ Исследование hh.ru и конкурса «Лидеры России»: управление командой — один из самых востребованных навыков современных руководителей // Россия — страна возможностей. 2025. 19 ноября. URL: <https://rsv.ru/news/819/8576/> (дата обращения: 24.08.2026).

⁶ Как изменился рынок труда за 2025 год: итоги года от HeadHunter // Skillbox Media. 2025. 24 декабря Электронный ресурс: URL: <https://skillbox.ru/media/management/kak-izmenilsya-rynok-truda-za-2025-god-itogi-goda-ot-headhunter/#1> (дата обращения: 24.08.2026).

⁷ Там же.

Дополнительно был составлен словарь сопутствующих компетенций, включающий 65 терминов, разбитых на пять категорий, которые отражают основные векторы профессиональной деятельности менеджеров и специалистов: «технические», «мягкие/гибкие», «управленческие», «коммуникационные» и «аналитические» (см. табл. 2 [Приложения](#)). Необходимость его создания связана с тем, что требования к командной работе обычно встречаются в вакансиях вместе с другими профессиональными требованиями. Анализ таких сочетаний позволяет определить контекст, в котором работодатели ожидают от кандидатов способности работать в команде. Например, сочетание командных навыков с техническими компетенциями может указывать на работу в IT-среде, а их сочетание с аналитическими компетенциями — на исследовательскую или связанную с анализом данных деятельность. Поэтому сопутствующие компетенции позволяют рассматривать командные навыки не изолированно, а в связи с другими требованиями к специалистам. Содержательное наполнение словаря определялось преимущественно на этапе эмпирической валидации на основе анализа типичных сочетаний компетенций в вакансиях.

Методология исследования

Дизайн исследования

Эмпирическую базу исследования составили данные, предоставленный компанией «РосНавык»⁸. Выборка формировалась с учетом трех ключевых критериев для обеспечения вариативности данных.

Период публикации вакансий охватывает август 2024 — август 2025 г. Выбранный годовой интервал позволяет снизить влияние сезонных колебаний, однако результаты относятся только к проанализированным работодателям и не характеризуют российский рынок труда в целом.

В выборку вошли вакансии одиннадцати корпоративных групп и брендов. Отбор носил целевой характер. Компании отбирались на основании рейтингов Forbes Russia и RAEX за 2022—2024 гг.⁹ (Рейтинг Forbes Russia использовался для учета позиций компаний как работодателей и их кадровых практик, а RAEX-600 — для учета экономического масштаба организаций) и представляли основные секторы экономики и различные организационные культуры и практики управления:

- *финансовый сектор и банковские услуги*: ПАО «Сбербанк России»;
- *ИТ и телекоммуникации*: группа «Яндекс» и ПАО «Мобильные ТелеСистемы»;
- *энергетика и добыча*: группа «Газпром», включая организации групп ПАО «Газпром нефти» и «Газпром межрегионгаза», ПАО «Нефтяная компания», ПАО «ЛУК-Ойл» и ПАО «НК „Роснефть“»;
- *розничная торговля*: X5 Group;

⁸ ООО «РосНавык» (<https://rosnavyk.ru/>) — сервис, который агрегирует вакансии с крупнейших российских рекрутинговых площадок (hh.ru, Superjob.ru, «Работа в России», Работа.ру). Массив данных, используемый в работе, доступен для исследовательских целей по запросу.

⁹ Рейтинг лучших работодателей России // Forbes. 2024. URL: <https://www.forbes.ru/ratings/best-employers/2024> (дата обращения: 26.09.2025); Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции — RAEX-600 // RAEX. 2022. 24 ноября. URL: https://raex-rr.com/largest/RAEX-600/biggest_companies/2022/ (дата обращения: 26.09.2025).

- *промышленность*: ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (Группа НЛМК);
- *фармацевтика*: ПАО «Фармстандарт»;
- *транспорт*: ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии».

В-третьих, для проведения сравнительного анализа все данные (72 362 вакансии) были объединены в две группы: менеджеры — вакансии с маркером «менеджер» при отсутствии маркера «специалист»; специалисты — вакансии, в названии которых присутствовал лексический маркер «специалист». Группировка выполнялась по нормализованному названию вакансии. В процессе очистки данных была исключена 431 (0,6%) вакансия, которая не могла быть однозначно отнесена ни к одной из групп. Таким образом, итоговая выборка для анализа составила 71 931 вакансию: 36 225 вакансий менеджеров и 35 706 вакансий специалистов, то есть примерно по 50 % каждой группы.

Выборка включает вакансии отдельных крупных работодателей и не обеспечивает репрезентативности российского рынка труда в целом. Поскольку географические фильтры не устанавливались, территориальная структура массива определяется присутствием выбранных компаний и активностью рекрутинговых платформ. Кроме того, лексическая классификация не позволяет отличить формальных руководителей от менеджерских позиций, не предполагающих управления работниками.

Предобработка текстовых данных и методы анализа

Методология обработки данных включала последовательность этапов, реализованных в среде в Jupyter Notebook на языке Python 3.9 с использованием библиотек pandas, NumPy, SciPy, statsmodels и scikit-learn. Описания вакансий приводились к нижнему регистру, после чего выполнялся поиск словарных терминов по их вхождению в текст. Различные формы и варианты написания учитывались путем включения соответствующих выражений в словарь (например, «руководить», «руководство» и «руководитель» идентифицировались как один термин). На основе этого для каждой вакансии были рассчитаны две ключевые метрики: интенсивность, отражающая общее количество упомянутых командных навыков, и детализированность [Волгин, Гимпельсон, 2022], показывающая, сколько уникальных категорий этих навыков (из семи возможных) было задействовано.

Для верификации статистических гипотез был использован комплекс методов. Связь между типом роли и наличием командных навыков анализировалась с помощью критерия χ^2 Пирсона с последующей оценкой силы связи коэффициентом Крамера. Сравнение средних значений метрик интенсивности и детализированности между группами менеджеров и специалистов проводилось с применением t-критерия Стьюдента для независимых выборок и непараметрического U-критерия Манна — Уитни для повышения надежности результатов; размер эффекта оценивался с помощью d-Коэна. Для выявления тематической специфики употребления командных навыков был применен анализ log-RF с коррекцией по Вейрду. Завершающим этапом стало выявление латентных типов «командных» ролей с помощью алгоритма кластеризации k-means, примененного к бинарным векторам наличия/отсутствия терминов.

Результаты исследования

Распространенность командных навыков:

от управленческой прерогативы к универсальному требованию

Первый полученный результат исследования бросает вызов традиционным представлениям о распределении социальных компетенций в организациях. Командные навыки выявлены в 94 % проанализированных вакансий. Это свидетельствует о широком распространении требований к командной работе среди крупнейших российских компаний, вошедших в выборку, но не позволяет характеризовать российский рынок труда в целом. Полученный результат согласуется с исследованиями, отмечающими повышение значимости социальных навыков и распространение совместных форм работы [Heckman, Kautz, 2012; Piercy, Steele, 2016; Ali, Khan, 2023; Kozłowski, Ilgen, 2006]. В среднем в одной вакансии представлены термины из 1,58 категории командных навыков.

Тем не менее здесь заметна важная дифференциация (см. табл. 1). Наш анализ выявил, что почти все менеджеры (98 %) должны владеть командными навыками, в то время как среди специалистов этот показатель немного ниже — 90 %. Разница в 8 процентных пунктов статистически значима ($\chi^2 = 1952,92$; $p < 0,001$), а модель показывает очень высокую надежность ($z = 44,21$; $p < 0,001$).

Таблица 1. **Распространенность командных навыков по профессиональным группам**

Показатель	Менеджеры	Специалисты	Общий результат
Количество вакансий с командными навыками	35 394	32 036	67 430
Доля вакансий с командными навыками	97,7 %	89,7 %	93,8 %

Высокая распространенность командных требований в обеих группах соответствует общей тенденции к повышению значимости социальных навыков. Более высокая доля таких требований в вакансиях менеджеров согласуется с координативным содержанием управленческой деятельности [Kraut et al., 1989]. Таким образом, H1 получила подтверждение, однако величина различий между группами невелика. Результаты показывают распространение командных требований за пределы формальных управленческих позиций, но не позволяют судить о том, является ли сама работа специалистов индивидуальной или командной. Например, в одной из анализируемых вакансий на позицию «Стажер, специалист по обеспечению товаром» в требованиях помимо знаний процесса закупок, цепочек поставок и аналитики работодатель запрашивает «развитые коммуникативные способности».

Особого внимания заслуживает слабая сила связи (Cramér's $V = 0,165$)¹⁰ между типом роли и наличием командных навыков. Это указывает на то, что фактор «менеджер vs специалист» объясняет лишь небольшую часть вариативности в требованиях к командной работе. Возможно, отраслевая специфика, размер компании или тип организационной культуры играют более важную роль, нежели тип позиции [Mortensen, Haas, 2018].

¹⁰ Согласно шкале интерпретации Cramér's V для таблиц 2×2 , значение 0,165 соответствует слабой связи (эффект $< 0,1$ — пренебрежимый, $0,1$ — $0,3$ — слабый).

Парадокс детализированности: почему в вакансиях для специалистов командные навыки описываются более детализированно и интенсивно

Одним из ключевых результатов нашего исследования стало обнаружение парадокса детализированности (см. табл. 2). То есть в вакансиях специалистов командные навыки упоминаются несколько чаще и представлены более широким набором категорий, чем в вакансиях менеджеров.

Таблица 2. Сравнение интенсивности* и детализированности командных навыков**

Метрика	Менеджеры	Специалисты	Разница (менеджеры — специалисты)	Статистическая значимость
Интенсивность (M±SD)	1,94 ± 1,43	2,26 ± 1,17	–0,32	$t = -25,33$; $p < 0,001$
Детализированность (M±SD)	1,61 ± 0,91	1,77 ± 0,78	–0,16	$t = -23,15$; $p < 0,001$

* Под интенсивностью понимается число упоминаний терминов, связанных с командной работой, в тексте вакансии. Соответственно, высокие значения интенсивности означают более частое акцентирование командного взаимодействия в описании вакансии, а низкие — более редкие упоминания таких требований.

** Под детализированностью понимается число категорий командных навыков, представленных в вакансии. Высокие значения указывают на более разнообразное описание форм командного взаимодействия, тогда как низкие значения отражают менее дифференцированное описание.

Статистический анализ с применением t-критерия Стьюдента для независимых выборок выявил значимые различия между группами менеджеров и специалистов (см. табл. 2) по показателям интенсивности ($t = -25,33$; $p < 0,001$) и детализированности ($t = -23,15$; $p < 0,001$) командных навыков. Согласно данным описательной статистики, специалисты демонстрируют более высокие средние значения по обоим метрикам. Оценка размера эффекта по d Козну показала слабую величину различий ($d = -0,195$)¹¹, что объясняется высоким уровнем вариативности (стандартного отклонения) внутри сравниваемых групп.

Этот результат допускает несколько интерпретаций, но не позволяет установить его причину. Обнаруженный парадокс — более высокая детализированность требований у специалистов — может быть объяснен в рамках теорий трансформации трудовых практик [Carpelli, Keller, 2013]. Специалисты в современных организациях работают в сложных сетевых структурах, требующих специфических навыков координации [Borgatti, Foster, 2003; Chen et al., 2022]. Эта тенденция отчетливо проявляется и в российских компаниях, где распространение кросс-функциональных команд и гибких методологий требует от специалистов владения широким спектром навыков взаимодействия.

Полученные данные свидетельствуют, что специалисты действительно работают в более сложных по сравнению с менеджерами коммуникационных¹² средах, требующих «навыков опытного дипломата, эксперта по управлению проектами,

¹¹ В соответствии с критериями Козна, $d = 0,2$ интерпретируется как малый размер эффекта; полученное значение ($-0,195$) находится на нижней границе малого эффекта.

¹² Вывод основан на статистически значимых различиях в интенсивности ($t = -25,33$, $p < 0,001$) и детализированности ($t = -23,15$, $p < 0,001$); величина эффекта малая, но устойчивая при больших выборках.

дальновидного лидера и консультанта по семейным отношениям в одном лице» [Lank, 2006: 127]. Это отражает общую тенденцию к усложнению социального взаимодействия в профессиональной деятельности [Deming, 2017]. Например, за последнее время увеличилось количество кросс-функциональных команд, где специалистам приходится коммуницировать не только с членами своей команды, но и с сотрудниками других отделов. Они работают в рамках гибких методологий организации работы (Agile) и взаимодействуют с разнообразными стейкхолдерами (как внешними, так и внутренними) [Mortensen, Haas, 2018]. Таким образом, командная работа становится более дифференцированной и требует специфических навыков. С развитием цифровых технологий большое количество взаимодействий было переведено в онлайн (например, звонки, письма, трекары задач и др.), для чего появилось множество цифровых платформ, позволяющих вести запись встреч и использовать онлайн-доски для совместной работы, что стало частью современных навыков эффективной командной работы¹³.

Тематическая специфика: разная природа командной работы

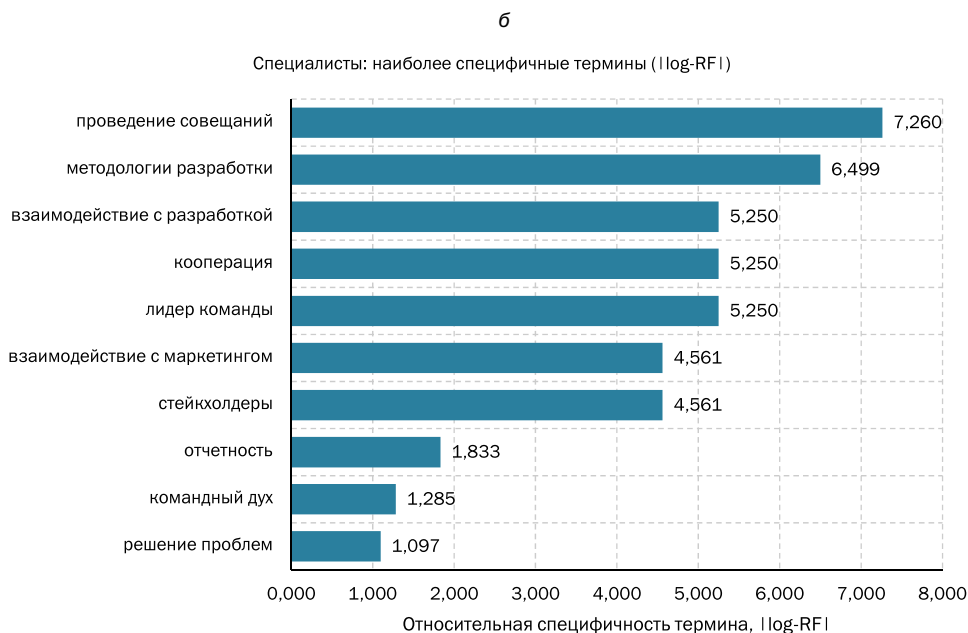
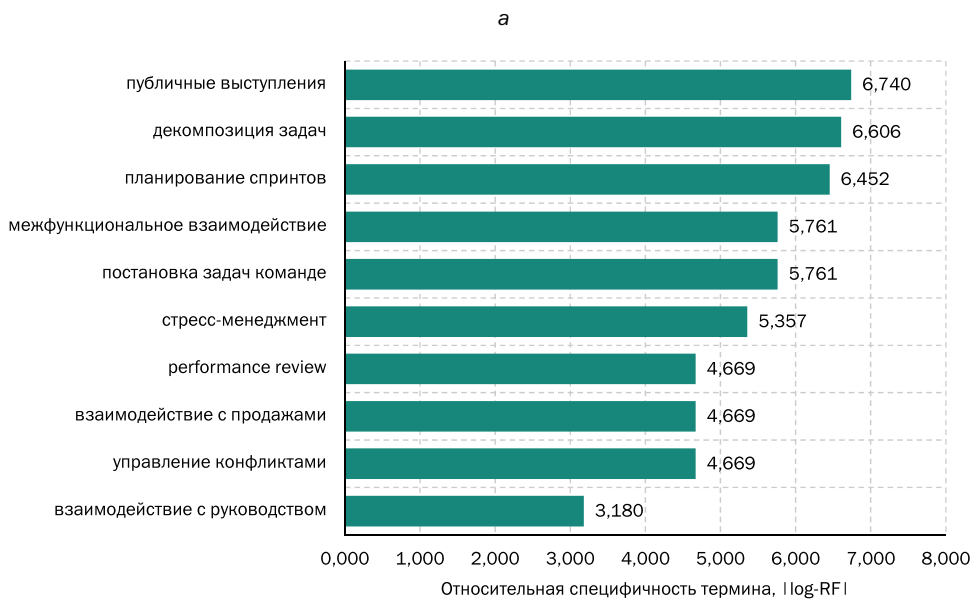
Анализ терминологического наполнения требований к командной работе выявил значительное сходство в используемом словаре между менеджерами (75 уникальных терминов) и специалистами (73 уникальных термина), что свидетельствует о формировании универсального языка описания командных компетенций на российском рынке труда.

Данные по топ-10 наиболее частотных терминов демонстрируют как общие тенденции, так и профессиональную специфику: в обеих группах доминируют термины «клиент» (28 596 у менеджеров против 20 014 у специалистов), «команда» и «процесс», что отражает клиентоориентированность и процессный подход как базовые требования современного бизнеса [Kohlbacher, Gruenwald, 2011; Cherep et al., 2022]. Однако выявлены и значимые различия: в вакансиях менеджеров значительно чаще используют термины, связанные с коммуникацией («переговор» в 2,2 раза чаще; «переговоры» в 2,5 раза чаще), что соответствует традиционным представлениям об их коммуникативной роли [Dodgson et al., 2021], в то время как специалисты активнее оперируют терминами операционной деятельности («отчетность» в 6,6 раза чаще), что может свидетельствовать об их большей вовлеченности в документооборот и формальные процедуры [Магура, Курбатова, 2008].

Сравнение терминов с использованием метрики log-RF (логарифма отношения относительных частот) выявило формулировки, относительно специфичные для каждой группы вакансий (см. рис. 2а и 2б). На рисунках приведены абсолютные значения показателя: чем больше $|\log-RF|$, тем чаще термин встречается в соответствующей группе относительно общей частоты терминов в ней. У менеджеров чаще встречаются формулировки, связанные с постановкой и декомпозицией задач, публичными выступлениями, а у специалистов — взаимодействие с разработкой, командный дух, лидер команды.

¹³ Самаркина И. Не просто общение: 5 навыков, необходимых для продуктивного взаимодействия в команде // МТС-линк. 8 мая 2026. URL: <https://mts-link.ru/blog/5-navykov-neobhodimyh-dlya-vzaimodejstviya-v-komande/?ysclid=mt4vt4sp4u611734105>.

Рис. 2. Топ-терминов, специфичных для менеджеров (а) и специалистов (б), на основе анализа Log-RF



Примечание. Чем больше |log-RF|, тем выше относительная специфичность термина для соответствующей группы вакансий. Принадлежность к группе определяется названием диаграммы. Высокие значения для редких терминов чувствительны к параметру сглаживания ($\alpha = 0,01$), поэтому показатель интерпретируется описательно.

Полученные различия характеризуют формулировки вакансий: для менеджеров относительно специфичнее язык постановки и декомпозиции задач, для специалистов — язык непосредственного взаимодействия и командного лидерства, — и частично подтверждают классические представления о разделении управленческих и исполнительских функций [Mintzberg, 1979], но также выявляют новые тенденции. Традиционная вертикализация структуры дополняется элементами горизонтального взаимодействия и взаимопроникновения компетенций. Обнаруженный феномен большей терминологической разнообразности (гетерогенности) в описании вакансий специалистов требует дальнейшего исследования, поскольку противоречит некоторым существующим представлениям об организации труда [ibid.]. Выявленные тенденции отражают общую трансформацию рынка труда в сторону гибких организационных структур и кросс-функционального взаимодействия, что соответствует глобальным трендам цифровой экономики [Cascio, Montealegre, 2016].

С социологической точки зрения результаты анализа отражают классическую дихотомию формальных и неформальных организационных структур [Вебер, 2016: 256; Мертон, 2006: 326; Diefenbach, Sillince, 2011]. Менеджеры, с их ориентацией на стратегию и формальные процессы, олицетворяют бюрократическую рациональность. В то же время специалисты, чьи компетенции связаны с технической кооперацией и «командным духом», функционируют скорее по сетевым принципам координации. Данное наблюдение находит подтверждение в теории двойственности организационных структур [Adler, Borys, 1996], где сосуществуют формальные и неформальные механизмы. С позиций управленческой науки обнаруженные различия могут быть интерпретированы через призму моделей координации [Thompson, 1967]: для менеджеров характерна стандартизация процессов, тогда как для специалистов — взаимное согласование.

Профили сопутствующих компетенций: парадокс управленческих навыков

Анализ сочетания командных и других компетенций показывает, что управленческие функции постепенно выходят за рамки формальных руководящих позиций, и этот процесс можно назвать «демократизацией управления». Речь идет об интеграции управленческих компетенций с командной работой, причем этот тренд в равной степени характерен как для менеджеров (99%), так и для специалистов (99%) (см. табл. 3). Минимальная разница в 0,2% является статистически и содержательно незначимой, что позволяет утверждать: управленческие навыки де-факто перестали быть исключительной прерогативой формальных руководителей. Данный феномен наглядно свидетельствует о «менеджерииализации» профессиональных ролей [Klikauer, 2015], когда функции планирования, организации и контроля задач распределяются среди всех сотрудников. Это отражает современные тренды на распределенное лидерство и повышение автономии специалистов [Carson, Tesluk, Marrone, 2007]. В таблице 3 представлена доля вакансий, в которых наряду с терминами командной работы обнаружены термины соответствующей сопутствующей категории. Показатель рассчитывался относительно числа вакансий с командными терминами в каждой группе. Он характеризует встречаемость словарных категорий, а не фактическое владение компетенциями работниками.

Таблица 3. Доля вакансий с сопутствующими компетенциями среди вакансий, содержащих термины командной работы

Категория компетенций	Специалисты	Менеджеры	Разница (менеджеры — специалисты)
Управленческие	49,4 %	15,8 %	–33,6 п. п.
Коммуникационные	3,7 %	3,8 %	+0,1 п. п.
Мягкие / гибкие	24,6 %	10,2 %	–14,4 п. п.
Технические	3,4 %	3,6 %	+0,2 п. п.
Аналитические	14,6 %	13,4 %	–1,2 п. п.

Наиболее выраженные межгрупповые различия связаны с управленческими компетенциями и гибкими навыками. Среди вакансий специалистов, содержащих командные термины, управленческие термины встречаются в 49,4 % случаев, тогда как среди аналогичных вакансий менеджеров — в 15,8 %. Гибкие навыки представлены в 24,6 и 10,2 % вакансий соответственно. Различия по остальным категориям невелики: доля аналитических компетенций составляет 14,6 % у специалистов и 13,4 % у менеджеров, коммуникационных — 3,7 и 3,8 %, технических — 3,4 и 3,6 %. Наиболее выраженные различия связаны с управленческими и гибкими компетенциями. Управленческие термины обнаружены в 49,4 % вакансий специалистов с командными требованиями и в 15,8 % аналогичных вакансий менеджеров. Термины гибких навыков встречаются соответственно в 24,6 и 10,2 % вакансий. Различия по техническим, коммуникационным и аналитическим компетенциям невелики.

Типология командных ролей: за пределами дихотомии «менеджер — специалист»

Для построения типологии использовались вакансии, в которых был обнаружен хотя бы один термин командной работы. В кластерный анализ k-means включались бинарные признаки категорий командных навыков, показатели интенсивности и детализированности и бинарные признаки пяти категорий сопутствующих компетенций.

— бинарные признаки наличия в вакансии отдельных категорий командных навыков;

— показатель интенсивности — общее число найденных терминов, относящихся к командной работе;

— показатель детализированности — число различных категорий командных навыков, представленных в тексте вакансии;

— число обнаруженных командных терминов;

— бинарные признаки сопутствующих навыков (технические, soft skills, управленческие, коммуникационные, аналитические).

Перед кластеризацией все признаки были стандартизированы. Оптимальное число кластеров выбиралось путем сравнения решений с разным k по индексу силуэта; наилучшим оказалось решение из семи кластеров (silhouette = 0,453, random_state = 42)¹⁴. После этого была выполнена финальная кластеризация

¹⁴ Значение силуэта 0,453 соответствует приемлемой структуре кластеров (0,25—0,5 — слабая структура, 0,5—0,7 — умеренная).

k-means с фиксированными параметрами и последующая содержательная интерпретация кластеров по их доминирующим категориям командных навыков, наиболее частотным терминам, преобладающей группе вакансий (менеджеры / специалисты) и типичным должностным позициям. Именно на этом основании кластеры получили содержательные названия, такие как «Клиентские менеджеры», «Командные игроки» или «Лидеры команд». Вывод об устойчивости выделенных кластеров подтверждается метриками качества кластеризации (Davies-Bouldin = 1,357, Calinski-Harabasz = 12 950,9) и высокой стабильностью разбиения при варьировании начальных условий (средний ARI = 0,927)¹⁵.

Как показывает таблица 4, выявленные кластеры существенно различаются по своему удельному весу доле на рынке труда, профилю компетенций и внутренней структуре. Самый крупный кластер¹⁶ «Клиентские менеджеры» (42,7 %), с преобладанием менеджеров (71 %), характеризуется фокусом на навыках работы со стейкхолдерами и коммуникации при относительно низких показателях интенсивности (1,07) и детализированности (1,05). Это указывает на стандартизированный, клиентоориентированный характер командного взаимодействия в этой группе. В противовес ему небольшие, но насыщенные¹⁷ кластеры «Лидеры команд» (0,7 %) и «Переговорщики» (13,7 %) демонстрируют исключительно высокие значения по этим метрикам (4,07 и 3,35, 3,82 и 2,70 соответственно), что отражает комплексность и специфичность их командных функций.

Таблица 4. Характеристики кластеров командных ролей

Кластер	Доля	Топ категорий командных навыков (см. табл. 1)	Преобладающая группа	Средняя интенсивность	Средняя детализированность	Типичные должности
Клиентские менеджеры	42,7 %	Стейкхолдеры, коммуникации, базовые командные	Менеджеры (71 %)	1,07	1,05	Менеджер по продажам, account manager, клиентский менеджер
Командные игроки	18,2 %	Базовые командные, кооперация, стейкхолдеры	Специалисты (80 %)	2,84	2,08	Разработчик, маркетолог, аналитик в проектных командах
Процессные специалисты	16,0 %	Процессы и методологии, кооперация, базовые командные	Специалисты (67 %)	1,79	1,46	Бизнес-аналитик, инженер процессов, методолог

¹⁵ Adjusted Rand Index (ARI) варьируется от –1 до 1; значение 0,927 указывает на почти полное совпадение разбиений при разных начальных условиях, что интерпретируется как высокая устойчивость.

¹⁶ «Низкие» — относительно средних значений по всем кластерам: средняя интенсивность по кластерам (взвешенная) $\approx 2,0$, детализированность $\approx 1,7$; значения 1,07 и 1,05 находятся в нижнем квартиле распределения.

¹⁷ Термин «насыщенность» используется как содержательная характеристика сочетания высокой интенсивности и высокой детализированности: речь идет о вакансиях, в которых командные требования не только упоминаются чаще, но и охватывают более широкий спектр типов взаимодействия.

Кластер	Доля	Топ категорий командных навыков (см. табл. 1)	Преобладающая группа	Средняя интенсивность	Средняя детализированность	Типичные должности
Переговорщики	13,7 %	Коммуникации, стейкхолдеры, базовые командные	Менеджеры (64 %)	3,82	2,70	Менеджер по закупкам, коммерческий директор
Кризис-менеджеры	5,2 %	Конфликты и решения, процессы и методологии, стейкхолдеры	Специалисты (61 %)	3,46	2,85	Антикризисный менеджер, специалист по рискам, руководитель проектов
Сбалансированные координаторы	3,4 %	Все категории равномерно	Смешанный (54 % менеджеры)	2,98	2,27	Project manager, проджект-координатор, офис-менеджер
Лидеры команд	0,7 %	Управление командой, процессы и методологии, наставничество	Менеджеры (69 %)	4,07	3,35	Руководитель отдела, тимлид, начальник управления

Особый интерес представляет кластер «Командные игроки» (18,2%), где доминируют специалисты (80%). Это самая многочисленная группа среди специалистов, для которой командная работа является ядром профессиональной деятельности, что выражается в высоких значениях интенсивности (2,84) и детализированности (2,08). Наличие узкоспециализированных кластеров, таких как «Кризис-менеджеры» (5,2%) с акцентом на разрешение конфликтов, и «Сбалансированные координаторы» (3,4%) с равномерным профилем компетенций, подчеркивает функциональное разнообразие требований к командной работе, не укладывающееся в простую дихотомию ролей.

При этом кластерный анализ позволяет выявить устойчивые сочетания компетенций, но не показывает, в каком контексте они используются и какие профессиональные задачи стоят за ними. Например, вакансии кластера «Процессные специалисты» могут предполагать как поддержание существующих процессов, так и их изменение и развитие. Набор терминов в этих случаях может быть сходным, хотя содержание задач различается. Для уточнения контекста в дальнейших исследованиях необходимо отдельно анализировать разделы вакансий с описанием обязанностей и задач: используемые глаголы («поддерживать», «оптимизировать», «изменять», «разрабатывать»), объекты деятельности и участников взаимодействия.

Заключение

Исследование показывает, что требования к навыкам командной работы в вакансиях крупнейших российских компаний неоднородны и включают много разных параметров. Командные навыки выступают одним из наиболее универсальных требований к работникам, присутствуя в 93,8% изученных вакансий. Это означает, что умение работать в команде важно не только для менеджеров, но и для

специалистов. Примечательно, что, хотя разрыв между менеджерами (97,7 %) и специалистами (89,7 %) статистически значим (*H1 подтвердилась*), его незначительный размер в 8 процентных пунктов указывает на широкое распространение командных требований в обеих группах.

Интересно, что в вакансиях для специалистов требования к командной работе описаны подробнее и разнообразнее, чем для менеджеров (*H2 не подтвердилась*). Это может быть связано с тем, что в вакансиях специалистов чаще конкретизируются формы взаимодействия с коллегами и другими подразделениями. Анализ специфичных терминов показывает различия в характере командных требований: в вакансиях менеджеров чаще используются формулировки, связанные с постановкой и координацией задач, тогда как в вакансиях специалистов — с непосредственным взаимодействием и совместным решением рабочих задач. Выявленная типология из семи кластеров командных ролей демонстрирует, что традиционная бинарная оппозиция «менеджеры — специалисты» уступает место более сложной и многомерной системе (*H3 подтвердилась*). Доминирование кластера «Клиентские менеджеры» (42,7 %) может свидетельствовать о нехватке в современной экономике сервисных позиций, в то время как малая представленность кластера «Лидеры команд» (0,7 %) показывает, что профиль командного лидерства встречается существенно реже других выявленных сочетаний компетенций в проанализированных вакансиях крупнейших российских компаний.

Результаты исследования могут быть применимы в практике как для сотрудников кадровых служб организаций, так и для вузов и в целом системы профессионального образования. Выявленные кластеры командных ролей могут применяться в HR-службах и рекрутерами в качестве альтернативного способа формирования профилей, а также для подбора к их описанию навыков и компетенций из соответствующего раздела в словарях. Помимо прочего, полученные данные по отобранным российским компаниям формируют базу с различиями в навыках у менеджеров и специалистов, что позволяет создать практические кейсы: для менеджеров — с акцентом на управленческие ситуации (распределение ресурсов, декомпозиция задач, мотивация), для специалистов — на операционные (например, решение проблем в условиях неопределенности). Для вузов находим полезным использовать перечень командных навыков и сопутствующих компетенций (см. [Приложение](#)) для уточнения навыка «командная работа» и актуализации рабочих программ дисциплин с учетом востребованности на рынке труда.

Перспективным представляется изучение региональной и отраслевой специфики требований к командной работе, а также анализ связи между командными компетенциями и основным профилем предложения работодателя (зарплата, условия работы и др.). Лонгитюдный мониторинг динамики этих требований позволил бы выявить макротренды трансформации рынка труда под влиянием цифровизации и глобализации. Несмотря на определенные ограничения, связанные с репрезентативностью выборки и методологией анализа текстовых данных, настоящее исследование расширяет представления о требованиях к командным навыкам, предлагая как теоретическое осмысление наблюдаемых процессов, так и практические инструменты для адаптации к ним.

Список литературы (References)

1. Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии / сост., общ. ред. и предисл. Л. Г. Ионина; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2016.
Weber M. (1972) *Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie*. 5. revidierte Aufl. Besorgt von Johannes Winckelmann. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). (In Russ.)
2. Волгин А. Д., Гимпельсон В. Е. Спрос на навыки: анализ на основе онлайн данных о вакансиях // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2022. Т. 26. № 3. С. 343—374. <https://doi.org/10.17323/1813-8691-2022-26-3-343-374>.
Volgin A. D., Gimpelson V. E. (2022) Skill Demand: An Analysis Based on Online Vacancy Data. *HSE Economic Journal*. Vol. 26. No. 3. P. 343—374. (In Russ.) <https://doi.org/10.17323/1813-8691-2022-26-3-343-374>.
3. Гастев А. К. Трудовые установки. М.: ЦИТ, 1924.
Gastev A. K. (1924) *Work Attitudes*. Moscow: Central Institute of Labor. (In Russ.)
4. Дунаевский Ф. Р. Комплексность в организации труда и производства. Харьков: Всеукраинский институт труда, 1928.
Dunaevsky F. R. (1928) *Complexity in the Organization of Labor and Production*. Kharkov: All-Ukrainian Institute of Labor. (In Russ.)
5. Ерманский О. А. Научная организация труда и система Тейлора. М.: Госиздат, 1922.
Ermansky O. A. (1922) *Scientific Organization of Labor and the Taylor System*. Moscow: Gosizdat. (In Russ.)
6. Журавлев А. Л. Психология совместной деятельности. М.: Институт психологии РАН, 2005.
Zhuravlev A. L. (2005) *Psychology of Joint Activity*. Moscow: Institute of Psychology RAS. (In Russ.)
7. Журавлев А. Л., Нестик Т. А. Групповая рефлексивность: основные подходы и перспективы исследований // Психологический журнал. 2012. Т. 33. № 4. С. 27—37.
Zhuravlev A. L., Nestik T. A. (2012) Group Reflexivity: Main Approaches and Prospects of Research. *Psychological Journal*. Vol. 33. No. 4. P. 27—37. (In Russ.)
8. Кабанов М. М. Командное взаимодействие в управленческой психологии // Психология и педагогика служебной деятельности. 2020. № 1. С. 36—38.
Kabanov M. M. (2020) Team Interaction in Management Psychology. *Psychology and Pedagogy of Service Activity*. No. 1. P. 36—38. (In Russ.)
9. Ковтун Г. В. Команда как форма взаимодействия в различных сферах деятельности // Теория и практика общественного развития. 2012. № 8. С. 159—162.

- Kovtun G. V. (2012) Team as a Form of Interaction in Various Spheres of Activity. *Theory and Practice of Social Development*. No. 8. P. 159—162. (In Russ.)
10. Магура М. И., Курбатова М. Б. Оценка работы персонала (практическое пособие для руководителей) // Управление персоналом. 2008. № 12. URL: <https://www.top-personal.ru/issue.html?1641>.
Magura M. I., Kurbatova M. B. (2008) Personnel Performance Evaluation (A Practical Handbook for Managers). *HR Management Journal*. No. 12. URL: <https://www.top-personal.ru/issue.html?1641> (date of access: 24.08.2026). (In Russ.)
 11. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: Хранитель, 2006.
Merton R. (2006) *Social Theory and Social Structure*. Moscow: Khranitel. (In Russ.)
 12. Оболенский Д. М., Шевченко В. И. Построение и анализ графа компетенций на основе данных вакансий с порталов поиска работы // Экономика. Информатика. 2023. Т. 50. № 1. С. 191—202. <https://doi.org/10.52575/2687-0932-2023-50-1-191-202>.
Obolenskiy D. M., Shevchenko V. I. (2023) Construction and Analysis of a Competence Graph Based on Job Postings from Job Search Portals. *Economics. Informatics*. Vol. 50. No. 1. P. 191—202. (In Russ.) <https://doi.org/10.52575/2687-0932-2023-50-1-191-202>.
 13. Подмарков В. Г. Введение в промышленную социологию. М.: Мысль, 1973.
Podmarkov V. G. (1973) *Introduction to Industrial Sociology*. Moscow: Mysl. (In Russ.)
 14. Пригожин А. И. Социология организаций. М.: Наука, 1980.
Prigozhin A. I. (1980) *Sociology of Organizations*. Moscow: Nauka. (In Russ.)
 15. Проненко Е. А., Буняева М. В. Особенности смысловых процессов и явлений в командном взаимодействии // Российский психологический журнал. 2019. Т. 16. № 1. С. 32—51. <https://doi.org/10.21702/rpj.2019.1.2>.
Pronenko E. A., Bunyaeva M. V. (2019) Features of Semantic Processes and Phenomena in Team Interaction. *Russian Psychological Journal*. Vol. 16. No. 1. P. 32—51. (In Russ.) <https://doi.org/10.21702/rpj.2019.1.2>.
 16. Смирнова Е. А. Удаленная занятость: анализ вакансий и резюме // Лидерство и менеджмент. 2022. Т. 9. № 1. С. 161—172. <https://doi.org/10.18334/lim.9.1.114298>.
Smirnova E. A. (2022) Remote Employment: Analysis of Vacancies and Resumes. *Leadership and Management*. Vol. 9. No. 1. P. 161—172. (In Russ.) <https://doi.org/10.18334/lim.9.1.114298>.
 17. Уманский Л. И. Методы экспериментального исследования социально-психологических феноменов // Методология и методы социальной психологии / под ред. Е. В. Шороховой. М.: Наука, 1977. С. 54—71.
Umanskii L. I. (1977) Methods of Experimental Research of Socio-Psychological Phenomena. In: Shorokhova E. V. (ed.) *Methodology and Methods of Social Psychology*. Moscow: Nauka. P. 54—71. (In Russ.)

18. Ханнанова С. А., Галиуллина Г. Ф. Качество актуальных вакансий на рынке труда Приволжского федерального округа // Экономика труда. 2025. Т. 12. № 3. С. 369—382. <https://doi.org/10.18334/et.12.3.122784>.
Khannanova S. A., Galiullina G. F. (2025) The Quality of Current Vacancies in the Labor Market of the Volga Federal District. *Russian Journal of Labor Economics*. Vol. 12. No. 3. P. 369—382. (In Russ.) <https://doi.org/10.18334/et.12.3.122784>.
19. Adler P. S., Borys B. (1996) Two Types of Bureaucracy: Enabling and Coercive. *Administrative Science Quarterly*. Vol. 41. No. 1. P. 61—89. <https://doi.org/10.2307/2393986>.
20. Ali T., Khan S. (2023) Health, Education, and Economic Well-being in China: How Do Human Capital and Social Interaction Influence Economic Returns. *Behavioral Sciences*. Vol. 13. No. 3. P. 209. <https://doi.org/10.3390/bs13030209>.
21. Borgatti S. P., Foster P. C. (2003) The Network Paradigm in Organizational Research: A Review and Typology. *Journal of Management*. Vol. 29. No. 6. P. 991—1013. https://doi.org/10.1016/S0149-2063_03_00087-4.
22. Cappelli P., Keller J. R. (2013) Classifying Work in the New Economy. *Academy of Management Review*. Vol. 38. No. 4. P. 575—596. <https://doi.org/10.5465/amr.2011.0302>.
23. Carson J. B., Tesluk P. E., Marrone J. A. (2007) Shared Leadership in Teams: An Investigation of Antecedent Conditions and Performance. *Academy of Management Journal*. Vol. 50. No. 5. P. 1217—1234. <https://doi.org/10.5465/amj.2007.20159921>.
24. Cascio W. F., Montealegre R. (2016) How Technology Is Changing Work and Organizations. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*. Vol. 3. No. 1. P. 349—375. <https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-041015-062352>.
25. Chen H., Mehra A., Tasselli S., Borgatti S. P. (2022) Network Dynamics and Organizations: A Review and Research Agenda. *Journal of Management*. Vol. 48. No. 6. P. 1602—1660. <https://doi.org/10.1177/01492063211063218>.
26. Cherep A., Voronkova V., Androsova O. (2022) Transformational Changes in Organizational Management and Human Resources in the Digital Age. *Baltic Journal of Economic Studies*. Vol. 8. No. 3. P. 210—219. <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2022-8-3-210-219>.
27. Chiu C. Y. et al. (2021) Leading the Team, but Feeling Dissatisfied: Investigating Informal Leaders' Energetic Activation and Work Satisfaction and the Supporting Role of Formal Leadership. *Journal of Organizational Behavior*. Vol. 42. No. 4. P. 527—550. <https://doi.org/10.1002/job.2511>.
28. Dar S. A. (2022) The Relevance of Taylor's Scientific Management in the Modern Era. *Journal of Psychology and Political Science (JPPS)*. Vol. 2. No. 06. P. 1—6. <https://doi.org/10.55529/jpps.26.1.6>.

29. Delice F., Rousseau M., Feitosa J. (2019) Advancing Teams Research: What, When, and How to Measure Team Dynamics over Time. *Frontiers in Psychology*. Vol. 10. Art. 1324. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01324>.
30. Deming D. J. (2017) The Growing Importance of Social Skills in the Labor Market. *The Quarterly Journal of Economics*. Vol. 132. No. 4. P. 1593—1640. <https://doi.org/10.1093/qje/qjx022>.
31. Diefenbach T., Sillince J. A. A. (2011) Formal and Informal Hierarchy in Different Types of Organization. *Organization Studies*. Vol. 32. No. 11. P. 1515—1537. <https://doi.org/10.1177/0170840611421254>.
32. Dodgson M. K., Agoglia C. P., Bennett G. B. (2021) The Influence of Relationship Partners on Client Managers' Negotiation Positions. *Accounting, Organizations and Society*. Vol. 92. Art. 101240. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2021.101240>.
33. Edmondson A. (1999) Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams. *Administrative Science Quarterly*. Vol. 44. No. 2. P. 350—383. <https://doi.org/10.2307/2666999>.
34. Gibson C. B., Gibbs J. L. (2006) Unpacking the Concept of Virtuality: The Effects of Geographic Dispersion, Electronic Dependence, Dynamic Structure, and National Diversity on Team Innovation. *Administrative Science Quarterly*. Vol. 51. No. 3. P. 451—495. <https://doi.org/10.2189/asqu.51.3.451>.
35. Harris P. R., Harris K. G. (1996) Managing Effectively Through Teams. *Team Performance Management: An International Journal*. Vol. 2. No. 3. P. 23—36. <https://doi.org/10.1108/13527599610126247>.
36. Heckman J. J., Kautz T. (2012) Hard Evidence on Soft Skills. *Labour Economics*. Vol. 19. No. 4. P. 451—464. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2012.05.014>.
37. Heckman J. J., Kautz T. D. (2012) Hard Evidence on Soft Skills. *Labour Economics*. Vol. 19. P. 451—464.
38. Ilgen D. R., Hollenbeck J. R., Johnson M., Jundt D. (2005) Teams in Organizations: From Input-Process-Output Models to IMOI Models. *Annual Review of Psychology*. Vol. 56. P. 517—543. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.56.091103.070250>.
39. Jones G. R., George J. M. (1998) The Experience and Evolution of Trust: Implications for Cooperation and Teamwork. *Academy of Management Review*. Vol. 23. No. 3. P. 531—546. <https://doi.org/10.5465/amr.1998.926625>.
40. Katzenbach J., Smith D. (1992) *The Wisdom of Teams: Creating the High-Performance Organization*. Boston, MA: Harvard Business Press.
41. Klikauer T. (2015) What Is Managerialism? *Critical Sociology*. Vol. 41. No. 7—8. P. 1103—1119. <https://doi.org/10.1177/0896920513501351>.
42. Kohlbacher M., Gruenwald S. (2011) Process Orientation: Conceptualization and Measurement. *Business Process Management Journal*. Vol. 17. No. 2. P. 267—283.

43. Kozlowski S. W., Ilgen D. R. (2006) Enhancing the Effectiveness of Work Groups and Teams. *Psychological Science in the Public Interest*. Vol. 7. No. 3. P. 77—124. <https://doi.org/10.1111/j.1529-1006.2006.00030.x>.
44. Kraut A. I., Pedigo P. R., Douglas McKenna D., Dunnette M. D. (1989) The Role of the Manager: What's Really Important in Different Management Jobs. *Academy of Management Perspectives*. Vol. 3. No. 4. P. 286—293. <https://doi.org/10.5465/ame.1989.4277405>.
45. Lank E. (2006) Collaborative Skills, Leadership, and Specialist Roles. In: Lank E. *Collaborative Advantage: How Organizations Win by Working Together*. London: Palgrave Macmillan UK. P. 127—139. https://doi.org/10.1057/9780230511392_10.
46. Lewin K. (1947) Group Decision and Social Change. In: Newcomb T. M., Hartley E. L. (eds.) *Readings in Social Psychology*. New York, NY: Henry Holt and Company. P. 197—211.
47. Lingham T., Richley B. A., Serlavos R. S. (2009) Measuring and Mapping Team Interaction: A Cross-Cultural Comparison of US and Spanish MBA Teams. *Cross Cultural Management: An International Journal*. Vol. 16. No. 1. P. 5—27. <https://doi.org/10.1108/13527600910930013>.
48. Marks M. A., Mathieu J. E., Zaccaro S. J. (2001) A Temporally Based Framework and Taxonomy of Team Processes. *Academy of Management Review*. Vol. 26. No. 3. P. 356—376. <https://doi.org/10.5465/amr.2001.4845785>.
49. Mastekaasa A. (2011) How Important Is Autonomy to Professional Workers? *Professions and Professionalism*. Vol. 1. No. 1. P. 36—51. <https://doi.org/10.7577/pp.v1i1.143>.
50. Mathieu J. E., Gallagher P. T., Domingo M. A., Klock E. A. (2019) Embracing Complexity: Reviewing the Past Decade of Team Effectiveness Research. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*. Vol. 6. No. 1. P. 17—46. <https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-012218-015106>.
51. Mayo E. (1933) *The Human Problems of an Industrial Civilization*. Routledge.
52. McGregor D. (1960) Theory X and Theory Y. In: Pugh D. S. (ed.) *Organization Theory: Selected Readings*. Harmondsworth: Penguin Books. P. 358—374.
53. Mintzberg H. (1979) *The Structuring of Organizations: A Synthesis of the Research*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
54. Mintzberg H. (2009) Rebuilding Companies as Communities. *Harvard Business Review*. Vol. 87. No. 7/8. P. 140—143.
55. Mortensen M., Haas M. R. (2018) Perspective — Rethinking Teams: From Bound- ed Membership to Dynamic Participation. *Organization Science*. Vol. 29. No. 2. P. 341—355. <https://doi.org/10.1287/orsc.2017.1198>.
56. Piercy G. L., Steele Z. (2016) The Importance of Social Skills for the Future of Work (Working Paper NZJHRM). Vol. 16. No 1. P. 32—42. URL: <https://researchcom->

mons.waikato.ac.nz/bitstreams/05aad9f6-0d47-4799-842c-b8234c78888a/download (date of access: 24.08.2026).

57. Raes E. et al. (2015) Measuring Team Learning Behaviours through Observing Verbal Team Interaction. *Journal of Workplace Learning*. Vol. 27. No. 7. P. 476—500. <https://doi.org/10.1108/JWL-01-2015-0006>.
58. Salas E., Reyes D. L., McDaniel S. H. (2018) The Science of Teamwork: Progress, Reflections, and the Road Ahead. *American Psychologist*. Vol. 73. No. 4. P. 593—600. <https://doi.org/10.1037/amp0000334>.
59. Stevens M. J., Campion M. A. (1994) The Knowledge, Skill, and Ability Requirements for Teamwork: Implications for Human Resource Management. *Journal of Management*. Vol. 20. No. 2. P. 503—530. <https://doi.org/10.1177/014920639402000210>.
60. Tannenbaum S. I., Traylor A. M., Thomas E. J., Salas E. (2021) Managing Teamwork in the Face of Pandemic: Evidence-Based Tips. *BMJ Quality & Safety*. Vol. 30. No. 1. P. 59—63. <https://doi.org/10.1136/bmjqs-2020-011447>.
61. Thompson J. D. (1967) *Organizations in Action: Social Science Bases of Administrative Theory*. New York, NY: McGraw-Hill.

DOI: [10.14515/monitoring.2026.4.3182](https://doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3182)



О. Л. Чернозуб, М. Л. Белоножко

ГРАФИЧЕСКИЙ АССОЦИАТИВНЫЙ ТЕСТ ОТНОШЕНИЯ (ГАТО): ТЕСТИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СОГЛАСОВАННОСТИ

Правильная ссылка на статью:

Чернозуб О. Л. Белоножко М. Л. Графический ассоциативный тест отношения (ГАТО): тестирование внутренней согласованности // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2026. № 4. С. 308—336. <https://www.doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3182>.

For citation:

Chernozub O. L. Belonozhko M. L. (2026) Graphical Associative Test of Attitudes: Testing Internal Consistency. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 308—336. <https://www.doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3182>. (In Russ.)

Получено: 14.11.2025. Принято к публикации: 09.04.2026.

ГРАФИЧЕСКИЙ АССОЦИАТИВНЫЙ ТЕСТ
ОТНОШЕНИЯ (ГАТО): ТЕСТИРОВАНИЕ ВНУ-
ТРЕННЕЙ СОГЛАСОВАННОСТИ

ЧЕРНОЗУБ Олег Леонидович — кандидат со-
циологических наук, руководитель инфор-
мационно-аналитического блока, Росатом,
Москва, Россия
E-MAIL: 9166908616@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0001-5689-8719>

БЕЛОНОЖКО Марина Львовна — доктор со-
циологических наук, зав. кафедрой марке-
тинга и муниципального управления, Тюмен-
ский индустриальный университет
E-MAIL: belonozhkoml@tyuiu.ru
<https://orcid.org/0000-0001-5517-3740>

Аннотация. Графический ассоциативный тест отношения (ГАТО) представляет собой пример инструмента косвенного измерения социальной установки. Он активно используется в целях объяснения и прогнозирования социального поведения, демонстрируя способность существенно улучшить точность прогнозов. Вместе с тем формальная валидизация данного теста еще не завершена. Представляемое исследование обобщает результаты тестирования внутренней согласованности измерений ГАТО. Во-первых, тестируется степень согласованности индивидуальных результатов выполнения однотипных заданий теста, то есть устанавливается наличие согласованности измерений как таковое. Во-вторых, проверяются наличие и степень устойчивости латентной переменной, которая могла бы быть интерпретирована как предмет измерения — предсказываемый теорией конструкт, объясняющий явление согласованности поведения эмпирически измеряемых индикаторов. Результаты исследования показали, что и косвенные (ГАТО), и прямые (семантический дифференциал) измерения уверен-

GRAPHICAL ASSOCIATIVE TEST OF ATTITUDES: TESTING INTERNAL CONSISTENCY

Oleg L. CHERNOZUB¹ — Cand. Sci. (Soc.),
Head of the Information and Analytical Unit
of the Rosatom
E-MAIL: 9166908616@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0001-5689-8719>

Marina L. BELONozhko² — Dr. Sci. (Soc.), Pro-
fessor, Head of Department of Marketing and
Public Administration
E-MAIL: belonozhkoml@tyuiu.ru
<https://orcid.org/0000-0001-5517-3740>

¹ Rosatom, Moscow, Russia² Industrial University of Tyumen, Tyumen, Russia

Abstract. The Graphical Associative Attitude Test (GATA) is an example of an indirect measure of social attitude. It has been very actively used to explain and predict social behaviour and has demonstrated the ability to significantly improve the accuracy of predictions. However, the formal validation of this test has not yet been completed. The present study summarises the results of testing the internal consistency of the GATA measures. Firstly, the authors test the degree of consistency of individual results of the same type of test tasks, i.e. verify the existence of the phenomenon of consistency of measurements as such. Secondly, the authors examine the presence and degree of stability of a latent variable that could be interpreted as the subject of measurement — a “construct” predicted by the theory that explains the phenomenon of consistency in the behaviour of empirically measured indicators. The results of the study show that both indirect (GATA) and direct (semantic differential) measures reliably discriminate between the objects of evaluation. Against this background, GATA measures demonstrate a relatively higher internal consistency and form a relatively

но различают объекты оценивания. На этом фоне измерения ГАТО демонстрируют относительно более высокую внутреннюю согласованность и образуют относительно более тесные связи с латентной переменной, определенно несводимой к аналогичной переменной, объясняющей вариацию индикаторов прямых измерений.

Ключевые слова: теория социального действия, социальная установка, внутренняя согласованность, прямые измерения, косвенные измерения, графический ассоциативный тест отношения, ГАТО

closer relationship with a latent variable that is definitely irreducible to a similar variable explaining the variation in indicators of direct measures.

Keywords: social action theory, social attitudes, internal consistency, direct measurements, indirect measurements, Graphical Associative Test of Attitude, GATA

Косвенные измерения социальной установки, цели и задачи исследования

Конечная цель исследования — проверка взаимной согласованности результатов косвенных измерений Графического ассоциативного теста отношения (ГАТО). Действительно ли несколько умышленно видоизмененных заданий теста приводят к сопоставимым результатам? Сопоставимым настолько, что можно говорить, что с измерялся один и тот же предмет, а возникающие различия невелики и могут объясняться внесенными изменениями.

Для ответа на этот вопрос было проведено эмпирическое исследование в виде опроса студентов Тюменского индустриального университета. Объектами исследования выступали установки респондентов в отношении различных объектов социальной среды. Предметом — степень согласованности результатов измерения этих установок инструментами ГАТО.

Актуальность решения поставленной задачи обуславливается тем, что ответ на центральный вопрос исследования должен дополнительно поддерживать или, напротив, проблематизировать исходное допущение о том, что предмет измерения ГАТО является «имплицитная» (неосознаваемая и неконтролируемая при активации) компонента социальной установки.

Считается, что установки заставляют человека вести себя в соответствии с их предписаниями, которые могут осознаваться, но могут и не осознаваться носителями. В частности, положительное либо отрицательное отношение к объекту [Fazio, 2007] приводит к стремлению приблизиться к нему или, напротив, постараться избежать его [Chen, Bargh, 1999]. Поэтому, чтобы достаточно точно предсказывать поведение людей, важно достоверно измерить их установки [Likert, 1932; Fishbein, Ajzen, 2011]. Прямое измерение установок, в свою очередь, сталкивается с рядом трудностей [Chernozub, 2025]. В частности, метод самоотчета, который в настоящее время доминирует в социальных исследованиях, имеет два важных недостатка: респонденты могут быть неспособны осознать (lack of introspection) или же не желать правдиво сообщить (deliberate misreporting) свои

истинные установки. В силу этого обстоятельства некоторые из имеющихся в реальности установок или их отдельные аспекты могут оставаться незамеченными. Один из способов преодоления этих трудностей — дополнение прямых показателей самоотчета косвенными [Perugini, Richetin, Zogmaister, 2010].

Измерение считается косвенным, если оно позволяет избежать процесса самооценки респондентом исследуемой установки или хотя бы его самоотчета о результатах такой самооценки. В последнем случае респондентам предъявляется объект установки, но задача оценить свое отношение к нему и сообщать результаты этой оценки перед ними не ставится. Напротив, в ряде методик исследователь даже просит респондента постараться не поддаваться влиянию своего отношения, выполняя задания теста [De Houwer, Moors, 2007]. Иными словами, возможность преодолеть недостатки прямого измерения появляется тогда, когда установка по отношению к исследуемому объекту, во-первых, активируется в сознании респондента произвольно и, во-вторых, когда он сознательно не контролирует ее содержание и процесс сообщения этого содержания исследователю. Эти свойства конкретного измерения рассматриваются как методический критерий его отнесения к классу косвенных.

При всем многообразии форм реализации корпус косвенных измерений основывается на методологическом допущении того, что спонтанные предпочтения влияют на некоторые аспекты поведения респондента во время тестирования, измерение которых и открывает возможности для того, чтобы судить о самих этих предпочтениях. К настоящему моменту созданы и с разной степенью успешности подтвердили свой познавательный потенциал самые разнообразные инструменты, которые могут быть использованы для косвенного измерения установок (см. Приложение).

Одним из подобных методов косвенных измерений является Графический ассоциативный тест отношения (ГАТО). С момента своего внедрения в регулярную практику эмпирических исследований в 2015 г. ГАТО многократно использовался в разнообразных прогностических моделях избирательного, потребительского и коммуникативного поведения, где доказал свою эффективность в качестве дополнительного фактора повышения точности прогнозирования (метаанализ результатов для 64 случаев проверки подтверждения прогнозов фактическим поведением см. [Chernozub, 2024]).

Таблица 1 иллюстрирует один из способов практического применения результатов измерения ГАТО в 2D-моделях определения статуса согласованности установки. Здесь и далее обозначение (П) маркирует результаты прямых, обозначение (К) — косвенных измерений. Статус П+К+ соответствует состоянию «согласованная положительная», когда валентность установки положительна как по результатам прямых измерений, так и по результатам косвенных (ГАТО). П–К — отображает состояние «согласованная отрицательная», а П+К– и П–К+ — промежуточные («рассогласованные») состояния установки. Литеры Н¹ и G² представляют собой ссылки на конкретные эмпирические исследования, отображающие поведенческие домены относительно высокой и относительно низкой общей вероятности фактического действия³ (детали исследования см. [Chernozub, 2025: 89—91]).

¹ 2022, онлайн опрос, N = 2100, выборка репрезентативная для населения РФ 18+.

² 2020, онлайн опрос, N = 1204, выборка репрезентативная для населения РФ 18+.

³ Принято как равное долям подгрупп фактического действия/бездействия в группе соответствующего статуса согласованности установки.

**Таблица 1. Вероятность действия/бездействия
в зависимости от статуса согласованности установки (в %)**

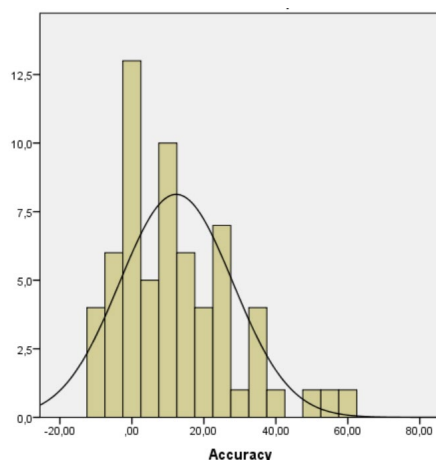
Статус согласованности	Действие (Н)	Бездействие (Н)	Действие (G)	Бездействие (G)
П+К+	60	40	38	62
П+К–	59	41	29	71
П–К+	46	54	8	92
П–К–	36	64	7	94
По выборке	56	44	32	68

Источник: [Chernozub, 2025: 90].

Как видно из данных таблицы 1, существует устойчивая зависимость снижения вероятности действия по мере изменения статуса установки от состояния «согласованная положительная» к состоянию «согласованная отрицательная». Данное явление подтверждается и другими исследованиями.

Рисунок 1 представляет распределение эффектов улучшения прогноза действия по данным метаанализа результатов 64 исследований, где использовались как традиционные (основанные только на данных прямых измерений), так и альтернативные (основанные на 2D) модели прогнозирования. Величины, представленные на рисунке 1, отображают эффект ухудшения/улучшения прогноза за счет интеграции в традиционную модель данных ГАТО и выражены в процентных пунктах от фактического результата (описание эмпирических данных и детали расчетов см. [Chernozub, 2024]).

**Рис. 1. Распределение результатов улучшения прогноза поведения
за счет использования данных ГАТО⁴**



⁴ Источник: [Chernozub, 2024: 249].

Как видно из рисунка 1, основной массив результатов интеграции данных косвенных измерений в прогнозные модели находится в положительной области. Среднее составляет 12,31 %, медиана — 9,5 %.

Однако несмотря на то что тест широко и довольно успешно применяется на практике, он по-прежнему испытывает недостаток комплексной валидации.

На данный момент можно считать достоверно установленными его:

1) высокую и устойчивую дивергентную валидность в форме ортогональности по отношению к результатам сопоставимых «прямых» измерений [Чернозуб 2018а: 14—18; 2018б: 11—15; 2021: 271—276; Chernozub 2020: 29—32; 2022а];

2) высокую дивергентную валидность в форме несовпадения переменных — предикторов/детерминант для сопоставимых индикаторов ГАТО, с одной стороны, «прямых» измерений — с другой [Chernozub 2020: 30—32; 2022; Chernozub, Tereshkin, 2022];

3) высокую дивергентную валидность в форме ортогональности результатов измерения ГАТО с результатами измерений методом «термометра ощущений» [Чернозуб 2018а: 19—24], а также методом Implicit Association Test [Чернозуб, Шураева, 2023а];

4) высокий уровень критериальной (ретроспективной) валидности в моделях объяснения результатов измерения ГАТО [Chernozub, Tereshkin, 2022];

5) высокий и устойчивый уровень критериальной (перспективной) валидности в моделях объяснения и предсказания социального поведения. [Чернозуб 2018в: 16—22; 2020б: 77—83; 2021: 277—282; Chernozub 2022б; 2023а; 2024];

6) высокий уровень взаимной надежности [Чернозуб, Белоножка, 2023; Чернозуб, Шураева, 2023];

7) высокую дивергентную валидность к предсказаниям результатов своего тестирования самими респондентами, что позволяет предполагать «имплицитный», то есть неосознаваемый или не полностью осознаваемый респондентами характер предмета измерения ГАТО [Chernozub 2025];

8) относительно высокую ретестовую надежность (сравнимую с аналогичными показателями сопоставимых «прямых» измерений) для относительно коротких промежутков времени (около двух недель) и относительно низкую — для относительно длинных (четыре недели и более) [Чернозуб, 2023б]⁵.

Последний параметр на данный момент выглядит наиболее проблемным с точки зрения как надежности, так и конструктивной валидности теста. В отношении надежности неустойчивость результатов во времени позволяет ставить вопрос о степени их достоверности. В отношении конструктивной валидности такая неустойчивость вступает в противоречие с исходным допущением о том, что измерения ГАТО отражают некую (неосознаваемую или плохо осознаваемую) компоненту установки по отношению к объекту оценивания: из общетеоретических соображений трудно предположить, что подобная компонента, если это действительно компонента социальной установки, оказывается неустойчивой во времени.

Вместе с тем считается, что ретестовая надежность *сама по себе* не может исчерпывающе характеризовать валидность теста, так как ее высокие значения мо-

⁵ Необходимо отметить, что относительно низкая темпоральная устойчивость рассматривается как норма для «косвенных» измерений [Moors, Koster 2022].

гут объясняться эффектами привыкания респондентов, а низкие — естественной изменчивостью самого предмета измерения. Для полноценной интерпретации показателей ретестовой надежности практикуется исследование внутренней согласованности измерений по различным параметрам теста. При прочих равных, чем она выше, тем больше вероятность того, что тест измеряет не «белый шум», а некую объективную реальность, выступающую собственно предметом исследования. В этом случае результаты низкой ретестовой надежности могут объясняться динамикой самого предмета исследования [Cattell, 1978].

Таким образом, цель данного исследования может быть конкретизирована и определена как тестирование внутренней согласованности результатов косвенных измерений ГАТО, выполненных по нескольким сопоставимым параметрам в обоих пространствах модели Р. Кэттелла: как их согласованность друг с другом, так и их согласованность с общим критерием — предполагаемым объективно существующим предметом измерения.

Ожидаемые результаты исследования могут быть определены следующим образом.

В методическом плане предполагается получить данные, подтверждающие или опровергающие способность ГАТО надежно диагностировать текущее состояние некоего объективно существующего предмета исследования.

В теоретическом плане предполагается подтвердить или опровергнуть характер этого предмета как, возможно, имеющего некоторую связь с конструктом установки, но целиком не сводимого к нему и измеряемому средствами прямых измерений.

В методологическом плане предполагается получить принципиальное подтверждение наличия или отсутствия неких свойств социальной установки, которые невозможно выявить методами прямых измерений, а также принципиальной (на примере частного случая ГАТО) возможности осуществлять диагностику их состояния методом косвенных измерений.

Метод ГАТО, гипотезы исследования, операционализация модели тестирования

Графический ассоциативный тест отношения (ГАТО) намеренно спроектирован так, чтобы избежать прямой оценки респондентами своего отношения к исследуемым объектам. Изначально он был предложен в качестве вспомогательного метода измерения, дополняющего общепотребимый метод самоотчета. Постоянно сталкиваясь с хорошо известными проблемами последнего, мы предположили, что точность моделей прогнозирования социального поведения, основанных на прямых измерениях, может быть существенно повышена за счет включения в них результатов косвенных измерений (обзор существующей практики см. [Perugini, 2005]). Дополнительные эффекты ожидалось получить за счет комплексного использования результатов как прямых, так и косвенных измерений, которые бы взаимно дополняли и корректировали друг друга [Chernozub, 2025].

В методическом плане ГАТО намеренно избегает прямой оценки респондентами своего отношения к исследуемым объектам и поэтому обоснованно может быть классифицирован как косвенный инструмент социальных измерений. Для эффективного выполнения этой задачи ГАТО использует цепочку из двух последовательных ассоциативных процедур.

На первом этапе респонденту предъявляется первичный стимул, представляющий интересующий исследователя объект оценивания, за которым следует набор целевых стимулов — абстрактных графических фигур (см. рис. 2).

Рис. 2. Пример набора графических фигур GATA



Чтобы замаскировать объект, представляющий реальный интерес для исследователя, первичный стимул предъявляется в ряду серии маскирующих стимулов. Результатом первого этапа является графическая фигура или несколько фигур, которые респондент ассоциирует с исследуемым объектом.

Затем следует отвлекающая пауза, когда респонденту предлагается выполнить задания, не относящиеся к процедуре ГАТО. Например, ответить на обычные вопросы анкеты, никак не связанные с блоком заданий ГАТО.

На втором этапе в качестве основного стимула приводится фраза, содержащая вербальные маркеры тенденции приближения/избегания. Как правило, во фразе используются такие формулировки, как «приятно/неприятно рассматривать», выглядит «привлекательно/непривлекательно», и т. п. За предъявлением фразы-стимула следует тот же набор графических фигур с задачей проранжировать их в соответствии со степенью соответствия фразе — маркеру привлекательности.

На обоих этапах задача респондента состоит в том, чтобы выбрать из целевых стимулов графические фигуры, которые воспринимаются респондентами как «похожие» или «близкие» к первичному стимулу. Таким образом, предполагается, что ГАТО способен косвенно измерять степень привлекательности оцениваемого объекта, опосредованную сравнительной привлекательностью графических фигур теста. Данное измерение соответствует измерению *силы* и *валентности* установки по отношению к ее объекту в базовом пространстве «привлекающий — отталкивающий» [Osgood, 1962].

Технически процедура применения метода структурирована следующим образом.

1) Респондент знакомится с исследуемым объектом, который представлен в вербальном виде на экране СAPI-устройства. Далее респонденту предъявляется набор графических фигур, и респондент ассоциирует графические фигуры с оцениваемым объектом.

2) Внимание респондента переключается на другие задания опроса, предпочтительно не относящиеся к изучаемому предмету.

3) Респондент реагирует на стимул теста приближения/избегания, ранжируя графические фигуры от наиболее предпочтительных к наименее предпочтительным.

4) Создается индивидуальная шкала предпочтений графических фигур, основанная на ранжировании, полученном на этапе (3).

5) Оценка степени предпочтительности по индивидуальной шкале присваивается изучаемому объекту на основе ассоциации, полученной на этапе (1).

В результате каждый тестируемый объект получает оценку по порядковой шкале независимо от того, какие конкретные фигуры предпочитает или отвергает каждый отдельный респондент в силу своих психологических, культурных, ментальных, физических особенностей или же других подобных факторов.

Таким образом, ГАТО имеет достаточные основания рассматриваться как метод косвенных измерений, потенциально способный получать результаты, дополняющие результаты прямых измерений, или даже полностью им ортогональные.

Принимая во внимание эти методические особенности ГАТО и исходя из целей и задач исследования, основная содержательная гипотеза формулируется нами в следующем виде: результаты выполнения однотипных по объекту и процедуре оценивания заданий ГАТО будут носить согласованный характер в отношении друг друга, при этом их ковариация будет объясняться общей переменной, которая, в свою очередь, не будет иметь связи с результатами прямых измерений. Данную гипотезу предполагается подтвердить или опровергнуть посредством тестирования следующих технических гипотез:

Н01: По результатам анализа пригодности показатель Кронбаха будет ниже контрольного значения $\alpha \geq 0,700$ для всех сочетаний однотипных заданий ГАТО для каждого из оцениваемых объектов. Тестирование данной гипотезы призвано проверить наличие факта согласованности измерений ГАТО как такового.

Н02: По результатам факторного анализа латентная переменная высоко коррелирующая ($r \geq 0,700$) с результатами выполнения однотипных заданий ГАТО и низко коррелирующая ($r \leq 0,300$) с аналогичными результатами прямых измерений будет отсутствовать для каждого из объектов оценивания. Данная гипотеза призвана проверить фактическое наличие единого критерия, отображающего предмет измерения ГАТО и несводимого к критерию — предмету прямых измерений.

Полученная система гипотез определила необходимость несколько модифицировать процедуру ГАТО. Во-первых, было необходимо сконструировать ряд однотипных измерений, согласованность результатов которых могла бы быть теоретически предсказуемой и эмпирически проверяемой. Во-вторых, необходимо было дополнить задания косвенных измерений ГАТО аналогичными по объекту и форме оценки заданиями прямых, которые, как предполагалось, будут выполнять функцию контрольных измерений. Данная задача была реализована на основе методического аппарата семантического дифференциала [Osgood, Suci, Tannenbaum., 1957; Osgood, 1962].

По результатам операционализации модели тестирования первичный стимул приближения/избегания процедуры ГАТО был декомпозирован и представлен в форме четырех семантических дифференциалов, выполняющих в модели ЕРА (оценка/потенциал/активность) функцию оценки:

- *привлекательный — отвратительный*;⁶
- *красивый — уродливый*;
- *хороший — плохой*;
- *полезный — бесполезный*.

⁶ Наиболее близкий аналог оригинальному стимулу ГАТО.

Модификация процедуры ГАТО заключалась в том, что на этапе (3) вместо ранжирования графических фигур по критерию привлекательности респонденты должны были оценить каждую фигуру ГАТО по каждому из представленных выше дифференциалов. Остальные элементы процедуры были сохранены в неизменном виде.

Эти же стимулы использовались и для прямого измерения, однако в этом случае по каждому из дифференциалов эксплицитно оценивался непосредственно сам объект оценки.

В обоих измерениях использовалась семичленная шкала, которая предъявлялась со случайным расположением полюсов (следом за дифференциалом «полезный — бесполезный» мог следовать дифференциал с перевернутыми полюсами, например «плохой — хороший»).

В качестве объектов оценивания были использованы два понятия из ценностного раздела анкеты проекта WVS⁷, отражающие абстрактные операционные ценности, и два понятия из студенческой повседневности, отображающие конкретные объекты повседневности, с которыми респонденты находятся в постоянном контакте:

- *работа;*
- *свободное время;*
- *самый любимый учебный предмет;*
- *самый нелюбимый учебный предмет.*

Соответственно, были получены 32 оценки — по четыре для каждого из четырех объектов оценивания методом прямых измерений (всего — 16) и по четыре для каждого из этих же четырех объектов (еще 16) — методом косвенных измерений ГАТО.

Сбор эмпирических данных, характеристика массива

Исследование проводилось с 11 февраля по 20 марта 2023 г. на базе корпуса студентов Тюменского индустриального университета. Выборка — стихийная, не претендующая на представительство более обширной совокупности. Форма проведения исследования — администрируемое самозаполнение. Тестируемые заполняли анкету исследования в учебных аудиториях, малыми группами по 10—12 человек. Исследование было нацелено на тестирование квантора существования рассматриваемых явлений и не претендует на определение пределов применимости содержательных выводов.

После чистки данных и удаления пяти наблюдений с признаками скоростного/алгоритмического заполнения пригодный к дальнейшей обработке массив составил 147 наблюдений. Во всех последующих расчетах используется это количество наблюдений.

Основные характеристики полученного массива данных представлены в таблицах 2 и 3. Как отмечалось ранее, обозначение (П) маркирует результаты прямых, обозначение (К) — косвенных измерений.

⁷ См.: World Values Survey Wave 7 (2017—2022). URL: <https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp> (дата обращения: 10.08.2026).

**Таблица 2. Описательная статистика для результатов прямых измерений
(отрицательный полюс шкалы = 1, положительный полюс = 7)**

Ассоциация с предметом оценивания	Среднее	СО	Асимм.	Эксцесс
Работа (П) красивая — уродливая	5,12	1,316	–0,527	0,280
Работа (П) привлекательная — отв.	5,08	1,431	–0,430	–0,553
Работа (П) хорошая — плохая	5,65	1,175	–0,691	0,058
Работа (П) полезная — бесполезная	5,78	1,436	–1,369	1,432
Свободное время (П) красивое — уродливое	6,11	1,223	–1,783	3,723
Свободное время (П) привлекательное — отвратительное.	6,32	1,205	–2,330	5,694
Свободное время (П) хорошее — плохое	6,08	1,208	–1,648	2,952
Свободное время (П) полезное — бесполезное	5,37	1,526	–0,734	–0,177
Любимый учебный предмет (П) красивый — уродливый	5,39	1,551	–1,035	0,514
Любимый учебный предмет (П) привлекательный — отвратительный	5,44	1,457	–0,812	–0,052
Любимый учебный предмет (П) хороший — плохой	5,56	1,414	–0,906	0,230
Любимый учебный предмет (П) полезный — бесполезный	5,49	1,550	–1,033	0,360
Нелюбимый учебный предмет (П) красивый — уродливый	3,82	1,926	0,196	–0,981
Нелюбимый учебный предмет (П) привлекательный — отвратительный	3,31	1,768	0,417	–0,560
Нелюбимый учебный предмет (П) хороший — плохой	3,87	1,715	–0,045	–0,703
Нелюбимый учебный предмет (П) полезный — бесполезный	3,54	2,048	0,321	–1,210

**Таблица 3. Описательная статистика для результатов косвенных измерений
(отрицательный полюс шкалы = 1, положительный полюс = 7)**

	Среднее	СО	Асимм.	Эксцесс
Работа (К) красивая — уродливая	4,69	1,604	–0,446	–0,392
Работа (К) привлекательная — отв.	4,58	1,724	–0,268	–0,914
Работа (К) хорошая — плохая	4,85	1,482	–0,532	–0,383
Работа (К) полезная — бесполезная	4,60	1,816	–0,457	–0,759
Свободное время (К) красивое — уродливое	5,18	1,659	–0,571	–0,735
Свободное время (К) привлекательное — отвратительное	5,10	1,671	–0,744	–0,446
Свободное время (К) хорошее — плохое	5,24	1,432	–0,582	–0,315
Свободное время (К) полезное — бесполезное	4,68	1,634	–0,484	–0,455
Любимый учебный предмет (К) красивый — уродливый	5,14	1,712	–0,658	–0,649

	Среднее	СО	Асимм.	Эксцесс
Любимый учебный предмет (К) привлекательный — отвратительный	5,10	1,743	–0,536	–0,963
Любимый учебный предмет (К) хороший — плохой	5,08	1,488	–0,502	–0,584
Любимый учебный предмет (К) полезный — бесполезный	4,90	1,613	–0,616	–0,256
Нелюбимый учебный предмет (К) красивая — уродливая	4,17	1,853	–0,077	–0,964
Нелюбимый учебный предмет (К) привлекательный — отвратительный	4,34	1,827	–0,177	–1,159
Нелюбимый учебный предмет (К) хороший — плохой	4,41	1,571	–0,286	–0,413
Нелюбимый учебный предмет (К) полезный — бесполезный	4,35	1,766	–0,319	–0,757

Как видно из представленных в таблицах 2 и 3 данных, оба метода измерений хорошо различают оцениваемые объекты. Например, по данным прямых измерений, средняя оценка «Любимого» предмета по разным индикаторам колеблется от 5,39 до 5,56 балла, в то время как для «Нелюбимого» — от 3,31 до 3,87 балла. Для косвенных измерений подобная разница в оценке учебных предметов не так сильно выражена, но также присутствует. Аналогична ситуация и для оценок ценностных объектов: по данным обоих методов измерений, «Свободное время» более привлекательно, чем «Работа» (диапазоны 5,37—6,32 против 5,08—5,78 для прямых, и 4,68—5,24 против 4,58—4,85 балла для косвенных индикаторов).

Анализ характера распределений показывает, что оба типа индикаторов демонстрируют распределение, сдвинутое в сторону больших относительно среднего значений (отрицательная асимметрия), однако различаются в части выраженности пика распределения. Для метода прямых измерений этот пик в большинстве случаев ярко выражен, что выражается в положительных значениях показателя эксцесса. На этом фоне группа косвенных измерений отличаются тем, что все ее значения эксцесса находятся в отрицательной области, что указывает на более плоский характер распределения.

В целом приведенные данные позволяют заключить, что собранный массив данных в отношении предмета исследования ведет себя теоретически предсказанным образом. Каждый из наборов прямых и косвенных индикаторов достаточно хорошо различает предложенные объекты оценивания, демонстрируя при этом и определенные отличия: по сравнению с оценками прямых оценки косвенных индикаторов выглядят менее радикальными (менее выражено дифференцируют объекты оценивания) и менее консолидированными (демонстрируют больший разброс оценок, что находит свое выражение в значениях показателей стандартного отклонения и эксцесса).

Последнее обстоятельство позволяет говорить об относительно более высокой избирательности индикаторов прямых измерений, однако важно отметить, что данные свойства характеризуют массив данных на уровне *группового* поведения. Нельзя исключать, что относительно большая дисперсия оценок по данным косвенных индикаторов является результатом объективно существующего

разнообразия в оценках на *индивидуальном* уровне. В этом случае выявленные особенности косвенных измерений будут свидетельствовать о том, что они, напротив, лучше диагностируют внутреннее разнообразие исследуемой группы. Микроширование предполагаемого индивидуального разнообразия в результатах прямых измерений в этом случае могло бы быть объяснено упоминавшимися выше ограничениями самого метода прямых измерений.

С учетом данного обстоятельства тестирование внутренней согласованности косвенных измерений ГАТО именно на *индивидуальном* уровне отдельных респондентов определяется нами как содержательное ядро настоящего исследования. В этом смысле внутренняя согласованность должна пониматься как непротиворечивость реакций на вопросы анкеты и задания теста со стороны каждого отдельно взятого респондента. Если измерительный инструмент валиден, степень согласованности именно *индивидуальных* реакций должна быть высокой.

Таким образом, сформированный массив данных как таковой не обнаружил никаких признаков аномального поведения переменных и может быть признан пригодным для дальнейшего анализа в соответствии с целями исследования.

Внутренняя согласованность отдельных измерений ГАТО

В целях нашего исследования мы применили метод нескольких независимых, отличающихся семантическим содержанием измерений состояния предмета исследования, в качестве которого, предположительно выступает валентность установки по отношению к неким оцениваемым объектам. Инструментально это было реализовано в виде четырех семантических дифференциалов, при помощи которых респонденты оценивали графические фигуры теста ГАТО, а уже сами эти фигуры маркировали их отношение к объектам установки. Иными словами, объекты установки не оценивались напрямую, а полученные величины представляют собой проекции оценок респондентов, выраженные в семантических пространствах соответствующих дифференциалов, *дополнительно опосредованные* ассоциативным соответствием графических фигур теста и объектов оценки.

Для прямых измерений при помощи того же набора семантических дифференциалов респонденты оценивали непосредственно сами объекты установки.

Оценка проводилась на основе показателя α Кронбаха, который является общепотребимым средством для тестирования внутренней согласованности [Cronbach, 1951, 1970]. Технически α Кронбаха представляет собой долю ковариации распределений в общем объеме вариации, задаваемых N — количеством переменных. Чем выше эта доля, тем выше средняя степень согласованности индивидуальных реакций отдельных респондентов.

В содержательном плане высокая степень согласованности означает, что вопросы анкеты или задания теста не отображают случайный набор ответов, а диагностируют некое устойчивое свойство, связь индикаторов исследования с которым и объясняет возникающую системность ответов, находящую свое выражение в их формальной (статистической) согласованности. Полной хаотичности реакций соответствует значение $\alpha = 0$, полной идентичности: $\alpha = 1$. Значения приблизительно $\alpha \geq 0,700$ считаются достаточно высокими для признания того факта, что использованные индикаторы представляют собой согласованную систему, отража-

ющую некое внутренне свойство объекта исследования. Некоторое отклонение результатов тестирования от $\alpha = 1$ является нормальным, так как отражает естественные различия между отдельными индикаторами, которые по определению не эквивалентны полностью [Cicchetti, 1994: 285—286].

Результаты тестирования использованных нами индикаторов по критерию α Кронбаха представлены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4. α Кронбаха для индикаторов прямых измерений

	Среднее шкалы при удалении пункта	Дисперсия шкалы при удалении пункта	Корреляция пункта с суммарным баллом	Альфа Кронбаха при удалении пункта
Работа (П) красивая — уродливая	16,5	9,2	0,487	0,608
Работа (П) привлекательная — отв.	16,5	8,3	0,545	0,567
Работа (П) хорошая — плохая	16,0	9,2	0,609	0,543
Работа (П) полезная — бесполезная	15,8	10,2	0,279	0,744
Для всех четырех				0,685
Свободное время (П) красивое — уродливое	17,8	9,7	0,443	0,686
Свободное время (П) привлекательное — отвратительное	17,6	9,0	0,562	0,620
Свободное время (П) хорошее — плохое	17,8	8,4	0,661	0,560
Свободное время (П) полезное — бесполезное	18,5	8,7	0,389	0,739
Для всех четырех				0,715
Любимый учебный предмет (П) красивый — уродливый	16,5	10,7	0,507	0,587
Любимый учебный предмет (П) привлекательный — отвратительный	16,4	10,9	0,541	0,566
Любимый учебный предмет (П) хороший — плохой	16,3	10,9	0,580	0,543
Любимый учебный предмет (П) полезный — бесполезный	16,4	13,0	0,261	0,744
Для всех четырех				0,682
Нелюбимый учебный предмет (П) красивый — уродливый	10,7	19,2	0,669	0,698
Нелюбимый учебный предмет (П) привлекательный — отвратительный	11,2	20,5	0,660	0,706
Нелюбимый учебный предмет (П) хороший — плохой	10,7	20,6	0,681	0,698
Нелюбимый учебный предмет (П) полезный — бесполезный	11,0	22,0	0,414	0,834
Для всех четырех				0,788

Таблица 5. *а* Кронбаха для индикаторов косвенных измерений.

	Среднее шкалы при удалении пункта	Дисперсия шкалы при удалении пункта	Корреляция пункта с суммарным баллом	Альфа Кронбаха при удалении пункта
Работа (К) красивая — уродливая	14,0	16,5	0,736	0,728
Работа (К) привлекательная — отв.	14,1	16,0	0,696	0,745
Работа (К) хорошая — плохая	13,9	17,8	0,692	0,753
Работа (К) полезная — бесполезная	14,1	18,0	0,474	0,855
Для всех четырех				0,819
Свободное время (К) красивое — уродливое	15,0	14,5	0,756	0,722
Свободное время (К) привлекательное — отвратительное	15,1	15,0	0,696	0,752
Свободное время (К) хорошее — плохое	15,0	17,1	0,640	0,781
Свободное время (К) полезное — бесполезное	15,5	17,2	0,508	0,839
Для всех четырех				0,822
Любимый учебный предмет (К) красивый — уродливый	15,1	14,2	0,718	0,672
Любимый учебный предмет (К) привлекательный — отвратительный	15,1	14,1	0,708	0,677
Любимый учебный предмет (К) хороший — плохой	15,2	16,4	0,644	0,719
Любимый учебный предмет (К) полезный — бесполезный	15,3	18,9	0,356	0,849
Для всех четырех				0,790
Нелюбимый учебный предмет (К) красивый — уродливый	13,1	16,2	0,744	0,674
Нелюбимый учебный предмет (К) привлекательный — отвратительный	12,9	17,3	0,664	0,718
Нелюбимый учебный предмет (К) хороший — плохой	12,9	19,1	0,672	0,721
Нелюбимый учебный предмет (К) полезный — бесполезный	12,9	21,3	0,390	0,848
Для всех четырех				0,797

Представленные данные свидетельствуют, что оба метода измерения демонстрируют достаточно высокий уровень согласованности ответов респондентов. Вместе с тем по всем возможным аспектам анализа этот уровень у группы косвенных измерений оказывается существенно выше.

Во-первых, абсолютные значения α Кронбаха по всем четырем переменным у группы косвенных индикаторов выше, чем у группы прямых. Соответствующие данные представлены в строках, выделенных серым.

Во-вторых, процедура последовательного исключения одной из частных переменных приводит к лучшим результатам в группе косвенных измерений по сравнению с группой прямых. Об этом можно судить по количеству комбинаций тестируемых переменных, сохраняющих значения $\alpha \geq 0,700$.

В-третьих, корреляции каждой тестируемой переменной с производной шкалой оказываются выраженным образом более высокими для косвенных показателей по сравнению с прямыми. Соответствующие величины представлены в третьей колонке с данными.

Полученные для нашей выборки результаты позволяют заключить, что косвенные измерения ГАТО способны демонстрировать высокую степень согласованности результатов, измеренных набором однотипных показателей. Таким образом, обобщение полученных результатов позволяет обоснованно отклонить гипотезу H_01 : по результатам анализа пригодности α Кронбаха будет ниже контрольного значения $\alpha \geq 0,700$ для всех сочетаний однотипных заданий ГАТО для каждого из оцениваемых объектов.

Обращает на себя внимание тот факт, что по данным нашего исследования результаты косвенных измерений выглядят более консистентными, нежели результаты прямых. Таким образом, для косвенных измерений относительно большее разнообразие в *групповых* оценках сопровождается относительно большей согласованностью *индивидуальных* оценок. Содержательно это означает, что при прочих равных использованный метод косвенных измерений увереннее дифференцирует оценки разных респондентов (большая групповая дисперсия), одновременно выявляя большую согласованность оценок каждого отдельного респондента (большая индивидуальная согласованность). В методическом отношении это может означать относительно большую точность (accuracy) и определенно означает относительно более высокую избирательность (specificity) использованного метода косвенных измерений.

Тестирование наличия и устойчивости предмета измерения

Наличия и устойчивость предмета косвенных измерений ГАТО тестировались методом факторного анализа. Всего было построено две базовых модели: по одной для «ценностей» и «объектов повседневности». Результаты представлены в таблицах 6 и 7. В обоих случаях факторы выделены автоматически, на основании критерия Кайзера $K > 1,0$, фокус анализа — на принадлежности частной переменной фактору, вращение квартимакс. Оба решения сошлись за пять итераций. Контрольные показатели в обоих случаях указывают на высокое качество полученных моделей.

**Таблица 6. Результаты факторного анализа
для объектов оценивания «ценности», базовая модель.**

Компонента	1	2	3	4
Объясненная дисперсия, %	28,128	14,836	10,347	9,084
Работа (К) красивая — уродливая	0,874	0,029	–0,057	0,042
Работа (К) привлекательная — отвратительная	0,817	0,128	0,016	0,168
Работа (К) хорошая — плохая	0,836	0,002	0,154	0,198
Работа (К) полезная — бесполезная	0,613	0,312	0,002	–0,030
Свободное время (К) красивое — уродливое	0,193	0,848	0,132	0,071
Свободное время (К) привлекательное — отвратительное	0,199	0,782	0,187	0,057
Свободное время (К) хорошее — плохое	0,083	0,731	0,293	0,072
Свободное время (К) полезное — бесполезное	–0,036	0,720	0,066	0,128
Свободное время (П) красивое — уродливое	–0,160	0,258	0,584	0,004
Свободное время (П) привлекательное — отвратительное	0,134	0,118	0,820	0,032
Свободное время (П) хорошее — плохое	0,020	0,088	0,876	0,004
Свободное время (П) полезное — бесполезное	–0,003	0,200	0,514	0,153
Работа (П) красивая — уродливая	0,213	0,105	0,104	0,707
Работа (П) привлекательная — отвратительная	0,027	0,069	0,131	0,851
Работа (П) хорошая — плохая	0,170	0,173	0,082	0,784
Работа (П) полезная — бесполезная	0,342	–0,046	0,461	0,241
Мера выборочной адекватности Кайзера — Мейера — Олкина				0,764
Критерий сферичности Бартлетта, знач.				912,381
Степеней свободы				120
Значимость				0

**Таблица 7. Результаты факторного анализа
для объектов оценивания «объекты повседневности», базовая модель**

Компонента	1	2	3	4
Объясненная дисперсия, %	19,999	18,178	13,192	9,998
Нелюбимый учебный предмет (К) красивый — уродливый	0,885	0,049	0,032	0,035
Нелюбимый учебный предмет (К) привлекательный — отвратительный	0,855	–0,064	0,018	–0,132
Нелюбимый учебный предмет (К) хороший — плохой	0,832	0,081	–0,016	0,057
Нелюбимый учебный предмет (К) полезный — бесполезный	0,549	0,214	0,008	0,038

Компонента	1	2	3	4
Объясненная дисперсия, %	19,999	18,178	13,192	9,998
Нелюбимый учебный предмет (П) красивый — уродливый	0,038	0,847	0,031	–0,106
Нелюбимый учебный предмет (П) привлекательный — отвратительный	0,074	0,823	0,051	–0,112
Нелюбимый учебный предмет (П) хороший — плохой	0,092	0,827	–0,060	–0,062
Нелюбимый учебный предмет (П) полезный — бесполезный	0,065	0,595	–0,089	0,090
Любимый учебный предмет (К) красивый — уродливый	0,034	–0,114	0,874	0,131
Любимый учебный предмет (К) привлекательный — отвратительный	0,023	0,012	0,891	0,056
Любимый учебный предмет (К) хороший — плохой	–0,045	–0,016	0,816	0,148
Любимый учебный предмет (К) полезный — бесполезный	0,039	0,018	0,446	0,343
Любимый учебный предмет (П) красивый — уродливый	0,146	0,003	0,058	0,764
Любимый учебный предмет (П) привлекательный — отвратительный	0,080	–0,051	0,182	0,745
Любимый учебный предмет (П) хороший — плохой	–0,049	0,044	0,132	0,805
Любимый учебный предмет (П) полезный — бесполезный	–0,150	–0,131	0,044	0,453
Мера выборочной адекватности Кайзера — Мейера — Олкина				0,708
Критерий сферичности Бартлетта (прибл. хи-квадрат)				822,481
Степеней свободы				120
Значимость				0

Данные таблиц 6 и 7 демонстрируют высокую структурированность многомерного пространства оценки предложенных объектов. Как в случае с «ценностями», так и в случае с «объектами повседневности» общее пространство распадается на четыре самостоятельных компоненты, исчерпывающе описываемых группами индикаторов, представляющих, с одной стороны, прямые, а с другой — косвенные измерения. Характер нагрузок на выделенные факторы системно и выражено отличает их друг от друга как по признаку метода измерения, так и по признаку объекта оценивания.

Таким образом, в предварительном порядке мы можем заключить, что допущение об отсутствии явной латентной переменной, отражающий некий устойчивый предмет косвенных измерений ГАТО, не находит своего подтверждения. В рамках нашего исследования мы выявили по две таких латентных переменных (представленные компонентами 1 и 2 в табл. 6 и компонентами 1 и 3 в табл. 7), четко отделенных от латентных переменных, соответствующих предмету прямых измерений.

Устойчивость данной структуры латентных переменных была проверена нами на основе построения двух производных вариантов факторной модели: оптимальной и субоптимальной.

Как видно из данных таблиц 6 и 7, индикаторы, построенные на основе семантического дифференциала «полезный — бесполезный», оказываются в наименьшей степени связаны с получаемыми латентными переменными. Отмечаемое явление характерно как для прямых, так и для косвенных измерений. Данное обстоятельство позволяет обоснованно исключить указанные индикаторы из оптимальной модели как относительно менее валидные предмету измерения. Полученные результаты представлены в таблицах 8 и 9. В обоих случаях компоненты выделены автоматически, на основании критерия Кайзера $K > 1,0$, фокус анализа — на принадлежности частной переменной фактору, вращение кватримакс. Оба решения сошлись за пять итераций. Контрольные показатели в обоих случаях указывают на высокое качество полученных моделей.

**Таблица 8. Результаты факторного анализа
для объектов оценивания «ценности», оптимальная модель**

Компонента	1	2	3	4
Объясненная дисперсия, %	31,215	18,022	12,426	11,093
Работа (К) красивая — уродливая	0,901	0,052	–0,059	0,034
Работа (К) привлекательная — отвратительная	0,848	0,175	–0,001	0,161
Работа (К) хорошая — плохая	0,836	0,080	0,081	0,191
Свободное время (К) красивая — уродливая	0,133	0,883	0,073	0,090
Свободное время (К) привлекательная — отвратительная	0,152	0,823	0,167	0,085
Свободное время (К) хорошая — плохая	0,021	0,822	0,236	0,105
Свободное время (П) красивая — уродливая	–0,163	0,179	0,635	0,065
Свободное время (П) привлекательная — отвратительная	0,145	0,131	0,863	0,092
Свободное время (П) хорошая — плохая	0,053	0,125	0,872	0,050
Работа (П) красивая — уродливая	0,241	0,006	0,159	0,727
Работа (П) привлекательная — отвратительная	0,022	0,057	0,069	0,866
Работа (П) хорошая — плохая	0,140	0,231	–0,008	0,785
Мера выборочной адекватности Кайзера — Мейера — Олкина				0,739
Критерий сферичности Бартлетта (прибл. хи-квадрат)				703,251
Степеней свободы				66
Значимость				0

**Таблица 9. Результаты факторного анализа
для объектов оценивания «объекты повседневности», оптимальная модель**

Компонента	1	2	3	4
Объясненная дисперсия, %	23,883	21,149	16,565	12,735
Любимый учебный предмет (К) красивый — уродливый	0,877	0,045	–0,091	0,151
Любимый учебный предмет (К) привлекательный — отвратительный	0,906	0,021	0,029	0,053
Любимый учебный предмет (К) хороший — плохой	0,828	–0,045	–0,008	0,169
Нелюбимый учебный предмет (К) красивый — уродливый	0,018	0,899	0,063	0,045
Нелюбимый учебный предмет (К) привлекательный — отвратительный	0,005	0,891	–0,025	–0,093
Нелюбимый учебный предмет (К) хороший — плохой	–0,004	0,830	0,123	0,123
Нелюбимый учебный предмет (П) красивый — уродливый	0,003	0,017	0,893	–0,039
Нелюбимый учебный предмет (П) привлекательный — отвратительный	0,011	0,066	0,859	–0,062
Нелюбимый учебный предмет (П) хороший — плохой	–0,077	0,069	0,827	–0,005
Любимый учебный предмет (П) красивый — уродливый	0,053	0,102	–0,033	0,818
Любимый учебный предмет (П) привлекательный — отвратительный	0,196	0,042	–0,084	0,780
Любимый учебный предмет (П) хороший — плохой	0,109	–0,070	0,009	0,802
Мера выборочной адекватности Кайзера — Мейера — Олкина				0,7
Критерий сферичности Бартлетта (прибл. хи-квадрат)				684,996
Степеней свободы				66
Значимость				0

Как видно из данных, представленных в таблицах 8 и 9, структура латентных переменных сохраняется, а сами они становятся более явными, что находит свое выражение в большей контрастности факторных нагрузок «профильных» и «непрофильных» для данного фактора индикаторов.

Альтернативный по своим целям метод был использован при построении суб-оптимальной факторной модели. В данном случае перед нами стояла задача проверить устойчивость факторов к влиянию так называемых возмущающих переменных. В качестве таковых были доступны переменные, отражающие долю пропущенных занятий в общем объеме часов для «любимого» и «нелюбимого» предмета. Предполагалось, что данные показатели могут быть связаны с оценками привлекательности основных объектов тестирования. Результаты моделирования представлены в таблицах 10 и 11. В обоих случаях компоненты выделены автоматически, на основании критерия Кайзера $K > 1,0$, фокус анализа — на принадлежности частной переменной фактору, вращение кватримакс. Оба решения сошлись за пять итераций. Контрольные показатели в обоих случаях указывают на высокое качество полученных моделей.

**Таблица 10. Результаты факторного анализа
для объектов оценивания «ценности», субоптимальная модель**

Компонента	1	2	3	4	5
Объясненная дисперсия, %	27,169	16,205	11,865	9,811	8,818
Работа (К) красивая — уродливая	0,901	0,049	0,004	-0,026	-0,057
Работа (К) привлекательная — отвратительная	0,846	0,206	0,151	-0,014	-0,082
Работа (К) хорошая — плохая	0,837	0,054	0,227	0,098	-0,081
Свободное время (К) красивая — уродливая	0,134	0,886	0,072	0,065	-0,022
Свободное время (К) привлекательная — отвратительная	0,147	0,838	0,080	0,174	-0,035
Свободное время (К) хорошая — плохая	0,012	0,833	0,123	0,212	0,049
Работа (П) красивая — уродливая	0,186	0,064	0,756	0,110	-0,192
Работа (П) привлекательная — отвратительная	0,002	0,023	0,871	0,088	0,180
Работа (П) хорошая — плохая	0,183	0,206	0,771	0,017	0,047
Свободное время (П) красивая — уродливая	-0,244	0,239	0,088	0,599	-0,189
Свободное время (П) привлекательная — отвратительная	0,145	0,155	0,106	0,855	0,095
Свободное время (П) хорошая — плохая	0,073	0,123	0,039	0,884	0,050
Посещаемость «любимого» предмета	-0,110	0,006	0,015	-0,174	0,797
Посещаемость «нелюбимого» предмета	-0,091	-0,017	0,028	0,189	0,811
Мера выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина					0,723
Критерий сферичности Бартлетта (прибл. хи-квадрат)					710,064
Степеней свободы					91
Значимость					0

**Таблица 11. Результаты факторного анализа
для объектов оценивания «объекты повседневности», субоптимальная модель**

Компонента	1	2	3	4	5
Объясненная дисперсия, %	21,226	18,872	14,519	11,241	8,468
Любимый учебный предмет (К) красивый — уродливый	0,885	0,068	-0,082	0,126	0,056
Любимый учебный предмет (К) привлекательный — привлекательный	0,925	0,012	0,017	0,085	0,083
Любимый учебный предмет (К) хороший — плохой	0,828	-0,016	0,019	0,166	-0,046
Нелюбимый учебный предмет (К) красивый — уродливый	0,029	0,901	0,106	0,034	-0,050
Нелюбимый учебный предмет (К) привлекательный — привлекательный	0,021	0,893	-0,017	-0,114	0,021
Нелюбимый учебный предмет (К) хороший — плохой	0,011	0,837	0,084	0,154	0,100

Компонента	1	2	3	4	5
Объясненная дисперсия, %	21,226	18,872	14,519	11,241	8,468
Нелюбимый учебный предмет (П) красивый — уродливый	0,018	0,004	0,890	–0,022	0,053
Нелюбимый учебный предмет (П) привлекательный — привлекательный	0,017	0,068	0,831	–0,071	0,191
Нелюбимый учебный предмет (П) хороший — плохой	–0,076	0,093	0,829	–0,020	–0,022
Любимый учебный предмет (П) красивый — уродливый	0,069	0,089	–0,025	0,827	0,025
Любимый учебный предмет (П) привлекательный — привлекательный	0,195	0,053	–0,073	0,775	0,030
Любимый учебный предмет (П) хороший — плохой	0,096	–0,074	–0,010	0,800	0,062
Посещаемость «любимого» предмета	–0,025	0,074	0,041	–0,011	0,850
Посещаемость «нелюбимого» предмета	0,120	–0,010	0,179	0,148	0,766
Мера выборочной адекватности Кайзера — Мейера — Олкина					0,692
Критерий сферичности Бартлетта (прибл. хи-квадрат)					686,44
Степеней свободы					91
Значимость					0

Данные таблиц 10 и 11 свидетельствуют, что изначально выделенная нами структура факторов устойчива к воздействию возмущающих переменных. Эти переменные образуют самостоятельный фактор, присутствие которого в общей модели, никак не сказывается на состоянии выделенных ранее латентных переменных.

Обобщение представленных данных позволяет заключить, что результаты косвенных измерений продемонстрировали устойчивую способность отображать некую латентную переменную, которая может интерпретироваться как предмет измерения. Данная латентная переменная выраженно отделена от соответствующих аналогов прямых измерений и демонстрирует высокую степень устойчивости к возмущающим воздействиям на факторную структуру посторонних переменных, что показывают результаты сравнения оптимальной и субоптимальной моделей.

Одновременно данная латентная переменная оказывается чувствительной к подбору индикаторов измерения, что, однако, характерно также и для латентной переменной прямых измерений. Данный вывод вытекает из результатов сравнения базовой и оптимальной моделей.

Обобщенные результаты сравнительного анализа использованных факторных моделей, позволяющие целостно сравнить латентные переменных косвенных и прямых измерений, приведены в таблице 12. Величины, представленные в таблице, являются результатом усреднения значений, полученных для всех объектов оценивания.

Под «профильными» индикаторами подразумеваются частные переменные, определяющие данный рассматриваемый фактор (демонстрирующие максимальные нагрузки на него). Под «непрофильными» индикаторами — частые переменные, демонстрирующие максимальные нагрузки на иные факторы, нежели рас-

смастриваемый. Показатель «контрастности латентной переменной» рассчитан как отношение средней нагрузки на фактор непрофильных к средней нагрузке профильных индикаторов. Индекс контрастности представляет собой отношение показателя контрастности латентных переменных прямых измерений к аналогичным показателям косвенных.

Таблица 12. **Обобщенные результаты факторного моделирования**

Модели	Субоптимальная	Базовая	Оптимальная
Дисперсия, объясненная в среднем одним фактором, %			
Косвенные измерения	20,9	19,0	23,6
Прямые измерения	11,9	11,9	13,2
Средняя нагрузка на фактор профильной частной переменной			
Косвенные измерения	0,868	0,773	0,862
Прямые измерения	0,807	0,702	0,811
Средняя нагрузка на фактор непрофильной частной переменной			
Косвенные измерения	0,063	0,060	0,147
Прямые измерения	0,079	0,057	0,167
Контрастность латентной переменной			
Косвенные измерения	13,77	12,88	5,86
Прямые измерения	10,22	12,32	4,85
Индекс контрастности	1,35	1,05	1,21

Из представленных данных следует, что формируемое сопоставимыми шкалами пространство оценивания находится под преимущественным влиянием предмета, отображаемого косвенными индикаторами. Данный вывод следует из сравнительного анализа средней доли объясненной дисперсии, которая неизменно оказывается существенно выше (почти в два раза) для факторов, образуемых частными переменными косвенных индикаторов.

Преимущество косвенных индикаторов с точки зрения средней величины нагрузки их профильных (определяющих рассматриваемый фактор) частных переменных не столь выражено, однако сохраняется. Различия между косвенными и прямыми индикаторами в нагрузках непрофильных (отражающих степень посторонних возмущений) выглядят незначительными. Итоговый показатель контрастности, который может рассматриваться как показатель соотношения «сигнал — шум», оказывается существенно более высоким у косвенных измерений для субоптимальной (13,77 против 10,22, индекс — 1,35) и оптимальной (5,86 против 4,85, индекс — 1,21) моделей. Для базовой модели он находится на примерно одном уровне (12,88 против 12,32, индекс — 1,05) для обоих методов измерения.

Данные позволяют обоснованно отклонить гипотезу H_02 : по результатам факторного анализа латентная переменная, высоко коррелирующая ($r \geq 0,700$) с результатами выполнения однотипных заданий ГАТО и низко коррелирующая ($r \leq 0,300$)

с аналогичными результатами прямых измерений, будет отсутствовать для каждого из объектов оценивания. Фактическое наличие единого критерия (по Р. Кэттелу), отображающего предмет измерения ГАТО и несводимого к критерию, а значит, и предмету прямых измерений, подтверждается.

Заключение

Исследование успешно выполнило стоявшие перед ним задачи. Обе гипотезы исследования были протестированы и обоснованно отклонены.

Установлено, что измерения ГАТО потенциально способны демонстрировать высокий уровень внутренней согласованности. На примере отдельного исследования показано, что результаты тестирования могут содержать относительно невысокую пропорцию случайных ошибок измерения и продуцировать консистентные, внутренне согласованные результаты. Никаких признаков критических дисфункций измерительного аппарата не обнаружено.

На основании полученных данных мы отклонили гипотезу о том, что индикаторы ГАТО измеряют «белый шум», а вариация их результатов является следствием случайной ошибки. Используемые нами индикаторы связаны друг с другом и изменение значения одного из них приводит к теоретически предсказанному изменению всех остальных. Это может означать, что каждый из этих показателей, рассматриваемый в отдельности, отображает совокупность не случайных ответов (результатов тестирования), а находится под систематическим влиянием некоего внутреннего свойства объекта исследования, которое, предположительно, и составляет предмет измерения.

Полученные данные позволяют заключить, что косвенные измерения ГАТО потенциально способны валидно отображать некую латентную переменную, которая характеризуется следующими свойствами.

- 1) Она достаточно чувствительна и способна различать как объекты разных классов (абстрактные «ценности» — «объекты повседневности»), так и отдельные объекты внутри одного класса.
- 2) Она выраженно ортогональна аналогичной переменной, эмпирически отображаемой индикаторами прямых измерений.
- 3) Она оказывает преимущественное влияние на формирование многофакторного пространства оценивания в целом, описывая большую долю возникающей в нем дисперсии.
- 4) Она нечувствительна к воздействию нерелевантных (возмущающих) факторов.
- 5) Она чувствительна к валидности индикаторов, неудачный выбор которых (в нашем случае — семантических дифференциалов) способен существенно снижать точность измерения. Данное явление, однако, также характерно и для прямых измерений.

Сказанное позволяет обоснованно отклонить гипотезу об отсутствии единого критерия — предмета измерений ГАТО. На материалах исследования соответствующая латентная переменная несомненно и устойчиво выявляется, демонстрируя при этом свойства, теоретически предсказываемые для ее предполагаемого конструкта: ортогональность результатам прямых измерений, преимущественное влияние на формирование многомерного пространства оценки, относитель-

но низкая различительная способность на уровне группового оценивания и относительно высокая — на уровне индивидуального.

Таким образом, в *методическом плане* результаты исследования подтвердили диагностический потенциал ГАТО, одновременно выявив проблему неодинаковой степени пригодности стимулов тестирования привлекательности самих графических фигур ГАТО. Применительно к использованному в данном случае инструментарию семантического дифференциала данное явление хорошо известно [Triandis, 1959; Mitsos, 1961; Koltuv, 1962], что актуализирует задачу дополнительной валидации стимульного аппарата ГАТО в части индикаторов привлекательности графических фигур.

В *теоретическом плане* подтверждены уже известные свойства предмета измерений ГАТО, а также выявлены некоторые новые. К последним относится, во-первых, подтверждение высокой устойчивости латентной переменной, измеряемой эмпирическими индикаторами ГАТО. Во-вторых, преимущественное влияние косвенных индикаторов на структурирование многомерного пространства оценивания. Последнее еще только предстоит осмыслить. В настоящее время с позиции теорий «двойственного процесса» познания и принятия решений оно может быть осторожно проинтерпретировано как отражение опережающей активации первой (неосознаваемой) когнитивной системы [Chen, Bargh, 1999; Fazio, 2007]. Дальнейшее прояснение данного вопроса позволит получить дополнительные данные о характере и свойствах предмета измерения ГАТО, который, как мы видели, устойчиво выявляется, но в теоретическом плане определен пока в самом общем виде.

В *методологическом плане* полученные результаты подтверждают наличие неких свойств социальной установки, которые не сводятся к свойствам, доступным методам прямых измерений, однако уверенно диагностируются при помощи косвенных измерений. Рассматриваемая через призму этих свойств установка обладает выраженной способностью особым образом различать объекты оценивания. Исследование данного механизма различения представляется в высшей степени актуальным в силу его достоверно установленного влияния на социальное поведение человека.

Непосредственным практическим результатом проведенного исследования является подтверждение обоснованности применения метода ГАТО для проведения косвенных измерений социальной установки и, одновременно, обоснование целесообразности проведения дополнительных методических исследований по формированию пакета дифференциалов, способного, оставаясь компактным, обеспечивать получение достоверного результата диагностирования привлекательности собственно объектов оценивания.

Список литературы (References)

1. Чернозуб О. Л. Выявление аффективной компоненты электоральной установки: создание и валидизация графического ассоциативного теста отношения // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2018а. № 3. С. 3—28. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.3.01>.

- Chernozub O. L. (2018a) Affective Components of Electoral Behavior: Design and Validity of Visual Association Test of Attitude. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 3. P. 3—28. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.3.01>. (In Russ.)
2. Чернозуб О. Л. Электоральное прогнозирование на основе данных о намерениях: пределы точности конвенциональной модели и перспективы ее развития на основе учета эмоциональных факторов // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2018. № 4. С. 4—24. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.4.01>.
Chernozub O. L. (2018b) Intention-Based Electoral Forecasting: Limits of Accuracy of Conventional Model and its Development Perspectives with Regard to Emotional Factors. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 4—24. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2018.4.01>. (In Russ.)
3. Чернозуб О. Л. Двухкомпонентная модель поведения человека. Потребители тоже люди // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2021. № 5. С. 265—288. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2021.5.2097>.
Chernozub O. L. (2021) A Two-Component Model of Behavior Factors. Consumers Are Still Humans. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 265—288. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2021.5.2097>. (In Russ.)
4. Чернозуб О. Л., Белоножко М. Л. Сравнительный анализ имплицитных измерений ГАТО и ИАТ: единство в многообразии // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2023. № 5. С. 221—239. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2023.5.2413>.
Chernozub O. L., Belonozhko M. L. (2023) Comparative Analysis of Implicit GATA and IAT Measures: Unity in Diversity. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 5. P. 221—239. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2023.5.2413>. (In Russ.)
5. Чернозуб О. Л., Шураева Л. Ю. Ортогональность результатов ИАТ и ГАТО: чем хуже, тем лучше? // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2023. № 6. С. 132—151. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2023.6.2478>.
Chernozub O. L., Shuraeva L. Y. (2023) Orthogonality of IAT and GATA Results: The Worse, the Better? *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 6. P. 132—151. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2023.6.2478>. (In Russ.)
6. Cattell R. B. (1978) Scientific Use of Factor Analysis in Behavioral and Lifesciences. New York, NY: Plenum Press.
7. Chen M., Bargh, J. (1999) Consequences of Automatic Evaluation: Immediate Behavioral Predispositions to Approach or Avoid the Stimulus. *Personality and Social Psychology Bulletin*. Vol. 25. No. 2. P. 215—224.
8. Chernozub O. (2020) Implicit Factors and Inconsistency of Electoral Behavior: From a Theoretical Concept to an Empirical Phenomenon. *Monitoring of Public Opinion: Eco-*

- nomic and Social Changes*. No. 4. P. 17—40. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.1584>.
9. Chernozub O. (2022a) The Two-Component Model of Behavior Factors: Evidences of Orthogonality of Explicit and Implicit Factors. *RUDN Journal of Sociology*. Vol. 22 No. 1. P. 70—83. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2022-22-1-70-83>.
 10. Chernozub O. (2022b) Theory of (Un)Planned Behavior? How Our Behavioral Predictions Suffer from “Unplanned” Actions? *The Russian Sociological Review*. Vol. 21. No. 4. P. 82—105. <https://doi.org/10.17323/1728-192x-2022-4-82-105>.
 11. Chernozub O., Tereshkin S. (2022) The Two-Component Model of Behavior Factors: The Phenomenon of Anticipatory Engagement of a Situationally Dominant Factor. *RUDN Journal of Sociology*. Vol. 22. No. 2. P. 259—274. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2022-22-2-259-274>.
 12. Chernozub O. (2023a) Graphic Associative Test of Attitudes as a Convenient Implicit Measurement Tool for Mass Polls. *RUDN Journal of Sociology*. Vol. 23. No. 1 P. 122—141. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2023-23-1-122-141>.
 13. Chernozub O. (2023b) GATA: Test — Retest Reliability of Measurement Outcomes. *Sotsiologiya 4M: Sociology: Methodology, Methods, Mathematical Modeling*. No. 57. P. 112—137. <https://doi.org/10.19181/4m.2023.32.2.4>.
 14. Chernozub O. (2024) Do Indirect Measures of Attitudes Improve Our Predictions of Behavior? Evaluating and Explaining the Predictive Validity of GATA. *RUDN Journal of Sociology*. Vol. 24. No. 1. P. 241—258. <https://doi.org/10.22363/2313-2272-2024-24-1-241-258>.
 15. Chernozub O. (2025) Escalating Action Structural Theory Better Explains and Predicts Social Behaviors. *Universe of Russia*. Vol. 34. No. 3. P. 79—104. <https://doi.org/10.17323/1811-038X-2025-34-3-79-104>.
 16. Cicchetti D. (1994) Guidelines, Criteria, and Rules of Thumb for Evaluating Normed and Standardized Assessment Instruments in Psychology. *Psychological Assessment*. Vol. 6. No. 4. P. 284—290. <https://doi.org/10.1037/1040-3590.6.4.284>.
 17. Cronbach L. (1951) Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests. *Psychometrika*. Vol. 16. No. 3. P. 297—334.
 18. Cronbach L. (1970) *Essentials of Psychological Testing*. New York, NY: Harper & Row.
 19. De Houwer J., Moors A. (2007) How to Define and Examine the Implicitness of Implicit Measures. In: Wittenbrink B., Schwarz N. (eds.) *Implicit Measures of Attitudes: Procedures and Controversies*. New York, NY: Guilford Press. P. 179—194.
 20. Fazio R. (2007) Attitudes as Object-Evaluation Associations of Varying Strength. *Social Cognition*. Vol. 25. No. 5. P. 603—637. <https://doi.org/10.1521/soco.2007.25.5.603>.
 21. Fishbein M., Ajzen I. (2011) *Predicting and Changing Behavior: The Reasoned Action Approach*. New York, NY: Psychology Press.

22. Koltuv B. (1962) Some Characteristics of Intrajudge Trait Intercorrelations. *Psychological Monographs: General and Applied*. Vol. 76. No. 33. P. 1—33. <https://doi.org/10.1037/h0093859>.
23. Likert R. (1932) Technique for the Measurement of Attitudes. *Archives of Psychology*. Vol. 140. P. 1—55.
24. Mitsos S. B. (1961) Personal Constructs and the Semantic Differential. *Journal of Abnormal and Social Psychology*. Vol. 62. P. 433—434.
25. Moors A., Koster M. (2022) Behavior Prediction Requires Implicit Measures of Stimulus-Goal Discrepancies and Expected Utilities of Behavior Options Rather than of Attitudes toward Objects. *WIREs Cognitive Science*. Vol. 13. No. 5. Art. e1611. <https://doi.org/10.1002/wcs.1611>.
26. Osgood C. E., Suci G., Tannenbaum P. (1957) The Measurement of Meaning. Urbana, IL: University of Illinois Press.
27. Osgood C. (1962) Studies of the Generality of Affective Meaning Systems. *American Psychologist*. No. 17. P. 10—28.
28. Perugini M. (2005) Predictive Models of Implicit and Explicit Attitudes. *British Journal of Social Psychology*. Vol. 44. No. 1. P. 29—45. <https://doi.org/10.1348/014466604X23491>.
29. Perugini M., Richetin J., Zogmaister C. (2010) Prediction of Behavior. In: Gawronski B., Payne B. K. (eds.) *Handbook of Implicit Social Cognition: Measurement, Theory, and Applications*. New York, NY: Guilford Press. P. 255—278.
30. Triandis H. C. (1959) Differential Perception of Certain Jobs and People by Managers, Clerks, and Workers in Industry. *Journal of Applied Psychology*. Vol. 43. P. 221—225.

Приложение. Методы косвенных измерений

Name Letter Task [Nuttin, 1985, 1987; see Lebel et al., 2009].
 Evaluative Priming Task [Fazio et al., 1986].
 Linguistic Intergroup Bias [Maass, Salvi, Arcuri, & Semin, 1989].
 Implicit Association Test [Greenwald, McGhee, & Schwarz, 1998].
 Approach-Avoidance Tasks [e. g., Chen & Bargh, 1999; Castelli, Zogmaister, Smith, & Arcuri, 2004].
 Go/No-Go Association Task [Nosek & Banaji, 2001].
 Weapon Paradigm [Payne, 2001; Correll, Park, Judd, & Wittenbrink, 2002].
 Extrinsic Affective Simon Task [De Houwer, 2003].
 Personalized IAT [Olson & Fazio, 2004].
 Affect Misattribution Procedure [Payne et al., 2005].
 Evaluative Movement Assessment [Brendl et al., 2005].
 Implicit Association Procedure [Schnabel et al., 2006].
 Single Category IAT [Karpinski & Hilton, 2006].
 Identification Extrinsic Affective Simon Task [De Houwer & De Bruycker, 2007].
 Single Block IAT [Teige-Mocigemba et al, 2008].

Brief IAT [Sriram & Greenwald, 2009].

Recoding Free IAT [Rothermund et al., 2009].

Sorting Paired Features Task [Bar-Anan et al., 2009].

Action Interference Paradigm [Banse et al, 2010].

Implicit Relational Assessment Procedure [BarnesHolmes et al., 2010].

DOI: [10.14515/monitoring.2026.4.3445](https://doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3445)**О. А. Оберемко, И. И. Буханский, Д. А. Зеленев****КТО УЧАСТВУЕТ В ОПРОСАХ ПО ТЕЛЕФОНУ И ПО МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА? СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ СМЕШАННОГО ОПРОСНОГО МОДУСА****Правильная ссылка на статью:**

Оберемко О. А., Буханский И. И., Зеленев Д. А. Кто участвует в опросах по телефону и по месту жительства? Сравнительный анализ и возможности применения смешанного опросного модуля // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2026. № 4. С. 337—362. <https://www.doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3445>.

For citation:

Oberemko O. A., Bukhanskiy I. I., Zelenev D. A. (2026) Who Participates in Telephone and Residential Face-to-Face Surveys: A Comparative Analysis. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 337–362. <https://www.doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3445>. (In Russ.)

Получено: 14.07.2026. Принято к публикации: 19.08.2026.

КТО УЧАСТВУЕТ В ОПРОСАХ ПО ТЕЛЕФОНУ И ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА? СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕШАННОГО ОПРОСНОГО МОДУСА

ОБЕРЕМКО Олег Алексеевич — кандидат социологических наук, руководитель методической лаборатории, Аналитический центр ВЦИОМ, Москва, Россия
 E-MAIL: nvivos@yandex.ru
<https://orcid.org/0000-0002-7967-2533>

БУХАНСКИЙ Илья Игоревич — студент магистратуры, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия; исследовательский менеджер методической лаборатории, Аналитический центр ВЦИОМ, Москва, Россия
 E-MAIL: buhanskiy_j@wciom.com
<https://orcid.org/0009-0004-7051-4960>

ЗЕЛЕНЕВ Дмитрий Андреевич — студент 4 курса бакалавриата направления «Социология» Высшей школы современных социальных наук, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия; ассистент методической лаборатории, Аналитический центр ВЦИОМ, Москва, Россия
 E-MAIL: zelenev_d@wciom.com
<https://orcid.org/0009-0001-9114-3490>

Аннотация. В статье обсуждается неуклонное падение достижимости, которое ставит под сомнение дальнейшую пригодность гэллоповской парадигмы вероятностных опросов национального и регионального масштабов. Авторы предлагают и обосновывают введение понятия «модус» для сравнительных исследований специфики и ошибок репрезентации и измерения при использовании разновидностей опросов, таких как личный, телефонный или онлайн, и показывают, что мировая наука и индустрия ответ на снижение достижимости находят в адаптивных дизайнах, наиболее сильным вариантом среди которых является смешанный

WHO PARTICIPATES IN TELEPHONE AND RESIDENTIAL FACE-TO-FACE SURVEYS: A COMPARATIVE ANALYSIS

Oleg A. OBEREMKO¹ — Cand. Sci. (Soc.), Head of Methodological Laboratory
 E-MAIL: nvivos@yandex.ru
<https://orcid.org/0000-0002-7967-2533>

Ilya I. BUKHANSKIY^{2,1} — Master's Student; Research Manager of Methodical Laboratory
 E-MAIL: buhanskiy_j@wciom.com
<https://orcid.org/0009-0004-7051-4960>

Dmitrii A. ZELENEV^{2,1} — Bachelor Student in Sociology; Assistant of Methodical Laboratory
 E-MAIL: zelenev_d@wciom.com
<https://orcid.org/0009-0001-9114-3490>

¹ Analytical Centre VCIOM, Moscow, Russia

² Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Abstract. The article discusses the steady decline in response rate, which calls into question further applicability of the Gallup paradigm for probability population surveys at national and regional scales. The authors propose and justify the introduction of the concept of mode for comparative studies of the specificity and errors of representation and measurement when using survey methods such as face-to-face, telephone, and online. They demonstrate that global science and industry are responding to declining response rate through adaptive designs, the most powerful of which is the mixed-mode survey, which combines modes of communication with re-

опросный модус (mixed-mode survey), когда для эффективной реализации спроектированных по полноценной основе вероятностных выборок смешиваются модусы общения с респондентом. Авторы отмечают страновые особенности институциональной среды исследовательской работы, которые обуславливают применимость смешанного опросного модуса в высококачественных вероятностных опросах гэллуповской парадигмы; в частности, показывают, что не все модели вероятностных опросов имеют под собой достаточную информационную базу для перехода на смешанный опросный модус. Аналитическая часть статьи посвящена анализу сходств и различий в ответах респондентов, отвечавших на одни и те же вопросы формализованного интервью в разных модусах — в модусе опосредованного компьютером телефонного интервью (CATI) и в модусе личного интервью по месту жительства (F2F). Отмеченные различия интерпретировались как следствия специфики охвата популяции. От респондентов по месту жительства респонденты телефонных интервью регулярно отличались более высокими показателями достатка и культурного капитала и более низкими оценками политической лояльности и собственного благополучия. Однако при всех различиях нет оснований полагать, что указанные модусы репрезентируют разные популяции, а не одну.

Ключевые слова: выборочные опросы, достижимость, смешанные опросы, телефонные интервью, личные интервью, комбинированные выборки, ошибки репрезентативности, сравнение опросных данных

Благодарность. Авторы благодарят анонимных рецензентов за внимательное отношение к тексту и важные замечания, которые позволили улучшить рукопись на этапе доработки.

spondents to effectively implement probability samples designed on a full-fledged basis. The authors note country-specific characteristics of the institutional research environment that determine the applicability of the mixed-mode survey in high-quality probability surveys of the Gallup paradigm; in particular, they demonstrate that not all probability survey models have a sufficient information base for the transition to a mixed-mode survey. The analytical section of the article examines the similarities and differences in the responses of respondents who answered the same formalized interview questions in different modes—computer-assisted telephone interviewing (CATI) and face-to-face interviews at their place of residence (F2F). The observed differences were interpreted as consequences of the specific population coverage. Respondents to telephone interviews consistently demonstrated higher levels of wealth and cultural capital and lower ratings of political loyalty and personal well-being than respondents to face-to-face surveys. However, the authors conclude that despite intermodal differences, there is no reason to believe that these modes represent different populations rather than a single one.

Keywords: sample surveys, response rate, mixed-mode surveys, telephone interviews, face-to-face interviews, combined samples, representativeness errors, comparison of survey data

Acknowledgments. The authors thank the anonymous reviewers for their attention to the text and important comments that allowed them to improve the manuscript during the revision stage.

Введение: проблемная ситуация

Настойчивая мантра о закате гэллаповской парадигмы вероятностных опросов национального и регионального масштабов стала досадным общим местом; как и мантра о закате Европы или загнивании Запада, она имеет шанс пережить не одно поколение своих скептических поклонников. Против центральной идеи гэллаповской парадигмы случайного отбора обоснованных возражений не видно, но ее подтачивает практика снижающейся достижимости: «Низкий уровень отклика и низкая стоимость интернет-опросов фактически уничтожили парадигму случайной выборки, которая легла в основу формирования поля общественного мнения» [Bailey, 2023].

Падение достижимости в телефонных опросах — общемировая тенденция: «В конце 1990-х годов средний процент ответов на телефонные опросы составлял 36 %. К 2012 г. Pew Research Center сообщил, что процент ответов на их стандартные телефонные опросы упал до 9 %»¹. Также эксперты Института Брукингса в апреле 2026 г. били тревогу по поводу того, что в 2025 г. в ежегодном обследовании домохозяйств Бюро переписи населения США (Current Population Survey, CPS) отклик респондентов на разосланные анкеты составил лишь 64 % (несмотря на административные штрафы за неучастие²)³. Снижение отклика вкупе с парадоксом снижения бюджетов на опросы и ростом их стоимости отмечалось и раньше (см., например, обзор [Tourangeau et al., 2017]).

Справедливости ради нужно отметить, что не все исследователи видят трагедию для репрезентативности в падении достижимости, приводя эмпирические доказательства слабой связи между неучастием и репрезентативностью результатов [Groves, Peytcheva, 2008; Brick, Tourangeau, 2017].

В России тенденция на снижение отклика тоже отмечается [Звоновский, Ходыкин, 2024]⁴. Первой жертвой пала достижимость поквартирных опросов из-за огораживания придомовых территорий и доступов в подъезды; антиковидные институциональные ограничения, ставшие привычными самоограничения в контактах и правовая незащищенность интервьюеров упрочили барьеры между полстерами и (не)респондентами.

Телефонные опросы тоже испытали на себе мощное воздействие: (а) беспрецедентной агрессии мошенников, подорвавшей доверие к опросной коммуникации как к общественному институту; (б) распространения автоответчиков и «секретарей», серьезно ограничивших контакты с абонентами; (в) антидроновых блокировок, вызвавших перебои сотовой связи во многих регионах и ухудшивших репрезентативность выборок, построенных методом случайной генерации номеров (Random Digit Dialing, RDD-выборки).

¹ См.: Kevin Founder & CEO. The Survey Response Rate Crisis: Who You're Not Hearing From // User intuition. 2026. April 6. URL: User Intuition. 2026. URL: <https://www.userintuition.ai/posts/the-survey-response-rate-crisis-who-youre-not-hearing-from/> (дата обращения: 14.07.2026).

² Признательны научному редактору С. С. Бирюковой за это уточнение.

³ Johnson D.S., Meinhardt M., Sabelhaus J. Why Did People Stop Responding to Federal Economic Surveys? What can be done? // Brookings. 2026. April 14. URL: <https://www.brookings.edu/articles/why-did-people-stop-responding-to-federal-economic-surveys-what-can-be-done/> (дата обращения: 14.07.2026).

⁴ Волков Д. К вопросу об опросах // Левада-Центр. 2025. 26 февраля. URL: <https://www.levada.ru/2025/02/26/k-voprosu-ob-oprosah/> (дата обращения: 02.09.2026) (материал создан и распространен российским юридическим лицом, признанным выполняющим функции иностранного агента).

Анализ данных ежедневного общенационального телефонного опроса «Спутник» АЦ ВЦИОМ (уникального своими рядами данных за много лет, а потому показательного для РФ) за март — апрель 2026 г. выявил накопление в RDD-выборках систематически недопредставленных страт. Под стратой в данном случае понимается базовая единица расчета при проектировании и контроле качества реализованных выборок, представляющая собой комбинацию из четырех признаков респондента: пол (мужской, женский), возраст (18—24, 25—34, 35—44, 45—59, 60+ лет), тип населенного пункта (города с численностью населения от 1 млн чел., 500 тыс. — 1 млн чел., 100—500 тыс. чел., 50—100 тыс. чел., до 50 тыс. чел., поселки городского типа (ПГТ), села), федеральный округ (8 округов и отдельно — Москва и Санкт-Петербург, также называемые столицами) — всего 530 страт. К маю 2026 г. количество недопредставленных страт превысило 10 %, что ввиду их малочисленности соответствует доле 6—7 % в населении России в возрасте от 18 лет. Основной недобор во всех федеральных округах (без столиц) фиксируется в стратах молодых женщин 18—34 лет в малых городах (до 100 тыс. чел.) и селах и жительниц села старше 60 лет.

Авторы обстоятельного аналитического обзора приводят множество других индикаторов опасного для репрезентативности снижения достижимости в опросах российских полстеров [Звоновский, Ходыкин, Раскевич, 2025: 61—77]. Причем достижимость снижается не только в опросах, посвященных чувствительной тематике российско-украинского конфликта, на который указано в заглавии работы.

Рассмотрение онлайн-опросов с онлайн-рекрутом респондентов в рамках этой статьи мы опускаем, поскольку они заведомо не претендуют на репрезентацию территориальных популяций за счет случайного отбора.

Беспокойство из-за непропорциональной достижимости социально-демографических страт обосновано не только и не столько абстрактной заботой о методической чистоте исследовательского процесса (хотя значимость такой заботы трудно переоценить), сколько рисками вместе с «бессодержательными» дефицитами получить смещенные данные по содержательным показателям — оценкам, установкам и мнениям, ради замера которых опросы и проводятся. Однако показать на данных расхождения во мнениях между участвующими и не участвующими в опросах методически затруднительно: например, связь достижимости с отношением к специальной военной операции (СВО) зафиксировать получилось [там же: 50—54], а с одобрением или неодобрением деятельности руководства страны — нет⁵.

На падение достижимости мировая опросная индустрия ответила переходом на «адаптивную модель опросов» (*adaptive survey design*) с наиболее сильным вариантом реализации в виде комбинированного, или смешанного, модуса (*combined, mixed-mode*) сбора опросных данных, к мультимодальным опросам (*multimodal surveys*).

В разговоре о смешанных, или комбинированных, опросах мы предлагаем использовать понятия — «кальки» с английского языка: «модус опроса» или «опрос-

⁵ Агапеева К., Волков Д. Готовность участвовать в опросах: результаты эксперимента // Левада-Центр. 2022. 14 июня. URL: <https://www.levada.ru/2022/06/14/gotovnost-uchastvovat-v-oprosah-rezultaty-eksperimenta/> (дата обращения: 11.08.2026) (материал создан и распространен российским юридическим лицом, признанным выполняющим функции иностранного агента).

ный модус» с прилагательным «модальный» и другими производными, — поскольку привычное понятие «метод» (тоже некогда иностранное слово) не вполне подходит, ибо в данном контексте в смешанных дизайнах комбинируются не методы, а разные модусы — личный, телефонный, онлайн, почтовый — одного метода, а именно метода опроса.

Чтобы адекватно оценивать качество данных мультимодальных опросов, необходимо учитывать специфику каждого модуса и возникающие в них ошибки, или погрешности. В контексте достижимости интерес ограничивается этапом сбора и подготовки данных к содержательному анализу. Если не пытаться объять процесс исследования целиком [там же: 15—18], а ограничиться этапом сбора и подготовки данных к анализу, тогда теория совокупной ошибки обследования (*Total Survey Error*) даст нам только два рода ошибок (или погрешностей): погрешности репрезентации и погрешности измерения [Groves et al., 2009: 42]; все разновидности погрешностей низших порядков распределяются по этим двум родам без остатка.

Когда в фокусе интереса оказываются ошибки репрезентации, модус понимается прежде всего как специфический канал общения ради отбора и получения согласия на участие в опросе; когда предметом исследования выбираются ошибки измерения, модус понимается как канал получения искомых данных. На практике две эти стороны составляют единый, неделимый процесс, но аналитически (искусственно, умозрительно) их разделять целесообразно. Анализ двух родов ошибок требует принципиально разных данных, а если и появляется возможность (или необходимость) использовать одни и те же данные, тогда их анализируют под разными углами зрения (и описывают в разных структурных элементах текста).

Практический смысл перехода к «адаптивной модели опросов» очевиден: если данные не удастся собрать одним модусом (разновидностью метода опроса), их добывают другим модусом. Однако перенести «приспособительную модель» в российскую практику оказывается непросто. Чтобы иметь возможность добрать упавших в проект выборки и недостижимых в одном модусе респондентов, нужно располагать сведениями, позволяющими связываться с ними в ином модусе; то есть, если респондент оказывается недоступным по телефону, полстеру нужен его электронный адрес, чтобы установить контакт в модусе онлайн-опроса; или почтовый адрес, чтобы достичь его в модусе почтового опроса, и т. п. Все это предполагает в качестве базового условия техническую доступность такой основы выборки, которая содержит достаточные сведения об отобранных респондентах, чтобы подобрать модус, обеспечивающий к ним доступ: как минимум это номер телефона, электронный и почтовый адреса, но список может варьировать в зависимости от комбинируемых модусов.

Очевидно, что сведения о разных способах контакта так или иначе соотносятся с отобранным в выборку лицом, интересующим полстера не как личность с персональными данными, а как типичная комбинация социальных признаков, образующая одну из страт, по которым проектируемая выборка призвана репрезентировать обследуемую популяцию. Для этого нужно иметь техническую возможность случайным образом отбирать из каждой страты заранее определенное число ее представителей — например, мужчин 45—54 лет, проживающих в поселках городского типа Дальневосточного федерального округа. На этом этапе для фор-

мирования выборки о каждом респонденте достаточно сведений только о поле (мужской), возрасте (45—54 лет), типе населенного пункта (ПГТ) и федеральном округе проживания (ДФО). А дополнительные сведения о способах установления контакта необходимы только для тех, кто был случайно отобран в выборку. В персоне полстер видит лишь представителей страт; если основные страты в реализованной выборке представлены в нужных пропорциях, собранные данные репрезентируют популяцию, а какими конкретно персонами — неважно. И ответы на вопросы интервью или анкеты анализируют не по персонам, а предварительно агрегируют в группы, что обеспечивает режим анонимности, обещанный полстером еще при получении согласия на интервью.

Если нужно надежно и точно репрезентировать целевую популяцию, проектируют одну общую выборку и комбинируют модусы для ее реализации. Так делают при проведении опросов с претензией репрезентировать обследуемую популяцию посредством процедур случайного отбора (не должно быть никакого квотирования, недопустимо также управление отбором со стороны респондентов). Опросы по заказу государственных учреждений, например по госконтрактам, называют официальными (*official*) (см. [Schouten et al., 2022]); такие опросы по определению требуют высокого качества, которое гарантируется соответствующей информационной базой, обеспечивающей мультимодальный доступ к отобранным респондентам с необходимыми комбинациями социально-демографических признаков.

При этом российские полстеры работают в специфических институциональных условиях: без официального доступа к сведениям, необходимым для мультимодальной реализации спроектированных случайных выборок. Следовательно, в сложившихся институциональных условиях для реализации случайных выборок полстерам в России доступны только две одномодусные модели, которые, как было отмечено выше, сталкиваются со снижением отклика (как и во всем мире). Неудобство заключается в том, что ни одна из доступных моделей репрезентативных опросов по случайной выборке не предполагает возможности сменить модус сбора данных при поиске респондентов из малодостижимых страт.

В модели со случайным генерированием телефонных номеров (RDD) в модусе опосредованных компьютером телефонных интервью (Computer Assisted Telephone Interview, CATI) респонденты отбираются по «стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ»⁶. В модусе личных интервью (face-to-face, F2F) по месту жительства модель предполагает отбор респондентов в процессе механического обхода домохозяйств по случайно определенным маршрутам и со случайным отбором респондентов внутри домохозяйства. Даже когда эти модели удается реализовать с полным соблюдением методических требований, мультимодальная реализация спроектированных случайных выборок недоступна. В первом случае о респонденте мы не знаем ничего, кроме случайно отобранного (сгенерирован-

⁶ Так описывается методика ежедневного общенационального телефонного опроса «Спутник» АЦ ВЦИОМ, см. лубой пресс-релиз, например: Телефонное мошенничество: мониторинг: Методика // ВЦИОМ. 2026. 2 февраля. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/telefonnoe-moshennichestvo-monitoring> (дата обращения: 11.07.2026). По принципиально сходному дизайну вероятностные CATI-опросы проводят и другие российские опросные фирмы.

ного) номера телефона, с пользователем которого контакт не состоялся; во втором случае — ничего, кроме адреса домохозяйства, где дверь не открыли.

Обе описанные модели построены на таких процедурах случайного отбора, которые не требуют никакой предварительной информации о респондентах, что позволяет обходиться без персональных данных. В то же время для проектирования и реализации выборки для полноценного бимодального CATI — F2F опроса требуется полноценная основа выборки: список единиц, содержащий как минимум номер телефона того, кто живет за закрытой дверью (чтобы перейти из F2F в CATI), адрес места жительства того, кто не берет трубку телефона (чтобы перейти к F2F из CATI), и имя — для идентификации заочно отобранного в выборку респондента при бимодальных контактах. По существу, речь идет о возможности реализовать именные выборки, сравнительная эффективность которых в российских условиях была установлена для F2F модуля [Звоновский, 2007].

Эти модели отличаются организационная простота и невысокая стоимость, однако из-за недоступности информационной базы реализуемые выборки имеют ограничения по глубине стратификации: в CATI максимальная глубина стратификации — федеральный округ, в F2F стратификация достигает типа населенного пункта. Однако в разрезе базовых для репрезентативности признаков пола и возраста в обеих моделях доступным оказывается только простой случайный отбор, существенный недостаток которого заключается в том, что представительство разных групп обследуемой популяции подвержено существенным случайным колебаниям [Чуриков, 2020: 47, 52]. Из-за этих колебаний малочисленные половозрастные страты, в частности молодежные когорты сельских и малых городских населенных пунктов, при простом случайном отборе могут иметь недостаточное и даже нулевое представительство (а нулевое представительство не может быть скорректировано даже последующим расчетом весовых коэффициентов)⁷. Недостатки реализации простой (нестратифицированной) случайной выборки в обоих модулях могли бы преодолеваться доступом к информационной базе, которая позволяла бы осуществлять случайный отбор внутри многомерных страт, построенных по полу, возрасту и типу поселения. Кроме того, адекватная информационная база могла бы хотя бы отчасти нивелировать влияние несоблюдения технологической дисциплины в практикуемой модели квартирного опроса. Еще в 2012 г. В. Б. Звоновский писал о «невозможности мобилизации региональных полевых агентств, способных быстро и качественно провести опрос в сколько-нибудь значимом числе регионов» [Звоновский, 2012: 110]⁸.

⁷ «Простая случайная выборка редко используется на практике, исключая ограниченные или искусственные ситуации. При ее применении итоговая выборка может оказаться смещенной и требовать взвешивания для устранения очевидных диспропорций. В результате простые привычные формулы для вычисления стандартных отклонений и доверительных интервалов в большинстве исследований перестают работать и могут приводить к ошибочным выводам» [Dorofeev, Grant, 2006: 79].

⁸ Институциональные возможности качественно реализовывать F2F ярко проиллюстрированы историей середины 2010-х годов. Аудиторы квартирных опросов, повторно прошедшие по адресам, в аннотации подготовленной брошюры писали: «Фабрикация и фальсификация, допускаемые в опросах, отражают особую профессиональную культуру, сложившуюся в России за последние 20 лет» [Рогозин, Ипатова, 2015: 2]. Рецензент брошюры выявил в описании проведенного аудита множество указаний на существенные нарушения в технологии [Оберемко, 2015]. Эта история не столько характеризует специфику профессиональной культуры, интенции и квалификацию участников, сколько выявляет действительные трудности для рутинной реализации модели квартирного опроса.

Судя по профессиональным дискуссиям на профильных конференциях, в настоящее время (за редкими исключениями) риск превращения строго регламентированного поквартирного опроса в слабо регламентированный уличный, похоже, обретает статус факта.

Каждый модус как способ контакта с респондентом при реализации спроектированной выборки демонстрирует свои слепые и привилегированные зоны достижимости. Скажем, по месту жительства в будний (а фактически не только в будний) день экономически активные и социально подвижные респонденты менее достижимы, а по телефону (при наличии устойчивой связи и в отсутствие блокировок) менее достижимы респонденты, опасющиеся звонков с чужих номеров и не ожидающие от новых контактов ничего хорошего (см. также [Звоновский, 2007: 30]). У этих поведенческих особенностей есть свои половозрастные (и не только) измерения, порождающие избытки и дефициты репрезентации, которые могут приводить к существенным смещениям выборочных оценок. Рост подозрений, что какой-то один модус (или даже все из них) порождает существенные смещения выборочных оценок, делает мультимодальный дизайн соблазнительным.

В ситуации, когда, с одной стороны, для повышения достижимости в CATI испробованы все рекомендуемые приемы адаптивного дизайна [Brick, Tourangeau, 2017; Звоновский, Ходыкин, Раскевич, 2025: 45—55] — повторные звонки, оптимизация интервалов местного времени для проведения опроса, оптимизация длительности интервью и др., — а с другой стороны, из-за недоступности полноценной основы выборки невозможно *комбинировать* модусы⁹, остается только *смешивать* доступные случайные разномодальные выборки и фиксировать межмодальную специфику достижимости. Последнему посвящена основная часть настоящей статьи.

Предмет и характер анализа

Далее представлены сходства и различия в ответах респондентов на одни и те же вопросы (с учетом модальной специфики предъявления вопросов и фиксации ответов) формализованного интервью в модусах CATI и F2F. Для анализа привлекались только матрицы данных, поскольку мы фокусировались на модальной специфике репрезентативности. То есть, не отвергая возможных влияний на данные со стороны модальной специфики измерения, мы сконцентрировали внимание на поиске особенностей репрезентативности, полагая, что табличные данные без аудиозаписей и иных данных сами по себе мало скажут о специфике измерения.

Для оценки специфики репрезентативности мы, во-первых, фиксируем, в каком модусе собранные данные в случайно достигаемых параметрах больше соответствовали эталонным для проектирования выборки распределениям Росстата (несмотря на модный среди специалистов скепсис, другими эталонами мы не располагаем). Во-вторых, по показателям, данных по которым в доступе нет, сравнение проводилось без эталона, поскольку, с нашей точки зрения, даже безэталонное сравнение результатов измерений (предположительно) од-

⁹ Как это со вкусом сделано, например, в: [Cernat, Couper, Ofstedal, 2016].

них и тех же показателей в разных модусах позволяет уточнить представление о модальной специфике. Таким образом, приведенный ниже анализ посвящен не тому, как правильно планировать сбор данных ради исследования заранее определенного предмета, а тому, какую информацию о разных модусах проведения опросов мы можем извлечь из уже собранных данных, чтобы подсветить доселе темный предмет.

Эмпирическая база

Эмпирической базой статьи послужили ответы респондентов на идентичные вопросы, собранные в ходе национальных формализованных опросов ВЦИОМ, проведенных в апреле — июне 2026 г. в модусах опосредованного компьютером телефонного интервью (CATI) и личного интервью (F2F) по месту жительства. Материал для сравнений взят из первых восьми волн опроса «Бином»¹⁰ со смешанными выборками F2F и CATI, сформированными в пропорции один к одному (по 800 респондентов в каждом модусе).

Для F2F проектировалась многоступенчатая подвыборка: на первой ступени внутри федеральных округов случайно отбирались по одному или два крупных и средних городских поселения с численностью населения от 100 тыс. чел. на каждую страту (количество определялось в зависимости от наполненности страт), а в страте случайно отбираемых малых городов определялись центры кластеров (компактных территорий), куда для упрощения логистики включались доступные с транспортной точки зрения города с численностью населения до 100 тыс. чел., ПГТ и сельские населенные пункты. В комплект инструментария включалась таблица с обозначением населенных пунктов проведения опроса, конкретные участки проведения опроса (названия улиц и номера домов) и квотное задание по полу и возрасту для отбора респондента внутри домохозяйства¹¹. Инструкция интервьюера требовала указывать адрес, по которому проводилось каждое интервью, со следующими реквизитами: название улицы, номер дома, корпус, строение и номер квартиры. Интервью проводились со вторника по воскресенье с 10 до 20 часов местного времени.

Подвыборка CATI извлекалась простым случайным отбором из волны ежедневного «Спутника»¹², в которой за неделю проведения F2F были полностью представлены ключевые индикаторы для межмодусных сравнений. Отдавая предпочтение простому случайному отбору, мы тем самым сознательно пренебрегли возможностью целенаправленно отбирать для смешивания максимально специфических для каждого модуса респондентов. Впрочем, в отсутствие адекватной для комбинирования информационной базы оба возможных выбора не беспорны.

¹⁰ Вопросы о комбинированном методе исследования «Бином ВЦИОМ» // ВЦИОМ. URL: <https://wciom.ru/o-kompanii/faq-proekt-binom-wciom> (дата обращения: 11.07.2026).

¹¹ Введение квотного отбора на последнем шаге внутри домохозяйства продиктовано прежде всего организационными соображениями: отказ от квот привел бы к нарушению условий контракта, в рамках которого собирались данные.

¹² Методология «ВЦИОМ—Спутник» // ВЦИОМ. URL: <https://ok.wciom.ru/research/wciom-sputnik> (дата обращения: 10.08.2026).

Смешанные выборки «Бинома» составлялись из полной выборки F2F (800 чел.) и половины CATI.

В таблицах 1—16 данные представлены столбцами F2F и CATI под шапкой «Бином 1», «Бином 2» и т. п. для разных волн смешанного опроса. Некоторые вопросы, задававшиеся в подвыборке F2F, не помещались в волну «Спутника», которая подмешивалась в Бином к F2F. В этих случаях данные подвыборки F2F сравниваются с данными полных волн «Спутника» с указанием даты проведения.

Таким образом, списки вопросов F2F и CATI не были идентичными, но при этом осуществлялся тщательный предполевой контроль инструментария на предмет избегания возможных влияний композиции вопросников (разумеется, никакой тщательный априорный контроль полных гарантий отсутствия влияний дать не может).

Кого «ловят в сети» опросные модусы CATI и F2F: одну Россию или две?

В представленных данных подсвечиваются прежде всего модальные особенности достижимости, которые напрямую относятся к свойствам охвата и только опосредованно — к свойствам измерения. Отвечая на вопрос «Кого ловят в сети сравниваемые опросные модусы?», мы приводим данные как есть, без весов; так видна «работа» модусов в чистом виде (см. также [Звоновский, Ходыкин, Расквич, 2025: 32—45]).

Социально-демографические показатели

1) Федеральный округ и тип населенного пункта.

В обоих модусах федеральный округ — это стратификационная переменная первой ступени: объем страт определен заранее в соответствии с распределением населения по федеральным округам, поэтому естественно, что по этой переменной данные обоих модусов устойчиво согласуются с данными Росстата, так что нет нужды приводить таблицу.

Статистически значимые различия в данных начинаются с переменной «тип населенного пункта» из-за разницы в процедурах отбора (см. табл. 1). В F2F это стратификационная переменная второй ступени, что не может не обеспечивать близость к данным Росстата. Однако это ожидание регулярно нарушается для городов с численностью населения от 50 до 500 тыс. чел., где меры центральной тенденции и разброса против ожиданий показывают большую близость к данным Росстата CATI, чем F2F. Нестандартная мера разброса (не от средних по подвыборкам, а от данных Росстата, принимаемых за эталонные значения в генеральной совокупности) приведена, чтобы продемонстрировать очевидное для опытных практиков: соблюдение спроектированных на основе данных Росстата свойств выборки при проведении опросов в модусе F2F сопряжено с труднопреодолимыми организационными ограничениями; так можно понять тот факт, что после исключения выбросов CATI для городов-миллионников и сёл расчет суммы стандартных отклонений в F2F дает результат не ниже, а даже выше, чем в CATI. И это происходит несмотря на то, что в F2F пропорции типов населенных пунктов задаются и строго контролируются, а в CATI складываются бесконтрольно.

Таблица 1. *Представленность типов населенных пунктов в модусах CATI и F2F, %*

Населенный пункт	Средние по 8 волнам «Бинома»		Данные Росстата*	Стандарт. откл. от Росстата	
	CATI	F2F		CATI	F2F
Города с численностью населения:					
1 млн чел. и более	32,0	23,6	22,2	10,7	2,1
500—950 тыс. чел.	12,6	6,7	9,1	3,8	2,5
100—500 тыс. чел.	21,9	18,8	20,9	1,9	3,0
50—100 тыс. чел.	6,5	5,8	7,1	1,0	2,6
до 50 тыс. чел.	9,1	15,6	10,8	2,0	5,4
ПГТ	2,8	3,9	4,9	2,3	1,6
Село	15,1	25,7	25,0	10,7	1,5
Всего	100,0	100,0	100,0	32,4	18,7

* Росстат. Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2024 года. Таблицы 16, 18, 20. Группировка численности населения, проживающего в сельских поселениях, городах, поселках городского типа, на 1 января 2024 г. URL: <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282> (дата обращения: 05.06.2026).

Очевидно, что простой случайный отбор (в отличие от стратифицированного) с соблюдением пропорций справляется хуже, что продемонстрировали модальные распределения по типам населенных пунктов. Отклонения от целевых параметров F2F оказываются беспорядочными, однако само распределение ближе, чем RDD-выборки, официальным пропорциям популяции, потому что переменная используется для стратификации на второй ступени. Тогда как информационная база RDD не позволяет стратифицировать выборки глубже, чем федеральные округа, что приводит к систематическому смещению: жителей крупных городов в RDD-выборках систематически больше, чем нужно согласно Росстату, а жителей малых населенных пунктов — систематически меньше. Однако за повышение формальной точности приходится расплачиваться невозможностью рассчитывать доверительный интервал, то есть жертвовать статистически обоснованной точностью.

Конечно, возможна гипотеза, что случайный отбор RDD даже с указанными выше недостатками обгоняет официальные данные по точности — что часть населения из малых населенных пунктов фактически переселилась в населенные пункты покрупнее, однако этой гипотезой полстеры руководствоваться в своей практике не могут, а для ее проверки и уточнения данных полстеры не располагают той же самой информационной базой, которая необходима для полноценного комбинирования модусов сбора данных.

2) Пол и возраст.

Квотные задания по половозрастным когортам в F2F удается успешно соблюдать; об этом говорят меньшие по сравнению с CATI стандартные отклонения F2F (см. табл. 2).

В данных CATI мужчины устойчиво преобладают над женщинами вопреки статистике Росстата. Здесь мы снова сталкиваемся со слабой стороной простого слу-

чайного отбора: без предварительной стратификации отбираются прежде всего наиболее доступные страты. Глядя на это, мы делаем вывод: в текущих условиях общение по телефону мужчинам видится либо менее рискованным, либо более привлекательным, чем женщинам.

Таблица 2. Представленность пола и возраста в модусах CATI и F2F, %

Демографические характеристики	Средние по 8 волнам		Данные Росстата*	Стандарт. откл. от Росстата	
	CATI	F2F		CATI	F2F
Пол					
Мужчины	59,6	45,9	46,5	14,1	1,1
Женщины	40,5	54,1	53,5	14,1	1,1
Всего	100,0	100,0	100,0		
Возраст					
18—24 года	7,9	9,6	9,0	1,3	1,0
25—34 года	13,7	15,2	15,1	1,9	0,6
35—44 года	26,7	20,8	21,1	6,3	1,1
45—59 лет	27,9	25,5	24,6	3,8	1,7
60+	23,8	29,1	30,2	6,9	1,4
Всего	100,0	100,0	100,0	20,2	5,8

* Росстат. Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2024 г. Таблица 1.1.1. Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2024 г. URL: <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13284> (дата обращения: 05.06.2026).

В возрастном разрезе простой случайный отбор в CATI систематически нарушает пропорции только в двух когортах. Однако многомерная картина менее радужна: по объединению «федеральные округа + типы населенных пунктов» простой случайный отбор без стратификации дает крайне неравномерное распределение возрастов. В частности, молодежные пропорции выдерживаются в общей выборке большей частью за счет мегаполисов, крупнейших и крупных городов.

Квотирование отлично справляется с репрезентацией половозрастной структуры популяции, однако само квотирование, пусть только и на последней ступени отбора, по большому счету делает отбор, мягко говоря, условно случайным. Получая формальную репрезентацию половозрастной структуры квотированием, мы теряем возможность рассчитать надежность и точность сделанных оценок.

Неконтролируемые выборочные параметры социально-демографического профиля

Под контролем выборочных параметров мы понимаем, во-первых, квотирование в F2F, а во-вторых, использование переменных для стратификации. При рассмотрении модальной специфики достижимости особый интерес представляют те социально-демографические показатели, пропорции которых, с одной стороны, специально не контролируются (ни квотированием, ни стратификацией),

а с другой — доступны в данных Росстата. Такие показатели условно можно разделять функцией независимых эталонов для контроля качества реализованных выборок; именно условно, поскольку квотирование (в отличие от стратификации), как и всякое нарушение случайности отбора, даже по какому-то одному признаку вносит детерминацию в распределение остальных признаков.

1. Образование

F2F непроизвольно, случайно дает образовательную структуру, более близкую к эталону, чем CATI (см. табл. 3). В F2F намечены слабые тенденции к недобору по основному общему образованию (не получили аттестат) и перебору респондентов с научными степенями, но эти диспропорции несопоставимо малы по сравнению с диспропорциями CATI.

Таблица 3. Представленность уровней образования в модусах CATI и F2F, %

Уровень образования	Средние по 8 волнам		Данные Росстата*	Стандарт. откл. от Росстата	
	CATI	F2F		CATI	F2F
Неполное и полное среднее	11,2	21,5	28,8	18,9	8,3
Среднее профессиональное	31,8	43,7	41,1	10,1	4,0
Незаконченное высшее, высшее	57,1	34,8	30,2	28,8	7,0
Всего	100,1	100,0	100,1	57,7	19,3

* Рассчитано по: Росстат. Численность населения Итоги ВПН-2020. Т. 3. Образование. Таблица 1. Население по возрасту, полу и уровню образования по субъектам Российской Федерации. URL: https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom3_Obrazovanie (дата обращения: 05.06.2026).

Если же из данных CATI выводить образовательную структуру населения РФ, можно подумать, что больше половины россиян имеют как минимум незаконченное высшее образование, что никогда не находило подтверждения в данных статистики.

Показатель образования относится к ареалу культурного капитала; со времен истории с «Литерари дайджест» общеизвестно, что рост культурного капитала положительно связан с участием в опросах [Батыгин, 1995: 161]. CATI явно служит фильтром для избыточной достижимости россиян с высшим образованием, и возможные объяснения состоят в том, что у образованных респондентов выше:

- *коммуникативная достижимость* — они чаще, чем менее образованные, подходят к телефону и соглашаются на участие в опросах, реже прерывают звонок после первых слов оператора, смысл которых сходу может не всегда улавливаться;
- *техническая достижимость*: лучше качество соединения (за счет лучшего места жительства, лучших по качеству телефонов и их настроек).

Другое — возможно, более спорное — объяснение, состоит в том, что в телефонных опросах информацию об уровне образования искажают (завышая его уровень), а при личном контакте стесняются и отвечают более корректно.

2. Статус занятости

По статусу занятости в силу большого количества дробных категорий межмодальные различия внутри каждой волны и между модусами в целом либо стати-

стически незначимы, либо близки к незначимым и при этом неизменно устойчивы. Поэтому подробную таблицу мы не приводим.

Однако укрупнение категорий до двух, с разделением на занятых и незанятых, обнаруживает устойчивое преобладание в CATI занятых (см. табл. 4). Тем самым подтверждается ожидание: заставить дома занятых в рабочее время будних дней труднее, чем незанятых, то есть CATI как модус чаще отсеивает незанятых.

Таблица 4. Соотношение незанятых и занятых в модусах CATI и F2F, %

Статус занятости	Средние по 8 волнам Бинома		Данные Росстата*	Стандарт. откл. от Росстата	
	CATI	F2F		CATI	F2F
Незанятые	31,9	42,0	39,2	8,0	3,8
Занятые	68,1	58,0	60,8	8,0	3,8
Всего	100,0	100,0	100,0		

* Рассчитано по: Росстат. Труд и занятость в России 2023: статистический сборник. Таблица 1.1. Основные показатели рынка труда. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13210> (дата обращения: 05.06.2026).

Одновременно мы делаем вывод, что F2F случайно дает укрупненную структуру занятости, более близкую к эталону, чем CATI. К сожалению, чтобы оценить близость F2F к эталону и в дробной структуре, необходимо сначала привести анкету опроса в более близкое соответствие с формулировками Росстата.

Обобщая описанные различия, можно сказать следующее: похоже, в массивах CATI имеются устойчивые смещения к привилегированным категориям россиян, поскольку в них больше представлены занятые мужчины с высшим образованием наиболее экономически активных возрастных когорт, живущие в крупных городах. Проверить эту догадку позволит анализ показателей, непосредственно характеризующих экономическое благополучие.

Показатели экономического благополучия

Здесь и далее анализ основан на показателях, которые в F2F-подвыборках «Бинома» задавались эпизодически, а в подвыборке CATI не задавались вовсе, поэтому сравнение оказывается возможным только с отдельными волнами «Спутника», собранными в близкие с волнами «Бинома» даты.

1. Душевой семейный месячный доход

Для межмодального сравнения по показателю душевого дохода выбрано медианное значение — как наиболее устойчивая мера центральной тенденции к влиянию выбросов и пропущенных значений (см. табл. 5).

В F2F медианой служит доход с верхней границей в 60 тыс. руб., в CATI — более 70 тыс. руб. Следовательно, семьи респондентов CATI располагают более высокими денежными доходами, что подтверждает гипотезу о более высокой ресурсной обеспеченности респондентов CATI.

Разбиение данных на 20-процентные (квинтильные) группы демонстрирует рост неравенства в доходах начиная со второго квинтиля (см. табл. 6). Кроме того, обнаруживается устойчивость межквинтильных границ в двух волнах «Бинома».

Таблица 5. Семейный месячный доход в модусах CATI и F2F, % от ответивших

Учитывая все источники денежных доходов, подсчитайте, пожалуйста, каким был общий доход за прошлый месяц, полученный Вами и всеми членами Вашей семьи, проживающими вместе с Вами, за вычетом налогов*	Бином 3 18—24.05.26	Бином 4 25—31.05.26	Спутник 25.05.26
	F2F	F2F	CATI
До 60 000 руб.	50,5		41,6
От 60 001 руб.	49,5		58,4
Всего	100,0 % = 606	100,0 % = 673	100,0 % = 1416

* Варианты ответа: (1) менее 10 000 руб., (2—5) от 10 001 до 30 000 руб. с шагом в 5 000 руб., (6—12) от 30 001 до 100 000 руб. с шагом в 10 000 руб., (13) от 100 001 до 120 000 руб., (14) от 120 001 до 150 000 руб., (15) от 151 001 до 200 000 руб., (16) свыше 200 000 руб., (99) затрудняюсь ответить, (999) предпочитаю не отвечать.

Таблица 6. Размер среднего душевого семейного месячного дохода в квинтильных группах и по выборке в целом в модусах CATI и F2F, руб.

Верхние границы квинтилей	Бином 3 18—24.05.2026	Бином 4 25—31.05.2026	Спутник 25.05.2026
	F2F	F2F	CATI
1-й квинтиль (0—20 %)	17000	15000	16250
2-й квинтиль (21—40 %)	22500	22000	25000
3-й квинтиль (41—60 %)	31700	31600	36800
4-й квинтиль (61—80 %)	45000	45000	58400
Средний душевой доход, руб.	34095	32940	43480
Всего	100,0 (N = 791)	100,0 (N = 800)	100,0 (N = 1600)

Как и в истории с «Литерари Дайджест», модус телефонного опроса «отбирает» респондентов с большими доходами.

2. Оценка материального положения семьи

Более высокий уровень доходов у респондентов CATI контринтуитивно сочетается с более низкими оценками материального положения семьи по шкале «хорошо — плохо» (см. табл. 7).

Таблица 7. Оценка материального положения семьи в модусах CATI и F2F, %

Как бы Вы оценили в настоящее время материальное положение Вашей семьи — Вас и Ваших родственников, постоянно проживающих вместе с Вами?	Бином 1 02—10. 05.2026		Бином 2 11—16. 05.2026		Спутник 19. 05.2026	Спутник 26. 05.2026	Средние	
	CATI	F2F	CATI	F2F	CATI	F2F	CATI	F2F
Очень хорошее, хорошее	18,2	27,0	16,3	31,3	19,7	16,5	17,7	29,2
Среднее	57,9	61,9	59,8	57,6	58,5	64,3	60,1	59,8
Плохое, очень плохое	22,9	10,4	21,3	10,2	20,7	18,3	21,3	10,3
Затрудняюсь ответить	1,0	0,8	0,8	0,9	1,1	0,9	1,0	0,9
Всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

В то же время по самооценке потребительских возможностей (то есть в отношении ответов на вопрос о том, на что семье респондента хватает денег) значимых различий не наблюдается даже при укрупнении категорий. Остается предположить, что разница в субъективных самооценках материального положения семьи продиктована разными уровнями притязаний, когда при формальном равенстве потребительских возможностей наблюдаются разные уровни удовлетворенности или неудовлетворенности наличным материальным статусом.

Отсюда может следовать, что модусы CATI и F2F охватывают не только неидентичные по социально-демографическим характеристикам совокупности, но и то, что опрошенные в разных модусах респонденты сходных социально-экономических статусов¹³ неодинаково оценивают свои статусы.

3. Жилищные условия и планы по их улучшению

Как и в случае с подушевыми доходами, респонденты CATI показывают более высокую обеспеченность квадратными метрами жилья на члена семьи (см. табл. 8).

Таблица 8. *Распределение размеров жилой площади в расчете на одного члена семьи по 20-процентным (квинтильным) группам в модусах CATI и F2F, кв. м*

Верхние границы квинтилей, руб.	Бином 3 18—24.05.2026	Спутник 25.05.2026
	F2F	CATI
1-й квинтиль (0—20 %)	14	15
2-й квинтиль (21—40 %)	18	20
3-й квинтиль (41—60 %)	25	28
4-й квинтиль (61—80 %)	35	40
Среднее значение, кв. м.	25,64	29,29
Всего	100,0 (N = 791)	100,0 (N = 1600)

При лучшей обеспеченности жилплощадью респонденты CATI наравне с респондентами F2F показывают потребность (и ее отсутствие) в улучшении жилищных условий (см. табл. 9).

Таблица 9. *Потребность в улучшении жилищных условий в модусах CATI и F2F, %*

Потребность в улучшении жилищных условий	Бином 3 18—24.05.2026	Спутник 25.05.2026
	F2F	CATI
Есть потребность	38,6	42,0
Жилищные условия устраивают	58,2	56,9
Затрудняюсь ответить	3,3	1,1
Всего	100,0	100,0

При равных потребностях в улучшении жилищных условий респонденты F2F, имеющие более скромные доходы, чаще респондентов CATI указывали, что плани-

¹³ По крайней мере, в измерениях использованного инструментария.

руют улучшения в среднесрочной перспективе (через два года или позже), и реже респондентов CATI не планировали улучшений (см. табл. 10).

Таблица 10. Планы улучшить жилищные условия в модусах CATI и F2F, %

Вы планируете или не планируете улучшить жилищные условия Вашей семьи?	Бином 3 18—24.05.2026	Спутник 25.05.2026
	F2F	CATI
Да, планируем в ближайший год	12,7	8,1
Да, планируем в ближайшие два, три, четыре года	24,5	18,2
Да, планируем, но не ранее, чем через пять лет или еще позже	20,2	11,7
Не планируем, хотя есть необходимость, но возможности пока не позволяют	34,7	59,2
Затрудняюсь ответить / отказ от ответа	7,9	2,7
Всего	100,0	100,0

Иными словами, респонденты F2F с более скромными семейными доходами статистически значимо чаще обозначали готовность включиться в дорогостоящее предприятие по улучшению жилищных условий. Среди возможных объяснений — повышенный оптимизм респондентов F2F, который может сообщаться:

— их социальной природой — модус F2F отбирает оптимистичных людей независимо от социально-экономического статуса;

— коммуникативной ситуацией прямого общения с интервьюером в модусе поквартирного опроса, в которой респондент может находить выражение оптимизма желательным.

4. Субъективное благополучие

Респонденты F2F оптимистичнее респондентов CATI по показателям субъективного благополучия (см. табл. 11). В четырех первых волнах «Бинома» респонденты F2F устойчиво демонстрировали большую удовлетворенность жизнью в целом, чем респонденты CATI.

Таблица 11. Удовлетворенность жизнью в целом в модусах CATI и F2F, %

Скажите, Вы удовлетворены или не удовлетворены тем, как складывается Ваша жизнь в целом?	Средняя Биномов 1—4 02—31.05.2026	Спутник 25.05.2026	Средняя Биномов 5—11 02.06—19.07.2026	Спутник 16.07.2026
	F2F	CATI	F2F	CATI
Скорее удовлетворен	80,6	62,9	78,1	57,9
Скорее не удовлетворен	15,4	32,8	17,9	38,1
Затрудняюсь ответить	4,1	4,3	4,0	4,0
Всего	100,0	100,0	100,0	100,0

Сходная картина складывается и по двум другим показателям субъективного благополучия (см. табл. 12).

Таблица 12. **Субъективное ощущение счастья и ожидание от жизни через год после проведения опроса в модусах CATI и F2F, %**

	Спутник 29.04.2026	Бином 1 02—10.05.2026	Бином 2 11—16.05.2026	Спутник 27.05.2026
	CATI	F2F	F2F	CATI
Если говорить в целом, Вы счастливы или нет?				
Определенно и скорее да	73,7	86,8	87,1	75,9
Определенно и скорее нет	22,7	10,3	9,7	20,8
Затрудняюсь ответить	3,7	3,0	3,3	3,4
Как Вы считаете, через год Вы (Ваша семья) будете жить лучше, хуже или так же, как сейчас?				
Будет лучше	19,2	27,6	27,8	19,2
Будет так же, как сейчас	33,4	39,3	39,5	36,0
Будет хуже	34,4	13,4	13,3	32,2
Затрудняюсь ответить	13,0	19,8	19,5	12,6
<i>Всего</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

Во всех приведенных данных (а другими сравнительными данными по субъективному благополучию мы не располагаем) наблюдаются устойчивое внутримодальное сходство и межмодальные различия CATI и F2F. Между замерами CATI прошел месяц, между замерами F2F — примерно неделя, и в обоих случаях размах внутримодальных отклонений ничтожен. Такие вопросы будто сами просятся в поставщики коэффициентов межмодальной эквивалентности.

Здесь мы видим возможными две интерпретации. Если считать вопросы о субъективном благополучии в ситуации прямого общения с интервьюером чувствительными (более чувствительными, чем в опосредованном общении по телефону), тогда есть основание подозревать, что в модусе F2F к оптимизму респондентов подталкивает влияние интервьюера: очное присутствие собеседника провоцирует респондентов смещать свой ответ в сторону воображаемой социальной нормы. Если так, то напрашивается вывод: быть счастливым — это норма в современном российском обществе (респондентов F2F), и присутствие интервьюера подвигает респондента давать нормативный ответ. Но если влияние интервьюера в CATI меньше, тогда истинный уровень субъективного благополучия лучше отражает именно CATI, а F2F точнее отражает нормативные реакции.

Интерпретация будет иной, если вопросы о субъективном благополучии мы не будем считать чувствительными в ситуации личного общения. Тем самым мы поставим под сомнение коммуникативную неэквивалентность вопросов в разных модусах и согласимся, что респонденты F2F, менее обеспеченные материально и с точки зрения человеческого капитала, счастливы чаще, чем респонденты CATI. Этот тезис, в свою очередь, наводит на мысль: более высокий человеческий капитал порождает у респондентов CATI несбыточные завышенные ожидания (статусное рассогласование), которые и делают их менее или реже счастливыми. Тогда как более скромные характеристики респондентов F2F завышенных ожиданий не порождают, что способствует более частому ощущению счастья.

Политэкономические оценки

С оценками субъективного благополучия перекликаются оценки политической ситуации: по сравнению с респондентами F2F восприятие политической обстановки в стране у респондентов CATI устойчиво смещается к негативному полюсу (см. табл. 13).

Таблица 13. Оценка политической обстановки в стране в модусах CATI и F2F, %

Как бы Вы оценили политическую обстановку в России?	Спутник 29.04.2026	Бином 1 02—10.05.2026	Бином 2 11—16.05.2026	Спутник 27.05.2026
	CATI	F2F	F2F	CATI
Очень хорошая и Хорошая	21,3	21,7	28,0	22,5
Средняя	40,3	49,4	46,6	38,5
Плохая и Очень плохая	32,2	22,5	20,2	32,1
Затрудняюсь ответить	6,2	6,4	6,1	6,9
Всего	100,0	100,0	100,0	100,0

Сходная ситуация наблюдается с показателями доверия и оценки деятельности политических агентов. Как и в случае с оценками субъективного благополучия, здесь видятся два возможных объяснения: (1) признать повышенную чувствительность политических вопросов в ситуации общения F2F или (2) принять меньшую политическую лояльность респондентов CATI (при этом надо признать и коммуникативную эквивалентность политических вопросов в обоих модусах).

Обратную картину имеем в оценках темпов инфляции (см. табл. 14).

Таблица 14. Оценка темпов инфляции в модусах CATI и F2F, %

Как бы Вы оценили рост цен (инфляцию) в течение последнего месяца-двух?	Спутник 29.04.2026	Бином 1 02—10.05.2026	Спутник 27.05.2026
	CATI	F2F	CATI
Инфляция очень высокая	58,8	64,1	54,8
Инфляция умеренная	28,4	21,8	31,3
Инфляция незначительная	7,5	6,8	9,0
Затрудняюсь ответить	5,4	7,4	4,9
Всего	100,0	100,0	100,0

Можно предположить, что больший пессимизм в оценках экономической ситуации респондентами F2F связан с меньшей материальной обеспеченностью (при этом в обоих модусах выявились группы объемом в 13—15% выборки — тех, кто инфляцию либо едва замечает, либо затрудняется оценить; возможно, именно они составляют основу того более состоятельного слоя, который угадывается в распределениях душевого дохода и обеспеченности жильем).

Потребление медиа

Респонденты CATI чаще воздерживаются от телесмотрения, а по потреблению интернета существенной разницы не демонстрируют (см. табл. 15). Более рельефно различия проявляются в сочетании частоты телесмотрения и потребления

интернета, и именно такой показатель формирует типы (модели) медиапотребления: в CATI существенно меньше всеядных потребителей и больше активных интернет-пользователей, не смотрящих телевизор.

Таблица 15. Потребление медиа в модусах CATI и F2F, %

	Средние по 8 волнам Бинома	
	CATI	F2F
Скажите, пожалуйста, Вы смотрите телевизор или нет? Если смотрите, то как часто?		
Ежедневно	36,1	50,9
Несколько раз в неделю	13,5	13,8
Несколько раз в месяц и реже	12,6	9,0
Не смотрю	37,9	26,4
Скажите, пожалуйста, Вы пользуетесь интернетом? Если да, то как часто?		
Ежедневно	83,5	77,7
Несколько раз в неделю	5,8	5,9
Несколько раз в месяц и реже	1,9	1,8
Не смотрю	8,8	14,6
Модели медиапотребления		
Активные пользователи ТВ и интернета	41,1	50,7
Активные пользователи интернета, но ТВ не смотрят	48,2	32,9
Активные телезрители, но интернетом не пользуются	8,5	14,0
Не пользуются интернетом и ТВ	2,2	2,5

Сходный тренд проявляется в использовании мессенджером Telegram: CATI опрашивает больше пользователей по сравнению с F2F (см. табл. 16).

Таблица 16. Использование мессенджером Telegram в модусах CATI и F2F, % от интернет-пользователей

Скажите, Вы пользуетесь или не пользуетесь мессенджером Telegram, и если пользуетесь, то как часто?	Спутник 30.04.2026	Бином 1 02—10.05.2026		Бином 2 11—16.05.2026		Спутник 25.05.2026
	CATI	CATI	F2F	CATI	F2F	CATI
Ежедневно	39,6	41,4	24,4	33,1	23,9	31,4
Несколько раз в неделю	7,1	9,0	10,2	7,4	8,7	7,1
Несколько раз в месяц	2,5	1,9	2,7	2,6	2,4	2,0
Эпизодически	7,3	6,5	4,9	8,3	3,1	7,2
Не пользуюсь	41,3	38,5	56,0	46,3	60,0	40,6
Не знаю, что такое Telegram	1,0	1,8	0,9	1,2	0,7	1,3
Затрудняюсь ответить	1,4	0,8	0,9	1,1	1,1	1,0
Всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

В целом в реализованных выборках CATI больше пользователей каналов, шире предоставляющих информационный выбор. А за формальной одинаковостью пользования интернетом нужно ожидать качественные различия в паттернах самого пользования между респондентами CATI и F2F.

Есть большой соблазн применительно к CATI связать пессимизм в оценках субъективного благополучия с разнообразием каналов потребляемой информации, а оптимизм F2F — с довольством малым. Однако подобные утверждения нельзя выводить из тематически (дискурсивно) связанных между собой двумерных таблиц. Вопрос в том, есть причинно-следственная связь или ее нет между получением информации через телевидение или интернет, с одной стороны, и оптимизмом и политической лояльностью — с другой. При наличии такой связи необходимо выяснить, какова ее каузальная направленность. Простым анализом в квазиэкспериментальной логике ответить на эти вопросы нельзя, в данном случае нужны настоящие эксперименты с контрольной и экспериментальной группами.

Выводы

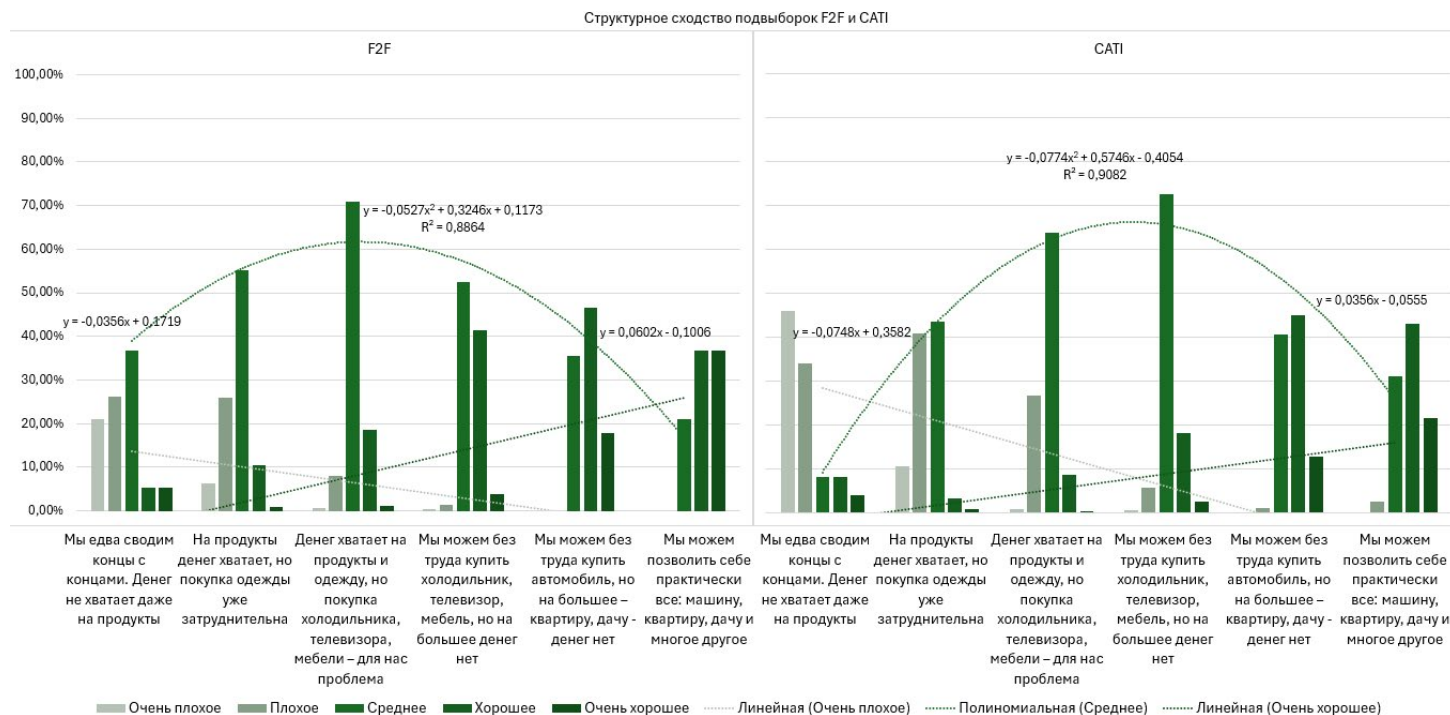
Полагаем, что нам удалось продемонстрировать пользу от смешивания модусов в опросах населения в российских условиях: некоторые дефициты CATI и F2F взаимно погашаются, а выборочные пропорции по полу, возрасту, образованию и типам населенных пунктов сближаются с эталонными пропорциями обследуемой популяции (см. табл. 17).

Таблица 17. *Специфика охвата популяции модусами*

Характеристики респондентов	Преобладание в CATI	Преобладание в F2F
<i>Объективные признаки</i>		
Пол	Мужчины	Женщины
Возраст	Экономически активный	Будут / были экономически активными
Типы населенного пункта	Крупные города	Малые города и села
Образование	С высшим	Без высшего
Статус занятости	Занятые	Незанятые
Доходы	Выше	Ниже
Жилищные условия	Лучше	Хуже
<i>Субъективные оценки</i>		
Оценка материального положения	Ниже	Выше
Оценки субъективного благополучия	Ниже	Выше
Политическая лояльность	Ниже	Выше
Оценка темпов инфляции	Ниже	Выше
<i>Потребление медиа</i>		
Ежедневное телесмотрение	Меньше	Больше
Пользование мессенджером Telegram	Больше	Меньше

Сосредоточение на поиске межмодусных различий в одномерных распределениях неизбежно укрепляет представление о том, что разные модусы репрезентируют разные популяции. Поэтому в анализе одних и тех же данных следует менять оптику. В частности, сравнение двумерных распределений лишает оптику поиска различий безусловной привилегированности (см. рис. 1).

Рис. 1. Двумерные распределения оценок уровня семейных доходов в модусах CATI и F2F, %



Целостный взгляд на двумерные распределения позволяет, не отрицая различия, видеть структурные сходства: в обоих модусах распределения *средних* оценок материального положения семьи близки к нормальному, наклоны низких оценок устремлены слева направо, наклоны высоких оценок — справа налево. Отсутствие среди множества подобных графиков отличающихся структур укрепляет представление о единстве обследованной популяции.

Можно надеяться, что приведенные в статье данные имеют определенную ценность, однако от смешивания разномодальных выборок (в отличие от мультимодальных реализаций единой выборки) едва ли следует ожидать действенного преодоления низкой достижимости дефицитных групп (страт), поскольку эмпирические успехи не дают ответов на ряд досадных вопросов к самому дизайну: какую проектируемую популяцию (проектируемый объект [Батыгин, 1995: 164, 165]) призван репрезентировать результат подобных смещений, в каких пропорциях проводить гибридизацию, как рассчитывать выборочную погрешность и др. Все-таки эмпирически достигаемая близость смешанных выборок эталону не может служить базовым критерием их качества; эталонность выборки оценивается прежде всего по соблюдению в процессе реализации процедурных правил, и только во вторую очередь по результату.

При созревании институциональных условий для комбинирования модусов ради повышения достижимости респондентов из единой выборки встанет вопрос о систематическом накоплении сведений о регулярных смещениях в данных, собранных разными модусами, которые будет необходимо учитывать в итоговых результатах. В представленных здесь результатах мы видим вклад в будущую систематическую работу. В качестве ограничений исследования укажем, что полученные результаты зависимы и от примененных методов формирования сравнимых подвыборок, и от их реализации.

Список литературы (References)

1. Батыгин Г. С. Лекции по методологии социологических исследований. М.: Аспект пресс, 1995.
Batygin G. S. (1995) Lectures on the Methodology of Sociological Research. Moscow: Aspekt Press. (In Russ.)
2. Звоновский В. Б. (2012) Выбор метода исследования и реализация выборки // Социологический журнал. 2012. № 1. С. 107—117.
Zvonovsky V. B. (2012) The Choice of the Research Method and the implementation of Sampling. *Sociological Journal*. 2012. No. 1. P. 107—117. (In Russ.)
3. Звоновский В. Б. Реализация репрезентативной выборки в массовом опросе // Социологический журнал. 2007. № 4. С. 25—46.
Zvonovsky V. B. (2007) Implementation of a Representative Sample in a Mass Survey. *Sociological Journal*. 2007. No. 4. P. 25—46. (In Russ.)
4. Звоновский В. Б., Ходыкин А. В. Проблемы достижимости респондентов в опросах о российско-украинском конфликте // Мониторинг общественного мнен-

- ния: экономические и социальные перемены. 2024. № 4. С. 3—26. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2024.4.2549>.
- Zvonovsky V. B., Khodykin A. V. (2024) Problem of Response Rates in Surveys on the Russian-Ukrainian Conflict. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 3—26. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2024.4.2549>. (In Russ.)
5. Звоновский В. Б., Ходыкин А. В., Раскевич А. В. В свете опросов. Методические проблемы измерения общественного мнения о российско-украинском конфликте. Самара: Полиграфическое объединение «Стандарт», 2025.
Zvonovsky V. B., Khodykin A. V., Raskevich A. V. (2025) In the Light of the Polls. Methodological Problems of Measuring Public Opinion on the Russian-Ukrainian Conflict. Samara: Polygraphic association „Standard“. (In Russ.)
 6. Оберемко О. А. О фальсификации, фабрикации и мистификации в методике: // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2015. № 4. С. 227—236. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2015.4.12>.
Рец. на кн.: Рогозин Д. М., Ипатова А. А. Насколько разумна наша вера в результаты «бумажных» квартирных опросов
Oberemko O. A. (2015) On Falsification, Fabrication and Mystification in Techniques. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 227—236. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2015.4.12>. Book Review: Rogozin D. M., Ipatova A. A. “Naskolko razumna nasha vera v rezultaty «bumazhnykh» kvartirnykh oprosov?” (In Russ.)
 7. Рогозин Д. М., Ипатова А. А. Насколько разумна наша вера в результаты «бумажных» квартирных опросов? М.: Радуга, 2015.
Rogozin D. M., Ipatova A. A. (2015) How Reasonable Is Our Belief in the Results of “Paper” Apartment Surveys? Moscow: Raduga. (In Russ.)
 8. Чуриков А. В. (2020) Основы построения выборки для социологических исследований. М.: Институт фонда «Общественное мнение».
Churikov A. V. (2020) Fundamentals of Sampling for Sociological Research. Moscow: Public Opinion Foundation. (In Russ.)
 9. Bailey M. A. (2023) A New Paradigm for Polling. *HDSR*. Vol. 5. No. 3. <https://doi.org/10.1162/99608f92.9898eede>.
 10. Brick J. M., Tourangeau R. (2017) Responsive Survey Designs for Reducing Non-response Bias. *Journal of Official Statistics*. Vol. 33. No. 3. P. 735—752, <http://dx.doi.org/10.1515/JOS-2017-0034>.
 11. Cernat A., Couper M. P., Ofstedal M. B. (2016) Estimation of Mode Effects in the Health and Retirement Study Using Measurement Models. *Journal of Survey Statistics and Methodology*. Vol. 4. No. 4. P. 501—524. <https://doi.org/10.1093/jssam/smw021>.
 12. Dorofeev S., Grant P. (2006) Non-Simple-Random Samples and Weighted Data. *Statistics for Real-Life Sample Surveys*. Cambridge: Cambridge University Press. P. 79—139. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511543265.004>.

13. Groves R. M., Fowler F. J., Couper M., Lepkowski J. M., Singer E., Tourangeau R. (2009). *Survey Methodology* (2nd ed.). Hoboken, NJ: Wiley and Sons.
14. Groves R., Peytcheva E. 2008. The Impact of Nonresponse Rates on Nonresponse Bias. *Public Opinion Quarterly*. Vol. 72. No. 2. P. 167—189. <https://doi.org/10.1093/poq/nfn011>.
15. Schouten B., van den Brakel J., Buelens B., Giesen D., Luiten A., Meertens V. (2022) *Mixed-Mode Official Surveys: Design and Analysis*. Boca Ranton, FL: CRC Press.
16. Tourangeau R., Brick J. M., Lohr S., Li J. (2017) Adaptive and Responsive Survey Designs: a Review and Assessment. *Journal of the Royal Statistical Society, Series A: Statistics in Society*. Vol. 180. P. 203—223. <http://dx.doi.org/10.1111/rssa.12186>.

DOI: [10.14515/monitoring.2026.4.3479](https://doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3479)**Н. С. Бабич, В. Б. Звоновский, А. В. Чуриков****К ДИСКУССИИ О КОМБИНИРОВАНИИ МЕТОДОВ
В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:
ВОЗМОЖНОСТИ ОПРОСОВ ПО ТЕЛЕФОНУ
И ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА****Правильная ссылка на статью:**

Бабич Н. С., Звоновский В. Б., Чуриков А. В. К дискуссии о комбинировании методов в социологических исследованиях: возможности опросов по телефону и по месту жительства // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2026. № 4. С. 363—372. <https://www.doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3479>.

For citation:

Babich N. S., Zvonovsky V. B., Churikov A. V. (2026) On the Discussion About Combining Methods in Sociological Research: The Possibilities of Telephone and Face-to-Face Surveys. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 4. P. 363–372. <https://www.doi.org/10.14515/monitoring.2026.4.3479>. (In Russ.)

Получено: 27.08.2026. Принято к публикации: 05.09.2026.

К ДИСКУССИИ О КОМБИНИРОВАНИИ МЕТОДОВ В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: ВОЗМОЖНОСТИ ОПРОСОВ ПО ТЕЛЕФОНУ И ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

БАБИЧ Николай Сергеевич — кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, руководитель Центра методологии социологических исследований Института социологии, Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН, Москва, Россия

E-MAIL: sociolog@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0001-8697-3038>

ЗВОНОВСКИЙ Владимир Борисович — доктор социологических наук, доцент, социолог, Фонд социальных исследований, Самара, Россия

E-MAIL: zvb@socio-fond.com

<https://orcid.org/0000-0002-8805-9028>

ЧУРИКОВ Алексей Владимирович — управляющий директор департамента опросов населения, Фонд «Общественное мнение», Москва, Россия

E-MAIL: churikov@fom.ru

ON THE DISCUSSION ABOUT COMBINING METHODS IN SOCIOLOGICAL RESEARCH: THE POSSIBILITIES OF TELEPHONE AND FACE-TO-FACE SURVEYS

Nikolay S. BABICH¹ — Cand. Sci. (Soc.), Senior Researcher, Head of the Center for Methodology of Sociological Research of the Institute of Sociology

E-MAIL: sociolog@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0001-8697-3038>

Vladimir B. ZVONOVSKY² — Dr. Sci. (Soc.), Associate Professor, Sociologist

E-MAIL: zvb@socio-fond.com

<https://orcid.org/0000-0002-8805-9028>

Aleksei V. CHURIKOV³ — Managing Director of the Population Survey Department

E-MAIL: churikov@fom.ru

¹ Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

² Social Research Institute, Samara, Russia

³ Public Opinion Foundation, Moscow, Russia

Аннотация. В статье представлены размышления авторов о возможности и целесообразности использования мультимодальных выборок, сочетающих, в частности, телефонные и личные поквартирные опросы, в выборочных социологических исследованиях. Реагируя на работу О. Оберемко и соавторов «Кто участвует в опросах по телефону и по месту жительства? Сравнительный анализ и возможности применения смешанного опросного модуля», опубликованную в этом же номере, авторы открывают на страницах журнала профессиональную дискуссию на обозначенную тему, формулируют задачи, которые призвано решить ком-

Abstract. The article presents the authors' reflections on the possibility and feasibility of using multimodal samples, combining, in particular, telephone and personal door-to-door surveys, in sociological research. Reacting to the work by Oleg Oberemko and co-authors "Who Participates in Telephone and Residential Face-to-Face Surveys: A Comparative Analysis" published in the same issue, the authors open a professional discussion on the designated topic, outline the tasks that the combination of modes is designed to solve and the main methodological challenges growing out of this design, and also suggest directions for further research.

бинирование модусов, и основные методологические вызовы такого решения, а также предлагают направления для дальнейшего исследовательского поиска.

Ключевые слова: методология социологических обследований, выборочные обследования, опрос населения, комбинированные выборки

Keywords: methodology of sociological surveys, sample surveys, population surveys, combined samples

Николай Сергеевич Бабич

Исследовательские задачи, решаемые комбинированием методов опроса

На первый взгляд польза комбинирования методов в социологическом опросе представляется настолько очевидной, что дискутировать о ней было бы так же странно, как о пользе комплексного лечения болезни или поиска пропавшего человека по разным направлениям. Совершенно ясно, что одновременное использование нескольких путей решения задачи при прочих равных условиях повышает и скорость достижения результата, и его качество. Тем не менее методология опросов в целом тяготеет скорее к «чистоте» метода, использованию одного-единственного формата сбора данных. И дело здесь, как представляется, вовсе не только в очевидных организационных сложностях комбинирования форматов, но и в теоретических пресуппозициях, совокупность которых можно обозначить как «дескриптивизм».

В оптике этих пресуппозиций выборочные опросы нужны для того, чтобы осуществлять мониторинг распределений состояния населения вида «X% имеют свойство А, Y% имеют свойство В», своеобразный перманентный плебисцит по множеству тем. Скольким россиянам понравился «Колобок», какая доля населения страдает от одиночества — общество интересуется множеством серьезных и не очень вопросов о себе, ответы на которые должны быть даны в процентном соотношении. Признание самой возможности таких ответов означает веру (разделяемую не всеми социологами безусловно [Шубрт, 2018], однако, по нашему мнению, вполне здравую) в объективное существование соответствующих распределений и возможность их относительно точной фиксации. И в этой точке дескриптивизм сталкивается с фундаментальной проблемой критерия истинности полученных распределений. Для того чтобы убедиться в том, что наша выборка репрезентативна, мы соблюдаем строгую процедуру, но в конечном счете сравнить результаты опросов нам в большинстве случаев не с чем. Обнаруженная величина, — допустим, 15% страдающих от одиночества, — не может быть проверена непосредственным обращением к объективной социальной реальности. Ее истинность подтверждается только косвенными коррелятами (например, продажами антидепрессантов) или другими опросами. Даже там, где все же есть «внешние» критерии истинности — выборы, перепись, иная государственная статистика, — они фактически оказываются такими же неполными обследованиями состояния общества, как и сами опросы.

Из трудноразрешимой проблемы критерия истинности следует другая, уже прямо связанная с комбинированием методов. Когда мы проводим опрос с использованием двух разных форматов сбора данных, между ними неизбежно будут периодически возникать существенные расхождения. И так как у нас нет надежного критерия истинности, мы никогда не сможем достоверно определить, какая же из двух подвыборок больше отклоняется от генеральной совокупности. Таким образом, комбинируя методы опроса, исследователь фактически провоцирует сомнения в достоверности собственных данных. Вот почему многие стараются этого избегать, и вот почему открытый анализ результатов комбинирования, опубликованный коллегами в настоящем номере журнала, — это акт интеллектуальной смелости.

Что же нам дает этот акт? В рамках дескриптивизма — увы, очень немного. В обсуждаемой статье высказываются небезосновательные надежды на то, что комбинирование форматов сбора данных при накоплении определенной статистики позволит повысить точность выборочных оценок. Допустим, что эти надежды сбудутся и систематическая ошибка выборочных опросов будет снижена, например, на 5 % (то есть довольно существенно). Тогда мы, быть может, обнаружим, что страдающих от одиночества в стране не 15 %, а 20 % (оба числа — условные примеры). Изменит ли это каким-то образом знание общества о самом себе? Едва ли. Те считанные проценты, которые можно выгадать комбинированием методов в повышении точности выборок, весьма редко имеют какое-то значение, как правило — лишь в очень тесной электоральной гонке.

Однако, если мы выходим за рамки дескриптивизма и ставим перед собой более широкий набор исследовательских задач, ситуация значительно улучшается. Если нас интересует не просто процент людей, страдающих от одиночества, а персистентность этой проблемы в обществе, захватывает ли она целые страты или распространяется равномерно, наличие в выборке двух форматов сбора данных сразу дает крайне ценную информацию. Действительно, личное интервью осуществляется в относительно публичных пространствах, куда интервьюер может добраться и где его примут и согласятся поговорить. Телефонный же опрос может проникать гораздо глубже в популяцию одиноких людей, с которыми у интервьюера нет шанса встретиться. Когда мы видим, что в обеих подвыборках уровень одиночества примерно одинаков, это означает, что мы, скорее всего, нащупали величину, фундаментальную для всего общества (даже если она варьирует на 10 % в ту или другую сторону). Если же в телефонном опросе одиночество прорывается в несколько раз чаще — перед нами фундаментальное системное различие. Еще более показательными могут быть сравнения с интернет-опросами, одиночество (и множество других социальных особенностей) участников которых должны еще более отличаться. Наблюдая эти различия, анализируя их как материал для проверки содержательных гипотез, мы получим гораздо больше, чем просто проценты респондентов, отвечающих так или эдак. Поэтому инициативу коллег по «выводу из тени» комбинирования методов для российской социологии стоит признать весьма важным шагом. Но наибольшую ценность может иметь расширение задач такого комбинирования с уровня взаимного уточнения величин до уровня методической триангуляции как стратегии решения проблемы воспроизводимости социологического знания [Михайлов, 2025].

Владимир Борисович Звоновский**Методологические вызовы комбинирования модусов сбора данных**

Прежде чем комбинировать, необходимо разобраться в том, (1) что именно мы комбинируем и (2) с какой целью. Если мы хотим получить оценку работы банковского приложения, мы можем опросить его клиентов по телефону, лично (в офисе банка или по месту жительства) и онлайн — внутри самого приложения. Вероятно, ответы, полученные в этих трех средах, будут различаться, однако именно эти различия и станут значимым фактором, влияющим на оценки. Респонденты, ответившие внутри приложения, дадут более сиюминутную оценку его работе, тогда как опрошенные по телефону, вероятно, будут обобщать свой опыт использования приложения за некоторый период. Мы даже не станем суммировать эти оценки — нам важны именно различия. Это тоже комбинирование, но, очевидно, преследующее иную цель.

Иное дело, если мы стремимся получить выборку, репрезентирующую определенную часть населения — города, региона или страны. В этом случае целью будет объединение подвыборок, собранных различными методами, и формирование единой выборки, представляющей генеральную совокупность. Различным ее частям можно придать разные веса, однако именно единый массив данных отражает свойства генеральной совокупности.

Для достижения такой цели необходимо предполагать, что все части общей выборки также репрезентативны, а для этого, в свою очередь, необходимо, чтобы они были вероятностными. Поскольку вероятностными, хотя бы теоретически, можно считать только телефонные опросы и опросы по месту жительства (онлайн-выборку также можно сделать репрезентативной, но для этого сначала потребуется прибегнуть к телефонному опросу или опросу по месту жительства), комбинировать допустимо именно эти два способа сбора данных.

Рассмотрим, какие требования необходимо выполнить, чтобы телефонный опрос и опрос по месту жительства были вероятностными.

С телефонным опросом дело обстоит проще. Существует общедоступный реестр диапазонов телефонных номеров, действующий в РФ, который можно использовать для генерации стартовой выборки номеров в ходе опроса. Предположим, что для опроса 1000 человек потребуется 1 млн номеров. Однако, формируя такой запас, следует учитывать, что число номеров, приходящихся на душу населения, существенно различается по регионам. Если на одного москвича приходится около десяти номеров, распределенных в его регионе, то в Крыму этот показатель составляет лишь пять. Кроме того, межоператорские соединения обладают различной пропускной способностью. Это означает, что если соединение между оператором «большой тройки» или «большой четверки»¹ и оператором в Чечне или Дагестане устанавливается реже, чем при звонках в Пермь или Пензу, то при одинаковой скорости набора номеров в опросном колл-центре респонденты в Крыму, Пензе или Перми будут набираться быстрее, чем в Москве, Чечне или Дагестане. Иначе говоря, при формально вероятностном наборе номеров выборка оказывается смещенной, и для поддержания ее вероятностного характе-

¹ Крупнейших операторов России: МТС, Мегафон, Билайн и Т2.

ра требуются специальные процедуры. Разумеется, существуют и другие источники смещения выборки телефонного опроса, однако мы ограничимся простой демонстрацией того, что поддержание вероятностного характера выборки требует постоянных усилий и что в реальности исследователь не всегда имеет дело с репрезентативной выборкой.

С опросом по месту жительства дело обстоит значительно сложнее. Во-первых, реестр мест жительства в России долгое время отсутствовал. После того как Центральная избирательная комиссия создала реестр адресов, по которым зарегистрирован хотя бы один избиратель, мы получили более или менее полный список адресов. Однако это не решает нашу, исследовательскую задачу: нам важно не где респондент зарегистрирован, а где он фактически проживает. Предположим, эта задача решена. Дальнейшее также непросто. Очевидно, что разные группы населения с разной вероятностью можно застать дома в пригодном для интервью состоянии (человек может приходить домой только для того, чтобы спать). Поэтому проводятся повторные визиты, и если организовать их в населенном пункте, где проживает интервьюер, несложно, то в удаленных и малонаселенных селах и городах это представляет собой существенную логистическую и финансовую проблему. В итоге сбор сравнимых по качеству телефонных и личных интервью по месту жительства разительно различается как по времени, так и по стоимости.

Предположим, что мы решили и эти проблемы. Обратимся теперь к вопросу о том, как именно комбинировать. Решение «смешаем телефонную выборку и выборку опроса по месту жительства» на одной и той же генеральной совокупности крайне уязвимо. Во-первых, отсутствует обоснование пропорции такого смешивания: почему, например, мы смешиваем выборки в соотношении 50 на 50, а не 25 на 75? Во-вторых, использование двух выборок на одной и той же генеральной совокупности снижает размер каждой из них и увеличивает дисперсию оценок, а следовательно, снижает точность измерения, ради которой и замышлялось комбинирование. Согласно теореме о сложении дисперсий, общая дисперсия равна сумме средней внутригрупповых дисперсий и межгрупповой дисперсии. В наилучшем случае, когда дисперсии равны (а в нашем случае они не равны), дисперсия общей выборки будет равна просто сумме дисперсий. Если же дисперсии выборок (в нашем случае — выборка телефонного опроса и опроса по месту жительства) не равны, к этой сумме необходимо добавить межгрупповую дисперсию. В итоге погрешность такого измерения вырастет, а точность снизится. При номинальном объеме выборки в 1600 единиц погрешность будет соответствовать уровню $\pm 3,46\%$, характерному для выборки в 800 единиц. Например, рейтинг партии «Единая Россия», колебавшийся в мае — августе между 32,0 % и 36,0 %, оставался в пределах случайной погрешности выборки $\pm 3,46\%$, то есть с математической точки зрения оставался постоянным.

Более логичным выглядело бы решение, при котором определенная часть выборки, например респонденты старше 60 лет, охватывается опросом по месту жительства, что проще и доступнее в реализации, а россияне от 18 до 59 лет опрашиваются по телефону. В этом случае полученная выборка оказывается стратифицированной, с меньшей дисперсией и более высокой точностью. Такое решение обосновать значительно проще, чем смешивание в пропорции 50 на 50.

Важным остается проблема правомерности использования в одном исследовании случайной и квотной выборок. Здесь вопрос о долях выборок принципиально неразрешим: любой выбор будет одновременно и верным, и неверным. Однако само по себе такое смешивание не решает проблему труднодостижимых групп респондентов, ведь они попадают в нашу выборку не в силу своей частоты среди населения, а потому, что их целенаправленно разыскивают интервьюеры. В такой ситуации, как представляется, возможно разыскивать представителей редких групп и в телефонном опросе, котируя выборку так же, как это делается в ходе опроса по месту жительства.

На мой взгляд, тема комбинирования методов сбора данных не предполагает каких-либо чудесных решений, а требует выполнения определенной последовательности работ. Во-первых, необходимо провести установочное исследование, то есть максимально строгий сбор данных либо по телефону, либо по месту жительства. Тогда мы получим адекватные представления о долях различных групп в населении и об их готовности к сотрудничеству с исследователями и сможем использовать эти данные в качестве эталона достоверности. Разумеется, в случае телефонного опроса мы не сумеем охватить тех, кто не пользуется телефонной связью, а в случае опроса по месту жительства — вероятно, неохваченными останутся те, кто целенаправленно ограничил доступ к своим жилищам или вовсе его не имеет. Но, во-первых, установочное исследование тем и отличается от регулярного, что ставит целью увеличение усилий по достижению труднодоступных групп респондентов. Во-вторых, таким образом мы получаем возможность измерить (1) размер таких групп, (2) степень усилий, требуемых для их достижения. В противном случае у нас не будет достоверных данных о смещениях, возникающих в различных процедурах. Идеальным вариантом было проведение установочного исследования несколькими методами: телефонным, по месту жительства и онлайн.

Во-вторых, следует предложить описание (1) строгой, «идеальной» процедуры сбора данных в рамках каждого метода и (2) вариант ее облегченной версии, в которой сохраняются критически важные требования к реализации выборки, но ослаблены требования, ведущие к росту стоимости и длительности работ.

В-третьих, по аналогии с AAPOR необходимы описание сложившихся практик сбора данных в рамках различных типов опроса и публикация таких описаний. Это позволит коллегам ориентироваться на индустриальные образцы и сопоставлять достигнутые показатели кооперации респондентов, полученные в опросах разных типов. Эти шаги могут задать направление будущей работе по развитию методологии комбинирования.

Алексей Владимирович Чуриков

Перспективные направления дальнейшего научного поиска

В своем комментарии я хотел бы обозначить вопросы, которые, с моей точки зрения, помогут наметить направления дальнейших исследований возможностей комбинирования разных модусов сбора социологических данных.

Первое из них касается более глубокого изучения влияния дизайна выборки на опросы CATI и F2F. Статья О. Оберемко и соавторов посвящена очень важной теме — анализу различий в ответах респондентов, опрашиваемых по теле-

фону (CATI) и при личном интервью по месту жительства (F2F). Авторы отмечают, что на различия влияет не только модус проведения интервью, но и разные возможности в реализации выборок опросов CATI и F2F. В частности, стратификация выборки F2F по типам населенных пунктов позволяет устранить отклонения от населения России по этому параметру, в отличие от CATI. Мне кажется, что в будущих исследованиях по данной тематике нужно попробовать усложнить дизайн выборки телефонных опросов и изучить его влияние на распределение ответов.

Например, в выборке телефонных опросов можно задавать пропорции между разными группами респондентов. Принадлежность респондента к конкретной группе определяется по его ответу на соответствующий вопрос анкеты. После набора запланированного числа представителей каждой группы их опрос прекращается. Внешне это выглядит как квоты, однако принципиальное отличие от привычных квот состоит в том, что интервьюер лишен возможности самостоятельно выбирать, кого опрашивать. Он всегда опрашивает очередного случайного респондента из выборки и либо прерывает опрос после его ответов на вопросы о принадлежности к стратам, либо продолжает опрос. По сути, это является стратификацией RDD-выборки по заданным параметрам: для каждого респондента, ответившего на вопросы о принадлежности к стратам, можно вычислить вероятность быть опрошенным, которая будет различаться для разных страт.

Понятно, что такой дизайн выборки приведет к удорожанию опроса. Когда останется незаполненной последняя, наименее достижимая страта, интервью с респондентами всех остальных страт будут прерываться. Но то же самое происходит и в опросах F2F, когда интервьюер набирает все квоты, кроме одной, и начинает обход домохозяйств в поисках оставшихся «редких» респондентов (только с этого момента у интервьюера F2F начинается настоящий случайный отбор, тогда как до этого он мог самостоятельно выбирать, кого опрашивать в домохозяйстве из подходящих под незаполненные квоты).

При переходе к стратифицированной телефонной RDD-выборке есть много вопросов для изучения: по каким параметрам лучше стратифицировать выборку, какое распределение выборки между стратами эффективнее, пропорциональное или нет, какой дизайн выборки обеспечивает оптимальное соотношений между стоимостью и величиной смещений. Возможно, изменение дизайна телефонных выборок приведет к уменьшению различий между CATI и F2F не только по контролируемым социально-демографическим параметрам, но также и по другим характеристикам. Хотя значительное влияние модуса опроса на параметры реализованных выборок все равно сохранится.

Второе направление — это анализ устойчивости различий в ответах респондентов CATI и F2F. Представленные в статье различия в ответах респондентов CATI и F2F имеют большую практическую значимость. Хотелось бы понять, насколько устойчивы эти различия и есть ли факторы, которые влияют на них. В том числе интересно было бы сравнить данные ВЦИОМ с данными телефонных опросов других компаний.

В частности, в телефонных RDD-опросах ФОМа, которые проводились по короткой и простой анкете (менее 15 вопросов) и использовались для последующего рекрута некоторых категорий респондентов, распределение ответов несколько

отличается от приведенных в статье. Отклонения от данных Росстата по типу населенного пункта, полу, возрасту и образованию имеют такую же направленность, но величины отклонений меньше. Нельзя однозначно сказать, с чем это связано. Возможно, с небольшой длительностью интервью, о которой информировали респондентов в начале опроса, что повышало долю согласившихся на участие и завершивших опрос. Может влиять также формулировка приглашения к участию в опросе. Иногда в ней кратко обозначают тему опроса, и это тоже влияет на состав участников. Здесь есть место для дополнительных исследований.

Наконец, третье направление — это более глубокая проработка проблем комбинирования разномодальных выборок. В статье обозначена одна из них — выбор пропорций, в которых нужно комбинировать выборки CATI и F2F, ведь от этого существенно зависят получаемые результаты. Как определить эти пропорции? Конечно, можно подобрать такие пропорции, которые максимально приближают суммарные распределения комбинированной выборки по социально-демографическому профилю к известным распределениям репрезентируемой совокупности. Но будет ли это хорошим решением с учетом того, что нет однозначной зависимости между ответами респондентов и их социально-демографическими параметрами? Существует ли единственная «правильная» комбинация разномодальных выборок или их пропорции должны варьироваться в зависимости от тематики опросов?

В частности, различия в ответах респондентов CATI и F2F по отдельным темам могут быть вызваны не только различиями между объективными параметрами опрошенных в разных модусах, но также и различиями в долях социально одобряемых ответов. Эти доли могут меняться в зависимости от тематики вопросов и от оценок респондентами вероятности негативных последствий своих откровенных ответов. Например, респондент может больше доверять словам об анонимности опроса из уст стоящего перед ним интервьюера, чем голосу в телефонной трубке. Из-за этого различия между модусами могут то увеличиваться, то уменьшаться.

Еще одна проблема связана с форматом предъявления вопросов респондентам. В модусе CATI варианты ответов зачитываются и воспринимаются респондентами на слух. В модусе F2F могут использоваться карточки, которые дают респонденту возможность видеть сразу весь набор вариантов ответов. Нужно ли отказываться от преимуществ опросов F2F, связанных с наличием карточек, или лучше отказаться от карточек ради единообразия инструментария? Я бы оставил карточки в F2F, однако это дискуссионный сюжет.

Перечисленные проблемы делают уместным вопрос: всегда ли целесообразно комбинирование разномодальных выборок? Если не всегда, то в каких случаях? Например, если исследователю важна динамика, то не будет ли эта динамика затухать из-за разнонаправленных сдвигов в CATI и в F2F? Должно ли комбинирование разномодальных выборок превратиться со временем в универсальный метод исследования или отдельные телефонные и квартирные опросы имеют право на существование? Лично у меня нет ответов на эти вопросы.

Наверное, можно указать и другие направления для дальнейших исследований, актуальность и важность которых не вызывают сомнения.

Список литературы (References)

1. Михайлов А. А. Теоретические основания применения стратегии триангуляции в социологических исследованиях // Социология: методология, методы, математическое моделирование (Социология: 4М). 2025. № 60. С. 9—35.
Mikhailov A. A. (2025) Theoretical Foundations of the Application of Triangulation Strategy in Sociological Research. *Sociology: Methodology, Methods, Mathematical Modeling (Sociology: 4M)*. No. 60. P. 9—35. (In Russ.)
2. Шубрт И. Действительно ли опросы общественного мнения изучают общественное мнение? // Социологические исследования. 2018. № 12. С. 56—62.
<https://doi.org/10.31857/S013216250003169-8>.
Šubrt J. (2018) Do Public Opinion Polls Actually Provide a Survey of Public Opinion? *Sociological Studies*. No. 12. <https://doi.org/10.31857/S013216250003169-8>. P. 56—62. (In Russ.)



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ВЦИОМ

